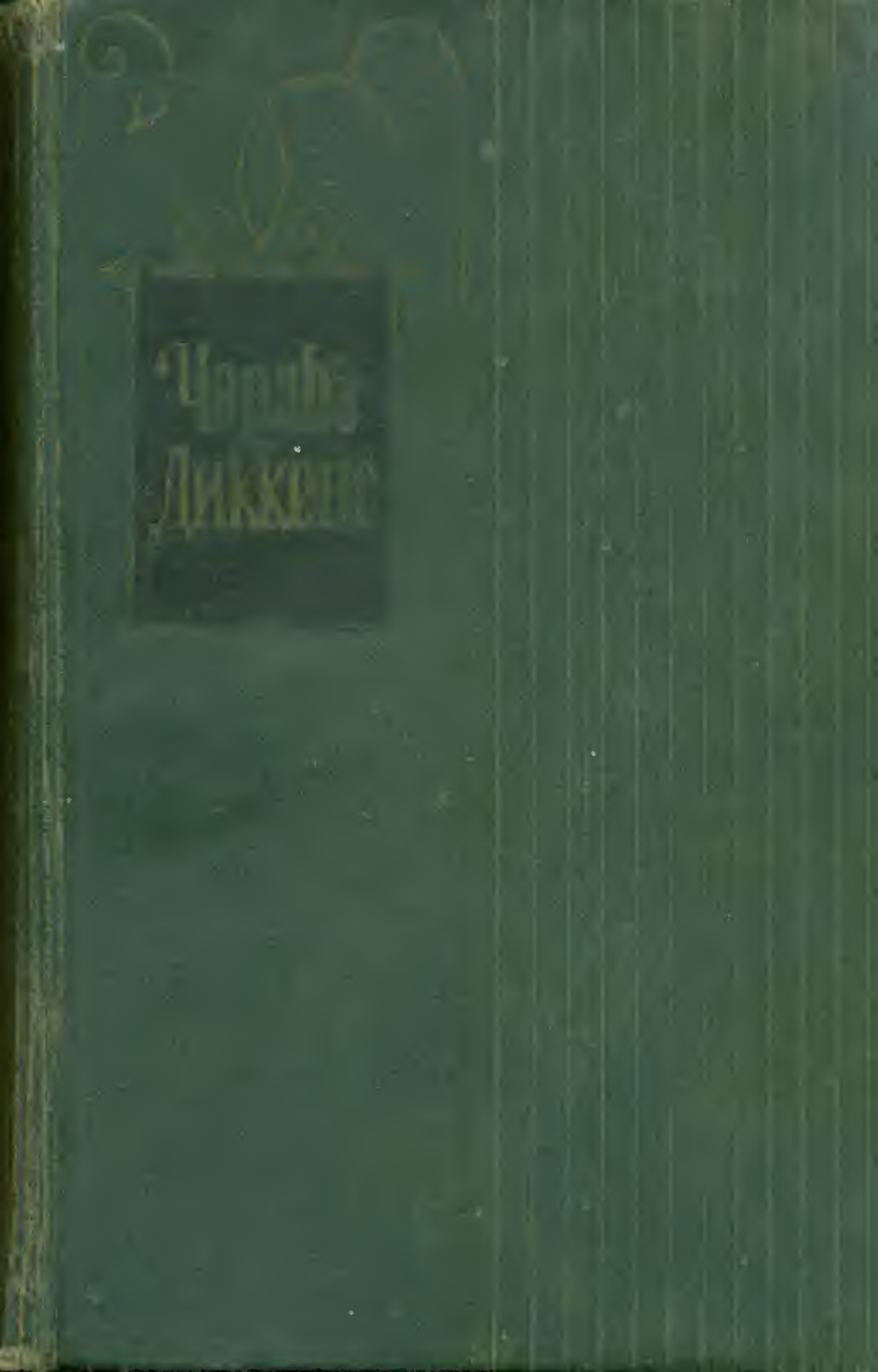

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1959

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ

ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМБИ И СЫН

ТОРГОВЛЯ
ОПТОМ, В РОЗНИЦУ И НА ЭКСПОРТ

Роман

(Главы I — XXX)

Перевод с английского

А. В. КРИВЦОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

CHARLES DICKENS

DEALINGS WITH THE FIRM OF DOMBEY AND SON

WHOLESALE, RETAIL AHD FOR EXPORTATION

Ch. I-XXX

1848

Иллюстрации
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Восьмое, пересмотренное издание перевода

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Я не могу упустить удобного случая и попрощаюсь со своими читателями на этом месте, предназначенном для разного рода приветствий, хотя мне нужно только одно — засвидетельствовать безграничную теплоту и искренность их чувств на всех стадиях путешествия, которое мы только что завершили.

Если кто-либо из них испытал скорбь, знакомясь с некоторыми из главных эпизодов этой вымышленной истории, я надеюсь, что такая скорбь сближает друг с другом тех, кто ее разделяет. Это не бескорыстно с моей стороны. Я претендую на то, что и я ее испытывал, по крайней мере так же, как и всякий другой, и мне хотелось бы, чтобы обо мне благосклонно вспоминали за мое участие в этом переживании.

Девоншир.
Марта 24, 1848

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Я беру на себя смелость полагать, что способность (или привычка) пристально и тщательно наблюдать человеческие характеры — редкая способность. Опыт убедил меня даже в том, что способность (или привычка) наблюдать хотя бы человеческие лица отнюдь не является всеобщей. Две обычные ошибки в суждениях, вытекающие, по моему мнению, из указанного недостатка, это смешение двух понятий — нелюдимости и высокомерия, а также непонимание того, что натура упрямо ведет вечную борьбу сама с собой.

В мистере Домби не происходит никакой резкой перемены ни в этой книге, ни в жизни. Чувство собственной несправедливости живет в нем все время. Чем больше он его подавляет, тем более несправедливым неизбежно становится. Затаенный стыд и внешние обстоятельства могут в течение недели или дня привести к тому, что борьба обнаружится; но эта борьба длилась годы, и победа одержана нелегко.

Годы прошли с тех пор, как я расстался с мистером Домби. Я не торопился публиковать эту критическую

заметку о нем, но теперь предлагаю ее с большей уверенностью.

Я начал эту книгу на берегу Женевского озера и в течение нескольких месяцев работал над нею во Франции. Связь между романом и местом, где он был написан, столь врезалась мне в память, что и теперь, хотя я знаю каждую ступеньку в доме Маленького Мичмана и мог бы припомнить каждую скамью в церкви, где венчалась Флоренс, и кровать каждого из молодых джентльменов в заведении доктора Блимбера, однако мне смутно мерещится, что капитан Катль скрывается от миссис Мак-Стинджер в горах Швейцарии. Точно так же, когда иной раз что-нибудь случайно напомнит мне, о чем говорили волны, мне мерещится, что я брожу всю зимнюю ночь напролет по улицам Парижа, как и в самом деле бродил, с тяжелым сердцем, в ту ночь, когда мой маленький друг и я расстались навеки.

ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМБИ И СЫН

ТОРГОВЛЯ ОПТОМ, В РОЗНИЦУ И НА ЭКСПОРТ

ГЛАВА I

Домби и сын

Домби сидел в углу затемненной комнаты в большом кресле у кровати, а Сын лежал тепло укутанный в плетеной колыбельке, заботливо поставленной на низкую кушетку перед самым камином и вплотную к нему, словно по природе своей он был сходен со сдобной булочкой и надлежало хорошенько его подрумянить, покуда он только что испечен.

Домби было около сорока восьми лет. Сыну около сорока восьми минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется) прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Время и его сестра Забота оставили на челе Домби кое-какие следы, как на дереве, которое должно быть своевременно срублено,— безжалостны эти близнецы, разгуливающие по своим лесам среди смертных, делая мимоходом зарубки,— тогда как лицо Сына было иссечено вдоль и поперек тысячью морщинок, которые то же предательское Время будет с наслаждением стирать и разглаживать тупым краем своей косы, приготовляя поверхность для более глубоких своих операций.

Домби, радуясь долгожданному событию, позвякивал массивной золотой цепочкой от часов, видневшейся из-под его безукоризненного синего сюртука, на котором фосфорически поблескивали пуговицы в тусклых лучах, падавших издали от камина. Сын сжал кулачки, как будто грозил по мере своих слабых сил жизни за то, что она настигла его столь неожиданно.

— Миссис Домби,— сказал мистер Домби,— фирма снова будет не только по названию, но и фактически Домби и Сын. Дом-би и Сын!

Эти слова подействовали столь умиротворяюще, что он присовокупил ласкательный эпитет к имени миссис Домби (впрочем, не без колебаний, ибо не имел привычки к такой форме обращения) и сказал: «Миссис Домби, моя... моя милая».

Вспыхнувший на миг румянец, вызванный легким удивлением, залил лицо больной леди, когда она подняла на него глаза.

— При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль, моя... миссис Домби.

Она слабо отозвалась: «Конечно», или, вернее, прошептала это слово, едва шевеля губами, и снова закрыла глаза.

— Имя его отца, миссис Домби, и его деда! Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня!

И снова он повторил «Домби и Сын» точь-в-точь таким же тоном, как и раньше.

В этих трех словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом... Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало anno Domini [1], но символизировало anno Dombei [2] и Сына.

---

[1] В лето [от рождества] господня (*лат.*).

[2] В лето [от рождества] Домби (*лат.*).

Он поднялся, как до него поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби, и почти двадцать лет был единственным представителем фирмы. Из этих двадцати лет он был женат десять — женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца, на леди, чье счастье осталось в прошлом и которая удовольствовалась тем, что заставила свой сломленный дух примириться, почтительно и покорно, с настоящим. Такие пустые слухи вряд ли могли дойти до мистера Домби, которого они близко касались, и, пожалуй, никто на свете не отнесся бы к ним с большим недоверием, чем он, буде они дошли бы до него. Домби и Сын часто имели дело с кожей, но никогда — с сердцем. Этот модный товар они предоставляли мальчишкам и девчонкам, пансионам и книгам. Мистер Домби рассудил бы, что брачный союз с ним *должен,* по природе вещей, быть приятным и почетным для любой женщины, наделенной здравым смыслом; что надежда дать жизнь новому компаньону такой фирмы не может не пробуждать сладостного и волнующего честолюбия в груди наименее честолюбивой представительницы слабого пола; что миссис Домби подписывала брачный договор — акт почти неизбежный в семьях благородных и богатых, не говоря уже о необходимости сохранить название фирмы,— отнюдь не закрывая глаз на эти преимущества; что миссис Домби ежедневно узнавала на опыте, какое положение он занимает в обществе; что миссис Домби всегда сидела во главе его стола и исполняла в его доме обязанности хозяйки весьма прилично и благопристойно; что миссис Домби должна быть счастлива; что иначе быть не может.

Впрочем, с одной оговоркой. Да. Ее он готов был принять. С одной-единственной; но она несомненно заключала в себе многое. Они были женаты десять лет, и вплоть до сегодняшнего дня, когда мистер Домби, позвякивая массивной золотой цепочкой от часов, сидел в большом кресле у кровати, у них не было потомства... о котором стоило бы говорить, никого, кто был бы достоин упоминания. Лет шесть назад у них родилась дочь, и вот сейчас девочка, незаметно пробравшаяся в спальню, робко жалась в углу, откуда ей видно было лицо матери. Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим

являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело,— мальчиком ни на что не годным,— и только.

Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли ее содержимого даже для того, чтобы окропить пыль на заброшенной тропе своей маленькой дочери.

Поэтому он сказал:

— Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного братца. Не дотрагивайся до него.

Девочка пристально взглянула на синий фрак и жесткий белый галстук, которые, вместе с парой скрипящих башмаков и очень громко тикающими часами, воплощали ее представление об отце; но глаза ее тотчас же обратились снова к лицу матери, и она не шевельнулась и не ответила.

Через секунду леди открыла глаза и увидела девочку, и девочка бросилась к ней и, поднявшись на цыпочки, чтобы спрятать лицо у нее на груди, прильнула к матери с каким-то страстным отчаянием, отнюдь не свойственным ее возрасту.

— Ах, боже мой! — с раздражением сказал мистер Домби, вставая.— Право же, ты очень неблагоразумна и опрометчива. Пожалуй, следует обратиться к доктору Пепсу, не будет ли он так любезен еще раз подняться сюда. Я пойду. Мне незачем просить вас,— добавил он, задерживаясь на секунду возле кушетки перед камином,— проявить сугубую заботу об этом юном джентльмене, миссис...

— Блокит, сэр? — подсказала сиделка, приторная увядшая особа с аристократическими замашками, которая не решилась объявить свое имя как непреложный факт и только назвала его в виде смиренной догадки.

— Об этом юном джентльмене, миссис Блокит.

— Да, конечно, сэр. Помню, когда родилась мисс Флоренс...

— Да, да, да,— сказал мистер Домби, наклоняясь над плетеной колыбелькой и в то же время слегка сдвигая брови.— Что касается мисс Флоренс, то все это прекрасно, но сейчас другое дело. Этому юному джентль-

мену предстоит выполнить свое назначение. Назначение, мальчуган! — После такого неожиданного обращения к младенцу он поднес его ручку к своим губам и поцеловал ее; затем, опасаясь, по-видимому, что этот жест может умалить его достоинство, удалился в некотором замешательстве.

Доктор Паркер Пепс, один из придворных врачей и человек, пользовавшийся великой славой за помощь, оказываемую им при увеличении аристократических семейств, шагал, заложив руки за спину, по гостиной, к невыразимому восхищению домашнего врача, который последние полтора месяца разглагольствовал среди своих пациентов, друзей и знакомых о предстоящем событии, по случаю коего ожидал с часа на час, днем и ночью, что его призовут вместе с доктором Паркером Пепсом.

— Ну, сэр,— сказал доктор Паркер Пепс низким, глубоким, звучным голосом, приглушенным по случаю события, как закутанный дверной молоток,— находите ли вы, что ваше посещение подбодрило вашу милую супругу?

— Так сказать, стимулировало,— тихо добавил домашний врач, кланяясь в то же время доктору и как бы говоря: «Простите, что я вставил словечко, но это ценное добавление».

Мистер Домби был совершенно сбит с толку вопросом. Он так мало думал о больной, что не в состоянии был на него ответить. Он сказал, что ему доставило бы удовольствие, если бы доктор Паркер Пепс согласился еще раз подняться наверх.

— Прекрасно. Мы не должны скрывать от вас, сэр,— произнес доктор Паркер Пепс,— что заметен некоторый упадок сил у ее светлости герцогини... прошу прощения: я путаю имена... я хотел сказать — у вашей любезной супруги. Заметна некоторая слабость и вообще отсутствие жизнерадостности, которые нам желательно было бы... не...

— Наблюдать,— подсказал домашний врач, снова наклоняя голову.

— Вот именно! — произнес доктор Паркер Пепс.— Которые нам желательно было бы не наблюдать. Обнаруживается, что организм леди Кенкеби... простите: я хотел сказать — миссис Домби, я путаю имена больных...

— Столь многочисленных,— прошептал домашний врач,— право же, нельзя ожидать... в противном случае это было бы чудом... практика доктора Паркера Пепса в Вест-Энде...

— Благодарю вас,— сказал доктор,— вот именно. Обнаруживается, говорю я, что организм нашей пациентки перенес потрясение, от которого он может оправиться только с помощью напряженного и упорного...

— И энергического,— прошептал домашний врач.

— Вот именно,— согласился доктор,— и энергического усилия. Мистер Пилкинс, здесь присутствующий, который, занимая положение медика-консультанта в этом семействе — не сомневаюсь, что нет человека, более достойного занимать это положение...

— О! — прошептал домашний врач.— Похвала сэра Хьюберта Стэнли! *

— Очень любезно с вашей стороны,— отозвался доктор Паркер Пепс.— Мистер Пилкинс, который благодаря своему положению превосходно знает организм пациентки в нормальном его состоянии (знание весьма ценное для наших заключений при данных обстоятельствах), разделяет мое мнение, что в настоящем случае природе надлежит сделать энергическое усилие и что если наш очаровательный друг, графиня Домби — *прошу* прощения! — миссис Домби будет не...

— В состоянии,— подсказал домашний врач.

— Сделать надлежащее усилие,— продолжал доктор Паркер Пепс,— то может наступить кризис, о чем мы оба будем искренне сожалеть.

После этого они стояли несколько секунд с опущенными глазами. Затем по знаку, молча поданному доктором Паркером Пепсом, они отправились наверх, домашний врач открыл дверь перед знаменитым специалистом и последовал за ним с раболепнейшей учтивостью.

Утверждать, что мистер Домби не был по-своему опечален этим сообщением, значило бы отнестись к нему несправедливо. Он был не из тех, о ком можно с правом сказать, что этот человек бывал когда-нибудь испуган или потрясен; но несомненно он чувствовал, что, если жена заболеет и зачахнет, он будет очень огорчен и обнаружит

среди своего столового серебра, мебели и прочих домашних вещей отсутствие некоего предмета, которым весьма стоило обладать и потеря коего не может не вызвать искреннего сожаления. Однако это было бы, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену, сдержанное сожаление.

Его размышления на эту тему были прерваны сначала шорохом платья на лестнице, а затем внезапно ворвавшейся в комнату леди, скорее пожилой, чем юной, но одетой как молоденькая, в особенности если судить по туго затянутому корсету, которая, подбежав к нему,— что-то напряженное в ее лице и манерах свидетельствовало о сдержанном возбуждении,— обвила руками его шею и сказала, задыхаясь:

— Дорогой мой Поль! Он — вылитый Домби!

— Ну-ну! — отвечал брат, ибо мистер Домби был ее братом.— Я нахожу, что в нем действительно *есть* фамильные черты. Не волнуйтесь, Луиза.

— Это очень глупо с моей стороны,— сказала Луиза, садясь и вынимая носовой платок,— но он... он такой настоящий Домби! Я *никогда* в жизни не видела подобного сходства!

— Но как сама Фанни? — спросил мистер Домби.— Что с Фанни?

— Дорогой мой Поль,— отозвалась Луиза,— решительно ничего. Поверь мне — решительно ничего. Осталось, конечно, утомление, но ничего похожего на то, что испытала я с Джорджем или с Фредериком. Необходимо сделать усилие. Вот и все. Ах, если бы милая Фанни была Домби... Но, полагаю, она сделает это усилие; не сомневаюсь, она его сделает. Зная, что это требуется от нее во исполнение долга, она, конечно, сделает. Дорогой мой Поль, знаю, что с моей стороны очень слабохарактерно и глупо так дрожать и трепетать с головы до ног, но я чувствую такое головокружение, что принуждена попросить у вас рюмку вина и кусок вон того торта. Я думала, что вывалюсь из окна на лестнице, когда спускалась вниз, навестив милую Фанни и этого чудного ангелочка.— Последние слова были вызваны внезапным и ярким воспоминанием о младенце.

Вслед за ними раздался тихий стук в дверь.

— Миссис Чик,— произнес за дверью медоточивый женский голос,— милый друг, как вы себя чувствуете сейчас?

— Дорогой мой Поль,— тихо сказала Луиза, вставая,— это мисс Токс. Добрейшее создание! Не будь ее, я бы никогда не могла добраться сюда! Мисс Токс — мой брат, мистер Домби. Поль, дорогой мой,— это мой лучший друг, мисс Токс.

Леди, столь выразительно представленная, была долговязая, тощая и до крайности поблекшая особа; казалось, на нее не было отпущено первоначально то, что торговцы мануфактурой называют «стойкими красками», и она мало-помалу вылиняла. Не будь этого, ее можно было бы назвать ярчайшим образцом любезности и учтивости. От долгой привычки восторженно прислушиваться ко всему, что говорится при ней, и смотреть на говоривших так, словно она мысленно запечатлевает их образы в своей душе, дабы не расставаться с ними до конца жизни, голова у нее совсем склонилась к плечу. Руки обрели судорожную привычку подниматься сами собою в безотчетном восторге. Восторженным был и взгляд. Голос у нее был сладчайший, а на носу, чудовищно орлином, красовалась шишка в самом центре переносицы, откуда нос устремлялся вниз, как бы приняв нерушимое решение никогда и ни при каких обстоятельствах не задираться.

Платье мисс Токс, вполне элегантное и благопристойное, было, впрочем, несколько мешковато и убого. Она имела обыкновение украшать странными чахлыми цветочками шляпки и чепцы. Неведомые травы появлялись иной раз в ее волосах; и было отмечено любопытными, что у всех ее воротничков, оборочек, косынок, рукавчиков и прочих воздушных принадлежностей туалета — в сущности у всех вещей, какие она носила и какие имели два конца, коим надлежало соединиться,— эти два конца никогда не бывали в добром согласии и не желали сойтись без борьбы. Зимой она носила меха — пелерины, боа и муфты,— на которых волос неудержимо топорщился и никогда не бывал приглажен. У нее было пристрастье к небольшим ридикюлям с замочками, которые при защелкивании стреляли, словно маленькие пистолеты; и, нарядив-

шись в парадное платье, она надевала на шею жалкий медальон, изображающий старый рыбий глаз, лишенный какого бы то ни было выражения. Эти и другие подобные же черточки способствовали распространению слухов, что мисс Токс, как говорится, леди с ограниченными средствами, при которых она изворачивается на все лады. Быть может, ее манера семенить ногами поддерживала это мнение и наводила на мысль, что рассечение обычного шага на два или на три объясняется ее привычкой из всего извлекать наибольшую выгоду.

— Уверяю вас,— сказала мисс Токс, делая изумительный реверанс,— что честь быть представленной мистеру Домби является наградой, которой я давно добивалась, но в данный момент никак не ожидала. Дорогая миссис Чик... смею ли назвать вас — Луиза?

Миссис Чик взяла мисс Токс за руку, прислонила ее руку к своей рюмке, проглотила слезу и тихим голосом сказала:

— Благослови вас бог!

— Дорогая моя Луиза,— промолвила мисс Токс,— мой милый друг, как вы себя чувствуете теперь?

— Лучше,— ответила миссис Чик.— Выпейте вина. Вы волновались почти так же, как и я, и несомненно нуждаетесь в подкреплении.

Конечно, мистер Домби исполнил обязанность хозяина дома.

— Мисс Токс, Поль,— продолжала миссис Чик, все еще держа ее за руку,— зная, с каким нетерпением я ждала сегодняшнего события, приготовила для Фанни маленький подарок, который я обещала преподнести ей. Поль, это всего-навсего подушечка для булавок * на туалетный столик, но я намерена сказать, должна сказать и скажу, что мисс Токс очень мило подыскала изречение, приличествующее событию. Я нахожу, что «Добро пожаловать, малютка Домби» — это сама поэзия!

— Это такое приветствие? — осведомился ее брат.

— О да, приветствие! — ответила Луиза.

— Но будьте справедливы ко мне, милая моя Луиза,— сказала мисс Токс голосом тихим и страстно умоляющим,— припомните, что только... я несколько затрудняюсь высказать свою мысль... только неуверенность в

исходе побудила меня позволить себе такую вольность. «Добро пожаловать, маленький Домби» более соответствовало бы моим чувствам, в чем, конечно, вы не сомневаетесь. Но неизвестность, сопутствующая этим небесным пришельцам, надеюсь, послужит оправданием тому, что в противном случае показалось бы недопустимой фамильярностью.

Мисс Токс отвесила при этом изящный поклон, предназначавшийся мистеру Домби, на который сей джентльмен снисходительно ответил. Преклонение перед Домби и Сыном, даже в том виде, как оно выразилось в предшествовавшем разговоре, было столь ему приятно, что сестра его, миссис Чик, хотя он склонен был считать ее особой слабохарактерной и добродушной, могла возыметь на него бо̀льшее влияние, чем кто бы то ни было.

— Да,— сказала миссис Чик с кроткой улыбкой,— после этого я прощаю Фанни все!

Это было заявление в христианском духе, и миссис Чик почувствовала, что оно облегчило ей душу. Впрочем, ничего особенного не нужно было ей прощать невестке, или, вернее, ровно ничего, кроме того, что та вышла замуж за ее брата — это уже само по себе являлось некоей дерзостью,— а затем родила девочку вместо мальчика,— поступок, который, как частенько говорила миссис Чик, не вполне отвечал ее ожиданиям и отнюдь не был достойной наградой за все внимание и честь, какие были оказаны этой женщине.

Так как мистер Домби был срочно вызван из комнаты, обе леди остались одни. Мисс Токс тотчас обнаружила склонность к судорожным подергиваниям.

— Я знала, что вы будете восхищены моим братом. Я вас заранее предупреждала, моя милая,— сказала Луиза.

Руки и глаза мисс Токс выразили, насколько она восхищена.

— А что касается его состояния, моя милая!

— Ах! — с глубоким чувством промолвила мисс Токс.

— Колос-сальное!

— А его умение держать себя, дорогая моя Луиза! — сказала мисс Токс.— Его осанка! Его благородство! В жизни своей я не видела ни единого портрета, который хотя бы наполовину отражал эти качества. Нечто, знаете

ли, такое величавое, такое непреклонное; такие широкие плечи, такой прямой стан! Герцог Йоркский коммерческого мира, моя милочка, да и только,— сказала мисс Токс.— Вот как бы я его назвала!

— Что с вами, дорогой мой Поль? — воскликнула его сестра, когда он вернулся.— Как вы бледны! Что-нибудь случилось?

— К сожалению, Луиза, они мне сказали, что Фанни...

— О! Дорогой мой Поль,— перебила его сестра, вставая,— не верьте им! Если вы в какой-то мере полагаетесь на мой опыт, Поль, вы можете не сомневаться, что все благополучно, и ничего кроме усилия со стороны Фанни не требуется. А к этому усилию,— продолжала она, озабоченно снимая шляпу и деловито поправляя чепчик и перчатки,— следует ее побудить и даже в случае необходимости принудить. Теперь, дорогой мой Поль, пойдемте вместе наверх.

Мистер Домби, который, находясь под влиянием своей сестры по причине, уже упомянутой, действительно доверял ей как опытной и расторопной матроне, согласился и немедленно последовал за нею в комнату больной.

Его жена все так же лежала на кровати, прижимая к груди маленькую дочь. Девочка прильнула к ней так же страстно, как и раньше, и не поднимала головы, не отрывала своей нежной щечки от лица матери, не смотрела на окружающих, не говорила, не шевелилась, не плакала.

— Тревожится без девочки,— шепнул доктор мистеру Домби.— Мы сочли нужным снова впустить ее.

Так торжественно тихо было у постели, и оба медика, казалось, смотрели на неподвижную фигуру с таким состраданием и такою безнадежностью, что миссис Чик на секунду отвлеклась от своих намерений. Но тотчас, призвав на помощь мужество и то, что она называла присутствием духа, она села у кровати и сказала тихим внятным голосом, как говорит человек, старающийся разбудить спящего:

— Фанни! Фанни!

Ни звука в ответ, только громкое тикание часов мистера Домби и часов доктора Паркера Пепса, словно состязавшихся в беге среди мертвой тишины.

— Фанни, милая моя,— притворно веселым тоном сказала миссис Чик,— мистер Домби пришел вас навестить. Не хотите ли с ним поговорить? К вам в постель собираются положить вашего мальчика — вашего малютку, Фанни, вы, кажется, почти не видели его; но этого нельзя сделать, пока вы не будете чуточку бодрее. Не думаете ли вы, что пора бы уже чуточку приободриться? Что?

Она приблизила ухо к постели и прислушалась, в то же время окинув взглядом окружающих и подняв палец.

— Что? — повторила она.— Что вы сказали, Фанни? Я не расслышала.

Ни слова, ни звука в ответ. Часы мистера Домби и часы доктора Паркера Пепса словно ускорили бег.

— Право же, Фанни, милая моя,— сказала золовка, меняя позу и помимо своей воли заговорив менее уверенно и более серьезно,— мне придется на вас рассердиться, если вы не подбодритесь. Необходимо, чтобы вы сделали усилие — быть может, очень напряженное и мучительное усилие, которое вы не расположены делать, но ведь вы знаете, Фанни, в этом мире все требует усилий, и мы не должны уступать, когда столь многое от нас зависит. Ну-ка! Попытайтесь! Право же, придется мне вас пожурить, если вы этого не сделаете!

В спустившейся тишине состязание в беге стало неистовым и ожесточенным. Часы словно налетали друг на друга и подставляли друг другу ножку.

— Фанни! — продолжала Луиза, озираясь с нарастающей тревогой.— Вы хоть взгляните на меня. Откройте только глаза, чтобы показать, что вы меня слышите и понимаете; хорошо? Боже мой, что же нам делать, джентльмены?

Оба медика, стоявшие по обеим сторонам кровати, обменялись взглядами, и домашний врач, нагнувшись, шепнул что-то на ухо девочке. Не понимая смысла его слов, малютка повернула к нему мертвенно-бледное лицо с глубокими темными глазами, но не разжала объятий.

Снова шепот.

— Мама! — сказала девочка.

Детский голос, знакомый и горячо любимый, вызвал проблеск сознания, уже угасавшего. На мгновение опу-

щенные веки дрогнули, ноздри затрепетали, и мелькнула слабая тень улыбки.

— Мама! — рыдая, воскликнула девочка.— О мамочка, мамочка!

Доктор мягко отвел рассыпавшиеся кудри ребенка от лица и губ матери. Увы, они лежали недвижно — слишком слабо было дыхание, чтобы их пошевелить.

Так, держась крепко за эту хрупкую тростинку, прильнувшую к ней, мать уплыла в темный и неведомый океан, который омывает весь мир.

ГЛАВА II,

в которой своевременно принимаются меры по случаю неожиданного стечения обстоятельств, возникающих иногда в самых благополучных семействах

— Я никогда не перестану радоваться тому,— заявила миссис Чик,— что сказала, когда меньше всего могла предвидеть случившееся,— право же, меня словно что-то осенило,— сказала тогда, что все прощаю бедной дорогой Фанни. Что бы ни случилось, это навсегда останется для меня утешением!

Это внушительное замечание миссис Чик сделала в гостиной, куда спустилась сверху (она надзирала за портнихами, занятыми шитьем семейного траура). Она изрекла его в назидание мистеру Чику, дородному лысому джентльмену, с очень широким лицом, который постоянно держал руки в карманах и обладал прирожденной склонностью насвистывать и мурлыкать песенки — склонностью, каковую он, сознавая неприличие подобных звуков в доме скорби, не без труда подавлял в настоящее время.

— Не переутомляйся, Лу,— сказал мистер Чик,— а не то у тебя будет припадок. Ля-ля-ля пам-пам-пим! Ах, боже мой, забыл! Сегодня мы живы, а завтра умрем!

Миссис Чик удовольствовалась укоризненным взглядом, а затем продолжала свою речь.

— Да,— сказала она,— надеюсь, это потрясающее событие послужит для всех нас предостережением и

научит нас бодриться и своевременно делать усилия, когда они от нас требуются. Из всего можно извлечь мораль, если бы мы только умели ею пользоваться. Наша будет вина, если мы и сейчас упустим эту возможность.

Мистер Чик нарушил торжественную тишину, наступившую вслед за этим замечанием, в высшей степени неуместным напевом «Сапожник он был» * и, оборвав его с некоторым смущением, произнес, что несомненно это наша вина, если мы не извлекаем пользы из таких печальных событий.

— Я полагаю, мистер Чик, что из них можно извлечь больше пользы,— возразила его супруга после недолгого молчания,— если не напевать «Школьной волынки» или не менее бессмысленного и бесчувственного мотива «рам-пам-пам-ля-ля-ля-лям» (которым мистер Чик действительно услаждал себя потихоньку и который миссис Чик воспроизвела с безграничным презрением).

— Это просто привычка, дорогая моя,— принес извинение мистер Чик.

— Вздор! Привычка! — отозвалась жена.— Если вы существо разумное, не приводите таких нелепых объяснений. Привычка! Если бы у меня развилась привычка (как вы это называете) разгуливать по потолку наподобие мух, думаю, что мне бы прожужжали все уши.

Казалось весьма правдоподобным, что такая привычка привлекла бы всеобщее внимание, а посему мистер Чик не посмел оспаривать это предположение.

— Как поживает младенец, Лу? — осведомился мистер Чик, желая переменить тему разговора.

— О каком младенце ты говоришь? — спросила миссис Чик.— Право же, ни один здравомыслящий человек не может себе представить, какое утро я провела там внизу, в столовой, с этой массой младенцев.

— Масса младенцев? — повторил мистер Чик, с тревогой озираясь.

— Большинство сообразило бы,— продолжала миссис Чик,— что теперь, когда больше нет с нами бедной милой Фанни, возникает необходимость подыскать кормилицу.

— О! А! — произнес мистер Чик.— Трам-там...— такова жизнь, хотел я сказать. Надеюсь, ты нашла себе по вкусу, дорогая моя.

— Конечно, не нашла,— ответила миссис Чик,— и вряд ли найду, насколько я могу предвидеть. А тем временем ребенок, конечно...

— Отправится ко всем чертям,— глубокомысленно заметил мистер Чик.— Несомненно.

Однако уведомленный о своем промахе тем негодованием, которое отразилось на лице миссис Чик при мысли о каком бы то ни было Домби, отправляющемся в подобные места, и надеясь загладить свою ошибку блестящей идеей, он добавил:

— А нельзя ли временно воспользоваться чайником?

Если у него было намерение привести разговор к быстрому окончанию, он не мог бы сделать это с большим успехом. Бросив на него взгляд, выражавший безмолвную покорность судьбе, миссис Чик величественно прошествовала к окну и посмотрела сквозь жалюзи, привлеченная стуком колес. Мистер Чик, убедившись, что в настоящее время судьба против него, не сказал больше ни слова и удалился. Но не всегда бывало так с мистером Чиком. Он часто одерживал верх и в таких случаях сурово расправлялся с Луизой. В общем, в своих супружеских стычках они были хорошо подобранной, прекрасно уравновешенной парой, не дававшей друг другу спуску. Собственно говоря, было бы очень трудно биться об заклад, кто из них выиграет сражение. Часто, когда мистер Чик как будто уже был разбит, он внезапно переходил в наступление, пускал в ход оружие своей противницы, бряцал им под ухом миссис Чик и одерживал полную победу. Так как ему самому грозили такие же неожиданные удары со стороны миссис Чик, то их легкие столкновения проходили с переменным успехом, что действовало весьма воодушевляюще.

Мисс Токс прибыла на только что упомянутых колесах и ворвалась в комнату, едва переводя дух.

— Дорогая моя Луиза,— сказала мисс Токс,— место еще не занято?

— Нет, добрая вы душа,— отвечала миссис Чик.

— В таком случае, дорогая моя Луиза,— продолжала мисс Токс,— я верю и уповаю... Но подождите минутку, дорогая моя, я представлю вам заинтересованную сторону...

Сбежав вниз с такою же быстротой, с какой взбежала наверх, мисс Токс высадила заинтересованную сторону из наемной кареты и вскоре вернулась, ведя ее под конвоем.

Тогда только обнаружилось, что она применила это слово не как юридический или деловой термин, означающий одного индивида, а как имя существительное собирательное или объединяющее многих лиц,— ибо мисс Токс эскортировала пухлую и румяную, цветущую молодую женщину с лицом, похожим на яблоко, державшую на руках младенца; женщину помоложе, не такую пухлую, но также с лицом, похожим на яблоко, которая вела за руки двух пухлых ребятишек с лицами, похожими на яблоко; еще одного пухлого мальчика, также с лицом, похожим на яблоко, который шел самостоятельно; и, наконец, пухлого мужчину с лицом, похожим на яблоко, который нес на руках еще одного пухлого мальчика с лицом, похожим на яблоко, коего он спустил на пол и хриплым шепотом приказал ему «ухватиться за брата Джонни».

— Милая Луиза,— сказала мисс Токс,— зная о вашем великом беспокойстве и желая вас выручить, я отправилась в Королевское убежище для замужних женщин королевы Шарлотты, о котором вы забыли, и спросила, нет ли там кого-нибудь, кто, по их мнению, мог бы подойти. Нет,— сказали они,— таких не имеется. Уверяю вас, дорогая моя, когда они мне дали этот ответ, я готова была впасть в отчаяние. Но случилось так, что одна из королевских замужних женщин, услышав мой вопрос, напомнила надзирательнице об одной особе, которая вернулась к себе домой и которая, по ее мнению, несомненно окажется весьма подходящей. Как только я это услышала и получила подтверждение от надзирательницы — превосходная рекомендация, безупречный характер,— тотчас, дорогая моя, взяла адрес и снова в путь.

— Как это на вас похоже, милая, добрая Токс! — сказала Луиза.

— Ничуть не бывало,— отвечала мисс Токс.— Не говорите этого. Войдя в дом (безукоризненная чистота, дорогая моя! обедать можно прямо на полу), я застала все семейство за столом, и, чувствуя, что никакой рассказ не доставит вам и мистеру Домби такого успокоения, как



вид их, всех вместе взятых, я привезла их сюда. Этот джентльмен,— продолжала мисс Токс, указывая на мужчину с лицом, похожим на яблоко,— отец. Не угодно ли вам, сэр, выйти немного вперед?

Мужчина с лицом, похожим на яблоко, смущенно подчинившись этому требованию, занял место в первом ряду, посмеиваясь и ухмыляясь.

— Это, разумеется, его жена,— сказала мисс Токс, указывая на женщину с младенцем.— Как поживаете, Полли?

— Очень хорошо, благодарю вас, сударыня,— ответила Полли.

Желая поискусней представить ее, мисс Токс задала этот вопрос с таким видом, как будто обращалась к старой знакомой, которую не видела недели две.

— Очень рада,— сказала мисс Токс.— Другая молодая женщина — ее незамужняя сестра, которая живет с ними и будет присматривать за ее детьми. Ее зовут Джемайма. Как поживаете, Джемайма?

— Очень хорошо, благодарю вас, сударыня,— отвечала Джемайма.

— Чрезвычайно этому рада,— сказала мисс Токс.— Надеюсь, так будет и впредь. Пятеро детей. Младшему шесть недель. Этот славный мальчуган с волдырем на носу — старший. Надеюсь,— добавила мисс Токс, окинув взглядом семейство,— волдырь у него не от рождения, а вскочил случайно?

Можно было разобрать, что мужчина с лицом, похожим на яблоко, прохрипел:

— Утюг.

— Прошу прощения, сэр,— сказала мисс Токс,— вы говорите...

— Утюг,— повторил он.

— Ах, да! — сказала мисс Токс.— Совершенно верно. Я забыла. Мальчуган в отсутствие матери понюхал горячий утюг. Вы совершенно правы, сэр. Когда мы подъезжали к дому, вы собирались любезно сообщить мне, что по профессии вы...

— Кочегар,— сказал мужчина.

— Кожедрал? — в ужасе воскликнула мисс Токс.

— Кочегар,— повторил мужчина.— На паровозе.

— О! Вот как! — отозвалась мисс Токс, глядя на него глубокомысленно и как будто все еще не совсем понимая, что это значит.— А как вам это нравится, сэр?

— Что, сударыня? — спросил мужчина.

— Вот это,— сказала мисс Токс.— Ваша профессия.

— Пожалуй, нравится, сударыня. Иной раз зола забивается сюда,— он указал на грудь,— и голос делается хриплым, вот как сейчас. Но это от золы, сударыня, а не от сварливости.

Казалось, мисс Токс столь мало почерпнула из этого ответа, что затруднялась продолжать разговор. Но миссис Чик тотчас же пришла ей на помощь, приступив к внимательнейшему рассмотрению Полли, детей, брачного свидетельства, рекомендаций и так далее. Полли вышла невредимой из этого трудного испытания, после чего миссис Чик отправилась с докладом к своему брату и в качестве яркой иллюстрации к докладу и в подтверждение его захватила с собой двух самых румяных маленьких Тудлей — фамилия яблоколицего семейства была Тудль.

Со смерти жены мистер Домби не выходил из своей комнаты, погруженный в размышления о юности, воспитании и предназначении своего младенца-сына. Что-то угнетало его жесткое сердце, что-то более холодное и тяжелое, чем обычное его бремя; но это было сознание потери, понесенной скорее ребенком, чем им самим, пробудившее в нем вместе с грустью чуть ли не досаду. Было унизительно и тяжело думать, что из-за пустяка жизни и развитию, на которые он возлагал такие надежды, с самого же начала грозит опасность, что Домби и Сын может пошатнуться из-за какой-то кормилицы. И однако в своей гордыне и ревности он с такою горечью размышлял о зависимости — на первых же шагах к осуществлению заветного желания — от наемной служанки, которая временно будет для его ребенка всем тем, чем была бы его собственная жена благодаря союзу с *ним*, что при каждом новом отводе кандидатки он испытывал тайную радость. Но настал момент, когда он не мог долее колебаться между этими двумя чувствами. Тем более, что не было, казалось, никаких сомнений в пригодности Полли

Тудль, о которой доложила его сестра, не поскупившись на похвалы неутомимой дружбе мисс Токс.

— Дети на вид здоровые,— сказал мистер Домби.— Но подумать только, что когда-нибудь они вздумают притязать на некое родство с Полем! Уведите их, Луиза! Покажите мне эту женщину и ее мужа.

Миссис Чик унесла нежную пару Тудлей и вскоре вернулась с более грубой парой, которую пожелал увидеть брат.

— Любезная,— сказал мистер Домби, поворачиваясь в своем кресле всем туловищем, словно у него не было конечностей и суставов,— мне сообщили, что вы бедны и хотите зарабатывать деньги, поступив кормилицей к маленькому мальчику, моему сыну, который преждевременно лишился той, кого никогда не удастся заменить. Я не возражаю против того, чтобы вы таким путем способствовали благосостоянию вашей семьи. Насколько я могу судить, вы производите впечатление порядочной особы. Но я должен вам поставить два-три условия, прежде чем вы займете это место в моем доме. Пока вы будете здесь жить, я настаиваю, чтобы вас всегда называли... ну, скажем, Ричардс... фамилия простая и приличная. Вы не возражаете против того, чтобы вас звали Ричардс? Можете посоветоваться с мужем.

Так как муж только посмеивался да ухмылялся и проводил правой рукой по губам, слюнявя ладонь, миссис Тудль, безуспешно подтолкнув его раз-другой локтем, присела и ответила, что, «быть может, если она должна отказаться от своего имени, об этом не забудут при назначении ей жалованья».

— О, разумеется,— сказал мистер Домби.— Я желаю, чтобы это было принято во внимание при оплате. Затем, Ричардс, если вы будете ходить за моим осиротевшим ребенком, я хочу, чтобы вы запомнили следующее: вы будете получать щедрое вознаграждение за исполнение некоторых обязанностей, причем я желаю, чтобы в течение этого времени вы как можно реже видели свою семью. Когда минует надобность в ваших услугах, когда вы перестанете их оказывать и не будете больше получать жалованье, всякие отношения между нами прекращаются. Вы меня понимаете?

Миссис Тудль как будто сомневалась в этом; что же касается до самого Тудля, то, очевидно, он нисколько не сомневался в том, что ничего не понимает.

— У вас у самой есть дети,— сказал мистер Домби.— В наш договор отнюдь не входит, что вы должны привязаться к моему ребенку или что мой ребенок должен привязаться к вам. Я не жду и не требую чего-либо в этом роде. Как раз наоборот. Когда вы отсюда уйдете, вы расторгнете отношения, которые являются всего-навсего договором о купле-продаже, о найме, и устранитесь. Ребенок перестанет вспоминать о вас; и вы будьте так добры не вспоминайте о ребенке.

Миссис Тудль, разрумянившись чуть-чуть сильнее, чем раньше, выразила надежду, «что она свое место знает».

— Надеюсь, что знаете, Ричардс,— сказал мистер Домби.— Нисколько не сомневаюсь, что вы его прекрасно знаете. В самом деле, это так ясно и очевидно, что иначе и быть не может. Луиза, дорогая, моя, условьтесь с Ричардс о жалованье, и пусть она его получает, когда и как ей будет угодно. Мистер, как вас там зовут, я хочу вам кое-что сказать.

Задержанный таким образом на пороге в тот момент, когда он собирался выйти вслед за женой из комнаты, Тудль вернулся и остался наедине с мистером Домби. Это был сильный, неуклюжий, сутулый, неповоротливый, лохматый человек в мешковатом костюме, с густыми волосами и бакенбардами, ставшими темнее, чем были от природы, быть может благодаря дыму и угольной пыли, с мозолистыми, узловатыми руками и квадратным лбом, шершавым, как дубовая кора. Полная противоположность во всех отношениях мистеру Домби, который был одним из тех чисто выбритых, холеных, богатых джентльменов, которые блестят и хрустят, как новенькие кредитные билеты, и, кажется, будто их искусственно взбадривает возбуждающее действие золотого душа.

— У вас, кажется, есть сын? — спросил мистер Домби.

— Четверо их, сэр. Четверо и одна девочка. Все здравствуют.

— Да ведь у вас едва хватает средств их содержать? — сказал мистер Домби.

— Есть еще одна штука, сэр, которая мне никак не по средствам.

— Что именно?

— Потерять их, сэр.

— Читать умеете? — спросил мистер Домби.

— Кое-как, сэр.

— Писать?

— Мелом, сэр?

— Чем угодно.

— Пожалуй, мог бы как-нибудь управиться с мелом, если бы понадобилось,— подумав, сказал Тудль.

— А ведь вам, полагаю,— сказал мистер Домби,— года тридцать два — тридцать три.

— Полагаю, что примерно столько,— отвечал Тудль, снова подумав.

— В таком случае, почему же вы не учитесь? — спросил мистер Домби.

— Да вот я и собираюсь, сэр. Один из моих мальчуганов будет меня обучать, когда подрастет и сам пойдет в школу.

— Так! — сказал мистер Домби, посмотрев на него внимательно и не очень благосклонно, в то время как тот стоял, обозревая комнату (преимущественно потолок) и по-прежнему проводя рукою по губам.— Вы слышали, что я сказал только что вашей жене?

— Полли слышала,— отвечал Тудль, махнув через плечо шляпой в сторону двери с видом полного доверия к своей лучшей половине.— Все в порядке.

— Так как вы, по-видимому, все предоставляете ей,— сказал Домби, обескураженный в своем намерении еще внушительнее изложить свою точку зрения мужу как сильнейшему,— то, полагаю, не имеет смысла говорить о чем бы то ни было с вами.

— Ровно никакого,— отвечал Тудль.— Полли слышала. Уж *она*-то не зевает, сэр.

— В таком случае, я вас не задерживаю дольше,— сказал разочарованный мистер Домби.— Где вы работали раньше и где теперь работаете?

— Все больше под землей, сэр, покуда не женился. Потом я выбрался на поверхность. Разъезжаю по одной из этих железных дорог, с той поры как их построили.

Подобно тому, как последняя соломинка может сломать спину нагруженного верблюда, так это сообщение о шахте сокрушило слабеющий дух мистера Домби. Он указал на дверь мужу кормилицы своего сына; когда тот охотно удалился, мистер Домби повернул ключ и стал ходить по комнате, одинокий и несчастный. Несмотря на все свое накрахмаленное, непроницаемое величие и хладнокровие, он смахивал при этом слезы и часто повторял с волнением, которого ни за что на свете не согласился бы проявить на людях: «Бедный мальчик!»

Быть может, характерно для гордыни мистера Домби, что о самом себе он сожалел через ребенка. Не «бедный я!», не бедный вдовец, принужденный довериться жене невежественного простака, который всю жизнь работал «все больше под землей», но в чью дверь ни разу не постучалась Смерть и за чей стол ежедневно садилось четверо сыновей, но — «бедный мальчик!»

Эти слова были у него на устах, когда ему пришло в голову — и это свидетельствует о сильном тяготении его надежд, страхов и всех его мыслей к единому центру,— что великое искушение встает на пути этой женщины. Ее новорожденный тоже мальчик. Не может ли она подменить ребенка?

Хотя он вскоре облегченно отогнал это предположение как романтическое и неправдоподобное,— но все же возможное, чего нельзя было отрицать,— он невольно развил его, представив мысленно, каково будет его положение, если он, состарившись, обнаружит такой обман. В состоянии ли будет человек при таких условиях отнять у самозванца то, что создано многолетней привычкой, уверенностью и доверием, и отдать все чужому?

Когда несвойственное ему волнение улеглось, эти опасения постепенно рассеялись, хотя тень их осталась, и он принял решение наблюдать внимательно за Ричардс, скрывая это от окружающих. Находясь теперь в более спокойном расположении духа, он пришел к выводу, что общественное положение этой женщины является скорее благоприятным обстоятельством, ибо оно уже само по себе отдаляет ее от ребенка и сделает их разлуку легкой и естественной.

Тем временем между миссис Чик и Ричардс было заключено и скреплено соглашение с помощью мисс Токс, а Ричардс, которой с большими церемониями вручили, словно некий орден, младенца Домби, передала своего собственного ребенка со слезами и поцелуями Джемайме. Затем было подано вино, чтобы поднять дух семейства.

— Не хотите ли выпить стаканчик, сэр? — предложила мисс Токс, когда явился Тудль.

— Благодарю вас, сударыня,— сказал Тудль,— уж коли вы угощаете...

— И вы с радостью оставляете свою славную жену в таком прекрасном доме, не так ли, сэр? — продолжала мисс Токс, украдкой кивая ему и подмигивая.

— Нет, сударыня,— сказал Тудль.— Пью за то, чтобы она опять была дома.

При этом Полли еще сильнее заплакала. Посему миссис Чик, которая, как и подобает матроне, обеспокоилась, как бы чрезмерная скорбь не причинила ущерба маленькому Домби («молоко пропадет, пожалуй»,— шепнула она мисс Токс), поспешила на выручку.

— Ваш малютка, Ричардс, будет превосходно себя чувствовать с вашей сестрой Джемаймой,— сказала миссис Чик,— а вам нужно только сделать усилие,— в этом мире, знаете ли, все требует усилий, Ричардс,— чтобы быть совершенно счастливой. С вас уже сняли мерку для траурного платья, не так ли, Ричардс?

— Да-а, сударыня,— всхлипывала Полли.

— И оно будет прекрасно сидеть на вас, я уверена,— сказала миссис Чик,— потому что эта же молодая особа сшила мне много платьев. И из лучшей материи!

— Ах, вы будете такой франтихой,— сказала мисс Токс,— что муж вас не узнает. Не правда ли, сэр?

— Я бы ее узнал в чем угодно и где угодно,— проворчал Тудль.

Было ясно, что Тудля не подкупишь.

— А что касается стола, Ричардс,— продолжала миссис Чик,— то к вашим услугам будет все самое лучшее. Ежедневно вы будете сами заказывать себе обед; и все, чего бы вы ни пожелали, тотчас вам приготовят, словно вы какая-нибудь леди.

— Да, разумеется! — с большою готовностью подхватила мисс Токс.— И портер — в неогра́ниченном количестве, правда, Луиза?

— О, несомненно! — отвечала в том же тоне миссис Чик.— Придется только, милая моя, слегка воздерживаться от овощей.

— И, пожалуй, пикулей,— подсказала мисс Токс.

— За этими исключениями, моя дорогая,— сказала Луиза,— она может руководствоваться своими вкусами и ни в чем себе не отказывать.

— А затем вам, конечно, известно,— сказала мисс Токс,— как она любит своего собственного дорогого малютку, и я уверена, Луиза, *вы* не осуждаете ее за то, что она его любит?

— О нет! — воскликнула миссис Чик, полная великодушия.

— Однако,— продолжала мисс Токс,— она, естественно, должна интересоваться своим юным питомцем и почитать за честь, что на ее глазах маленький херувим, тесно связанный с высшим обществом, ежедневно черпает силы из единого для всех источника. Не правда ли, Луиза?

— Совершенно верно! — подтвердила миссис Чик.— Вы видите, моя дорогая, она уже совершенно спокойна и довольна и собирается весело и с улыбкой попрощаться со своей сестрой Джемаймой, своими малютками и со своим добрым честным мужем. Не правда ли, дорогая моя?

— О да! — воскликнула мисс Токс.— Разумеется!

Несмотря на это, бедная Полли перецеловала их всех с великой скорбью и, наконец, убежала, чтобы ускользнуть от более нежного прощанья с детьми. Но эта хитрость не увенчалась заслуженным успехом, ибо один из младших мальчиков, угадав ее намерение, тотчас начал карабкаться — если можно применить это слово с сомнительной этимологией — вслед за нею на четвереньках по лестнице, а старший (известный в семье под кличкой Байлера * — в честь паровоза) отбивал дьявольскую чечетку сапогами в знак своего огорчения; к нему присоединились и все прочие члены семейства.

Множество апельсинов и полупенсов, посыпавшихся на всех без исключения юных Тудлей, успокоили первые

приступы горя, и семейство было поспешно отправлено домой в наемной карете, которую задержали специально для этой цели. Дети под охраной Джемаймы теснились у окна и всю дорогу роняли апельсины и полупенсы. Сам мистер Тудль предпочел ехать на запятках среди торчавших гвоздей — способ передвижения для него самый привычный.

ГЛАВА III,

в которой мистер Домби показан во главе своего домашнего департамента как человек и отец

Похороны скончавшейся леди «состоялись», к полному удовольствию владельца похоронного бюро, а также и всего окрестного населения, которое обычно расположено в таких случаях к придиркам и склонно возмущаться каждым промахом и упущением в церемонии, после чего многочисленные домочадцы мистера Домби вновь заняли соответствующие им места в домашней системе. Этот маленький мирок подобно великому внешнему миру отличался способностью быстро забывать своих умерших; и когда кухарка сказала: «У леди был кроткий нрав», а экономка сказала: «Таков наш удел», а дворецкий сказал: «Кто бы мог это подумать?», а горничная сказала, что «она едва может этому поверить», а лакей сказал: «Это похоже на сон»,— событие окончательно покрылось ржавчиной, и они начали подумывать о том, что и траур их порыжел от носки.

Ричардс, которую держали наверху в почетном плену, заря новой жизни казалась холодной и серой. У мистера Домби был большой дом на теневой стороне темной, но элегантной улицы с высокими домами, между Портленд-Плейс и Брайанстон-сквер. Это был угловой дом с просторными «двориками» *, куда выходили погреба, которые хмуро взирали на свет своими зарешеченными окнами и презрительно щурились косоглазыми дверьми, ведущими к мусорным ящикам. Это был величественный и мрачный дом с полукруглым задним фасадом, с анфиладой зал, выходивших окнами на усыпанный гравием двор, где два

чахлых дерева с почерневшими стволами скорее стучали, чем шелестели,— так были прокопчены их листья. Летом солнце заглядывало в эту улицу только по утрам, примерно в час первого завтрака, появляясь вместе с водовозами, старьевщиками, торговцами геранью, починщиком зонтов и человеком, который на ходу позвякивал колокольчиком от голландских часов. Вскоре оно вновь скрывалось, чтобы больше уже не показываться в тот день, а музыканты и бродячий Панч *, скрываясь вслед за ним, уступали улицу самым заунывным шарманкам и белым мышам или иной раз дикобразу — чтобы разнообразить увеселительные номера; а в сумерках дворецкие, когда их хозяева обедали в гостях, появлялись у дверей своих домов, и фонарщик каждый вечер терпел неудачу, пытаясь с помощью газа придать улице более веселый вид.

И внутри этот дом был так же мрачен, как снаружи. После похорон мистер Домби распорядился накрыть мебель чехлами,— быть может, желая сохранить ее для сына, с которым были связаны все его планы,— и не производить уборки в комнатах, за исключением тех, какие он предназначал для себя в нижнем этаже. Тогда таинственные сооружения образовались из столов и стульев, составленных посреди комнат и накрытых огромными саванами. Ручки колокольчиков, жалюзи и зеркала, завешенные газетами и журналами, ежедневными и еженедельными, навязывали отрывочные сообщения о смертях и страшных убийствах. Каждый канделябр, каждая люстра, закутанные в полотно, напоминали чудовищную слезу, падающую из глаза на потолке. Из каминов неслись запахи, как из склепа или сырого подвала. Портрет умершей и похороненной леди, в рамке, повитой трауром, наводил страх. Каждый порыв ветра, налетая из-за угла соседних конюшен, приносил клочья соломы, которая была постлана перед домом во время ее болезни и гниющие остатки которой еще сохранились по соседству; притягиваемые какой-то неведомой силой к порогу грязного, сдающегося внаем дома напротив, они с мрачным красноречием взывали к окнам мистера Домби.

Апартаменты, которые оставил для себя мистер Домби, сообщались с холлом и состояли из гостиной,

библиотеки (которая была, в сущности, туалетной комнатой, так что запах атласной и веленевой бумаги, сафьяна и юфти состязался здесь с запахом многочисленных пар башмаков) и оранжереи, или маленького застекленного будуара, откуда видны были упоминавшиеся выше деревья и — иной раз — крадущаяся кошка. Эти три комнаты были расположены одна за другой. По утрам, когда мистер Домби завтракал в одной из первых двух комнат, а также под вечер, когда он возвращался домой к обеду, раздавался звонок, призывавший Ричардс, которая являлась в застекленное помещение и там прогуливалась со своим юным питомцем. Бросая по временам взгляды на мистера Домби, сидевшего в темноте и посматривавшего на младенца из-за темной тяжелой мебели — в этом доме много лет прожил его отец и в обстановке оставалось немало старомодного и мрачного,— она стала размышлять о мистере Домби и его уединении, словно он был узником, заключенным в одиночную камеру, или странным привидением, которого нельзя ни окликнуть, ни понять.

Уже несколько недель кормилица маленького Поля Домби сама вела такую жизнь и проносила сквозь нее маленького Поля; и вот однажды, когда она вернулась наверх после меланхолической прогулки в угрюмых комнатах (она никогда не выходила из дому без миссис Чик, которая являлась по утрам в хорошую погоду, обычно в сопровождении мисс Токс, чтобы вывести на свежий воздух ее с младенцем, или, иными словами, торжественно водить их по улице, словно в похоронной процессии) и сидела у себя,— дверь медленно и тихо отворилась, и в комнату заглянула маленькая темноглазая девочка.

«Должно быть, это мисс Флоренс вернулась домой от своей тетки»,— подумала Ричардс, еще ни разу не видевшая девочки.— Надеюсь, вы здоровы, мисс?

— Это мой брат? — спросила девочка, указывая на младенца.

— Да, милочка,— ответила Ричардс.— Подойдите, поцелуйте его.

Но девочка, вместо того, чтобы приблизиться, серьезно посмотрела ей в лицо и сказала:

— Что вы сделали с моей мамой?

— Господи помилуй, малютка! — воскликнула Ричардс.— Какой ужасный вопрос! Что я сделала? Ничего, мисс.

— Что *они* сделали с моей мамой? — спросила девочка.

— В жизни не видала такого чувствительного ребенка! — сказала Ричардс, которая, естественно, представила на ее месте одного из своих детей, осведомляющегося о ней при таких же обстоятельствах.— Подойдите поближе, милая моя мисс. Не бойтесь меня.

— Я вас не боюсь,— сказала девочка, подойдя к ней.— Но я хочу знать, что они сделали с моей мамой.

— Милочка,— сказала Ричардс,— вы носите это хорошенькое черное платьице в память своей мамы.

— Я помню маму во всяком платье,— возразила девочка со слезами на глазах.

— Но люди надевают черное, чтобы вспоминать о тех, кого уже нет.

— Где же они? — спросила девочка.

— Подойдите и сядьте возле меня,— сказала Ричардс,— а я вам что-то расскажу.

Тотчас догадавшись, что рассказ должен иметь какое-то отношение к ее вопросам, маленькая Флоренс положила шляпу, которую держала в руках, и присела на скамеечку у ног кормилицы, глядя ей в лицо.

— Жила когда-то на свете леди,— начала Ричардс,— очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее.

— Очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее,— повторила девочка.

— И вот, когда бог пожелал, чтобы так случилось, она заболела и умерла.

Девочка вздрогнула.

— Умерла, и никто уже не увидит ее больше на этом свете, и ее зарыли в землю, где растут деревья.

— В холодную землю? — сказала девочка, снова вздрогнув.

— Нет! В теплую землю,— возразила Полли, воспользовавшись удобным случаем,— где некрасивые маленькие семена превращаются в прекрасные цветы, в траву и колосья и мало ли во что еще. Где добрые люди превращаются в светлых ангелов и улетают на небо.

Девочка, опустившая было голову, снова подняла глаза и сидела, пристально глядя на Полли.

— Так вот, послушайте-ка,— продолжала Полли, не на шутку взволнованная этим пытливым взглядом, своим желанием утешить ребенка, неожиданным своим успехом и недоверием к собственным силам.— Так вот, когда эта леди умерла, куда бы ее ни отнесли и где бы ни положили — все равно она пошла к богу, и стала эта леди молиться ему, да, молиться,— повторила Полли, очень растроганная, ибо говорила от всей души,— о том, чтобы он научил ее маленькую дочку верить этому всем сердцем и знать, что там она счастлива и любит ее по-прежнему, и надеяться, и всю жизнь думать о том, чтобы когда-нибудь встретиться там с нею и больше никогда, никогда не расставаться.

— Это моя мама! — воскликнула девочка, вскакивая и обнимая Полли за шею.

— А девочка,— продолжала Полли, прижимая ее к груди,— маленькая дочка верила всем сердцем, и когда услыхала о том от незнакомой кормилицы, которая и рассказать-то хорошенько не умела, но сама была бедной матерью, только и всего,— дочка утешилась... уже не чувствовала себя такой одинокой... плакала и рыдала у нее на груди... пожалела малютку, лежавшего у нее на коленях и... ну, полно, полно! — говорила Полли, приглаживая кудри девочки и роняя на них слезы.— Полно, бедняжечка!

— Вот как, мисс Флой! Ну, и рассердится же ваш папенька! — раздался резкий голос, принадлежавший невысокой смуглой девушке, казавшейся старше своих четырнадцати лет, с вздернутым носиком и черными глазами, похожими на бусинки из агата.— Да ведь вам строго-настрого было приказано, чтобы вы не ходили сюда и не надоедали кормилице.

— Она мне не надоедает,— последовал удивленный ответ Полли.— Я очень люблю детей.

— Ах, прошу прощенья, миссис Ричардс, но это, видите ли, ничего не значит,— возразила черноглазая девушка, которая была так резка и язвительна, что, казалось, могла довести человека до слез.— Быть может, я очень люблю съедобных улиток, миссис Ричардс, но отсюда еще не следует, что мне должны подавать их к чаю.

— Ну, это пустяки,— сказала Полли.

— Ах, вот как, благодарю вас, миссис Ричардс! — воскликнула резкая девушка.— Однако будьте так любезны припомнить, что мисс Флой на моем попечении, а мистер Поль — на вашем.

— Но все же нам незачем ссориться,— сказала Полли.

— О да, миссис Ричардс,— подхватила Задира.— Вовсе незачем, я этого не хочу, не для чего нам становиться в такие отношения, раз при мисс Флой место постоянное, а при мистере Поле — временное.

Задира не делала никаких пауз, выпаливая все, что хотела сказать, в одной фразе и по возможности одним духом.

— Мисс Флоренс только что вернулась домой? — спросила Полли.

— Да, миссис Ричардс, только что вернулась, и вот, мисс Флой, не успели вы и четверти часа провести дома, как уже третесь мокрым лицом о дорогое траурное платье, которое миссис Ричардс носит по вашей маменьке!

После такого выговора молодая Задира, чье настоящее имя было Сьюзен Нипер, насильно оторвала девочку от ее нового друга — словно зуб вырвала. Но, казалось, она это сделала без всякого злого умысла, а скорее от чрезмерного служебного рвения.

— Теперь она опять дома и будет счастлива,— сказала Полли, кивая ей головой, и ободряющая улыбка появилась на добродушном ее лице.— А как же она обрадуется, когда увидит вечером своего дорогого папу!

— Эх, миссис Ричардс! — воскликнула мисс Нипер, тотчас подхватывая ее слова.— Полноте! Увидит своего дорогого папу, как бы не так! Хотела б я на это посмотреть!

— А разве она его не увидит? — спросила Полли.

— Э нет, миссис Ричардс, ее папенька чересчур уж много занят кем-то другим, да и покуда еще не было кого-то другого, она никогда не была любимицей; в этом доме девочек ни во что не ставят, миссис Ричардс, могу вас уверить!

Флоренс быстро переводила взгляд с одной няньки на другую, словно понимала и чувствовала, о чем идет речь.

— Вот тебе на! — воскликнула Полли.— Неужто мистер Домби не видал ее с той поры...

— Ну да,— перебила Сьюзен Нипер.— Не видал с той поры ни разу, да и раньше по месяцам почти не глядел на нее, и вряд ли признает в ней свою дочь, если завтра встретит на улице, а что до *меня,* миссис Ричардс,— хихикнув, добавила Задира,— то я подозреваю, что он не знает о моем существовании.

— Милая крошка! — сказала Ричардс, имея в виду не мисс Нипер, а маленькую Флоренс.

— О да, здесь сущий ад на сто миль кругом, смею вас заверить, миссис Ричардс, не говоря, разумеется, о присутствующих,— сказала Сьюзен Нипер.— Желаю вам доброго утра, миссис Ричардс, ну-с, мисс Флой, извольте идти со мной и не упирайтесь, как непослушный, капризный ребенок, который не умеет вести себя примерно.

Несмотря на такое увещание и несмотря также на подталкивания Сьюзен Нипер, грозившие вывихом правого плеча, маленькая Флоренс вырвалась и нежно поцеловала своего нового друга.

— Прощайте! — сказала девочка.— Благослови вас бог. Скоро я опять к вам приду, и вы ко мне придете. Сьюзен нам позволит. Позволите, Сьюзен?

В общем, Задира была, по-видимому, добродушной маленькой особой, хотя и принадлежала к той школе воспитателей юных умов, которая считает, что детей, как и деньги, следует хорошенько встряхивать, тереть и перетирать, чтобы придать им блеск. Ибо, услышав эту просьбу, сопровождавшуюся умоляющими жестами и ласками, она скрестила ручки, покачала головой, и взгляд ее широко раскрытых черных глаз стал мягче.

— Нехорошо, что вы меня об этом просите, мисс Флой, вы ведь знаете, что я не могу вам отказать, но мы с миссис Ричардс подумаем, что тут можно сделать, если миссис Ричардс пожелает... мне, видите ли, миссис Ричардс, может быть, хочется прокатиться в Китай, но, быть может, я не знаю, как выбраться из лондонских доков.

Ричардс согласилась с этим заявлением.

— Не такое уж веселье царит в этом доме,— сказала мисс Нипер,— чтобы человеку захотелось большего оди-

ночества, чем то, какое поневоле выносишь. Ваши Токсы и ваши Чики могут вырвать у меня по два передних зуба, миссис Ричардс, но это еще не причина, почему я должна предложить им всю челюсть.

Это заявление было также принято Ричардс, как не вызывающее сомнений.

— Так будьте уверены,— сказала Сьюзен Нипер,— что я готова жить в дружбе, миссис Ричардс, покуда вы остаетесь при мистере Поле, если удастся что-нибудь выдумать, не нарушая открыто приказаний, но, господи помилуй, мисс Флой, вы до сих пор еще не разделись, непослушная вы девочка, ступайте!

С этими словами Сьюзен Нипер, прибегнув к насилию, налетела на свою юную питомицу и вымела ее из комнаты.

Девочка, тоскующая и заброшенная, была такой кроткой, такой тихой и безответной, столько было в ней нежности, которая, казалось, никому не была нужна, и столько болезненной чуткости, которую, казалось, никто не замечал и не боялся ранить, что у Полли сжалось сердце, когда она снова осталась одна. Простой разговор между нею и осиротевшей девочкой растрогал ее материнское сердце не меньше, чем сердце ребенка; и так же, как ребенок, она почувствовала, что с этой минуты между ними возникли доверие и близость.

Несмотря на то, что мистер Тудль во всем полагался на Полли, она вряд ли превосходила его в области приобретенных познаний. Но она была наглядным образцом женской натуры, которая в целом может лучше, честнее, выше, благороднее, быстрее почувствовать и проявить большее постоянство в нежности и сострадании, самопожертвовании и преданности, чем натура мужская. Хотя она ничему не училась, она могла бы с самого начала дать мистеру Домби крупицу знания, которое, в этом случае, не поразило бы его впоследствии как молния.

Но мы уклонились в сторону. В настоящее время Полли помышляла только о том, как бы укрепить завоеванную благосклонность мисс Нипер и придумать способ, чтобы маленькая Флоренс могла быть с нею, не нарушая запретов и не проявляя непокорности. В тот же вечер представился удобный случай.

Как обыкновенно, она по звонку сошла вниз в застекленную комнату и долго прогуливалась с ребенком на руках, как вдруг, к великому ее изумлению и испугу, появился мистер Домби и остановился перед ней.

— Добрый вечер, Ричардс.

Все тот же строгий, чопорный джентльмен, каким она увидела его в тот первый день. Джентльмен с таким суровым взглядом, что она невольно потупилась и сделала реверанс.

— Как поживает мистер Поль, Ричардс?

— Растет, сэр, здоров.

— Вид у него здоровый,— сказал мистер Домби, всматриваясь с величайшим вниманием в крохотное личико, которое она приоткрыла, и, однако, притворяясь в какой-то мере равнодушным.— Надеюсь, вы получаете все что хотите?

— Да, сэр, благодарю вас.

Однако она с таким замешательством дала этот ответ, что мистер Домби, который уже отошел от нее, остановился и снова повернулся к ней с вопросительным видом.

— Мне кажется, сэр, чтобы развлечь и развеселить ребенка, ничего не может быть лучше, как позволить другим детям играть около него,— набравшись храбрости, заметила Полли.

— Когда вы поступили сюда, Ричардс,— нахмурившись, сказал мистер Домби,— я, кажется, высказал желание, чтобы вы как можно реже виделись со своей семьей. Будьте добры, продолжайте свою прогулку.

С этими словами он удалился во внутренние комнаты, а Полли догадалась, что он совсем не понял ее намерения и что она впала в немилость, отнюдь не приблизившись к цели.

На следующий вечер, сойдя вниз, она увидела, что мистер Домби прогуливается по оранжерее. Она остановилась в дверях, смущенная этим необычным зрелищем, не зная, идти ли ей дальше, или отступить; он подозвал ее.

— Если вы действительно считаете, что такое общество полезно ребенку,— сказал он отрывисто, словно только что услышал предложение кормилицы,— то где же мисс Флоренс?

— Никого лучше не найти, чем мисс Флоренс, сэр,— с жаром подхватила Полли,— но со слов ее маленькой служанки я поняла, что им не...

Мистер Домби позвонил и зашагал по комнате, пока не явился слуга.

— Распорядитесь, чтобы мисс Флоренс приводили к Ричардс, когда она пожелает, отпускали с ней на прогулку и так далее. Распорядитесь, чтобы детям разрешали быть вместе, когда этого захочет Ричардс.

Железо было горячо, и Ричардс, смело принявшись его ковать,— это было доброе дело, и она не теряла мужества, хотя инстинктивно боялась мистера Домби,— пожелала, чтобы мисс Флоренс немедленно спустилась сюда и познакомилась со своим маленьким братом.

Она сделала вид, будто баюкает ребенка, когда слуга ушел исполнять поручение, но ей почудилось, что мистер Домби побледнел, что выражение его лица резко изменилось, что он быстро повернулся, словно хотел взять назад свои слова, ее слова или и те и другие, а удержал его только стыд.

И она была права. В последний раз он видел свою заброшенную дочь в объятиях умирающей матери, что было для него и откровением и укоризной. Как ни был он поглощен Сыном, на которого возлагал такие большие надежды, он не мог забыть эту заключительную сцену. Он не мог забыть о том, что не принимал в ней никакого участия, что в прозрачных глубинах нежности и правды эти два существа сжимали друг друга в объятиях, тогда как он сам стоял на берегу, глядя на них сверху вниз как простой зритель — не соучастник, отвергнутый.

Так как он не в силах был отогнать эти воспоминания и не задумываться над теми неясными образами, исполненными смысла, какие он мог различить сквозь туман своей гордыни, прежнее его равнодушие к маленькой Флоренс сменилось какою-то странной неловкостью. У него появилось такое ощущение, как будто она следит за ним и не доверяет ему. Как будто у нее есть ключ от какой-то тайны, спрятанной в его сердце, природа которой вряд ли была известна ему самому. Как будто ей дано знать об одной дребезжащей и ненастроенной струне в нем, и от одного ее дыхания эта струна может зазвучать.

Его отношение к девочке было отрицательным с самого ее рождения. Он никогда не питал к ней отвращения: не стоило труда, да это и не было ему свойственно. Явной неприязни он к ней не чувствовал. Но теперь она приводила его в смущение. Она нарушала его покой. Он предпочел бы совершенно прогнать мысли о ней, если бы знал, как это сделать. Быть может — кто разгадает такие тайны? — он боялся, что возненавидит ее.

Когда маленькая Флоренс боязливо вошла, мистер Домби прервал свое хождение и посмотрел на нее. Посмотри он на нее с бо́льшим интересом, глазами отца, он прочел бы в ее зорком взгляде волнения и страхи, приводившие ее в замешательство; страстное желание прильнуть к нему, спрятать лицо на его груди и воскликнуть: «О папа, постарайтесь полюбить меня! У меня никого больше нет!»; опасение, что ее оттолкнут; боязнь оказаться слишком дерзкой и оскорбить его; мучительную потребность в поддержке и ободрении. И, наконец, он увидел бы, как ее детское сердце, обремененное непосильной ношей, ищет какого-нибудь естественного прибежища и для скорби своей и для любви.

Но ничего этого он не видел. Он видел только, как она нерешительно остановилась в дверях и посмотрела в его сторону; и больше ничего он не видел.

— Войди,— сказал он,— войди. Чего боится эта девочка?

Она вошла и, неуверенно посмотрев вокруг, остановилась у самой двери, крепко сжимая маленькие ручки.

— Подойди, Флоренс,— холодно сказал отец.— Ты знаешь, кто я?

— Да, папа.

— Не хочешь ли ты что-нибудь сказать мне?

Слезы, выступившие у нее на глазах, когда она посмотрела на него, застыли под его взглядом. Она снова потупилась и протянула дрожащую руку.

Мистер Домби небрежно взял ее за руку и с минуту стоял, глядя на нее, словно не знал, как не знал и ребенок, что нужно сказать или сделать.

— Ну, вот! Будь хорошей девочкой,— сказал он, гладя ее по голове и украдкой бросая на нее смущенный и недоверчивый взгляд.— Ступай к Ричардс! Ступай!



Его маленькая дочь помедлила секунду, как будто все еще хотела прильнуть к нему или питала слабую надежду, что он возьмет ее на руки и поцелует. Она еще раз подняла на него глаза. Он вспомнил, что такое же выражение лица было у нее, когда она оглянулась и посмотрела на доктора — в тот вечер,— и инстинктивно выпустил ее руку и отвернулся.

Нетрудно было заметить, что Флоренс много проигрывала в присутствии отца. Связаны были не только мысли девочки, но и природная ее грация и свобода движений. Все же Полли, видя это, не утратила бодрости духа и, судя о мистере Домби по себе, возлагала надежды на безмолвный призыв — траурное платье бедной маленькой Флоренс. «Право же, это жестоко,— думала Полли,— если он любит только одного осиротевшего ребенка, когда у него перед глазами еще один, и к тому же девочка».

Поэтому Полли старалась удержать ее подольше перед его глазами и ловко нянчила маленького Поля, чтобы показать, как он оживился в обществе сестры. Когда пришло время идти наверх, она послала было Флоренс в соседнюю комнату пожелать отцу спокойной ночи, но девочка смутилась и попятилась, а когда Полли начала настаивать, она прикрыла глаза рукой, словно прячась от своего собственного ничтожества, и воскликнула:

— О нет, нет! Я ему не нужна! Я ему не нужна!

Этот маленький спор привлек внимание мистера Домби; не вставая из-за стола, за которым он пил вино, мистер Домби осведомился, в чем дело.

— Мисс Флоренс боится, что помешает, сэр, если войдет пожелать вам спокойной ночи,— сказала Ричардс.

— Ничего, ничего! — отозвался мистер Домби.— Пусть приходит и уходит, когда ей вздумается.

Девочка съежилась, услышав это, и ушла, прежде чем ее скромная приятельница успела оглянуться.

Впрочем, Полли очень радовалась успеху своего благого замысла и той ловкости, с какою она его осуществила, о чем и сообщила со всеми подробностями Задире, как только снова водворилась благополучно наверху. Мисс Нипер приняла это доказательство ее доверия, а также надежду на свободное общение их в будущем довольно холодно и не проявила никакого восторга.

— Я думала, что вы останетесь довольны,— сказала Полли.

— О, еще бы, миссис Ричардс, я чрезвычайно довольна, благодарю вас! — отвечала Сьюзен, которая внезапно выпрямилась так, как будто вставила себе добавочную кость в корсет.

— По вас это не видно,— сказала Полли.

— О, ведь я всего-навсего постоянная, а не временная, так нечего и ждать, чтобы по мне было видно! — сказала Сьюзен Нипер.— Я вижу, что временные одерживают здесь верх, но хотя между этим домом и соседним прекрасная стенка, однако, несмотря ни на что, мне, может быть, все-таки не хочется очутиться припертой к ней, миссис Ричардс!

ГЛАВА IV,

в которой на сцене, где развертываются эти события, впервые выступают новые лица

Хотя контора Домби и Сына находилась в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу *, когда гулкие голоса их еще не тонули в уличном шуме, однако кое-где по соседству можно было подметить следы отважной и романтической жизни. Гог и Магог * во всем своем великолепии пребывали в десяти минутах ходьбы; Королевская биржа находилась поблизости; Английский банк с его подземельями, наполненными золотом и серебром, «там внизу, среди мертвецов» *, был величественным их соседом. За углом высился дом богатой Ост-Индской компании *, наводя на мысль о драгоценных тканях и камнях, о тиграх, слонах, широких седлах с балдахином, кальянах, зонтах, пальмах, паланкинах и великолепных смуглых принцах, сидящих на ковре, в туфлях с сильно загнутыми вверх носками. Всюду по соседству можно было увидеть изображения кораблей, устремляющихся на всех парусах во все части света; товарные склады, готовые отправить в путь кого угодно и куда угодно, в полном снаряжении, через полчаса; и маленьких деревянных мичманов в устаревшей

морской форме, находившихся над входом в лавки морских инструментов и вечно наблюдавших за наемными каретами.

Единственный хозяин и владелец одной из таких фигурок — той, которую можно было бы назвать фамильярно самой деревянной,— той, которая возвышалась над тротуаром, выставив вперед правую ногу с учтивостью поистине невыносимой, обладала пряжками на башмаках и жилетом с лацканами, поистине неприемлемыми для человеческого разума, и подносила к правому глазу некий возмутительно несоразмерный инструмент,— единственный хозяин и владелец этого Мичмана,— вдобавок гордившийся им,— пожилой джентльмен в валлийском парике *, вносил арендную плату, налоги и пошлины в течение большего числа лет, чем насчитывали многие великовозрастные мичманы во плоти и крови, а в мичманах, которые достигли бодрой старости, не было недостатка в английском флоте.

Запас товаров этого старого джентльмена состоял из хронометров, барометров, подзорных труб, компасов, карт морских и географических, секстантов, квадрантов и образцов всевозможных инструментов, какими пользуются, прокладывая курс судна, ведя судовые вычисления и определяя местонахождение корабля. В ящиках и на полках хранились у него предметы из меди и стекла, и никто, кроме посвященных, не мог бы определить, где у них верх, или угадать способ их применения, или же, осмотрев их, снова уложить без посторонней помощи в их гнезда из красного дерева. Каждая вещь была втиснута в самый узкий футляр, вложена в самое тесное отделение, защищена самыми нелепыми подушечками и привинчена туго-натуго, дабы философическое ее спокойствие не пострадало от морской качки. Такие необычайные меры предосторожности были приняты решительно во всем, с целью сэкономить место и уложить вещи потеснее, и столько практической навигации было прилажено, защищено подушками и втиснуто в каждый ящик (был ли то обыкновенный четырехугольный ящик, как иные из них, или нечто среднее между треуголкой и морской звездой, или же ящики простенькие и скромные), что и сама лавка поддалась заразительному влиянию и как будто превра-

тилась в уютное мореходное, корабельного типа сооружение, которое в случае неожиданного спуска на воду нуждалось только в морских просторах, чтобы благополучно приплыть к любому необитаемому острову на земном шаре.

Многие более мелкие детали в хозяйстве мастера корабельных инструментов, гордившегося своим Маленьким Мичманом, поддерживали и упрочивали эту иллюзию. Так как его знакомыми были преимущественно судовые поставщики и тому подобные люди, то на столе у него всегда находились в большом количестве настоящие морские сухари. Этот стол был в дружеских отношениях с сушеным мясом и языками, отличавшимися своеобразным запахом пеньки. Соленья появлялись на нем в огромных оптовых банках с ярлыками: «Поставщик всех видов провианта для судов»; спиртные напитки подавались в плетеных фляжках без горлышка. Старые гравюры, изображающие корабль, с алфавитными указателями, относящимися к многочисленным его тайнам, висели в рамах на стене; восточный фрегат под парусами красовался на полке; заморские раковины, водоросли и мхи украшали камин; в маленькую, отделанную панелью гостиную свет проникал, как в каюту, через светлый люк.

Здесь жил он, на положении шкипера, один со своим племянником Уолтером, четырнадцатилетним мальчиком, который в достаточной мере походил на мичмана, чтобы не нарушать общего впечатления. Но этим и кончалось дело, ибо сам Соломон Джилс (чаще именуемый старым Солем) отнюдь не имел сходства с моряками. Не говоря уже о его валлийском парике, который был самым безобразным и упрямым из всех валлийских париков и в котором он был похож на что угодно, но только не на пирата, это был медлительный, задумчивый старик с тихим голосом, с глазами красными, как маленькие солнца, глядящие на вас сквозь туман, и с видом человека, только что проснувшегося, каковой он мог приобрести, если бы смотрел дня три-четыре подряд во все оптические инструменты своей лавки, а затем внезапно вернулся к окружающему его миру и нашел его помолодевшим. Единственная перемена, которую можно было наблюдать во внешнем его виде, сводилась к тому, что костюм кофейного цвета и

широкого покроя, украшенный блестящими пуговицами, уступал место костюму того же кофейного цвета, но с невыразимыми из светлой нанки. Он носил аккуратнейшее жабо, превосходные очки на лбу и огромный хронометр в кармане и скорее поверил бы в заговор, составленный всеми стенными и карманными часами Сити и даже самим солнцем, чем усомнился в этом драгоценном инструменте. Таким, каков был он теперь,— таким пребывал он в лавке и в гостиной позади Маленького Мичмана многие и многие годы; каждый вечер он в одно и то же время шел спать в унылую мансарду, находившуюся в стороне от остальных жильцов; там частенько бушевал ураган, в то время как английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу *, почти или вовсе не имели понятия о погоде.

В половине шестого в осенний вечер читатель и Соломон Джилс завязывают знакомство. Соломон Джилс занят тем, что смотрит, который час показывает его безупречный хронометр. Обычная каждодневная очистка Сити от людей уже длилась больше часу, а человеческий поток все еще катится к западу. «Толпа на улице сильно поредела», как говорит мистер Джилс. Вечер обещает быть дождливым. Все барометры в лавке упали духом, и дождевые капли уже блестят на треуголке Деревянного Мичмана.

— Хотел бы я знать, где Уолтер? — сказал Джилс, заботливо спрятав хронометр.— Вот уже полчаса, как обед готов, а Уолтера нет!

Повернувшись на своем табурете за конторкой, Джилс выглянул из-за инструментов в окно, не переходит ли его племянник улицу. Нет. Его не было среди раскачивающихся зонтов, и уже, конечно, за него нельзя было принять мальчишку-газетчика в клеенчатой кепке, который медленно проходил мимо медной доски снаружи, указательным пальцем выписывая свое имя над именем мистера Джилса.

— Если бы я не знал, что он слишком меня любит, чтобы удрать и против моего желания поступить на судно, я бы начал беспокоиться,— сказал мистер Джилс, постукивая согнутыми пальцами по двум-трем барометрам.— Право же, начал бы. «Весь в Даунсе» *, а? Большая влажность! Ну, что ж! Дождь нужен.

— Мне кажется,— сказал мистер Джилс, сдувая пыль со стеклянной крышки компаса,— мне кажется, что в конце концов ты склоняешься к задней гостиной не более точно и прямо, чем мальчик. А гостиная обращена как нельзя правильнее. Прямо на север. Нет уклонения хотя бы на одну двадцатую ни в ту, ни в другую сторону.

— Здравствуйте, дядя Соль!

— Здравствуй, мой мальчик! — воскликнул мастер судовых инструментов, живо оборачиваясь.— А, так ты уже здесь?

Бодрый, веселый мальчик, оживившийся от быстрой ходьбы под дождем, миловидный, с блестящими глазами и вьющимися волосами.

— Ну, что, дядя, как вы здесь поживали без меня весь день? Готов обед? Как я голоден!

— Что касается того, как я поживал,— добродушно сказал Соломон,— то странно было бы, если бы без такого повесы, как ты, мне не жилось гораздо лучше. Что касается обеда, то вот уже полчаса, как он готов и ждет тебя. А что касается голода, то и *я* голоден.

— Ну, так идемте, дядя! — воскликнул мальчик.— Ура адмиралу!

— К черту адмирала! — возразил Соломон Джилс.— Ты хочешь сказать — лорд-мэру.

— Нет, не хочу! — закричал мальчик.— Адмиралу — ура! Адмиралу — ура! Впе-ред!

После такой команды валлийский парик и его обладатель были доставлены без сопротивления в заднюю гостиную, словно во главе абордажного отряда в пятьсот человек, и дядя Соль со своим племянником живо принялись за жареную камбалу, имея в перспективе бифштекс.

— Лорд-мэр, Уоли,— сказал Соломон,— на веки вечные! Больше никаких адмиралов. Лорд-мэр — вот *твой* адмирал.

— Да неужели? — сказал мальчик, покачивая головой.— Даже меченосец * все-таки лучше, чем он. Тот хоть иногда обнажает *свой* меч.

— И при этом имеет глупейший вид, несмотря на все свои старанья,— возразил дядя.— Послушай меня, Уоли, послушай меня. Взгляни на каминную полку.

— Кто же это повесил мою серебряную кружку на гвоздь? — воскликнул мальчик.

— Я,— ответил дядя.— Никаких больше кружек. С сегодняшнего дня мы должны приучаться пить из стаканов, Уолтер. Мы люди торговые. Мы связаны с Сити. Сегодня утром мы начали новую жизнь.

— Ладно, дядя,— сказал мальчик,— я буду пить из чего вам угодно, пока могу пить за ваше здоровье. За ваше здоровье, дядя Соль, и ура...

— Лорд-мэру,— перебил старик.

— Лорд-мэру, шерифам, городскому совету и всем городским властям,— сказал мальчик.— Многая лета!

Дядя, вполне удовлетворенный, кивнул головой.

— А теперь,— сказал он,— послушаем о фирме.

— Ну что касается фирмы, много не расскажешь, дядя,— сказал мальчик, орудуя ножом и вилкой.— Это ужасно темный ряд конторских помещений, а в той комнате, где я сижу, есть высокая каминная решетка, железный несгораемый шкаф, объявления о судах, которые должны отплыть, календарь, несколько конторок и табуреток, бутылка чернил, книги и ящики и много паутины, а в паутине, как раз над моей головой, высохшая синяя муха; у нее такой вид, как будто она давным-давно там висит.

— И это все? — спросил дядя.

— Да, все, если не считать старой клетки для птиц (не понимаю, как *она* туда попала!) и ведерка для угля.

— Неужели нет банковских книг, или чековых книг, счетов, или каких-нибудь других признаков богатства, притекающего изо дня в день? — осведомился старый Соль, пытливо глядя на племянника из тумана, который как будто всегда окутывал его, и мягко подчеркивая слова.

— О да, этого, должно быть, очень много,— небрежно отвечал племянник,— но все это в кабинете мистера Каркера, мистера Морфина или мистера Домби.

— А мистер Домби был там сегодня? — осведомился дядя.

— О да. Весь день то приходил, то уходил.

— Вероятно, он никакого внимания на тебя не обращал?

— Нет, обратил. Подошел к моему месту,— хотел бы я, дядя, чтобы он не был таким важным и чопорным,— и сказал: «А, вы — сын мистера Джилса, мастера судовых инструментов?» — «Племянник, сэр»,— отвечал я. «Молодой человек, я и сказал: племянник»,— возразил он. Но я бы мог поклясться, дядя, что он сказал: сын.

— Полагаю, что ты ошибся. Это неважно.

— Да, неважно, но я подумал, что ему незачем быть таким резким. Никакой беды в этом не было, хотя он и сказал сын. Затем он сообщил, что вы говорили с ним обо мне, и что он подыскал для меня занятие в конторе, и что я должен быть внимательным и аккуратным, а потом он ушел. Мне показалось, что я как будто не очень ему понравился.

— Вероятно, ты хочешь сказать,— заметил старый мастер,— что он как будто не очень тебе понравился.

— Ну, что ж, дядя,— смеясь, отозвался мальчик,— быть может, и так! Я об этом не подумал.

К концу обеда Соломон призадумался и время от времени всматривался в веселое лицо мальчика. Когда они пообедали и убрали со стола (обед был доставлен из соседнего ресторана), он зажег свечу и спустился в маленький погреб, а его племянник, стоя на заросшей плесенью лестнице, заботливо светил ему. Пошарив в разных местах, он вскоре вернулся с очень старой на вид бутылкой, покрытой пылью и паутиной.

— Как, дядя Соль! — воскликнул мальчик.— Что это вы задумали? Ведь это чудесная мадера! Там остается только одна бутылка.

Дядя Соль кивнул головой, давая понять, что он прекрасно знает, что делает; и, в торжественном молчании вытащив пробку, наполнил две рюмки и поставил бутылку и третью, чистую рюмку на стол.

— Последнюю бутылку ты разопьешь, Уоли,— сказал он,— когда добьешься удачи, когда будешь преуспевающим, уважаемым, счастливым человеком; когда жизнь, в которую ты вступил сегодня, выведет тебя — молю бога об этом! — на ровную дорогу, тебе предназначенную, дитя мое. Будь счастлив!

Туман, окутывавший дядю Соля, словно проник ему в горло, ибо говорил он хрипло. И рука его дрожала,

когда он чокался с племянником. Но, поднеся рюмку к губам, он осушил ее, как подобает мужчине, и причмокнул.

— Дорогой дядя! — сказал мальчик, притворяясь, будто относится к этому несерьезно, хотя слезы выступили у него на глазах.— В благодарность за честь, какую вы мне оказали и так далее, я предлагаю провозгласить сейчас трижды три раза и еще раз «ура» в честь мистера Соломона Джилса. Ур-ра! А вы ответите на этот тост, дядя, когда мы вместе разопьем последнюю бутылку, хорошо?

Они снова чокнулись, и Уолтер, у которого еще оставалось вино в рюмке, пригубив его, поднес рюмку к глазам с самым критическим видом, какой только мог на себя напустить.

Дядя сидел и смотрел на него молча. Встретившись, наконец, с ним взглядом, он сейчас же начал развивать вслух занимавшие его мысли, как будто и не переставал говорить.

— Как видишь, Уолтер,— произнес он,— это торговое предприятие, по правде сказать, стало для меня только привычкой. Я так втянулся в эту привычку, что вряд ли мог бы жить, если бы от нее отказался; но дело не идет, не идет. Когда носили такую форму,— он указал в ту сторону, где стоял Маленький Мичман,— вот тогда действительно можно было нажить состояние, и его наживали. Но конкуренция, конкуренция... новые изобретения, новые изобретения... перемены, перемены... жизнь прошла мимо меня. Я едва ли знаю, где нахожусь я сам, и еще меньше того знаю, где мои покупатели.

— Незачем думать о них, дядя!

— Так, например, с той поры, как ты вернулся домой из пансиона в Пекеме,— а прошло уже десять дней,— сказал Соломон,— я помню только одного человека, который заглянул к нам в лавку.

— Двое, дядя, неужели вы забыли? Заходил мужчина, который просил разменять соверен...

— Это и есть тот один,— сказал Соломон.

— Как, дядя! Неужели вы не считаете за человека ту женщину, которая зашла спросить, как пройти к заставе Майл-Энд?

— Верно,— сказал Соломон.— Я забыл о ней. Двое.

— Правда, они ничего не купили! — воскликнул мальчик.

— Да. Они ничего не купили,— спокойно сказал Соломон.

— И ничего им не требовалось! — воскликнул мальчик.

— Да. Иначе они пошли бы в другую лавку,— тем же тоном сказал Соломон.

— Но их было двое, дядя! — крикнул мальчик, словно торжествуя победу.— А вы сказали — только один.

— Видишь ли, Уоли,— помолчав, продолжал старик,— так как мы не похожи на дикарей, высадившихся на остров Робинзона Крузо, то и не можем прожить на то, что мужчина просит разменять соверен, а женщина спрашивает, как добраться до заставы Майл-Энд. Как я только что сказал, жизнь прошла мимо меня. Я ее не осуждаю; но я ее больше не понимаю. Торговцы уже не те, какими были прежде, приказчики не те, торговля не та, товары не те. Семь восьмых моего запаса товаров устарели. Я — старомодный человек в старомодной лавке, на улице, которая уже не та, какой я ее помню. Я отстал от века и слишком стар, чтобы догнать его. Даже шум его, где-то далеко впереди, приводит меня в смущение.

Уолтер хотел заговорить, но дядя поднял руку.

— Потому-то, Уоли, потому-то я и хочу, чтобы ты пораньше вступил в деловой мир и вышел на широкую дорогу. Я только призрак этого торгового предприятия, самая сущность его исчезла давно, а когда я умру, то и призрак будет похоронен. Ясно, что для тебя это не наследство, и потому-то я счел наилучшим воспользоваться в твоих интересах едва ли не единственной из прежних связей, сохранившейся в силу долгой привычки. Иные думают, что я богат. Хотел бы я в твоих интересах, чтобы они были правы. Но что бы после меня ни осталось и что бы я ни дал тебе, ты в такой фирме, как Домби, имеешь возможность пустить это в оборот и приумножить. Будь прилежен, старайся полюбить это дело, милый мой мальчик, работай, чтобы стать независимым, и будь счастлив!

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать вашу любовь. Да, сделаю,— серьезно сказал мальчик.

— Я знаю,— сказал Соломон.— Я в этом уверен.— И он с сугубым удовольствием принялся за вторую рюмку старой мадеры.— Что же касается моря,— продолжал он,— то оно хорошо в мечтах, Уоли, и не годится на деле, совсем не годится. Вполне понятно, что ты о нем думал, связывая его со всеми этими знакомыми вещами; но оно не годится на деле, не годится.

Однако Соломон Джилс, рассуждая о море, с тайным удовольствием потирал руки и посматривал вокруг на вещи, имеющие отношение к мореплаванию, с невыразимой благосклонностью.

— Вот, например, подумай об этом вине,— сказал старый Соль,— которое, не знаю сколько раз, совершало путешествие в Ост-Индию и обратно и один раз объехало вокруг света. Подумай о непроглядных ночах, ревущем ветре, набегающих волнах...

— О громе, молнии, дожде, граде, штормах,— вставил мальчик.

— Несомненно,— сказал Соломон,— вино перенесло все это. Подумай о том, как гнулись и скрипели доски и мачты, как свистел и завывал ветер в снастях.

— Как взбирались наверх матросы, обгоняя друг друга, чтобы поскорее убрать обледеневшие паруса, в то время как корабль кренился и зарывался носом, словно одержимый! — вскричал племянник.

— Да, все это,— сказал Соломон,— испытал на себе старый бочонок, в котором было это вино. Когда «Красотка Салли» пошла ко дну в...

— В Балтийском море, глубокой ночью; было двадцать пять минут первого, когда часы капитана остановились у него в кармане; он лежал мертвый, у грот-мачты, четырнадцатого февраля тысяча семьсот сорок девятого года! — вскричал Уолтер с большим воодушевлением.

— Да, правильно! — воскликнул старый Соль.— Совершенно верно! Тогда на борту было пятьсот бочонков такого вина; и весь экипаж (кроме штурмана, первого лейтенанта, двух матросов и одной леди в протекавшей шлюпке) принялся разбивать бочонки, перепился и по-

гиб, распевая «Правь, Британия»; * судно пошло ко дну, и их пенье закончилось отчаянным воплем.

— А когда «Георга Второго» прибило к Корнуэльскому берегу, дядя, в страшную бурю, за два часа до рассвета, четвертого марта семьдесят первого года, на борту было около двухсот лошадей; в самом начале бури лошади, сорвавшись с привязи внизу, в трюме, стали метаться во все стороны, топча друг друга, подняли такой шум и испускали такие человеческие вопли, что экипаж подумал, будто корабль кишит чертями, даже самые храбрые испугались, потеряли голову и в отчаянии бросились за борт, и в живых остались только двое, которые поведали о случившемся.

— А когда,— сказал старый Соль,— когда «Полифем»...

— Частное торговое вест-индское судно, тоннаж триста пятьдесят, капитан Джон Браун из Детфорда. Владельцы Уигс и К^0! — воскликнул Уолтер.

— Оно самое,— сказал Соль.— Когда оно загорелось среди ночи, после четырехдневного плавания при попутном ветре, по выходе из Ямайского порта...

— На борту было два брата,— перебил племянник очень быстро и громко,— а так как для обоих места в единственной целой шлюпке не было, ни тот, ни другой не соглашался сесть в нее, пока старший не взял младшего за пояс и не швырнул в лодку. Тогда младший поднялся в шлюпке и крикнул: «Дорогой Эдуард, подумай о своей невесте, оставшейся дома. Я еще молод. Дома никто меня не ждет. Прыгай на мое место!» — и бросился в море.

Сверкающие глаза и разгоревшееся лицо мальчика, который вскочил, возбужденный тем, что говорил и чувствовал, казалось, напомнили старому Солю что-то, о чем он забыл или что было доселе заслонено окутавшим его туманом. Вместо того чтобы приступить к новому рассказу, как он явно собирался сделать всего секунду назад, он сухо кашлянул и сказал:

— А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?

Суть дела была в том, что простодушный дядя, втайне увлекавшийся всем чудесным и сулившим приключения,— со всем этим он некоторым образом породнился

благодаря своей торговле,— весьма споспешествовал такому же влечению у своего племянника; и все, что когдалибо внушалось мальчику с целью отвлечь его от жизни, полной приключений, возымело обычное необъяснимое действие, усилив его любовь к ней. Это неизбежно. Кажется, не было еще написано такой книги или рассказано такой повести с прямою целью удержать мальчиков на суше, которая бы не увеличила в их глазах соблазнов и чар океана.

Но в этот момент к маленькой компании явилось дополнение в лице джентльмена в широком синем костюме, с крючком, прикрепленным к запястью правой руки, с косматыми черными бровями; в левой руке у него была палка, сплошь покрытая шишками (так же как и его нос). Вокруг шеи был свободно повязан черный шелковый платок, над которым торчали концы такого огромного жесткого воротничка, что они напоминали маленькие паруса. Очевидно, это был тот самый человек, для которого предназначалась третья рюмка, и, очевидно, он это знал; ибо, сняв пальто из грубой шерсти и повесив на особый гвоздь за дверью такую жесткую глянцевитую шляпу, которая одним видом своим могла вызвать головную боль у сердобольного человека и которая оставила красную полосу на его собственном лбу, словно на него был нахлобучен очень тесный таз,— он придвинул стул к тому месту, где стояла рюмка, и уселся перед ней. Обычно этого посетителя именовали капитаном; и он был когда-то лоцманом, или шкипером, или матросом каперского судна, или и тем, и другим, и третьим, и действительно имел вид морского волка.

Физиономия его, обращавшая на себя внимание загаром и солидностью, прояснилась, когда он пожимал руку дяде и племяннику; но, по-видимому, он был склонен к лаконизму и сказал только:

— Как дела?

— Все в порядке,— отвечал мистер Джилс, подвигая к нему бутылку.

Он взял ее, осмотрел, понюхал и сказал весьма выразительно:

— *Та самая?*

— *Та самая,*— подтвердил старый мастер.

После чего тот присвистнул, наполнил рюмку и, казалось, решил, что попал на самый настоящий праздник.

— Уольр! — сказал он, пригладив волосы (они были редкие) своим крючком, а затем указав им на мастера судовых инструментов: — Смотрите на него! Любите! Чтите! И повинуйтесь! * Перелистайте свой катехизис, покуда не найдете этого места, а когда найдете, загните страницу. За ваше преуспеяние, мой мальчик!

Он был до такой степени доволен и своей цитатой и ссылкой на нее, что невольно повторил эти слова вполголоса и добавил, что не вспоминал о них вот уже сорок лет.

— Но ни разу еще не случалось в моей жизни так, чтобы два-три нужных слова, Джилс, не подвернулись мне под руку,— заметил он.— Это оттого, что я не трачу лишних слов, как другие.

Такое соображение, быть может, напомнило ему о том, что и он, подобно отцу юного Норвала *, должен «увеличивать свои запасы». Как бы то ни было, но он умолк и не нарушал молчания, покуда старый Соль не пошел в лавку зажечь свет, после чего он обратился к Уолтеру без всяких предварительных замечаний:

— Полагаю, он бы мог сделать стенные часы, если бы взялся?

— Я бы этому не удивился, капитан Катль,— ответил мальчик.

— И они бы шли! — сказал капитан Катль, чертя в воздухе своим крючком нечто вроде змеи.— Ах, боже мой, как бы шли эти часы!

Секунду-другую он был, казалось, совершенно поглощен созерцанием хода этих идеальных часов и сидел, глядя на мальчика, словно лицо у него было циферблатом.

— Но он начинен науками,— заметил он, указывая крючком на запас товаров.— Посмотрите-ка сюда! Здесь целая коллекция для земли, воздуха, воды. Все здесь есть. Только скажите, куда вы собираетесь! Вверх на воздушном шаре? Пожалуйте. Вниз в водолазном колоколе? Пожалуйте. Не угодно ли вам положить на весы Полярную звезду и взвесить ее? Он это для вас сделает.

На основании таких замечаний можно заключить, что уважение капитана Катля к запасу инструментов было

глубоко и что он не улавливал или почти не улавливал разницы между торговлей ими и их изобретением.

— Ах,— сказал он со вздохом,— прекрасная это штука иметь понятие о них. А впрочем, прекрасная штука — и ничего в них не понимать. Право же, я не знаю, что лучше. Так приятно сидеть здесь и чувствовать, что тебя могут взвесить, измерить, показать в увеличительном стекле, электризовать, поляризовать, черт знает что с тобой сделать, а каким образом — тебе неизвестно.

Ничто, кроме чудесной мадеры в соединении с благоприятным моментом (которым надлежало воспользоваться для усовершенствования и развития ума Уолтера), не могло бы развязать ему язык для произнесения этой удивительной речи. Казалось, он и сам был изумлен тем, как искусно его речь вскрыла источники молчаливого наслаждения, которое он испытывал вот уже десять лет, обедая по воскресеньям в этой гостиной. Затем он обрел рассудительность, взгрустнул *, задумался и притих.

— Послушайте! — входя, воскликнул предмет его восхищения.— Прежде чем вы получите свой стакан грога, Нэд, мы должны покончить с этой бутылкой.

— Держись крепче! — сказал Нэд, наполняя свою рюмку.— Налейте-ка еще мальчику.

— Больше не надо, благодарю вас, дядя!

— Нет, нет,— сказал Соль,— еще немножко. Мы допьем, Нэд, эту бутылку в честь фирмы — фирмы Уолтера. Что ж, быть может, когда-нибудь он будет хозяином фирмы, одним из хозяев. Кто знает. Ричард Виттингтон женился на дочери своего хозяина.

— «Вернись, Виттингтон, лондонский лорд-мэр, и когда ты состаришься, то не покинешь его» *,— вставил капитан.— Уольр! Перелистай книгу, мой мальчик.

— И хотя у мистера Домби нет дочери...— начал Соль.

— Нет, есть, дядя,— сказал мальчик, краснея и смеясь.

— Есть? — воскликнул старик.— Да, кажется, и в самом деле есть.

— Я знаю, что есть,— сказал мальчик.— Об этом говорили сегодня в конторе. И знаете ли, дядя и капитан Катль,— понизил он голос,— говорят, что он невзлюбил

ее, и она живет без присмотра среди слуг, а он до такой степени поглощен мыслями о своем сыне, как компаньоне фирмы, что, хотя сын еще малютка, он хочет, чтобы баланс сводили чаще, чем раньше, и книги вели аккуратнее, чем это делалось прежде; видели даже (когда он думал, что никто его не видит), как он прогуливался в доках и смотрел на свои корабли, склады и все прочее, как будто радуясь тому, что всем этим он будет владеть вместе с сыном. Вот о чем говорят. Я-то, конечно, ничего не знаю.

— Как видите, он уже все о ней знает,— сказал мастер судовых инструментов.

— Вздор, дядя! — воскликнул мальчик, снова по-мальчишески краснея и смеясь.— Не могу же я не слушать того, что мне говорят!

— Боюсь, Нэд, что в настоящее время сын немного мешает нам,— сказал старик, поддерживая шутку.

— Изрядно мешает,— сказал капитан.

— А все-таки выпьем за его здоровье,— продолжал Соль.— Итак, пью за Домби и Сына.

— Отлично, дядя,— весело сказал мальчик.— Раз уж вы о ней упомянули и связали меня с нею и сказали, что я все о ней знаю, то я беру на себя смелость изменить тост. Итак, пью за Домби — и Сына — и Дочь!

ГЛАВА V

Рост и крестины Поля

Маленький Поль, не потерпев никакого ущерба от млека и плоти Тудлей, с каждым днем набирался здоровья и сил. И с каждым днем все с бо́льшим рвением лелеяла его мисс Токс, чья преданность была столь высоко оценена мистером Домби, что он начал почитать ее женщиной с большим запасом здравого смысла, чьи чувства делают ей честь и заслуживают поощрения. Он простер свою благосклонность до таких пределов, что не только кланялся ей не раз с особым вниманием, но даже величественно доверил своей сестре поблагодарить ее в

такой форме: «Пожалуйста, передайте вашей приятельнице, Луиза, что она очень добра», или: «Сообщите мисс Токс, Луиза, что я ей признателен», каковые знаки внимания произвели глубокое впечатление на леди, их удостоившуюся.

Мисс Токс частенько уверяла миссис Чик, что «ничто не может сравниться с ее интересом ко всему, связанному с развитием этого прелестного ребенка»; и человек, наблюдающий за поведением мисс Токс, мог прийти к такому же выводу, не нуждаясь в красноречивых подтверждениях. Она надзирала за невинной трапезой юного наследника с неизменным удовольствием, чуть ли не с таким видом, словно участвовала в его кормлении на равных правах с Ричардс. При маленьких церемониях купанья и туалета она помогала с энтузиазмом. Принятие некоторых лекарств, требуемых младенческим возрастом, возбуждало в ней горячее сочувствие, свойственное ее натуре; а спрятавшись однажды в шкафу (куда она забилась из скромности), когда сестра привела мистера Домби в детскую посмотреть на сына, который в легкой полотняной распашонке совершал короткую прогулку перед сном, карабкаясь вверх по платью Ричардс, мисс Токс, за спиной не ведающего о ней посетителя, пришла в такой восторг, что не могла удержаться, чтоб не воскликнуть: «Ну, не красавчик ли он, мистер Домби? Не купидон ли он, сэр?», после чего едва не сгорела от стыда и смущения за дверцей шкафа.

— Луиза,— сказал однажды мистер Домби сестре,— право, мне кажется, что я должен сделать вашей приятельнице какой-нибудь маленький подарок по случаю крестин Поля. С самого начала она так тепло заботилась о ребенке и, по-видимому, так хорошо понимает свое положение (добродетель, к сожалению, весьма редкая в этом мире), что, право же, мне доставило бы удовольствие оказать ей внимание.

Отнюдь не умаляя добродетелей мисс Токс, следует упомянуть, что в глазах мистера Домби — как и некоторых других, которые лишь при случае прозревают,— только те обрели великое уменье понимать свое место, кто с подобающим почтением относится к занимаемому им положению. Добродетель таких людей заключалась

не столько в том, что они знали самих себя, сколько в том, что они знали его и низко перед ним склонялись.

— Дорогой мой Поль,— сказала его сестра,— вы лишь воздаете должное мисс Токс; я знала, что именно так поступит человек, обладающий вашей проницательностью. Мне кажется, если есть в нашем языке три слова, к которым она питает уважение, граничащее с благоговением, то слова эти — Домби и Сын.

— Да,— сказал мистер Домби,— я этому верю. Это делает честь мисс Токс.

— Что же касается какого-нибудь подарка, дорогой мой Поль,— продолжала сестра,— я могу сказать одно: все, что бы вы ни подарили мисс Токс, она — в этом я уверена — будет беречь и ценить как реликвию. Но *есть* более лестный и приятный способ, дорогой мой Поль, выразить вашу признательность мисс Токс, если вы согласитесь.

— Какой именно? — спросил мистер Домби.

— Конечно, выбор крестного отца,— продолжала миссис Чик,— имеет значение с точки зрения связей и влияния.

— Не знаю, какое это может иметь значение для моего сына,— холодно сказал мистер Домби.

— Совершенно справедливо, дорогой мой Поль,— отвечала миссис Чик с необычайным оживлением, имевшим целью скрыть неожиданную перемену в ее намерениях,— именно так вы и должны были сказать. Ничего другого я и не ждала от вас. Следовало бы мне знать, что таково будет ваше мнение. Быть может,— тут миссис Чик снова ему польстила, неуверенно нащупывая правильный путь,— быть может, потому-то вы тем менее стали бы возражать против того, чтобы мисс Токс была крестной матерью дорогого малютки, хотя бы в качестве представительницы и заместительницы какого-нибудь другого лица. Незачем говорить, Поль, что это было бы принято как великая честь и отличие.

— Луиза,— помолчав, сказал мистер Домби,— трудно допустить...

— Конечно! — воскликнула миссис Чик, спеша предупредить отказ.— Я никогда этого не думала.

Мистер Домби с досадой посмотрел на нее.

— Не волнуйте меня, дорогой мой Поль,— сказала сестра,— я прихожу в расстройство! У меня мало сил. Я еще не опомнилась с тех пор, как скончалась Фанни.

Мистер Домби взглянул на носовой платок, который сестра поднесла к глазам, и продолжал:

— Трудно допустить, говорю я...

— И я говорю,— пробормотала миссис Чик,— что никогда этого и не думала.

— Ах, боже мой, Луиза! — сказал мистер Домби.

— Нет, дорогой мой Поль,— возразила она с плаксивым достоинством,— право же, нужно дать мне высказаться. Я не так умна, как вы, не так рассудительна, не так красноречива и все прочее. Я это прекрасно знаю. Тем хуже для меня. Но хотя бы это были последние слова, какие мне суждено произнести — а последние слова должны быть священны для вас и для меня, Поль, после смерти бедной Фанни,— я бы все-таки сказала, что никогда этого не думала. И мало того,— добавила миссис Чик с подчеркнутым достоинством, как будто до сей поры она берегла про запас свой самый сокрушительный аргумент,— я никогда этого и не думала.

Мистер Домби прошелся по комнате к окну и обратно.

— Трудно допустить, Луиза,— сказал он (миссис Чик заупрямилась и повторила «знаю, что трудно», но он не обратил внимания),— что нет людей, которые — предполагая, что в подобном случае я признаю какие бы то ни было права,— не имеют бо́льших прав, чем мисс Токс. Но я этого не признаю. Я никаких чужих прав не признаю. Поль и я будем в силах, когда придет время, сохранить свое положение — иными словами, фирма в силах будет сохранить свое положение, сохранить свое имущество и передать его по наследству без каких-либо наставников и помощников. Такого рода посторонней помощью, которую обычно ищут люди для своих детей, я могу пренебречь, ибо, надеюсь, я выше этого. Итак, когда благополучно минует пора младенчества и детства Поля и я увижу, что он не теряя времени готовится к той карьере, для которой предназначен, я буду удовлетворен. Он может приобретать каких ему угодно влиятельных друзей впоследствии, когда будет энергически поддерживать — и увеличивать, если это только воз-

можно,— достоинство и кредит фирмы. До тех пор с него, пожалуй, достаточно будет меня, и никого больше не нужно. У меня нет ни малейшего желания, чтобы кто-то становился между нами. Я предпочитаю выразить свою признательность за услуги такой уважаемой особе, как ваша приятельница. Стало быть, пусть так оно и будет; и полагаю, что ваш муж и я сам прекрасно можем заменить других восприемников.

В этой речи, произнесенной с большим величием и внушительностью, мистер Домби поистине разоблачил сокровенные свои чувства. Бесконечное недоверие ко всякому, кто может встать между ним и его сыном; надменный страх встретить соперника, с которым придется делить уважение и привязанность мальчика; острое опасение, недавно зародившееся, что он ограничен в своей власти ломать и вязать человеческую волю; не менее острая боязнь какого-нибудь нового препятствия или бедствия — вот какие чувства владели в то время его душой. За всю свою жизнь он не приобрел ни одного друга. Холодная и сдержанная его натура не искала и не нашла друзей. И вот когда все силы этой натуры сосредоточились на одном из пунктов общего плана, продиктованного родительской заботою и честолюбием, казалось, будто ледяной поток, вместо того чтобы уступить этому влиянию и стать прозрачным и свободным, оттаял лишь на секунду, чтобы принять этот груз, а затем замерз вместе с ним в сплошную твердую глыбу.

Вознесенная таким образом благодаря своему ничтожеству до звания крестной матери маленького Поля, мисс Токс с этого часа была избрана и определена на свою новую должность; и далее мистер Домби выразил желание, чтобы церемония, которую долго откладывали, была совершена без дальнейшего промедления. Его сестра, вовсе не рассчитывавшая на столь блестящий успех, поспешила удалиться, чтобы сообщить о нем лучшей своей приятельнице, и мистер Домби остался один в библиотеке.

В детской было отнюдь не безлюдно, ибо миссис Чик и мисс Токс с удовольствием проводили там вечер,— к столь великому отвращению Сьюзен Нипер, что эта молодая леди пользовалась каждым удобным случаем, чтобы

скорчить гримасу за дверью. Чувства ее в тот день были так возбуждены, что она сочла необходимым доставить им это облегченье, даже невзирая на отсутствие свидетелей и какого бы то ни было сочувствия. Подобно тому, как в старину странствующие рыцари облегчали свою душу, запечатлевая имя возлюбленной в пустынях, лесах и других глухих местах, куда вряд ли мог забрести кто-нибудь, чтобы его прочесть, так и мисс Сьюзен Нипер морщила свой вздернутый нос, заглядывая в комоды и гардеробы, прятала презрительные усмешки в шкафы, бросала насмешливые взгляды в глиняные кувшины и бранилась в коридоре.

Однако обе непрошеные гостьи, пребывая в блаженном неведении относительно чувств молодой леди, наблюдали, как маленький Поль благополучно прошел через все стадии раздевания, барахтанья, ужина и укладывания спать, а затем сели пить чай у камина. Дети благодаря стараниям Полли спали теперь в одной комнате, и леди, расположившись за чайным столом и случайно взглянув на маленькие кроватки, тогда только вспомнили о Флоренс.

— Как она крепко спит! — сказала мисс Токс.

— Ведь вы знаете, милая моя, днем она много возится,— отвечала миссис Чик,— все время играет около маленького Поля.

— Странный она ребенок,— сказала мисс Токс.

— Милая моя,— понизив голос, ответила миссис Чик,— она — вылитая мать!

— В самом деле? — сказала мисс Токс.— Ах, боже мой!

В высшей степени соболезнующим тоном сказала это мисс Токс, хотя понятия не имела — почему; знала только, что этого от нее ждут.

— Флоренс никогда, никогда, никогда не будет Домби,— сказала миссис Чик,— проживи она хоть тысячу лет.

Мисс Токс подняла брови и снова преисполнилась сострадания.

— Я мучаюсь и терзаюсь из-за нее,— сказала миссис Чик со смиренно-добродетельным вздохом.— Я, право, не знаю, что из нее выйдет, когда она подрастет, и какое

место в обществе сможет она занять. Она не умеет расположить к себе отца. Да и как можно на это надеяться, если она так не похожа на Домби!

Мисс Токс сделала такую мину, словно не находила никаких возражений на столь неоспоримый аргумент.

— К тому же у девочки, как видите,— конфиденциально сообщила миссис Чик,— натура бедной Фанни. Смею утверждать, что в дальнейшей жизни она никогда не будет делать усилий. Никогда! Она никогда не обовьется вокруг сердца своего отца, как...

— Как плющ? — подсказала мисс Токс.

— Как плющ,— согласилась миссис Чик.— Никогда! Она никогда не найдет пути и не приникнет к любящей груди отца, как...

— Пугливая лань? — подсказала мисс Токс.

— Как пугливая лань,— сказала миссис Чик.— Никогда! Бедная Фанни! А все-таки как я ее любила!

— Не надо расстраиваться, дорогая моя,— успокоительным тоном сказала мисс Токс.— Ну, полно! Вы слишком чувствительны.

— У всех у нас есть свои недостатки,— сказала миссис Чик, проливая слезы и покачивая головой.— Думаю, что есть. Я никогда не была слепа к ее недостаткам. И никогда не утверждала обратного. Отнюдь. А все-таки как я ее любила!

Какое удовлетворение испытывала миссис Чик — довольно заурядная и глупая особа, по сравнению с которой покойная невестка была воплощением женского ума и кротости,— относясь покровительственно и тепло к памяти этой леди (точно так же она поступала и при жизни ее) и при этом веря в самое себя, дурача самое себя и чувствуя себя прекрасно в сознании своей снисходительности! Какой приятнейшей добродетелью должна быть снисходительность, когда мы правы,— раз она столь приятна, когда мы не правы и не можем объяснить, каким образом мы добились привилегии проявлять ее!

Миссис Чик все еще осушала слезы и покачивала головой, когда Ричардс осмелилась уведомить ее, что мисс Флоренс не спит и сидит в своей постельке. По словам кормилицы, она проснулась, и глаза у нее были мокрые от слез. Но никто этого не видел, кроме Полли. Никто,

кроме нее, не склонился над нею, не шепнул ей ласковых слов, не подошел поближе, чтобы услышать, как прерывисто бьется у нее сердце.

— Няня дорогая,— сказала девочка, умоляюще глядя ей в лицо,— позвольте мне лечь рядом с братом!

— Зачем, моя милочка?— спросила Ричардс.

— Мне кажется, он меня любит! — возбужденно воскликнула девочка.— Позвольте мне лечь рядом с ним. Пожалуйста!

Миссис Чик вставила несколько материнских слов о том, чтобы она была умницей и постаралась заснуть, но Флоренс с испуганным видом повторила свои мольбы голосом, прерывавшимся от всхлипываний и слез.

— Я его не разбужу,— сказала она, закрыв лицо и опустив голову.— Я только дотронусь до него рукой и засну. О, пожалуйста, позвольте мне лечь сегодня рядом с братом, мне кажется, что он меня любит!

Ричардс, не говоря ни слова, взяла ее на руки и, подойдя к постельке, где спал ребенок, положила рядом. Девочка придвинулась к нему как можно ближе, стараясь не потревожить его сна, и, протянув руку, робко обняла его за шею, закрыла лицо другой рукой, по которой рассыпались ее влажные растрепавшиеся волосы, и притихла.

— Бедная малютка! — сказала мисс Токс.— Должно быть, ей что-нибудь приснилось.

Этот маленький инцидент нарушил течение разговора, так что уже трудно было его возобновить; и вдобавок миссис Чик была столь расстроена размышлениями о собственной снисходительности, что утратила бодрость. Поэтому обе приятельницы вскоре покончили с чаепитием, и слуга был послан нанять кабриолет для мисс Токс. Мисс Токс была весьма сведуща в наемных кэбах, и ее отъезд отнимал обычно много времени, ибо она слишком педантично занималась предварительными приготовлениями.

— Пожалуйста, будьте добры, Таулинсон,— сказала мисс Токс,— возьмите прежде всего перо и чернила и запишите разборчиво его номер.

— Слушаю, мисс,— сказал Таулинсон.

— Потом будьте добры, Таулинсон,— сказала мисс

Токс,— переверните, пожалуйста, подушку. Она,— довела мисс Токс до сведения миссис Чик,— обычно бывает сырой, дорогая моя.

— Слушаю, мисс,— сказал Таулинсон.

— Я еще обеспокою вас,— сказала мисс Токс,— вручите кучеру эту визитную карточку и этот шиллинг, скажите ему, что он должен отвезти меня по этому адресу, и пусть поймет, что ни в коем случае не получит больше этого шиллинга.

— Слушаю, мисс,— сказал Таулинсон.

— И... мне совестно, что я вам доставляю столько хлопот, Таулинсон,— сказала мисс Токс, глядя на него задумчиво.

— Нисколько, мисс,— сказал Таулинсон.

— В таком случае, будьте добры, Таулинсон, сообщите этому человеку,— сказала мисс Токс,— что у леди есть дядя-судья и что если он позволит себе по отношению к ней какую-нибудь дерзость, то будет сурово наказан. Вы можете сказать это дружески, Таулинсон, как будто вам известно, что так поступили с другим человеком, который умер.

— Разумеется, мисс,— сказал Таулинсон.

— А теперь желаю спокойной ночи моему милому, милому, милому крестнику,— сказала мисс Токс, сопровождая каждое повторение этого эпитета градом нежных поцелуев.— Луиза, дорогой мой друг, обещайте мне выпить на ночь чего-нибудь согревающего и не расстраиваться.

Лишь с величайшим трудом черноглазая Нипер, внимательно за всем наблюдавшая, сдерживалась в этот критический момент и вплоть до последовавшего отбытия миссис Чик. Но когда детская избавилась, наконец, от посетителей, она вознаградила себя за прежнее воздержание.

— Можете шесть недель держать меня в смирительной рубашке,— сказала Нипер,— но когда ее снимут, я еще больше буду злиться,— ну, видывал ли кто-нибудь когда-нибудь двух таких мегер, миссис Ричардс?

— И толкуют еще о том, будто ей, бедной малютке, что-то приснилось,— сказала Полли.

— Ох, уж вы, красавицы! — воскликнула Сьюзен Нипер, приветствуя поклоном дверь, в которую вышли

леди.— Она никогда не будет Домби? Вот как? Нужно надеяться, что не будет: больше нам таких не надобно, довольно и одного.

— Не разбудите детей, милая Сьюзен,— сказала Полли.

— Премного вам благодарна, миссис Ричардс,— сказала Сьюзен, которая в гневе своем ни для кого не делала исключений,— и, право же, это честь для меня получать от вас приказания, я ведь черная невольница и мулатка. Миссис Ричардс, если у вас есть для меня еще какие-нибудь распоряжения, сообщите мне, будьте так любезны.

— Вздор! Какие там распоряжения!— сказала Полли.

— Господь с вами, миссис Ричардс! — воскликнула Сьюзен.— Временные всегда распоряжаются здесь постоянными, неужели вы этого не знали, да где же это вы родились, миссис Ричардс,— продолжала Задира,— но где бы, когда бы и как бы вы ни родились (об этом вам самой лучше знать), постарайтесь, пожалуйста, запомнить, что одно дело отдавать приказания и совсем другое дело — исполнять их. Один человек может сказать другому, миссис Ричардс, чтобы тот бросился вниз головой с моста в реку сорок пять футов глубиной, но этот другой, может быть, и не подумает бросаться.

— Полно,— сказала Полли,— вы сердитесь, потому что вы добрая девушка и любите мисс Флоренс; и сейчас вы накинулись на меня, потому что никого больше здесь нет.

— Кое-кому очень легко не раздражаться и говорить ласковые речи, миссис Ричардс,— отвечала Сьюзен, слегка смягчившись,— когда с их ребенком носятся, как с принцем, и нежат его и холят, покуда ему не захочется избавиться от таких друзей, но когда обижают кроткую, невинную малютку, которая ни одного дурного слова не заслужила, то это совсем другое дело. Господи боже мой, мисс Флой, непослушная, скверная вы девочка, если вы сию же минуту не закроете глаза, я позову домовых, которые живут на чердаке, чтобы они пришли и съели вас живьем!

Тут мисс Нипер испустила страшное мычание, якобы исходившее от добросовестного домового из породы быков, стремившегося исполнить возложенную на него суро-

вую обязанность. Затем ради дальнейшего успокоения своей юной питомицы она накрыла ее с головой одеялом и сердито хлопнула несколько раз по подушке, после чего скрестила руки на груди, поджала губы и просидела весь вечер, глядя на огонь.

Хотя о маленьком Поле и говорилось, на языке детской, что он «очень многое понимает для своего возраста», но он все это понимал так же мало, как и приготовления к своим крестинам, назначенным на послезавтра; а приготовлениями, касавшимися его собственного наряда, а также наряда его сестры и обеих нянек, занимались весьма энергически. С наступлением знаменательного утра он, казалось, вовсе не почувствовал его значения; напротив, был необычайно склонен ко сну и необычайно склонен обижаться на свою свиту, когда его одевали, чтобы вынести на воздух.

Был серый осенний день с резким восточным ветром — день, соответствующий событию. Мистер Домби олицетворял собою ветер, сумрак и осень этих крестин. В ожидании гостей он стоял в своей библиотеке, суровый и холодный, как сама погода; а когда он смотрел из застекленной комнаты на деревья в садике, их бурые и желтые листья трепеща падали на землю, точно его взгляд нес им гибель.

Уф! Какие это были мрачные, холодные комнаты; и, казалось, они надели траур, как и обитатели дома. У книг, аккуратно подобранных по росту и выстроенных в ряд, как солдаты в холодных, твердых, скользких мундирах, был такой вид, будто они выражали одну только мысль, а именно — мысль о ледяном холоде. Книжный шкаф, застекленный и запертый на ключ, не допускал никакой фамильярности. Бронзовый мистер Питт * на шкафу, без малейших следов своего божественного происхождения, стерег недоступное сокровище, словно зачарованный мавр. Высившиеся по обеим сторонам шкафа пыльные урны, вырытые из древней могилы, проповедовали, как бы с двух кафедр, о разрушении и упадке; а зеркало над камином, отражая одновременно и мистера Домби и его портрет, казалось, преисполнено было меланхолическими размышлениями.

Из всех прочих вещей несгибаемые и холодные каминные щипцы и кочерга как будто притязали на ближайшее

родство с мистером Домби в его застегнутом фраке, белом галстуке, с тяжелой золотой цепочкой от часов и в скрипучих башмаках. Но это было до прибытия мистера и миссис Чик, законных родственников, которые вскоре явились.

— Дорогой мой Поль,— пробормотала миссис Чик, обнимая его,— надеюсь, это начало многих счастливых дней.

— Благодарю вас, Луиза,— мрачно сказал мистер Домби.— Как поживаете, мистер Джон?

— Как поживаете, сэр? — сказал Чик.

Он подал руку мистеру Домби так, словно опасался, что она может наэлектризовать хозяина дома. Мистер Домби взял ее, как будто это была рыба, водоросль или какое-нибудь клейкое вещество, и тотчас же вернул по принадлежности с изысканной вежливостью.

— Быть может, Луиза,— сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову над воротничком, точно она была на шарнире,— вы не прочь, чтобы затопили камин?

— О нет, дорогой мой Поль,— сказала миссис Чик, которая прилагала много усилий, чтобы не щелкать зубами,— для меня не нужно.

— Мистер Джон,— спросил мистер Домби,— вы не чувствительны к холоду?

Мистер Джон, успевший глубоко засунуть руки в карманы и приготовившийся затянуть тот самый собачий припев, который однажды уже привел миссис Чик в такое негодование, заявил, что чувствует себя прекрасно.

Он добавил потихоньку: «С моею там-пам-пам-ля-ля», когда был, по счастью, прерван Таулинсоном, который доложил:

— Мисс Токс.

И вошла прелестная чаровница с синим носом и неописуемо замерзшим лицом, ибо в честь церемонии она оделась весьма легко в какие-то развевающиеся лоскутки.

— Как поживаете, мисс Токс? — сказал мистер Домби.

Мисс Токс, в окутывающем ее газе, опустилась точь-в-точь как сдвигающийся театральный бинокль; она присела так низко в благодарность за то, что мистер Домби шагнул ей навстречу.

— Я никогда не забуду этого дня, сэр,— нежно произнесла она.— Забыть невозможно. Дорогая моя Луиза, я едва могу поверить свидетельству своих чувств.

Если бы мисс Токс могла поверить свидетельству одного из своих чувств, она должна была бы признать, что день очень холодный. Это было совершенно ясно. Она воспользовалась первым удобным случаем, чтобы восстановить кровообращение в кончике носа, и незаметно согревала его носовым платком, чтобы своею крайне низкою температурой он не вызвал неприятного изумления у младенца, когда она подойдет поцеловать его.

Вскоре появился младенец, доставленный с большой помпой Ричардс; Флоренс же под охраной своего энергического молодого констебля, Сьюзен Нипер, замыкала шествие. Хотя все население детской носило к тому времени не такой глубокий траур, как раньше, однако вид осиротевших детей не способствовал прояснению погоды. Вдобавок и младенец — быть может, виноват был нос мисс Токс — расплакался. Вследствие этого мистер Чик удержался от неуместного осуществления весьма похвального намерения, сводившегося к тому, чтобы уделить больше внимания Флоренс; ибо этот джентльмен, нечувствительный к высоким притязаниям безупречных Домби (быть может, в силу того, что и сам имел честь быть сопряженным с Домби и уже освоился с их высоким достоинством), действительно любил ее и не скрывал, что любит, и теперь готовился проявить это по-своему; но Поль расплакался, и супруга остановила мистера Чика.

— Флоренс, дитя мое! — с живостью сказала тетка.— Чего ты ждешь, милочка? Покажись ему. Развлеки его, дорогая моя!

Температура понизилась или могла понизиться, когда мистер Домби холодно взирал на свою дочурку, которая, хлопая в ладоши и поднявшись на цыпочки перед троном его сына и наследника, соблазняла его снизойти с высоты величия и посмотреть на нее. Быть может, похвальные усилия Ричардс усиливали впечатление — как бы там ни было, но он посмотрел вниз и успокоился. Когда его сестра спряталась за свою няньку, он следил за нею глазами; а когда она с радостным криком выглянула из-за ее спины, он встрепенулся и весело заворковал — даже рассмеялся, когда она подбежала к нему, и, казалось, разглаживал ей кудри своими крохотными ручонками, в то время как она осыпала его поцелуями.


Phiz

Приятно ли было мистеру Домби видеть это? Он не обнаружил никакого удовольствия, оставаясь невозмутимым; впрочем, внешние проявления каких бы то ни было чувств были ему несвойственны. Если солнечный луч и прокрался в комнату, чтобы осветить играющих детей, он не коснулся его лица. Мистер Домби смотрел так напряженно и холодно, что огонек угас даже в смеющихся глазах маленькой Флоренс, когда они случайно встретились с его глазами.

Да, день был пасмурный, осенний, серый, и в наступившей тишине печально падали с деревьев листья.

— Мистер Джон,— сказал мистер Домби, взглянув на часы и взяв шляпу и перчатки,— пожалуйста, предложите руку моей сестре; моя рука принадлежит сегодня мисс Токс. А вы идите вперед с мистером Полем, Ричардс. Будьте осторожны.

В карете мистера Домби — Домби и Сын, мисс Токс, миссис Чик, Ричардс и Флоренс. В маленьком, следовавшем за ней экипаже — Сьюзен Нипер и владелец его, мистер Чик. Сьюзен без устали смотрела в окно, чтобы избавиться от смущавшего ее созерцания широкой физиономии этого джентльмена, и при каждом позвякивании воображала, что он завертывает для нее в бумагу приличный денежный подарок.

Один раз по дороге в церковь мистер Домби захлопал в ладоши, чтобы позабавить сына. Таким проявлением родительского энтузиазма мисс Токс была очарована. Но за исключением этого инцидента единственная разница между людьми, отправляющимися на крестины, и людьми в траурной карете заключалась в цвете экипажей и масти лошадей.

У входа в церковь их встретил величественный бидл *. Мистер Домби, выйдя первым, чтобы помочь леди, и стоя около него у дверей церкви, тоже имел вид бидла. Это был менее торжественный, но более страшный бидл частной жизни; бидл наших деловых забот и наших сердец.

Рука мисс Токс дрожала, когда она просунула ее под руку мистера Домби и почувствовала, что ее ведут вверх по ступеням, вслед за треугольной шляпой и воротником вышиной с Вавилонскую башню. На мгновенье это напо-

мнило ей о другом торжественном обряде: «Желаешь ли ты выйти замуж за этого человека, Лукреция?» — «Да, желаю».

— Не внесете ли вы поскорее ребенка в церковь? — прошептал бидл, открывая внутреннюю дверь церкви.

Маленький Поль мог бы спросить вместе с Гамлетом: «В мою могилу?» * — так было здесь жутко и сыро. Высокие, покрытые чехлами кафедра и налой, угрюмый ряд пустых фамильных мест, тянувшихся под галереями, и пустые скамьи на галереях, поднимавшиеся к потолку и терявшиеся в тени большого мрачного орга́на; пыльные половики и холодные каменные плиты; унылые скамейки в приделах и сырой угол, где висела веревка от колокола, где были свалены черные козлы, употребляемые при похоронах, а также лопаты, корзины и свернутая кольцом зловещая веревка; странный, непривычный, раздражающий запах и мертвенный свет — все гармонировало между собою. Холодная и печальная картина.

— Сейчас здесь свадьба, сэр, — сказал бидл, — но она скоро кончится, а вы пройдите сюда, в ризницу.

Прежде чем повернуться и проводить их, он поклонился мистеру Домби и слегка улыбнулся, давая понять, что он (бидл) помнит, что имел удовольствие присутствовать на похоронах его жены, и надеется, что с тех пор мистеру Домби жилось недурно.

Даже свадьба показалась унылой, когда они проходили мимо алтаря. Невеста была слишком стара, а жених слишком молод; одряхлевший щеголь с моноклем, вставленным вместо второго глаза, исполнял обязанности посаженого отца, в то время как друзья новобрачных дрожали от холода. В ризнице дымил камин; и престарелый, перегруженный работой и получающий скудное жалованье адвокатский клерк, «пустившись на поиски», водил указательным пальцем по пергаментным страницам огромной книги записей (одного из многих подобных же томов), переполненной датами погребений. Над камином висел план склепов под церковью; и мистер Чик, пробегая вслух для развлечения собравшихся приложенное к нему объяснение, не мог остановиться, покуда не прочел до конца справку о могиле миссис Домби.

После новой ледяной паузы сопящая маленькая прислужница, страдающая одышкой,— место ей было на кладбище, а не в церкви,— предложила им подойти к купели. Здесь пришлось немного подождать, пока участники брачной церемонии записывали свои фамилии; а тем временем сопящая маленькая прислужница, отчасти по причине своей болезни, а отчасти для того, чтобы участники брачной церемонии не забыли о ней, бродила по церкви, пыхтя как дельфин.

Наконец церковный клерк * (единственный неунывающий здесь субъект, да и тот был гробовщиком) подошел с кувшином теплой воды и, выливая ее в купель, пробормотал, что здесь слишком холодно; впрочем, не хватило бы и миллиона галлонов кипятку, чтобы там стало теплее. Затем молодой священник, приветливый и кроткий, явно побаивавшийся младенца, появился, словно главный герой в рассказе с привидениями,— «высокая фигура, вся в белом», при виде коей Поль огласил церковь воплями и не умолкал до тех пор, пока его не вынули с почерневшим лицом из купели.

Но когда и это совершилось к великому облегчению всех присутствующих, голос его все же раздавался под сводами, вплоть до окончания церемонии, то слабее, то громче, то затихая, то снова неудержимо протестуя против нанесенной ему обиды. Это до такой степени отвлекало внимание обеих леди, что миссис Чик то и дело показывалась в центральном нефе, чтобы передать распоряжение через прислужницу, а мисс Токс раскрывала свой молитвенник на Пороховом заговоре * и иной раз читала ответы из этой службы.

Во время всей этой процедуры мистер Домби оставался таким же бесстрастным и безупречным, каким был всегда, и, быть может, именно благодаря его присутствию она была такой холодной, что у молодого священника шел пар изо рта, когда он читал. Один только раз выражение его лица слегка изменилось, когда священник, произнося (очень искренне и просто) заключительное увещание восприемникам о воспитании ребенка в будущем, случайно взглянул на мистера Чика; и тогда можно было заметить, как мистер Домби принял величественный вид, выражавший, что он не прочь был бы поймать его за таким занятием.

Быть может, не худо было бы для мистера Домби, если бы он меньше думал о своем собственном достоинстве и больше — о замечательном источнике и замечательной цели церемонии, в которой принимал такое формальное и чопорное участие. Его высокомерие странно противоречило ее истории.

Когда все было кончено, он снова предложил руку мисс Токс и повел ее в ризницу, где сообщил священнику, с каким удовольствием добивался бы он чести видеть его у себя за обедом, если бы не печальное положение дел у него в доме. Когда акт был подписан, деньги уплачены, прислужница (которая снова жестоко раскашлялась) не забыта, бидл вознагражден, пономарь (который случайно очутился у двери, чрезвычайно интересуясь погодой) не оставлен без внимания, они снова уселись в карету и отбыли домой все той же безрадостной компанией.

Дома они нашли мистера Питта, презрительно созерцавшего холодную закуску, красовавшуюся в холодном великолепии хрусталя и серебра и похожую скорее на покойника, выставленного для воздания ему последних почестей, чем на гостеприимное угощение. Мисс Токс по прибытии преподнесла крестнику чашку, а мистер Чик — нож, вилку и ложку в футляре. Мистер Домби в свою очередь преподнес браслет мисс Токс; и при получении этого сувенира мисс Токс была глубоко растрогана.

— Мистер Джон,— сказал мистер Домби,— будьте любезны занять место в том конце стола. Что у вас там, мистер Джон?

— У меня холодная телячья нога, сэр,— отозвался мистер Чик, усердно растирая окоченевшие руки.— А что у вас, сэр?

— Мне кажется,— отвечал мистер Домби,— у меня холодная телячья голова, затем холодная птица... ветчина... пирожки... салат... омары. Мисс Токс окажет мне честь и выпьет вина? Шампанского мисс Токс.

Все угрожало зубною болью. Вино оказалось таким нестерпимо холодным, что у мисс Токс вырвался тихий писк, который ей большого труда стоило превратить в «гм». Телятину принесли из такого ледяного чулана, что первый же кусок вызвал у мистера Чика ощущение, словно у него леденеют руки и ноги.

Один только мистер Домби оставался невозмутимым. Его можно было бы вывесить для продажи на русской ярмарке, как образчик замороженного джентльмена.

Обстановка подавляла даже его сестру. Она не пыталась льстить или болтать и сосредоточила все свои усилия на том, чтобы сохранять такой вид, будто ей тепло.

— Ну, сэр,— сказал мистер Чик, делая отчаянную попытку прервать длительное молчание и наполняя стакан хересом,— этот стакан, с вашего разрешения, сэр, я выпью за здоровье маленького Поля.

— Да благословит его бог! — прошептала мисс Токс, выпив глоток вина.

— Милый маленький Домби! — прошептала миссис Чик.

— Мистер Джон,— с суровой важностью сказал мистер Домби,— не сомневаюсь, что мой сын почувствовал бы и выразил благодарность, если бы мог оценить честь, которую вы ему оказали. Надеюсь, со временем он в состоянии будет нести любую ответственность, какую доброе расположение его родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут возложить на него.

Тон, каким это было сказано, не располагал к продолжению разговора, и мистер Чик снова погрузился в уныние и молчание. Иначе обстояло дело с мисс Токс, которая, выслушав мистера Домби с еще более напряженным вниманием, чем обычно, и еще выразительнее склонив голову к плечу, перегнулась затем через стол и тихо сказала миссис Чик:

— Луиза!

— Да, моя милая? — сказала миссис Чик.

— «Тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут» ...я забыла буквальное выражение.

— Предъявить к нему,— сказала миссис Чик.

— Простите, дорогая моя,— возразила мисс Токс,— кажется, не так. Это было более закругленно и плавно. «Доброе расположение родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с положением в обществе... могут»... возложить на него?

— Возложить на него, совершенно верно,— сказала миссис Чик.

Мисс Токс с торжеством легонько хлопнула в нежные ладоши и, закатив глаза, добавила:

— Какое красноречие!

Тем временем мистер Домби распорядился, чтобы позвали Ричардс, которая и вошла, приседая, но без младенца; Поль спал после утомительного утра. Передав стакан вина этому вассалу, мистер Домби обратился к ней со следующими словами (мисс Токс заблаговременно склонила голову к плечу и сделала еще кое-какие приготовления, дабы запечатлеть эти слова в сердце своем):

— В течение шести месяцев, Ричардс, какие вы провели в этом доме, вы исполняли свой долг. Желая оказать вам по этому случаю какую-нибудь маленькую услугу, я размышлял о том, как осуществить наилучшим образом это намерение, а также советовался с моей сестрою, миссис...

— Чик,— вставил джентльмен, носивший эту фамилию.

— О, *пожалуйста,* тише! — сказала мисс Токс.

— Я хотел сказать вам, Ричардс,— продолжал мистер Домби, бросив грозный взгляд на мистера Джона,— что мое решение подсказано воспоминанием о разговоре, какой я имел с вашим мужем в этой комнате, когда вы были наняты и когда он сообщил мне печальный факт, что ваше семейство во главе с ним самим глубоко погрязло в невежестве.

Ричардс поникла пред великолепием упрека.

— Я отнюдь не питаю расположения,— продолжал мистер Домби,— к тому, что люди, склонные к стиранию различий, называют всеобщим обучением. Но необходимо просвещать низшие классы, чтобы они знали свое положение и вели себя соответственно. Постольку я одобряю школы. Имея право выдвинуть кандидата на стипендию в старинном учреждении, названном (в честь почтенного общества) «Милосердными Точильщиками» *, где ученики не только получают благодетельное образование, но где им дается также платье и значок, я (предварительно снесясь через миссис Чик с вашим семейством) выдвинул кандидатуру вашего старшего сына на имеющуюся вакансию; и, как меня уведомили, сегодня он надел форменное платье. Кажется, номер ее сына,— сказал мистер Домби,

обращаясь к сестре и говоря о мальчике так, словно тот был наемной каретой,— сто сорок седьмой. Луиза, вы можете сообщить ей.

— Сто сорок седьмой,— сказала миссис Чик.— Форменное его платье, Ричардс, это — красивый теплый синий фланелевый фрак и шапка с оранжевым кантом, красные шерстяные чулки и очень прочные кожаные штанишки. Уж одну эту часть туалета можно носить с благодарностью,— добавила с энтузиазмом миссис Чик.

— Ну, вот, Ричардс! — сказала мисс Токс.— Теперь вам действительно есть чем гордиться. Милосердные Точильщики!

— Право же, я очень признательна, сэр,— тихо отвечала Ричардс,— и вы очень добры, что вспомнили о моих детишках.

При этом образ Байлера в костюме Милосердного Точильщика с маленькими его ножками, заключенными в прочные штанишки, описанные миссис Чик, предстал перед глазами Ричардс и заставил ее прослезиться.

— Я очень рада, что вы так чувствительны, Ричардс,— сказала мисс Токс.

— Право же, начинаешь надеяться,— сказала миссис Чик, которая гордилась своим доверчивым отношением к природе человеческой,— что, быть может, есть еще на свете хоть искра благодарности и надлежащей чувствительности.

Ричардс отозвалась на эти комплименты, приседая и бормоча слова признательности; но видя, что ей не оправиться от того смятения, в какое ее поверг образ сына в несоответствующих его возрасту панталонах, она незаметно отступила к двери и почувствовала глубокое облегчение, выскользнув в нее.

Те мимолетные показатели слабой оттепели, какие явились вместе с нею, с нею и исчезли; и мороз снова вступил в свои права, такой же жестокий и суровый, как раньше. Слышно было, как в конце стола мистер Чик дважды начинал напевать какой-то мотив, но оба раза это был траурный марш из «Саула» *. Казалось, общество делалось все холоднее и холоднее и постепенно переходило в замороженное и окаменелое состояние, в каком находилась закуска, вокруг которой оно собралось. Наконец миссис Чик

взглянула на мисс Токс, а мисс Токс ответила ей взглядом, и обе встали и заметили, что пора уходить. Так как мистер Домби принял это заявление с полным равнодушием, они простились с сим джентльменом и вскоре отбыли под охраной мистера Чика, который, как только они повернулись спиной к дому и оставили его хозяина в привычном одиночестве, засунул руки в карманы, откинулся на спинку сиденья и всю дорогу насвистывал «Хей-хо-фью!», выражая при этом всей своей физиономией такое мрачное и грозное презрение, что миссис Чик не посмела протестовать или каким-либо иным способом досаждать ему.

Что касается Ричардс, то хотя она и держала на коленях маленького Поля, однако она не могла забыть своего собственного первенца. Она чувствовала, что это неблагодарность, но влияние этого дня сказалось даже на «Милосердных Точильщиках», и она невольно видела в оловянном значке с номером сто сорок семь нечто от формальности и суровости дня. В детской она завела речь о его «милых ножках» и снова была потревожена его призраком в форменной одежде.

— Не знаю, чего бы я ни отдала,— сказала Полли,— чтобы повидать бедного малютку, покуда он еще не привык к школе.

— Ну, так я вот что скажу, миссис Ричардс,— отозвалась Нипер, которая пользовалась ее доверием,— повидайте его и успокойтесь.

— Мистеру Домби это не понравится,— сказала Полли.

— Неужели не понравится, миссис Ричардс? — откликнулась Нипер.— Мне кажется, ему бы это очень понравилось, если бы его спросили.

— Вероятно, вы и спрашивать бы его не стали? — сказала Полли.

— Да, миссис Ричардс, даже и не подумала бы,— отвечала Сьюзен,— и я слышала, как эти два надсмотрщика, Токс и Чик, говорили, что не намерены быть завтра на своем посту, а стало быть, я и мисс Флой выйдем завтра утром с вами, и поступайте, как вам угодно, миссис Ричардс, потому что мы с таким же удовольствием можем пойти туда, как и шагать взад и вперед по улице, и даже с бо́льшим.

Сначала Полли довольно мужественно отвергла это предложение, но мало-помалу стала к нему склоняться — по мере того как все яснее и яснее представляла себе запретные образы детей и родного дома. Наконец, рассудив, что большой беды не будет, если на минутку заглянуть в дверь, она приняла совет Нипер.

Когда вопрос был, таким образом, разрешен, маленький Поль жалобно заплакал, словно было у него предчувствие, что ничего хорошего из этого не выйдет.

— Что случилось с ребенком? — спросила Сьюзен.

— Должно быть, он озяб,— сказала Полли, прохаживаясь с ним взад и вперед и баюкая его.

Да, день был холодный, осенний; и покуда она прохаживалась, баюкала и, глядя в тусклые окна, крепче прижимала мальчугана к груди, сухие листья падали дождем.

ГЛАВА VI

Вторая утрата Поля

У Полли поутру возникло столько опасений, что, если бы не настойчивые понукания ее черноглазой приятельницы, она отказалась бы от всяких мыслей о путешествии и обратилась бы с формальной просьбой разрешить ей свидание с номером сто сорок седьмым под зловещим кровом мистера Домби. Но Сьюзен, которая (подобно Тони Ламкину *) могла с примерной стойкостью переносить чужие разочарования, но не могла мириться со своими, выдвинула столько остроумных возражений против нового плана и поддержала первоначальное намерение таким количеством остроумных доводов, что, как только спина мистера Домби величественно повернулась к дому и сей джентльмен отправился обычной своей дорогой в Сити, его сын, ничего не ведающий, был уже на пути к Садам Стегса.

Эта благозвучная местность находилась в пригороде, известном населению Садов Стегса под именем Кемберлинг-Тауна, каковое наименование план Лондона для приезжих, отпечатанный (с целью дать приятную и удобную справку) на носовых платках, сокращает, не без основа-

ний, в Кемден-Таун. Сюда направили свои стопы обе няньки в сопровождении своих питомцев; Ричардс, разумеется, несла Поля, а Сьюзен вела за руку маленькую Флоренс и время от времени угощала ее пинками и толчками, когда считала целесообразным прибегнуть к ним.

Как раз в те времена первый из великих подземных толчков потряс весь район до самого центра. Следы его были заметны всюду. Дома были разрушены; улицы проложены и заграждены; вырыты глубокие ямы и рвы; земля и глина навалены огромными кучами; здания, подрытые и расшатанные, подперты большими бревнами. Здесь повозки, опрокинутые и нагроможденные одна на другую, лежали как попало у подошвы крутого искусственного холма; там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то, что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые никуда не вели; широкие проспекты, которые были совершенно непроходимы; трубы, подобно вавилонским башням, наполовину недостроенные; временные деревянные сооружения и заборы в самых неожиданных местах; остовы ободранных жилищ, обломки незаконченных стен и арок, груды материала для лесов, нагроможденные кирпичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни, тысячи незавершенных вещей всех видов и форм, нелепо сдвинутых с места, перевернутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу, гниющих в воде и непонятных, как сновидение. Горячие источники и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, дополняли эту хаотическую картину. Кипящая вода свистела и вздымалась паром среди полуразрушенных стен, из развалин вырывался ослепительный блеск и рев пламени, а горы золы властно загромождали проходы и в корне изменяли законы и обычаи местности.

Короче, прокладывалась еще не законченная и не открытая железная дорога и из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала вдаль по великой стезе цивилизации и прогресса.

Но окрестное население все еще не решалось признать железную дорогу. Двое-трое дерзких спекулянтов наметили улицы, и один даже начал строиться, но приостано-

вился среди грязи и золы, чтобы еще об этом подумать. Новехонькая таверна, благоухающая свежей известкой и клеем и обращенная фасадом к пустырю, изобразила на своей вывеске железнодорожный герб; быть может, это было безрассудное предприятие, но в ту пору оно возлагало надежды на продажу спиртных напитков рабочим. Так «Приют землекопов» возник из пивной; а старинная «Торговля ветчиной и говядиной» превратилась в «Железнодорожную харчевню» с подачею жареной свинины — по корыстным мотивам такого же непосредственного и отлично понятного людям свойства. Содержатели номеров были расположены к тому же; и по тем же причинам на них не следовало полагаться. Общее доверие прививалось очень туго. Возле самой железной дороги оставались грязные пустыри, хлевы, навозные и мусорные кучи, канавы, сады, беседки и площадки для выбивания ковров. Маленькие могильные холмики из устричных раковин в сезон устриц или из скорлупы омара в сезон омаров, из битой посуды и увядших капустных листьев в любой сезон вырастали на ее насыпи. Столбы, перила, старые надписи, предостерегающие нарушителей чужого права, задворки бедных домишек и островки чахлой растительности взирали на нее с презрением. Никто ничего от нее не выгадывал и не рассчитывал выгадать. Если бы жалкий пустырь, находившийся по соседству с ней, мог смеяться, он высмеивал бы ее с презрением, как это делали многие жалкие ее соседи.

Сады Стегса отличались крайней недоверчивостью. Это был небольшой ряд домов с маленькими убогими участками земли, огороженными старыми дверьми, бочарными досками, кусками брезента и хворостом; жестяные чайники без дна и отслужившие свою службу каминные решетки затыкали дыры. Здесь «садовники Стегса» выращивали красные бобы, держали кур и кроликов, возводили дрянные беседки (одной из них служила старая лодка), сушили белье и курили трубки. Иные придерживались того мнения, что Сады Стегса были названы в честь умершего капиталиста, некоего мистера Стегса, который застроил это место для собственного удовольствия. Другие, по природе своей тяготевшие к деревне, утверждали, что название это ведет начало от тех идиллических времен, когда

рогатые животные, известные под названием оленей[1], искали приюта в тенистых окрестностях. Как бы там ни было, местные жители почитали Сады Стегса священной рощей, которую не уничтожат железные дороги; и были они так уверены в ее способности пережить все эти нелепые изобретения, что трубочист на углу, который, как было известно, руководил местной политикой Садов, обещал во всеуслышание приказать в день открытия железной дороги — если она когда-нибудь откроется — двум из своих мальчишек, чтобы те вскарабкались по дымоходам его жилища с наказом приветствовать неудачу насмешливыми возгласами из дымовых труб.

В это нечестивое место, самое название которого до сей поры тщательно скрывалось от мистера Домби его сестрою, был доставлен теперь маленький Поль Судьбою и Ричардс.

— Вот мой дом, Сьюзен,— указывая на него, радостно сказала Полли.

— В самом деле, миссис Ричардс? — снисходительно отозвалась Сьюзен.

— И, право же, в дверях стоит моя сестра Джемайма! — воскликнула Полли.— И на руках у нее мой милый, ненаглядный малютка!

Зрелище это придало нетерпению Полли такие могучие крылья, что она пустилась бегом по Садам, и, подлетев к Джемайме, в мгновение ока обменялась с нею младенцами, к крайнему изумлению этой юной особы, на которую наследник Домби словно с неба свалился.

— Ах, Полли! — воскликнула Джемайма.— Это ты! Ну, и перепугала же ты меня! Кто бы мог подумать? Входи, Полли! Какой у тебя прекрасный вид! Дети с ума сойдут, когда увидят тебя, Полли, право же, с ума сойдут.

Так и случилось, если судить по шуму, какой они подняли, и по тому, как они бросились к Полли и потащили ее к глубокому креслу у камина, где ее честное лицо, похожее на яблоко, тотчас окружили яблочки помельче и все прижимались к нему своими розовыми щечками, по-видимому созрев на одном и том же дереве. Что до Полли, то она подняла такой же шум и возню, как и дети; и сума-

---

[1] *Stag* — олень, а также биржевой спекулянт.

тоха немного поулеглась не раньше, чем она совсем запыхалась, волосы спустились прядями на раскрасневшееся лицо, а новое платье, сшитое по случаю крестин, было сильно измято. Но и тогда младший Тудль остался у нее на коленях и крепко обнимал ее за шею обеими руками, а следующий Тудль вскарабкался на спинку кресла и, болтая одной ногой, делал отчаянные попытки поцеловать ее.

— Смотрите-ка, к вам в гости пришла хорошенькая маленькая леди,— сказала Полли.— Видите, какая *она* тихонькая! Какая красивая маленькая леди, правда?

Это упоминание о Флоренс, которая стояла у двери, следя за происходящим, привлекло к ней внимание младших отпрысков и равным образом счастливо содействовало официальному признанию мисс Нипер, у которой уже возникло опасение, что ею пренебрегли.

— Ах, Сьюзен, пожалуйста, войдите и присядьте на минутку,— сказала Полли.— Это моя сестра Джемайма, вот она. Джемайма, не знаю, что бы я делала, если бы не Сьюзен Нипер; не будь ее, не было бы меня здесь сегодня.

— Ах, присядьте, пожалуйста, мисс Нипер,— подхватила Джемайма.

Сьюзен с величественным и церемонным видом присела на самый кончик стула.

— Я никогда еще никому так не радовалась, мисс Нипер, право же, никогда,— сказала Джемайма.

Сьюзен, смягчившись, слегка подвинулась на стуле и милостиво улыбнулась.

— Пожалуйста, мисс Нипер, развяжите ленты шляпы и будьте как дома,— умоляла Джемайма.— Боюсь, что вы не бывали в таком бедном жилище; но вы окажете нам снисхождение, в этом я уверена.

Черноглазая была так польщена этим почтительным обращением, что подхватила на колени маленькую мисс Тудль, пробегавшую мимо, и тотчас же повезла ее на Бенбери-Кросс *.

— А где же мой миленький мальчик? — спросила Полли.— Мой бедный мальчуган? Я пришла поглядеть, каков он в новом платье.

— Ах, какая жалость! — воскликнула Джемайма.— Как он будет горевать, когда узнает, что мама была здесь! Он в школе, Полли.

— Уже ушел?

— Да. Вчера он пошел в первый раз, боялся пропустить ученье. А сегодня занимаются полдня, Полли; ах, если бы ты могла подождать, пока он вернется домой... ты и мисс Нипер, конечно,— сказала Джемайма, вовремя вспомнив о самолюбии черноглазой.

— А какой у него вид, Джемайма, помоги ему бог? — боязливо спросила Полли.

— Да уж не так плох, как ты, может быть, думаешь,— ответила Джемайма.

— Ах! — с чувством сказала Полли.— Я решила, что ноги у него, должно быть, слишком коротки.

— Ноги у него и в самом деле коротки,— отвечала Джемайма,— но они с каждым днем будут становиться длиннее.

Это утешение рассчитано было на будущее; но бодрость и добродушие, его сопровождавшие, придали ему цену, какой оно по существу не имело. После минутного молчания Полли спросила более веселым тоном:

— А где отец, милая Джемайма? — ибо этим патриархальным именем обычно называли в семье мистера Тудля.

— Ну, вот! — воскликнула Джемайма.— Какая жалость! Сегодня утром отец взял с собой обед и домой вернется только к вечеру. Но он постоянно толкует про тебя, Полли, и рассказывает о тебе детям; он — самое тихое, терпеливое и кроткое существо на свете, всегда был таким и всегда будет.

— Спасибо, Джемайма! — воскликнула простодушная Полли, восхищенная этой речью и опечаленная отсутствием мужа.

— О, не за что благодарить меня, Полли,— отвечала сестра, крепко целуя ее в щеку и весело подбрасывая на руках маленького Поля.— Иной раз я то же самое и о тебе говорю и думаю.

Несмотря на двойное разочарование, нельзя было считать неудачей визит, удостоившийся такого приема; поэтому сестры бодро толковали о семейных делах, о Байлере и обо всех его братьях и сестрах, а черноглазая, совершив несколько поездок на Бенбери-Кросс и обратно, пристально разглядывала мебель, голландские часы, буфет,

за́мок на каминной доске со вставленными в него красными и зелеными окнами, которые могли освещаться с помощью огарка, и пару маленьких черных бархатных котят, каждый с дамским ридикюлем во рту, которых садовники Стегса почитали диковинками изобразительного искусства. Когда завели общий разговор, чтобы черноглазая не оседлала своего конька и не начала язвить, сия молодая леди поведала вкратце Джемайме все, что знала о мистере Домби, его видах на будущее, семействе, занятиях и характере. Представила также подробную опись своего личного гардероба и отчет о ближайших своих родственниках и друзьях. Облегчив душу этими излияниями, она отведала креветок и портера и обнаружила готовность поклясться в вечной дружбе.

Маленькая Флоренс также не упустила случая воспользоваться обстоятельствами, ибо когда юные Тудли повели ее осматривать поганки и другие достопримечательности Садов, она с увлечением отдалась вместе с ними сооружению временной плотины в зеленой лужице, образовавшейся в каком-то закоулке. Она еще была занята этой работой, когда ее отыскала Сьюзен, которая — таково было у нее чувство долга, несмотря даже на умиротворяющее действие креветок,— обратилась к ней с нравоучительной речью (прерываемой тумаками) на тему о ее порочной натуре, отмывая ей при этом лицо и руки, и предсказала, что она доведет до седых волос все свое семейство, которое от скорби сойдет в могилу. После некоторой задержки, вызванной довольно долгой конфиденциальной беседой наверху о денежных делах между Полли и Джемаймой, снова был совершен обмен детей,— ибо Полли все время не спускала с рук своего собственного ребенка, а Джемайма маленького Поля,— и посетители распрощались.

Но юных Тудлей, жертв благонамеренного обмана, сначала соблазнили отправиться в полном составе в мелочную лавку якобы для того, чтобы истратить пенни, и когда путь был свободен, Полли убежала: Джемайма крикнула ей вслед, что, если бы они могли на обратном пути сделать крюк в сторону Сити-роуд, они непременно встретили бы маленького Байлера, возвращающегося из школы.

— Как вы думаете, Сьюзен, успеем мы сделать этот маленький крюк? — осведомилась Полли, когда они остановились, чтобы перевести дух.

— А почему бы не успеть, миссис Ричардс? — отозвалась Сьюзен.

— Время, знаете ли, близится к обеду, — сказала Полли.

Но благодаря завтраку ее спутница стала более чем равнодушной к этому серьезному соображению; посему она не придала ему никакого значения, и они решили сделать «маленький крюк».

Случилось так, что со вчерашнего утра жизнь стала в тягость бедному Байлеру — по вине форменного наряда Милосердных Точильщиков. Уличная молодежь не могла примириться с ним. Ни один юный шалопай не мог удержаться при виде его, чтобы не накинуться на безобидного носителя этой формы и не причинить ему ущерба. Жизнь его в обществе напоминала скорее жизнь первых христиан, чем невинного ребенка в девятнадцатом веке. Его побивали камнями на улице. Его сталкивали в канавы; забрызгивали грязью; энергически притискивали к столбам. Мальчишки, вовсе не знакомые с его особою, срывали у него с головы желтую шапку и пускали ее по ветру. Ноги его не только подвергались словесной критике и поношениям, но их ощупывали и щипали. В это самое утро, направляясь в школу Точильщиков, он получил вовсе не заслуженный синяк под глазом и был за него наказан учителем — перезрелым бывшим Точильщиком свирепого нрава, который был назначен учителем, ибо ничего не знал и был ни к чему не пригоден, и чья безжалостная трость вызывала столбняк у всех толстощеких мальчуганов.

Поэтому-то на обратном пути Байлер искал глухих троп и пробирался узкими проходами и задворками, чтобы ускользнуть от своих мучителей. Когда же ему пришлось выйти на главную улицу, злая судьба привела его, наконец, туда, где кучка мальчишек, возглавляемых отчаянным молодым мясником, поджидала, не представится ли им возможность повеселиться. Когда среди них очутился Милосердный Точильщик, как будто непостижимо ниспосланный свыше, они дружно заорали и набросились на него.



В это самое время Полли, безнадежно посматривая вдоль улицы, после доброго часа ходьбы заявила, что нет смысла идти дальше, как вдруг увидела это зрелище. Едва увидав его, она вскрикнула и, передав юного Домби черноглазой, бросилась на выручку своего злополучного сынка.

Неожиданность, как и беда, не ходит одна. Изумленная Сьюзен Нипер и ее двое питомцев были спасены прохожими из-под самых колес проезжавшей кареты, прежде чем сообразили, что случилось; и в этот момент (день был базарный) раздались оглушительные крики: «Бешеный бык!»

В разгар смятения, когда на ее глазах люди метались и орали, и попадали под колеса, и мальчишки дрались, и бешеные быки надвигались, и нянька среди всех этих опасностей разрывалась на части, Флоренс вскрикнула и пустилась бежать. Она бежала, пока не выбилась из сил, умоляя Сьюзен следовать за нею; но, сообразив, что другая нянька осталась позади, она остановилась, ломая руки, и с ужасом, не поддающимся описанию, убедилась, что никого возле нее нет.

— Сьюзен, Сьюзен! — закричала Флоренс, в припадке отчаяния всплескивая руками.— О, где они, где они?

— Где они? — повторила какая-то старуха, приковылявшая со всею поспешностью, на какую была способна, с противоположной стороны улицы.— Зачем ты от них убежала?

— Я испугалась,— ответила Флоренс.— Я не знала, что делать. Я думала, что они со мной. Где они?

Старуха взяла ее за руку и сказала:

— Я тебя провожу.

Это была отвратительная старуха с красными ободками вокруг глаз и ртом, чавкающим и шамкающим, даже когда она молчала. Она была очень бедно одета и несла какие-то шкурки, висевшие у нее на руке. Вероятно, она шла следом за Флоренс — во всяком случае в течение некоторого времени, так как успела запыхаться; и когда она остановилась, чтобы передохнуть, она стала еще безобразнее, потому что по ее желтому морщинистому лицу и шее пробегали судороги.

Флоренс боялась ее и, нерешительно оглядываясь, посматривала вдоль улицы, которую пробежала почти до конца. Это было глухое место — скорее какие-то задворки, чем улица,— и никого здесь не было, кроме нее и старухи.

— Теперь тебе нечего бояться,— сказала старуха, все еще не выпуская ее руки.— Иди со мной.

— Я... я вас не знаю. Как вас зовут? — спросила Флоренс.

— Миссис Браун,— сказала старуха.— Добрая миссис Браун.

— Они близко отсюда? — спросила Флоренс, давая себя увлечь.

— Сьюзен тут поблизости,— сказала Добрая миссис Браун,— а другие недалеко от нее.

— Никого не ушибли? — вскричала Флоренс.

— Да нет же! — сказала Добрая миссис Браун.

Услыхав это, девочка заплакала от радости и охотно пошла со старухой, хотя, покуда они шли, она невольно посматривала на ее лицо — в особенности на этот неутомимый рот — и размышляла о том, похожа ли на нее Злая миссис Браун, если только существует на свете такая особа.

Шли они недолго, но очень неприглядной дорогой — например, мимо печей для обжига кирпича и черепицы,— а затем старуха свернула в грязный переулок, прорезанный глубокими черными колеями. Она остановилась перед жалким домишком, запертым так крепко, как только может быть заперт дом весь в трещинах и щелях. Потом она отперла дверь ключом, который извлекла из-под шляпы, и втолкнула девочку в заднюю комнату, где на полу лежала большая куча тряпок всевозможных цветов, куча костей и куча просеянной золы или мусора; мебели здесь не было, а стены и потолок были совсем черные.

Девочка испугалась так, что не могла выговорить ни слова, и казалось, вот-вот потеряет сознание.

— Ну, не дури! — сказала Добрая миссис Браун, приводя ее толчком в чувство.— Я тебя не обижу. Садись на тряпье.

Флоренс повиновалась, с немой мольбой протягивая к ней руки.

— И задержу я тебя не более часа,— сказала миссис Браун.— Понимаешь, что я говорю?

Девочка с большим трудом выговорила «да».

— Так, стало быть,— сказала Добрая миссис Браун, в свою очередь усаживаясь на кости,— не досаждай мне. Если не будешь досаждать, говорю тебе, что я тебя не обижу. А если досадишь — убью. Я могу тебя убить в любое время — даже когда ты лежишь в постели у себя дома. А теперь рассказывай, кто ты такая и что ты такое и все прочее о себе.

Угрозы и обещания старухи, боязнь рассердить ее и привычка, несвойственная ребенку, но у Флоренс ставшая как бы врожденной,— таиться и скрывать свои чувства, страхи и надежды, помогли ей исполнить это требование и рассказать свою маленькую биографию или то, что она знала о своей жизни. Миссис Браун слушала внимательно, пока она не закончила рассказа.

— Так, стало быть, твоя фамилия Домби? — сказала миссис Браун.

— Да, сударыня.

— Мне нужно это хорошенькое платьице, мисс Домби,— сказала Добрая миссис Браун,— и эта шляпка и одна-две юбочки и все прочее, без чего ты можешь обойтись. Ну-ка, сними их!

Флоренс повиновалась торопливо, насколько это позволяли ее дрожащие руки; при этом она не сводила испуганных глаз с миссис Браун. Когда она избавилась от всех принадлежностей туалета, упомянутых этой леди, миссис Браун осмотрела их не спеша и как будто осталась вполне довольна их качеством и стоимостью.

— Гм! — сказала она, окидывая взглядом хрупкую фигуру ребенка.— Больше я ничего не вижу кроме башмаков. Мне нужны эти башмаки, мисс Домби.

Бедная маленькая Флоренс сняла их не менее поспешно, искренне радуясь, что нашлось еще одно средство ублаготворить Добрую миссис Браун. Затем старуха извлекла какие-то лохмотья из-под кучи тряпья, которую она для этой цели разворошила, а также детскую накидку, совсем изношенную и старую, и измятые остатки шляпы, выуженной, вероятно, из какой-нибудь канавы или навозной кучи. В это изысканное одеяние она при-

казала Флоренс нарядиться, а так как такие приготовления, казалось, предшествовали освобождению, девочка повиновалась, пожалуй, с еще большей готовностью.

Торопясь надеть шляпку,— если только можно назвать шляпкой то, что скорее походило на подушку, которую подкладывают при переноске тяжестей,— она зацепилась ею за свои густые волосы и не сразу могла отцепить ее. Добрая миссис Браун схватила большие ножницы и впала в состояние странного возбуждения.

— Почему ты не оставила меня в покое,— сказала миссис Браун,— когда я была довольна? Ах ты дурочка!

— Простите. Не знаю, чем я виновата,— задыхаясь, промолвила Флоренс.— Я ничего не могла поделать.

— Ничего не могла поделать! — вскричала миссис Браун.— А как, по-твоему, что я могу поделать? Ах, боже мой,— продолжала старуха, с каким-то злобным наслаждением ероша ее локоны,— всякий на моем месте снял бы их прежде всего.

Флоренс почувствовала облегчение, узнав, что не на голову, а только на волосы посягает миссис Браун; она не стала ни сопротивляться, ни умолять и только подняла свои кроткие глаза на это доброе создание.

— Не будь у меня прежде дочки — теперь она за океаном,— которая гордилась своими волосами,— сказала миссис Браун,— я бы срезала все до последнего завитка. Она далеко, далеко! Охо-хо! Охо-хо!

Завывание миссис Браун не было мелодическим, но, сопровождаемое неистовой жестикуляцией, оно вещало о жгучем горе и заставило затрепетать сердце Флоренс, которая испугалась еще больше. Быть может, оно содействовало спасению ее кудрей, потому что миссис Браун, покружившись около нее с ножницами, словно бабочка неизвестной породы, приказала спрятать волосы под шляпу, чтобы ни одна прядь не выбивалась ей на соблазн. Одержав эту победу над собой, миссис Браун снова уселась на кости и закурила коротенькую черную трубку, все время двигая губами и причмокивая, как будто она обгладывала мундштук.

Выкурив трубку, она заставила девочку взять в руки шкурку, чтобы Флоренс казалась добровольной ее спутницей, и объявила, что поведет ее теперь на людную улицу,

где она может узнать дорогу к своим. Но она приказала ей, пригрозив в случае ослушания скорой и жестокой расправой, не разговаривать с прохожими и идти не домой (ибо дом, быть может, находился слишком близко с точки зрения миссис Браун), но в контору к отцу, в Сити, а сначала подождать на углу, где она ее оставит, пока не пробьет три. Эти наставления миссис Браун подкрепила заявлением, что есть у нее на службе всемогущие глаза и уши, которым известны все поступки девочки, и этим наставлениям Флоренс торжественно и серьезно обещала следовать.

Наконец миссис Браун, тронувшись в путь, повлекла свою преобразившуюся, одетую в лохмотья маленькую приятельницу лабиринтом узких улиц, переулков и переулочков, которые привели в конце концов к извозчичьему двору, замыкавшемуся воротами; из-за ворот доносился шум большой городской магистрали. Указав на эти ворота и уведомив Флоренс о том, что, когда пробьет три часа, она должна пойти налево, миссис Браун дернула ее на прощание за волосы — движение, по-видимому, непроизвольное и не поддающееся контролю; затем она приказала ей идти и помнить, что за нею следят.

С облегченным сердцем, но все еще очень перепуганная, Флоренс почувствовала, что ее освободили, и побежала к углу. Дойдя до него, она оглянулась и увидела голову Доброй миссис Браун, высовывавшуюся из-за низкого деревянного прикрытия, за которым Добрая миссис Браун давала ей последние указания, а также кулак, которым она грозила. После этого, хотя Флоренс частенько оглядывалась,— по меньшей мере ежеминутно с тревогой вспоминая о старухе,— она ее уже не видела.

Флоренс стояла на углу, глядела на уличную сутолоку и приходила от нее в еще большее замешательство; между тем часы как будто приняли решение никогда не бить три. Наконец на колокольне пробило три часа; это было совсем близко,— значит, ошибиться она не могла; она несколько раз оглядывалась через плечо, несколько раз пускалась в путь и столько же раз возвращалась из боязни разгневать всемогущих шпионов миссис Браун и, наконец, бросилась вперед с поспешностью, какую только допускали стоптанные башмаки, не выпуская из рук кроличьей шкурки.

О конторах своего отца она знала только, что они принадлежат Домби и Сыну и что это великая сила в Сити. Поэтому она могла спрашивать лишь о том, как пройти к Домби и Сыну в Сити; а так как этот вопрос она задавала преимущественно детям, боясь обращаться к взрослым, то и пользы извлекла очень мало. Но спустя некоторое время она начала спрашивать дорогу в Сити, опуская пока первую половину вопроса, и тогда в самом деле стала постепенно приближаться к сердцу великой страны, управляемой грозным лорд-мэром *.

Устав от ходьбы, всюду встречая толчки, оглушенная шумом и сутолокой, беспокоясь о брате и няньках, в ужасе от пережитого ею и от перспективы явиться в таком виде перед разгневанным отцом, ошеломленная и испуганная тем, что произошло, и что сейчас происходит, и что еще ей предстоит,— Флоренс шла, утомленная, со слезами на глазах. и раза два невольно останавливалась, чтобы облегчить измученное сердце горькими рыданиями. Но в такие минуты мало кто замечал ее в том платье, какое было на ней; а если и замечал, то думал, что девочку научили вызывать сострадание, и проходил мимо. И Флоренс, призвав на помощь всю твердость и стойкость характера, который слишком рано определился и закалился под влиянием горьких испытаний, не упуская из виду поставленной цели, упорно стремилась к ней.

Добрых два часа прошло с тех пор, как началось это странное приключение, когда, наконец, ускользнув от шума и грохота узкой улицы, запруженной повозками и фургонами, она вышла к какой-то верфи или пристани на берегу реки, где увидела великое множество тюков, бочек и ящиков, большие деревянные весы и маленький деревянный домик на колесах, перед которым, глядя на ближайшие мачты и лодки, стоял, посвистывая, дородный человек, заткнув за ухо перо и засунув руки в карманы, словно рабочий его день уже подходил к концу.

— Ну, что там еще! — сказал этот человек, случайно оглянувшись.— Ничего у нас нет для тебя, девочка. Уходи!

— Скажите, пожалуйста, это Сити? — спросила трепещущая дочь Домби.

— Да, это Сити. Думаю, что ты это прекрасно знаешь. Уходи! Ничего у нас нет для тебя.

— Мне ничего не нужно, благодарю вас,— последовал робкий ответ.— Мне бы только узнать дорогу к Домби и Сыну.

Человек, лениво двинувшийся по направлению к ней, был как будто удивлен этим ответом, внимательно посмотрел ей в лицо и сказал:

— Да тебе-то что нужно от Домби и Сына?

— Простите, мне нужно знать дорогу туда.

Человек посмотрел на нее еще пытливее и в изумлении потер себе затылок с такой энергией, что сбил с головы шляпу.

— Джо! — позвал он другого человека, рабочего, подняв и снова надев шляпу.

— Вот я! — отозвался Джо.

— Где этот молодой франтик от Домби, который следил за погрузкой товаров?

— Только что вышел в другие ворота,— сказал Джо.

— Позови-ка его на минутку.

Джо бросился к воротам, крича на бегу, и вскоре вернулся с жизнерадостным на вид мальчиком.

— Ты на побегушках у Домби, так, что ли? — спросил первый человек.

— Я — служащий фирмы Домби, мистер Кларк,— отвечал мальчик.

— В таком случае, погляди-ка сюда,— сказал мистер Кларк.

Повинуясь жесту мистера Кларка, мальчик подошел к Флоренс, не без основания недоумевая, какое он имеет к ней отношение. Но Флоренс, которая все слышала и почувствовала не только облегчение, неожиданно убедившись в спасении и окончании своего путешествия, но и великое успокоение при виде его оживленного юного лица, стремительно подбежала к нему, обронив по дороге один из стоптанных башмаков, и обеими руками схватила его за руку.

— Простите, пожалуйста, я потерялась! — сказала Флоренс.

— Потерялась? — воскликнул мальчик.

— Да, я потерялась сегодня утром, далеко отсюда... а потом с меня сняли платье... и сейчас на мне чужое... и зовут меня Флоренс Домби, я — единственная сестра моего братца... и, ах, боже мой, боже мой, помогите мне,

пожалуйста! — всхлипывала Флоренс, давая волю ребяческим чувствам, которые она так долго подавляла, и заливаясь слезами. При этом ее жалкая шляпа слетела с головы, и растрепавшиеся волосы упали ей на лицо, вызвав безмолвное восхищение и сострадание юного Уолтера, племянника Соломона Джилса, мастера судовых инструментов.

Мистер Кларк вне себя от изумления повторял чуть слышно: «Я еще никогда не видывал такого товара на этой пристани». Уолтер поднял башмак и надел его на маленькую ножку, подобно принцу в сказке, примерявшему туфельку Золушке. Он перебросил через левую руку кроличью шкурку, правую предложил Флоренс и почувствовал себя не Ричардом Виттингтоном — это избитое сравнение,— но святым Георгом Английским * с простертым у его ног мертвым драконом.

— Не плачьте, мисс Домби! — воскликнул Уолтер в порыве энтузиазма.— Как это чудесно, что я оказался здесь! Теперь вы в такой же безопасности, как если бы вас охраняла целая команда отборных моряков с военного судна. Ах, не плачьте!

— Больше я не буду плакать,— сказала Флоренс.— Я плачу от радости.

«Плачет от радости! — подумал Уолтер.— И я виновник этой радости».— Идемте, мисс Домби. Ну вот, теперь и другой башмак свалился. Возьмите мои, мисс Домби.

— Нет, нет, нет! — воскликнула Флоренс, удерживая его в тот момент, когда он порывисто стягивал с себя башмаки.— В этих мне удобнее. В этих очень хорошо.

— Ну, конечно,— сказал Уолтер, взглянув на ее ножку,— мои на целую милю длиннее, чем нужно. Как же это я не подумал! В моих вы вовсе не могли бы идти! Идемте, мисс Домби. Хотел бы я посмотреть, какой негодяй посмеет вас теперь обидеть!

Уолтер,— весьма грозный на вид,— увел Флоренс, имевшую вид очень счастливый; и они зашагали рука об руку по улицам, вовсе не помышляя о том, какой странной могла показаться эта пара.

Сумерки и туман сгущались, и вдобавок начал накрапывать дождь, но они никакого внимания на это не обращали; оба были всецело поглощены недавними приключениями Флоренс, о которых она рассказывала с простоду-

шием и доверием, свойственными ее возрасту, тогда как Уолтер слушал так, словно они брели далеко от грязи и копоти Темз-стрит, среди широколиственных высоких деревьев на каком-то необитаемом острове под тропиками,— и в то время он воображал, быть может, что так оно и есть.

— Далеко нам? — спросила, наконец, Флоренс, поднимая глаза на своего спутника.

— Ах, кстати,— останавливаясь, сказал Уолтер,— позвольте-ка, где мы? А, знаю! Но контора сейчас закрыта, мисс Домби. Никого там нет. Мистер Домби давно ушел домой. Пожалуй, и нам следует пойти туда же. Или постойте-ка. Не отвести ли мне вас к дяде, у которого я живу... это совсем близко отсюда... а потом поехать к вам домой в карете, уведомить их, что вы в безопасности и привезти вам какое-нибудь платье. Пожалуй, так лучше будет?

— Ну что ж,— отвечала Флоренс.— А как по-вашему? Как вы думаете?

Пока они стояли, совещаясь, какой-то человек поравнялся с ними и, мимоходом взглянув на Уолтера, словно узнал его, но потом, как бы не доверяя первому впечатлению, прошел дальше.

— Мне кажется, это мистер Каркер,— сказал Уолтер.— Каркер из нашей фирмы. Не заведующий наш Каркер, мисс Домби, а другой Каркер, младший. Алло! Мистер Каркер!

— Уолтер Гэй? — отозвался тот, приостанавливаясь и возвращаясь.— Я подумал, что ошибся... с такой странной спутницей...

Стоя у фонаря и с удивлением выслушивая торопливые объяснения Уолтера, он представлял разительный контраст двум ребятишкам, стоявшим перед ним рука об руку. Он был не стар, но волосы у него были седые; плечи сгорбились или согнулись под бременем какой-то великой скорби, и глубокие морщины пересекали его изможденное, печальное лицо. Блеск глаз, выражение лица, даже голос его — все было тускло и безжизненно, как будто дух в нем испепелился. Он был одет прилично, хотя и очень просто, в черное; но платье его, под стать всему облику, как бы съежилось и сжалось на нем и присоединилось к жалобной мольбе, которую выражала вся его фигура с головы до

пят,— он хотел оставаться незамеченным и одиноким в своем унижении.

И, однако, интерес его к упованиям юности не угас, как угасли в нем другие чувства, ибо он всматривался в оживленное лицо мальчика, пока тот говорил, с необычайной симпатией и с чувством необъяснимой тревоги и жалости, которое светилось в его глазах, как ни старался он его скрыть. Когда Уолтер в заключение задал ему вопрос, который уже задавал Флоренс, он продолжал смотреть на него с тем же выражением, словно читал на его лице судьбу, горестно противоречившую теперешней его веселости.

— Что вы посоветуете, мистер Каркер? — улыбаясь, спросил Уолтер.— Ведь вы всегда даете мне добрые советы, когда разговариваете со мной. Правда, это случается не часто.

— Ваш план мне кажется наилучшим,— отвечал тот, переводя взгляд с Флоренс на Уолтера и обратно.

— Мистер Каркер,— просияв, сказал Уолтер, у которого мелькнула великодушная мысль,— послушайте! Вот случай для вас! Пойдите вы к мистеру Домби и принесите ему добрую весть. Это может быть полезно вам, сэр. Я останусь дома. Идите.

— Я? — воскликнул тот.

— Да. Почему бы вам не пойти, мистер Каркер? — сказал мальчик.

Тот в ответ только пожал ему руку; казалось, даже это он сделал со стыдом и опаской; и, пожелав ему доброй ночи и посоветовав не мешкать, пошел дальше.

— Ну, мисс Домби,— сказал Уолтер, посмотрев ему вслед, когда они тоже пошли своей дорогой,— мы как можно скорее отправимся к моему дяде. Слыхали ли вы когда-нибудь, мисс Флоренс, чтобы мистер Домби говорил о мистере Каркере-младшем?

— Нет,— тихо ответила девочка,— я редко слышу, как папа разговаривает.

«Ах, верно! Тем хуже для него»,— подумал Уолтер. После минутной паузы, в течение которой он смотрел вниз на кроткое, терпеливое личико идущей рядом с ним девочки, он со свойственным ему мальчишеским оживлением и стремительностью заговорил о другом; а когда один из

злополучных башмаков опять свалился весьма кстати, предложил отнести Флоренс на руках к дяде. Флоренс, хотя и очень устала, смеясь, отклонила это предложение, боясь, как бы он ее не уронил. Они были уже недалеко от Деревянного Мичмана, и тут Уолтер стал рассказывать различные случаи из истории кораблекрушений и другие волнующие происшествия, а также о том, как мальчики моложе его спасали и с торжеством уносили девочек старше Флоренс; они все еще были увлечены этим разговором, когда подошли к двери мастера судовых инструментов.

— Алло, дядя Соль! — закричал Уолтер, врываясь в лавку — с этой минуты и вплоть до конца вечера он говорил бессвязно и запинаясь.— Какое удивительное приключение! Вот дочь мистера Домби заблудилась на улице, а старая ведьма отняла у нее платье... я ее нашел, привел к нам, чтобы она отдохнула у нас в гостиной... смотрите!

— Господи боже мой! — сказал дядя Соль, попятившись к своему возлюбленному компасу.— Быть не может! Никогда бы я...

— Да, и никто другой,— перебил Уолтер, угадывая конец фразы.— Никто, право же, никто... Вот! Помогите мне перенести эту кушетку ближе к огню, ладно, дядя Соль?.. Приготовьте тарелки... дайте ей пообедать, ладно, дядя?.. Бросьте эти башмаки под каминную решетку, мисс Флоренс... поставьте ноги на решетку, чтобы согреть их... какие они мокрые!.. Вот так приключение, а, дядя?.. Господи помилуй, как мне жарко!

Соломону Джилсу также было очень жарко — и от сочувствия и от крайнего изумления. Он гладил по головке Флоренс, уговаривал ее поесть, уговаривал ее пить, растирал ей ноги нагретым у камина носовым платком, пытливо всматриваясь в своего непоседу-племянника, и ничего, в сущности, не понимал, кроме того, что на него постоянно налетал и натыкался этот взволнованный молодой джентльмен, который носился по комнате, принимаясь сразу за двадцать дел и ровно ничего не предпринимая.

— Подождите минутку, дядя,— сказал он, схватив свечу,— сейчас я сбегаю наверх, надену другую куртку, а потом уйду. Послушайте, дядя, вот так приключение!

— Дорогой мой мальчик,— сказал Соломон, который с очками на лбу и большим хронометром в кармане метался

между Флоренс на кушетке и своим племянником во всех уголках гостиной,— это самое необычайное...

— Да, но, пожалуйста, дядя... пожалуйста, мисс Флоренс... знаете ли, обед, дядя...

— Да! Да! Да! — воскликнул Соломон, сразу вонзив нож в баранью ногу, точно ему предстояло кормить великана.— Я о ней позабочусь, Уоли! Я понимаю. Милая крошка! Конечно, проголодалась. Ступай и приведи себя в порядок. Господи помилуй! Сэр Ричард Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!

Уолтеру немного понадобилось времени, чтобы подняться к себе в мансарду и спуститься, но Флоренс, не в силах бороться с утомлением, успела задремать у камина. Эта короткая пауза — хотя длилась она всего несколько минут — помогла Соломону Джилсу настолько прийти в себя, чтобы позаботиться о ее удобствах, уменьшить свет в комнате и заслонить ее от огня. Итак, когда мальчик вернулся, она сладко спала.

— Вот это чудесно! — прошептал он, так крепко сжав в объятиях Соломона, что тот изменился в лице.— Теперь я ухожу. Захвачу только с собой корочку хлеба, я очень голоден... и... не будите ее, дядя Соль!

— Нет, нет,— сказал Соломон.— Хорошенькая девочка!

— Прехорошенькая! — воскликнул Уолтер.— Я никогда не видывал такого личика, дядя Соль. Теперь я ухожу.

— Отлично,— с большим облегчением сказал Соломон.

— Послушайте, дядя Соль! — крикнул Уолтер, просунув голову в дверь.

— Он опять здесь! — сказал Соломон.

— Как она себя чувствует сейчас?

— Прекрасно,— сказал Соломон.

— Великолепно! Теперь я ухожу.

— Надеюсь,— пробормотал про себя Соломон.

— Послушайте, дядя Соль,— воскликнул Уолтер, снова появляясь в дверях.

— Он опять здесь! — сказал Соломон.

— Мы встретили на улице мистера Каркера-младшего. Таким странным он никогда еще не бывал. Он простился со мной, но пошел следом за нами — вот удивительно! — потому что, когда мы подошли к двери, я оглянулся и

видел, как он потихоньку уходил, точно слуга, проводивший меня до дому, или верная собака. Как она себя чувствует теперь, дядя?

— Совершенно так же, как и раньше, Уоли,— отвечал дядя Соль.

— Отлично! Теперь-то уж я ухожу!

На этот раз он действительно ушел, а Соломон Джилс, не имея желания обедать, сел по другую сторону камина, следя за спящей Флоренс и строя великое множество воздушных замков самой фантастической архитектуры,— похожий в тусклом свете и в ближайшем соседстве со всеми инструментами на переодетого волшебника в валлийском парике и кофейного цвета одежде, который погрузил девочку в зачарованный сон.

Тем временем Уолтер приближался к дому мистера Домби со скоростью, которую редко развивает извозчичья лошадь; и, однако, через каждые две-три минуты он высовывался из окна, нетерпеливо увещая извозчика. Достигнув цели своего путешествия, он выскочил из кэба, известил о своей миссии слугу и последовал за ним прямо в библиотеку, где было великое смешение языков и где мистер Домби, его сестра и мисс Токс, Ричардс и Нипер находились все в сборе.

— Прошу прощения, сэр,— сказал Уолтер, бросаясь к нему,— но, к счастью, я могу сообщить, что все обстоит благополучно, сэр. Мисс Домби нашлась!

Мальчик с его открытым лицом, развевающимися волосами и блестящими глазами, задыхающийся от радости и возбуждения, представлял изумительную противоположность мистеру Домби, когда тот сидел против него в своем библиотечном кресле.

— Я говорил вам, Луиза, что она непременно найдется,— сказал мистер Домби, слегка повернувшись к этой леди, плакавшей вместе с мисс Токс.— Дайте знать слугам, что нет необходимости в дальнейших поисках. Мальчик, доставивший это известие,— молодой Гэй из конторы. Как нашлась моя дочь, сэр? Мне известно, как ее потеряли.— Тут он величественно взглянул на Ричардс.— Но как она нашлась? Кто ее нашел?

— Пожалуй, это я нашел мисс Домби, сэр,— скромно сказал Уолтер,— не знаю, могу ли я ставить себе в за-

слугу, что действительно нашел ее, но, во всяком случае, я был счастливым орудием...

— Что вы подразумеваете, сэр,— перебил мистер Домби, с инстинктивной неприязнью отмечая, что мальчик явно горд и счастлив своим участием в этом происшествии,— говоря, что, в сущности, вы не нашли моей дочери, а были счастливым орудием? Будьте добры говорить толково и последовательно.

Не во власти Уолтера было говорить последовательно, но он постарался дать те объяснения, на какие был способен в своем возбужденном состоянии, и рассказал, почему он пришел один.

— Вы это слышите, девушка? — строго сказал мистер Домби, обращаясь к черноглазой.— Возьмите все необходимое и сейчас же отправляйтесь с этим молодым человеком, чтобы доставить домой мисс Флоренс. Гэй, завтра вы получите вознаграждение.

— О, благодарю вас, сэр,— сказал Уолтер.— Вы очень добры. Право же, я не думал о награде, сэр.

— Вы — юнец,— сказал мистер Домби резко и чуть ли не злобно,— и то, что вы думаете, или воображаете, будто думаете, имеет мало значения. Вы поступили хорошо, сэр. Не портите того, что сделали. Пожалуйста, Луиза, налейте мальчику вина.

Взгляд мистера Домби с явным неодобрением провожал Уолтера Гэя, когда тот выходил из комнаты под присмотром миссис Чик; и с таким же неудовольствием духовный его взор следовал за ним, когда он вместе с мисс Сьюзен Нипер ехал обратно к своему дяде.

Там они убедились, что Флоренс, выспавшись, пообедала и очень подружилась с Соломоном Джилсом, к которому относилась с полным доверием и симпатией. Черноглазая (которая столько плакала, что теперь ее можно было назвать красноглазой, и которая была очень молчалива и удручена) заключила ее в объятия, не сказав ни одного сердитого или укоризненного слова, и способствовала тому, что свидание вышло весьма истерическим. Затем, превратив гостиную специально для этого случая в туалетную, она переодела Флоренс очень заботливо в подобающее ей платье; и, наконец, увела ее,— столь похожей на члена семьи Домби, сколь это было возможно, если

принять во внимание, что девочке в этом праве было отказано.

— Прощайте! — сказала Флоренс, подбегая к Соломону.— Вы были очень добры ко мне.

Старый Соль пришел в восторг и поцеловал ее, точно приходился ей дедом.

— Прощайте, Уолтер! До свидания! — сказала Флоренс.

— До свидания! — сказал Уолтер, протягивая ей обе руки.

— Я вас никогда не забуду,— продолжала Флоренс.— Право же, никогда не забуду. До свидания, Уолтер!

С наивной благодарностью девочка подставила ему личико. Уолтер склонился к ней, потом снова поднял голову, красный и пылающий, и в большом смущении посмотрел на дядю Соля.

«Где Уолтер?» — «Прощайте, Уолтер!» — «До свидания, Уолтер!» — «Дайте мне еще раз руку, Уолтер!» — восклицала Флоренс, после того как ее уже усадили в карету вместе с ее маленькой нянькой. И когда карета, наконец, тронулась, Уолтер, стоя у порога, весело отвечал Флоренс, размахивавшей носовым платком; Деревянный Мичман за его спиной, казалось, подобно ему самому, следил только за этой одной каретой, исключив из поля зрения все другие, проезжавшие мимо.

В положенное время карета вновь была у дома мистера Домби, и снова в библиотеке раздались громкие голоса. Снова приказано было, чтобы карета ждала. «Для миссис Ричардс»,— зловеще шепнул кто-то из прислуги Сьюзен, когда та проходила с Флоренс.

Появление потерянного ребенка вызвало волнение,— впрочем, незначительное. Мистер Домби, который так и не обрел дочери, поцеловал ее в лоб и предостерег, чтобы она впредь не убегала и не скиталась где-то с вероломными спутниками. Миссис Чик оборвала свои жалобы на порочность человеческой натуры, неискоренимую даже в тех случаях, когда ее призывает на стезю добродетели Милосердный Точильщик, и оказала Флоренс прием, несколько отличный от того, на который мог претендовать только подлинный Домби. Мисс Токс обнаруживала свои чувства, применяясь к находившимся перед ней образцам.

Одна лишь Ричардс, виновная Ричардс, излила душу, встретив заблудившуюся девочку несвязными словами приветствия и склонившись над ней с неподдельной любовью.

— Ах, Ричардс! — вздохнула миссис Чик.— Было бы гораздо приятнее для тех, кто хотел бы не думать дурно о своих ближних, и гораздо приличнее для вас, если бы вы вовремя обнаружили надлежащее чувство к младенцу, которому предстоит теперь быть преждевременно лишенным естественного питания.

— Отторгнутым,— плаксиво прошептала мисс Токс,— от единого для всех источника!

— Будь я повинна в неблагодарности,— торжественно продолжала миссис Чик,— и рассуждай я по-вашему, Ричардс, я бы считала, что наряд Милосердных Точильщиков должен погубить моего ребенка, а воспитание — задушить его.

Коли на то пошло,— но миссис Чик этого не знала,— он и теперь уже был едва ли не загублен нарядом; а что касается воспитания, то и его печальные последствия могли со временем сказаться, ибо воспитание состояло из града шлепков и слез.

— Луиза! — сказал мистер Домби.— Нет необходимости что-то еще объяснять. Эта женщина уволена, и ей уплачено. Вы покидаете этот дом, Ричардс, потому что взяли с собою моего сына — моего сына,— сказал мистер Домби, внушительно повторив эти два слова,— в трущобы, в общество, о котором нельзя подумать без содрогания. Что же касается сегодняшнего несчастного случая с мисс Флоренс, то его я рассматриваю как счастливое и благоприятное обстоятельство, так как, не будь этого происшествия, я никогда бы не узнал — тем более из ваших уст,— в чем вы провинились. Мне кажется, Луиза, что другая нянька, эта молодая особа,— тут мисс Нипер громко всхлипнула,— будучи значительно моложе и находясь несомненно под влиянием кормилицы Поля, все же может остаться. Будьте добры распорядиться, чтобы заплатили извозчику, который отвезет эту женщину в...— мистер Домби запнулся и поморщился —...в Сады Стегса.

Полли направилась к двери, а Флоренс цеплялась за ее платье и очень трогательно умоляла ее не уходить. Кинжалом в сердце и стрелой в мозг поразило высокомер-

ного отца это зрелище; его плоть и кровь, от которой он не мог отречься, льнет к этой невежественной чужой женщине, когда он сидит тут же. В сущности, его не интересовало, к кому обращается и от кого бежит его дочь. Острая, мучительная боль пронзила его при мысли о том, как поступил бы его сын.

Во всяком случае, сын его громко плакал в ту ночь. По правде говоря, у бедного Поля была более основательная причина для слез, чем у большинства сыновей этого возраста, ибо он лишился своей второй матери — вернее даже первой, насколько простиралось его знание,— вследствие катастрофы такой же внезапной, как та утрата, которая омрачила начало его жизни. И тот же удар лишил доброго и верного друга его сестру, которая горько плакала, пока не заснула. Но это к делу не относится. Не будем же тратить лишних слов.

ГЛАВА VII

Взгляд с птичьего полета на местожительство мисс Токс, а также на сердечные привязанности мисс Токс

Мисс Токс обитала в маленьком темном доме, который на одном из ранних этапов английской истории протиснулся в фешенебельный район в западной части города, где и пребывал, наподобие бедного родственника, в тени большой улицы, начинающейся за углом, под холодным презрительным взглядом величественных зданий. Он был расположен не в тупике и не во дворе, а в скучнейшей щели, куда назойливо и тревожно доносятся отдаленные стуки дверных молотков. Это уединенное место, где между камнями мостовой пробивалась трава, называлось площадью Принцессы; а на площади Принцессы была часовня Принцессы с гулким колоколом, где иной раз по воскресеньям бывало на богослужении до двадцати пяти человек. Был здесь также «Герб Принцессы», часто посещаемый великолепными ливрейными лакеями. За решеткой, перед «Гербом Принцессы», находился портшез, но

никто не помнит, чтобы он когда-нибудь появлялся снаружи; а в погожие утра каждый прут решетки (их сорок восемь, как не раз подсчитывала мисс Токс) был украшен оловянною кружкою.

Был еще один частный дом на площади Принцессы, кроме дома мисс Токс, а также огромные ворота с двумя огромными дверными кольцами в львиных пастях,— ворота, которые ни при каких обстоятельствах не отворялись и, по догадкам, когда-то вели в конюшни. В самом деле, воздух на площади Принцессы отдавал запахом конюшен, а из спальни мисс Токс (находившейся в задней половине дома) открывался вид на двор с конюшнями, где конюхи, какой бы работой ни были заняты, непрерывно сопровождали ее веселыми криками и где самые интимные принадлежности костюма кучеров, их жен и детей развешивались на стенах наподобие знамен Макбета.

В этом другом частном доме на площади Принцессы, снятом в аренду бывшим дворецким, женившимся на экономке, сдавалась квартира с мебелью некоему холостому джентльмену, а именно майору с одеревеневшим синим лицом и глазами, вылезающими из орбит, в чем мисс Токс, как она сама выражалась, усматривала «нечто подлинно воинственное», и между ним и ею обмен газетами и брошюрами и тому подобные платонические отношения поддерживались через посредство чернокожего слуги майора, которого мисс Токс определила как «туземца», не связывая с этим наименованием никаких географических представлений.

Быть может, никогда еще не бывало передней и лестницы, менее просторной, чем передняя и лестница в доме мисс Токс. Быть может, весь он, сверху донизу, был самым неудобным домишком в Англии и самым уродливым; но зато, как говорила мисс Токс, какое местоположение! Там было очень мало дневного света зимой; солнце никогда не заглядывало туда даже в лучшую пору года; о воздухе не могло быть и речи, так же как об уличном движении. И все же мисс Токс говорила: подумайте о местоположении! То же самое говорил синелицый майор с глазами, вылезавшими из орбит, который гордился площадью Принцессы и при каждом удобном случае с восторгом заводил речь в своем клубе о предметах, имеющих отношение к важным

особам на большой улице за углом, дабы иметь удовольствие заявить, что это — его соседи.

Жалкая квартира, где жила мисс Токс, была ее собственностью, завещанной ей и полученной по наследству от покойного обладателя рыбьего глаза в медальоне,— миниатюрный портрет этого джентльмена с напудренной головой и косичкой служил противовесом подставке для чайника на другом конце каминной полки в гостиной. Бо́льшая часть мебели относилась к эпохе пудреной головы и косички, включая грелку для тарелок, которая вечно изнемогала и растопыривала свои четыре тонких кривых ноги, загораживая кому-то дорогу, и отжившие свой век клавикорды, украшенные гирляндой душистого горошка, нарисованной вокруг имени мастера.

Хотя майор Бегсток уже достиг того, что в изящной литературе именуется великим расцветом жизненных сил, и ныне совершал путешествие под гору, почти лишенный шеи и обладая одеревеневшими челюстями и слоновыми ушами с длинными мочками, а глаза его и цвет лица, как уже было упомянуто, свидетельствовали о состоянии искусственного возбуждения,— тем не менее он был чрезвычайно горд тем, что пробудил интерес к себе в мисс Токс, и тешил свое тщеславие, воображая, будто она блестящая женщина и неравнодушна к нему. На это он много раз намекал в клубе в связи с невинными шуточками, вечным героем коих был старый Джо Бегсток, старый Джой Бегсток, старый Дж. Бегсток, старый Джош Бегсток и так далее — ибо оплотом и твердыней юмора майора было самое фамильярное обращение с его же собственным именем.

— Джой Б., сэр,— говаривал майор, помахивая тростью,— стоит дюжины вас. Будь среди вас еще несколько человек из породы Бегстоков, сэр, вам от этого не стало бы хуже. Старому Джо, сэр, даже теперь нет надобности далеко ходить за женой, буде он стал бы ее искать; но у него жестокое сердце, сэр, у этого Джо, он непреклонен, сэр, непреклонен и чертовски хитер!

После такой декларации слышалось сопение, и синее лицо майора багровело, а глаза судорожно расширялись и выпучивались.

Несмотря на весьма щедро воспеваемые самому себе

хвалы, майор был эгоистом. Можно усомниться в том, существовал ли когда-нибудь человек с более эгоистическим сердцем — или, пожалуй, лучше было бы сказать — желудком, принимая во внимание, что этим последним органом он был наделен в значительно большей степени, чем первым. Ему в голову не приходило, что кто-то может его не замечать или им пренебрегать; во всяком случае, он не допускал и мысли, что его не замечает и им пренебрегает мисс Токс.

И, однако, как выяснилось, мисс Токс забыла его — забыла постепенно. Она начала забывать его вскоре после того, как открыла семейство Тудлей. Она продолжала забывать его вплоть до дня крестин. Она забывала его после этого дня с быстротою нарастания сложных процентов. Что-то или кто-то занял его место и стал для нее новым источником интереса.

— Доброе утро, сударыня,— сказал майор, встретив мисс Токс на площади Принцессы спустя несколько недель после перемен, отмеченных в последней главе.

— Доброе утро, сэр,— сказала мисс Токс очень холодно.

— Джо Бегсток, сударыня,— заметил майор с обычной своей галантностью,— давно не имел счастья приветствовать вас у вашего окна. С Джо обходились сурово, сударыня. Его солнце скрылось за облаком.

Мисс Токс наклонила голову, но, право же, очень холодно.

— Быть может, светило Джо покидало город, сударыня?— осведомился майор.

— Я? Город? О нет, я не покидала города,— сказала мисс Токс.— Последние дни я была очень занята. Почти все мое время посвящено одним очень близким друзьям. Боюсь, что и сейчас у меня нет свободной минуты. До свиданья, сэр!

Меж тем как мисс Токс с самым чарующим видом покидала площадь Принцессы, майор стоял и смотрел ей вслед с таким синим лицом, какого у него никогда еще не бывало, ворча и бормоча отнюдь не любезные замечания.

— Ах, черт подери, сэр,— сказал майор, обводя своими рачьими глазами площадь Принцессы и неожиданно

обращаясь к благовонной ее атмосфере,— полгода назад эта женщина боготворила землю, по которой ступал Джош Бегсток. Что же это значит?

Поразмыслив, майор решил, что это означает западню для мужчины; что это означает интригу и силки; что мисс Токс расставляет ловушки.— Но Джо вам не поймать, сударыня,— сказал майор.— Он непреклонен, сударыня, он непреклонен — этот Дж. Б. Непреклонен и чертовски хитер! — И, сделав такое замечание, он ухмылялся вплоть до вечера.

Однако, когда прошел этот день и еще много дней, обнаружилось, что мисс Токс решительно никакого внимания не обращает на майора и вовсе о нем не думает. Когда-то она имела обыкновение случайно посматривать в одно из своих маленьких темных окошек и, краснея, отвечать на приветствие майора; но теперь она лишила его этого счастья и вовсе не заботилась о том, посматривает он через дорогу или нет. Произошли также и другие перемены. Майор, стоя в полумраке своего собственного жилища, мог заметить, что за последнее время дом мисс Токс принял более нарядный вид, что новая клетка из позолоченной проволоки была приобретена для маленькой старой канарейки; что различные украшения, вырезанные из цветного картона и бумаги, появились на каминной доске и столах; что несколько растений неожиданно выросли в окнах; что мисс Токс иногда упражняется на клавикордах с гирляндой душистого горошка, всегда выставленной напоказ под «копенгагенским» и «птичьим» вальсами в нотных тетрадках, собственноручно переписанных мисс Токс.

Помимо всего этого, мисс Токс давно уже одевалась необычайно заботливо и элегантно в полутраур. Но это обстоятельство помогло майору выйти из затруднения: он решил про себя, что она получила маленькое наследство и возгордилась.

На следующий же день после того, как он пришел к такому заключению и успокоился, майор, сидя за завтраком, увидел в маленькой гостиной мисс Токс явление, столь потрясающее и удивительное, что некоторое время оставался пригвожденным к стулу; затем бросился в другую комнату и вернулся с театральным биноклем,

в который пристально созерцал это явление в течение нескольких минут.

— Это младенец, сэр,— сказал майор, сдвигая бинокль.— Бьюсь об заклад на пятьдесят тысяч фунтов!

Майор не мог этого забыть. Он ничего не мог делать и только свистел и таращил глаза до такой степени, что в прежнем состоянии они показались бы глубоко запавшими и провалившимися. День за днем, два, три, четыре раза в неделю появлялся этот младенец. Майор продолжал таращить глаза и свистеть. Во всех отношениях он был предоставлен самому себе на площади Принцессы. Мисс Токс перестала интересоваться, чем он занят. Если бы из синего он стал черным, на нее это не произвело бы никакого впечатления.

Постоянство, с которым она уходила с площади Принцессы, чтобы доставить этого младенца и его няньку, возвращалась с ними и снова их уводила и постоянно надзирала за ними; постоянство, с которым она сама нянчила его, и кормила, и играла с ним, и замораживала его юную кровь * мелодиями, исполняемыми на клавикордах, было необычайно. Примерно в это же время у нее обнаружилась страсть рассматривать некий браслет, а также страсть взирать на луну, которую она подолгу созерцала из окна своей спальни. Но на что бы она ни глядела — на солнце, луну, звезды или браслет,— она не глядела больше на майора. И майор свистел, таращил глаза, дивился, метался по комнате и ровно ничего не понимал.

— Вы совсем покорите сердце моего брата Поля, это сущая правда, дорогая моя,— сказала однажды миссис Чик.

Мисс Токс побледнела.

— С каждым днем он становится все более похож на Поля,— сказала миссис Чик.

Вместо ответа мисс Токс взяла на руки маленького Поля и своими ласками совершенно измяла и приплюснула его бантик.

— А его мать, дорогая моя,— сказала мисс Токс,— с которой я должна была познакомиться через вас, на нее он похож хоть немного?

— Ничуть,— отвечала Луиза.

— Она... кажется, она была хорошенькая? — нерешительно спросила мисс Токс.

— Да, покойная Фанни была интересна,— сказала миссис Чик после некоторого размышления.— Несомненно интересна. У нее не было такой внушительной, величавой осанки, какую почему-то ждешь от жены моего брата; не было у нее также той стойкости и силы духа, каких требует такой человек.

Мисс Токс испустила глубокий вздох.

— Но она была привлекательна,— сказала миссис Чик,— в высшей степени привлекательна. А намерения ее... ах, боже мой, какие добрые намерения были у бедной Фанни!

— Ангел! — воскликнула мисс Токс, обращаясь к маленькому Полю.— Вылитый портрет своего папы!

Если бы майор мог знать, сколько надежд и мечтаний, какое множество планов и расчетов покоится на этой младенческой головке, и мог увидеть, как они кружатся, в смятении и беспорядке, над сборками чепчика ничего не ведающего маленького Поля, он действительно мог бы вытаращить глаза. Тогда разглядел бы он в этом рое и несколько честолюбивых пылинок, принадлежащих мисс Токс; тогда, быть может, понял бы он, какой капитал боязливо вложила эта леди в фирму Домби.

Если бы сам ребенок мог проснуться среди ночи и увидеть у полога своей колыбели слабые отражения тех упований, какие связывались с ним у других, он, быть может, испугался бы, и не без основания. Но он пребывал в дремоте, не подозревая о добрых намерениях мисс Токс, недоумении майора, безвременных горестях своей сестры и суровых мечтах отца и не ведая, что где-то на земле существует Домби или Сын.

ГЛАВА VIII

Дальнейшее развитие, рост и характер Поля

Под зоркими и бдительными глазами Времени — тоже в своем роде майора — дремота Поля постепенно рассеивалась. Все больше света врывалось в нее; все более отчетливые сны ее тревожили; все больше и больше пред-

метов и впечатлений смущало его покой; так перешел он от младенчества к детству и стал говорящим, ходящим, недоумевающим Домби.

После грехопадения и изгнания Ричардс детская была передана, можно сказать, в ведение комиссии, как это случается иной раз с общественным учреждением, когда нельзя найти некоего Атланта, который бы его поддержал. Членами комиссии были, конечно, миссис Чик и мисс Токс, которые предались исполнению своего долга с таким поразительным рвением, что майор Бегсток ежедневно получал какое-нибудь новое напоминание о своей отставке, тогда как мистер Чик, лишившись домашнего надзора, окунулся в веселый мир, обедал в клубах и кофейнях, трижды приносил с собой запах табаку и, короче, отделался (как сказала ему однажды миссис Чик) от всех общественных обязанностей и морального долга.

Однако, несмотря на подаваемые им в самом начале надежды, весь этот уход и заботы не могли сделать маленького Поля цветущим ребенком. Хрупкий, быть может, от природы, он худел и хирел после удаления кормилицы и долгое время как будто только и ждал случая ускользнуть у них из рук и отыскать свою потерянную мать. Когда позади осталось это опасное место в его скачке к возмужалости, он все еще находил жизненное состязание весьма тяжелым, и ему жестоко досаждали препятствия на пути. Каждый зуб был для него грозным барьером, а каждый пупырышек во время кори — каменной стеной. Его валил с ног каждый приступ кашля, и на него налетало и обрушивалось целое полчище недомоганий, которые следовали гурьбой друг за другом, не давая ему снова подняться. Не жаба, а какое-то хищное животное проникало ему в горло, и даже свинка — поскольку она имеет отношение к детской болезни, именно так обозначаемой,— становилась злобной и терзала его, как тигровая кошка.

Холод во время крестин Поля поразил, быть может, какую-то чувствительную часть его организма, который не мог оправиться под леденящей сенью его отца; как бы там ни было, с этого дня он стал несчастным ребенком. Миссис Уикем часто говорила, что никогда не видывала малютки, которому приходилось бы так худо.

Миссис Уикем была женой официанта,— а это все равно что быть вдовой,— желание коей поступить на службу к мистеру Домби было встречено благосклонно вследствие явной невозможности для нее иметь поклонников или самой увлекаться и которая дня через два после внезапного отлучения Поля от груди была нанята ему в няньки. Миссис Уикем была робкая белокурая женщина с поднятыми бровями и поникшей головой, всегда готовая пожалеть себя или вызвать к себе жалость или пожалеть кого-нибудь другого и отличавшаяся изумительным природным даром видеть все в крайне мрачном и горестном свете, приводить для сравнения устрашающие прецеденты и находить величайшую радость в упражнении этого таланта.

Вряд ли нужно упоминать о том, что ни один намек на это качество никогда не доходил до сведения величественного мистера Домби. Было бы поистине замечательно, если бы случилось иначе, поскольку никто в доме — не исключая миссис Чик и мисс Токс — не осмеливался даже шепнуть ему по какому бы то ни было поводу, что есть хоть малейшее основание для беспокойства о маленьком Поле. Он решил про себя, что ребенок неизбежно должен, по заведенному порядку, перенести некоторые легкие болезни, и чем скорее, тем лучше. Если бы он мог его выкупить или найти заместителя, как находят такового для вынувшего несчастливый ополченский жребий, он сделал бы это с радостью и не скупясь. Но так как это было неосуществимо, он лишь изредка недоумевал со свойственным ему высокомерием, что, в сущности, хочет этим сказать Природа; и утешался мыслью, что еще одна придорожная веха осталась позади и великая цель путешествия значительно приблизилась. Ибо преобладавшим у него чувством, все время усиливавшимся по мере того, как подрастал Поль, было нетерпение. Нетерпеливое ожидание момента, когда мечта его об их объединенном влиянии и величии осуществится с триумфом.

Некоторые философы говорят, что эгоизм лежит в основе самой горячей нашей любви и привязанностей. Сынишка мистера Домби с самого начала имел такое значение для него,— как часть его собственного величия или

(что то же самое) величия Домби и Сына,— что несомненно можно было без труда проникнуть до самых глубин фундамента, на котором зиждилась его родительская любовь, как можно проникнуть до фундамента многих красивых построек, пользующихся доброй славой. Тем не менее он любил сына, насколько вообще способен был любить. Если был теплый уголок в его холодном сердце, то этот уголок был занят сыном; если на твердой его поверхности можно было запечатлеть чей-то образ, то на ней был запечатлен образ сына; но не столько образ младенца или мальчика, сколько взрослого человека— «Сына» фирмы. Поэтому ему не терпелось приблизить будущее и побыстрее миновать промежуточные стадии его роста. Поэтому о них он беспокоился мало или же вовсе не беспокоился, несмотря на свою любовь; он чувствовал, что мальчик как бы живет зачарованной жизнью и *должен* стать мужчиной, с которым он мысленно поддерживал постоянное общение и для которого ежедневно строил планы и проекты, словно тот уже существовал реально.

Так Поль приблизился к шестому году жизни. Он был хорошенький мальчуган, хотя в его личике было нечто болезненное и напряженное, что побуждало миссис Уикем многозначительно покачивать головой и вызывало у миссис Уикем много протяжных вздохов. Были все основания предполагать, что в последующей жизни характер у него будет властный; и он в такой мере предчувствовал свое собственное значение и право на подчинение ему всего и всех, как только можно было пожелать. Порой он бывал ребячлив, не прочь поиграть и вообще угрюмостью не отличался; но была у него странная привычка сидеть иногда в своем детском креслице и сосредоточенно раздумывать; в эти моменты он становился похож (и начинал изъясняться соответственно) на одно из тех ужасных маленьких созданий в сказке, которые в возрасте ста пятидесяти или двухсот лет разыгрывают странную роль подмененных ими детей. Эта несвойственная ребенку задумчивость часто посещала его наверху в детской; иногда он впадал в нее внезапно, объявляя, что устал,— даже когда резвился с Флоренс или играл в лошадки с мисс Токс. Но никогда не погружался он в нее с такою неиз-

бежностью, как в то время, когда его креслице переносили в комнату отца и он сидел там с ним после обеда у камина. Это была самая странная пара, какую когда-либо освещало пламя камина. Мистер Домби, такой прямой и торжественный, глядит на огонь; его маленькая копия со старческим, старческим лицом, всматривается в красные дали с напряженным и сосредоточенным вниманием мудреца. Мистер Домби занят сложными мирскими планами и проектами; маленькая копия занята бог весть какими сумасбродными фантазиями, неоформившимися мыслями и неясными соображениями. Мистер Домби одеревенел от крахмала и высокомерия; маленькая копия — в силу наследственности и вследствие бессознательного подражания. Один является подобием другого, и тем не менее они чудовищно непохожи.

Однажды, когда они оба долго сидели в глубокой тишине и мистер Домби знал, что ребенок не спит только потому, что изредка смотрел ему в глаза, где яркий огонь сверкал, как драгоценный камень, маленький Поль нарушил молчание:

— Папа, что такое деньги?

Неожиданный вопрос имел такое непосредственное отношение к мыслям мистера Домби, что мистер Домби пришел в полное замешательство.

— Что такое деньги, Поль? — повторил он.— Деньги?

— Да,— сказал ребенок, опуская руки на подлокотники своего креслица и поворачивая старческое лицо к мистеру Домби,— что такое деньги?

Мистер Домби был в затруднении. Он не прочь был дать сыну какое-нибудь объяснение, включающее такие термины, как средство обмена, валюта, обесценивание валюты, ценные бумаги, золотое обеспечение, биржевые цены, рыночная цена драгоценных металлов и так далее, но, взглянув вниз на маленькое креслице и увидев, как до него далеко, он ответил:

— Золото, серебро, медь. Гинеи, шиллинги, полупенсы. Ты знаешь, что это такое?

— О да, я знаю, что это такое,— сказал Поль.— Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что такое сами деньги?

О, небеса, каким старым было его лицо, когда он снова поднял его к отцу!

— Что такое сами деньги? — повторил мистер Домби, в изумлении отодвигая стул, чтобы лучше разглядеть самонадеянный атом, предложивший такой вопрос.

— Я спрашиваю, папа, что они могут сделать? — продолжал Поль, скрестив на груди руки (для этого они были едва ли достаточно длинны) и переводя взгляд с огня на отца, и снова на огонь, и снова на отца.

Мистер Домби подвинул стул на прежнее место и погладил его по голове.

— Скоро ты это будешь лучше знать, мой мальчик,— сказал он.— Деньги, Поль, могут сделать что угодно.— С этими словами он взял маленькую ручку и тихонько похлопал ею по своей руке.

Но Поль постарался как можно скорее освободить руку и, слегка потирая ею подлокотник кресла, словно ум его находился в ладони, а он его оттачивал, и снова глядя на огонь, как будто огонь был его советчиком и суфлером, повторил после короткой паузы:

— Что угодно, папа?

— Да. Что угодно. Почти,— сказал мистер Домби.

— Что угодно — значит, все? Да, папа? — спросил сын, не замечая или, быть может, не понимая сделанной оговорки.

— Это одно и то же. Да,— сказал мистер Домби.

— Почему деньги не спасли мою маму? — возразил ребенок.— Они жестокие, правда?

— Жестокие? — повторил мистер Домби, поправляя галстук и как бы обиженный этой мыслью.— Нет. Хорошее не может быть жестоким.

— Если они хорошие и могут делать что угодно,— задумчиво сказал мальчуган, глядя на огонь,— я не понимаю, почему они не спасли мою маму.

Сейчас он не обращался с вопросом к отцу. Быть может, с детской проницательностью он понял, что его вопрос уже привел отца в смущение. Но он вслух повторил свою мысль, словно для него она была совсем не новой и очень беспокоила его; и он сидел, подперев подбородок рукой, по-прежнему размышляя и отыскивая объяснение в камине.

Мистер Домби, оправившись от изумленья, чтобы не

сказать тревоги (ибо это был первый случай, когда ребенок заговорил с ним о матери, хотя точно так же сидел возле него каждый вечер), подробно разъяснил ему, что деньги — весьма могущественный дух, которым никогда и ни при каких обстоятельствах пренебрегать не следует, однако они не могут сохранить жизнь тем, кому пришло время умереть; и что мы все, даже в Сити, должны, к несчастью, умереть, как бы мы ни были богаты; он разъяснил, каким образом деньги являются причиной того, что нас почитают, боятся, уважают, заискивают перед нами и восхищаются нами, как они делают нас влиятельными и великими в глазах всех людей и как они могут очень часто отдалять даже смерть на долгое время. Как, например, они обеспечили его маме услуги мистера Пилкинса, коими часто пользовался и он, Поль, а также великого доктора Паркера Пепса, которого он никогда не видел. И как они могут сделать все, что только может быть сделано. Все это и еще кое-что в таком же духе мистер Домби внушал своему сыну, который слушал внимательно и как будто понимал бóльшую часть того, что ему говорили.

— Но они не могут сделать меня сильным и совсем здоровым, верно, папа? — спросил Поль после недолгого молчания, потирая ручонки.

— Ты и так силен и совсем здоров,— возразил мистер Домби.— Не правда ли?

О, какое старческое лицо снова обратилось к нему, выражая и печаль и лукавство!

— Ты такой же сильный и здоровый, какими обычно бывают малыши, а? — продолжал мистер Домби.

— Флоренс старше меня, но я не такой сильный и здоровый, как Флоренс, я это знаю,— отвечал ребенок.— И я думаю, что, когда Флоренс была такой, как я, она могла играть гораздо дольше не уставая. Иногда я так устаю,— сказал маленький Поль, грея руки и глядя сквозь прутья каминной решетки, словно какой-то призрачный театр марионеток давал там представление,— и кости у меня болят (Уикем говорит — это болят кости), и я не знаю, что делать.

— Да, но это бывает по вечерам,— сказал мистер Домби, придвигая свое кресло к креслицу сына и ласково

кладя руку ему на спину.— Малыши должны к вечеру уставать, тогда они лучше спят.

— О, это бывает не вечером, папа,— возразил ребенок,— это бывает днем; и я ложусь на колени к Флоренс, а она мне поет. Ночью мне снятся такие стра-а-анные вещи!

И снова он стал греть руки и размышлять об этих вещах, точно старик или юный гном.

Мистер Домби был так изумлен, так встревожен и так растерян, не зная, как продолжать разговор, что мог только сидеть, глядя при свете камина на своего мальчика и не отнимая руки от его спины, как будто ее удерживало какое-то магнитное притяжение. Потом он протянул другую руку и на секунду повернул к себе задумчивое личико сына. Но оно снова обратилось к камину, как только он его освободил, и не отрывалось от колеблющегося пламени, покуда не пришла нянька укладывать мальчика спать.

— Я хочу, чтобы за мной пришла Флоренс,— сказал Поль.

— Вы не хотите идти со своей бедной няней Уикем, мистер Поль? — с большим пафосом осведомилась она.

— Не хочу,— ответил Поль, снова располагаясь в своем креслице, как хозяин дома.

Благословляя его невинность, миссис Уикем удалилась, и вскоре вместо нее вошла Флоренс. Ребенок тотчас вскочил с живостью и готовностью и; желая отцу спокойной ночи, поднял к нему такое повеселевшее, такое помолодевшее и такое совсем детское лицо, что мистер Домби, хотя и успокоенный этим превращением, был крайне озадачен.

Когда они вместе вышли из комнаты, ему послышалось тихое пение; и, вспомнив, как Поль говорил, что сестра поет ему, он полюбопытствовал открыть дверь, чтобы послушать и посмотреть им вслед. Она медленно поднималась по большой широкой лестнице, держа его на руках; голова его лежала у нее на плече, одна рука небрежно обвилась вокруг ее шеи. Так поднимались они — медленно, медленно; она все время пела, и иногда Поль мурлыкал, тихонько ей подпевая. Мистер Домби смотрел им вслед, пока они не поднялись на верхнюю площадку

лестницы,— впрочем, не раз останавливаясь отдохнуть,— и не скрылись из виду; но и тогда он продолжал стоять и смотреть, пока бледные лучи луны, меланхолически мерцавшей сквозь тусклое окно в потолке, не прогнали его обратно, в его комнату.

На следующий день миссис Чик и мисс Токс были приглашены к обеду на совет; когда убрали со стола, мистер Домби открыл заседание, потребовав, чтобы ему сообщили без смягчения и умолчания, все ли благополучно с Полем и что говорит о нем мистер Пилкинс.

— Ребенок,— заметил мистер Домби,— не так крепок, как мне бы хотелось.

— Со свойственной вам удивительной наблюдательностью, дорогой мой Поль,— отвечала миссис Чик,— вы сразу попали в точку. Наш любимец, пожалуй, не так крепок, как нам бы хотелось. Дело в том, что его дух не по силам ему. Душа его слишком велика для своей оболочки. Ах, как рассуждает этот прелестный ребенок! — продолжала миссис Чик, покачивая головой.— Никто бы этому не поверил. Вот, например, вчера, Лукреция, замечания его на тему о похоронах...

— Боюсь,— сказал мистер Домби, сердито перебивая ее,— что кто-то из этих особ там, наверху, говорит с ребенком на неподобающие темы. Вчера вечером он заговорил со мной о своих... о своих костях,— сказал мистер Домби, с раздражением подчеркивая это слово.— Кому какое дело до... до костей моего сына? Полагаю, он не какой-нибудь живой скелет *.

— Отнюдь нет,— сказала миссис Чик с неописуемым выражением.

— Надеюсь,— отозвался ее брат.— Затем — похороны! Кто говорит ребенку о похоронах? Полагаю, мы — не гробовщики, не наемные немые плакальщики *, не могильщики?

— Отнюдь нет,— вставила миссис Чик с тем же многозначительным выражением.

— Так кто же вбивает ему в голову такие мысли? — спросил мистер Домби.— Право же, вчера вечером я был крайне опечален и возмущен. Кто вбивает ему в голову такие мысли, Луиза?

— Дорогой мой Поль,— сказала миссис Чик, помол-

чав секунду,— не имеет смысла производить расследование. Скажу вам откровенно, я не думаю, чтобы Уикем была особой, отличающейся веселым нравом, которую можно было бы назвать...

— Дочерью Мома *,— тихонько подсказала мисс Токс.

— Вот именно,— сказала миссис Чик,— но она очень внимательна, услужлива и вовсе не самонадеянна; право же, я никогда еще не встречала такой сговорчивой женщины. Если милый ребенок,— продолжала миссис Чик таким тоном, словно подводила итог тому, о чем предварительно уже говорилось, хотя все это она высказывала впервые,— немножко ослаблен этим последним приступом болезни и отличается не таким завидным здоровьем, как было бы нам желательно, и если организм его временно ослабел и иногда ему трудно пользоваться своими...

Миссис Чик побоялась сказать «членами» после недавнего выпада мистера Домби против костей и посему ждала помощи от мисс Токс, которая, оставаясь верной своим обязанностям, подсказала: «конечностями».

— Конечностями! — повторил мистер Домби.

— Кажется, уважаемый врач упомянул сегодня утром о ногах, не так ли, дорогая моя Луиза? — сказала мисс Токс.

— Ну, конечно, упомянул, моя милая,— отвечала миссис Чик с кроткой укоризной.— Зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы сами слышали. Итак, я говорю, что если бы наш милый Поль временно потерял способность пользоваться ногами, то это заболевание свойственно многим детям в его возрасте и его нельзя предотвратить никакими заботами и уходом. Чем скорее вы это поймете и с этим согласитесь, Поль, тем лучше.

— Разумеется, вы должны знать, Луиза,— сказал мистер Домби,— что я не подвергаю сомнению вашу родственную привязанность и вполне понятную заботу о будущем главе моей фирмы. Мистер Пилкинс, полагаю, осматривал сегодня утром Поля? — спросил мистер Домби.

— Да, осматривал,— отвечала сестра.— Мисс Токс и я присутствовали. Мисс Токс и я всегда присутствуем. Мы это считаем совершенно необходимым. Мистер Пил-

кине осматривал его несколько дней тому назад, и я его считаю очень умным человеком. Он говорит: «Это пустяки!» Я могу подтвердить его слова, если это имеет значение, а сегодня он посоветовал морской воздух. Очень разумно, Поль, в этом я убеждена.

— Морской воздух,— повторил мистер Домби, глядя на сестру.

— Никакого основания для беспокойства,— сказала миссис Чик.— Моим Джорджу и Фредерику обоим прописывали морской воздух, когда они были приблизительно в таком же возрасте; и мне самой его прописывали великое множество раз. Я совершенно согласна с вами, Поль, что, быть может, там, наверху, неосторожно заговаривают при нем о таких вещах, о которых его маленькой головке лучше не задумываться; но, право же, я не знаю, как этому помочь, когда имеешь дело с таким сообразительным ребенком. Будь он обыкновенный ребенок, это не имело бы никакого значения. Кажется, я должна сказать вместе с мисс Токс, что временная перемена места, воздух Брайтона и физическое и духовное воспитание, порученное такой благоразумной особе, как, например, миссис Пипчин...

— Кто такая миссис Пипчин, Луиза? — спросил мистер Домби, испуганный этим упоминанием имени, которого он никогда еще не слыхал.

— Миссис Пипчин, дорогой мой Поль,— отвечала сестра,— пожилая леди,— мисс Токс знает историю всей ее жизни,— которая с некоторого времени посвятила с большим успехом всю свою душевную энергию изучению малюток и уходу за ними и у которой прекрасные связи. Муж ее умер от разрыва сердца при... Как вы сказали, милая моя, при каких обстоятельствах ее муж умер от разрыва сердца? Я забыла точные данные.

— При выкачивании воды из Перуанских копей,— отозвалась мисс Токс.

— Конечно, сам он не занимался выкачиванием,— сказала миссис Чик, взглянув на брата; и действительно, это объяснение было необходимо, ибо мисс Токс высказалась о покойном мистере Пипчине так, словно он умер у ручки насоса,— а вложил деньги в предприятие, которое обанкротилось. Я считаю, что миссис Пипчин

поистине изумительно обращается с детьми. Я слышала, как ее хвалили в избранном кругу еще в те времена, когда я была... ах, боже мой, какого же роста? — Взгляд миссис Чик блуждал по книжному шкафу и бюсту мистера Питта, находившемуся на высоте примерно десяти футов от пола.

— Быть может, дорогой мой сэр,— заметила мисс Токс, залившись румянцем,— поскольку на меня столь определенно ссылаются, я обязана сказать о миссис Пипчин, что похвала, с которой отозвалась о ней ваша милая сестра, вполне заслужена. Многие леди и джентльмены, ныне ставшие важными членами общества, были поручены ее заботам. Смиренная особа, которая сейчас беседует с вами, некогда находилась на ее попечении. Думаю, что даже знатная молодежь знакома с ее заведением.

— Насколько я понимаю, эта почтенная особа руководит учебным заведением, мисс Токс? — снисходительно осведомился мистер Домби.

— Ах, не знаю,— ответила та,— вправе ли я употребить такое название. Это отнюдь не приготовительная школа. Быть может, я верно выражу свою мысль,— с особой слащавостью продолжала мисс Токс,— если назову это детским пансионом для особо избранных.

— Отбор чрезвычайно строгий и тщательный,— добавила миссис Чик, бросив взгляд на брата.

— О, исключительно! — сказала мисс Токс.

Все это имело значение. Хорошо было, что муж миссис Пипчин умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей. Это говорило о богатстве. Вдобавок, мистер Домби готов был впасть в отчаяние при мысли о том, что Поль остается здесь хотя бы еще на один час после того, как врач посоветовал его увезти. Это была остановка и задержка в пути, который ребенку предстояло, в лучшем случае, медленно пройти, прежде чем будет достигнута цель. Рекомендация, данная миссис Пипчин его сестрой и мисс Токс, имела для него большой вес, ибо он знал, что они ревниво относятся ко всякому вмешательству в их обязанности, и ни на секунду не допускал мысли, что, быть может, они стремятся разделить ответственность, о которой он, как было только что показано, имел свое

установившееся мнение. Умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей, размышлял мистер Домби. Что ж, весьма респектабельная смерть.

— Если мы решим, наведя завтра справки, отправить Поля в Брайтон к этой леди, кто поехал бы с ним? — подумав, спросил мистер Домби.

— В настоящее время вряд ли можно послать ребенка куда бы то ни было без Флоренс, дорогой мой Поль,— нерешительно ответила сестра.— Он просто без ума от нее. Он, конечно, очень мал, и у него свои причуды.

Мистер Домби отвернулся, медленно подошел к книжному шкафу и, открыв его, достал книгу.

— Еще кто-нибудь, Луиза? — спросил он, не поднимая глаз и перелистывая книгу.

— Конечно, Уикем. Я бы сказала, что одной Уикем вполне достаточно,— ответила сестра.— Если Поль попадет к такой особе, как миссис Пипчин, вряд ли нужно посылать кого-то, кто бы за нею наблюдал. Конечно, вы сами будете ездить туда по крайней мере раз в неделю.

— Разумеется,— сказал мистер Домби и затем в течение часа сидел, глядя на одну и ту же страницу и не прочтя ни слова.

Эта знаменитая миссис Пипчин была удивительно некрасивая, зловредная старая леди, сутулая, с лицом пятнистым, как плохой мрамор, с крючковатым носом и жесткими серыми глазами, по которым, казалось, можно было бить молотом как по наковальне, не нанося им никакого ущерба. По крайней мере сорок лет прошло с тех пор, как Перуанские копи свели в могилу мистера Пипчина, однако вдова его все еще носила черный бомбазин такого тусклого, густого, мертвого и мрачного тона, что даже газ не мог ее осветить с наступлением темноты, и присутствие ее действовало как гаситель на все свечи, сколько бы их ни было. Все ее называли «превосходной воспитательницей»; а тайна ее воспитания заключалась в том, чтобы давать детям все, чего они не любят, и не давать того, что они любят: нашли, что этот прием оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на их нравы. Она была такой злющей старой леди, что был соблазн предположить, не произошла ли какая-то ошибка в применении перуанских насосов, и не из копей, а из

нее были выкачаны досуха все воды радости и млеко человеческой нежности *.

Зáмок этой людоедки и укротительницы детей находился в крутом переулке Брайтона, где почва была еще более, чем в других местах, кремнистой и бесплодной, а дома — еще более, чем в других местах, ветхими и жалкими; где маленькие палисадники отличались необъяснимым свойством не рождать ничего, кроме ноготков, что бы ни было там посеяно, и где улитки постоянно присасывались к парадным дверям и другим местам, которые им не полагалось украшать, с цепкостью медицинских банок. Зимой воздух не мог вырваться из замка, летом — не мог проникнуть в него. Ветер вечно пробуждал эхо, гудевшее, как огромная раковина, которую обитатели замка должны были днем и ночью держать у своего уха, нравилось им это или нет. Запахи в доме, естественно, не отличались свежестью, а на окне в гостиной, которое никогда не открывалось, миссис Пипчин держала коллекцию растений в горшках, примешивавших свой собственный землистый запах к запахам помещения. Эти растения — в своем роде отборные экземпляры — были из породы, удивительно подходившей к обители миссис Пипчин. Здесь находилось с полдюжины кактусов, корчившихся около своих подпорок, как волосатые змеи; затем экземпляр, выпускающий широкие клешни, точно зеленый омар; несколько ползучих растений с клейкими и цепкими листьями и несуразный цветочный горшок, который был подвешен к потолку и как будто перекипал и переливал через край своими длинными зелеными побегами и, задевая и щекоча проходивших под ним, напоминал им о пауках, каковые водились в изобилии в жилище миссис Пипчин, хотя в определенное время года оно могло с еще бóльшим успехом конкурировать по части уховерток.

Так как миссис Пипчин брала высокую плату со всех, кто мог платить, и так как миссис Пипчин очень редко смягчала свой неизменно желчный нрав ради кого бы то ни было, ее считали старой леди с удивительно твердым характером, обладающей вполне научным знанием детской природы. Опираясь на эту репутацию и на разрыв сердца мистера Пипчина, она ухитрялась после смерти

своего супруга выколачивать год за годом вполне приличные средства к жизни. Через три дня после первого упоминания о ней миссис Чик эта превосходная старая леди имела удовольствие получить в виде задатка из кармана мистера Домби прекрасное добавление к постоянным своим доходам и принять Флоренс и ее маленького брата Поля в число обитателей замка.

Миссис Чик и мисс Токс, которые привезли их накануне вечером (все они провели эту ночь в гостинице), только что отъехали от дома, отправившись в обратный путь; и миссис Пипчин, стоя спиной к камину, разглядывала вновь прибывших, словно старый солдат. Племянница миссис Пипчин, особа средних лет, добродушная и верная ее раба, но тощая, на вид неприступная и чрезвычайно страдавшая от чирьев на носу, освобождала юного мистера Байтерстона от чистого воротничка, надетого по случаю парада. Вторая — и последняя в то время — маленькая пансионерка, мисс Пэнки, была уведена в тот момент в темницу замка (пустую комнату в глубине дома, предназначенную для исправительных целей) за то, что она три раза фыркнула в присутствии гостей.

— Ну, сэр,— сказала миссис Пипчин Полю,— как вы думаете, будете ли вы меня любить?

— Не думаю, чтобы я хоть немножко вас полюбил,— ответил Поль.— Я хочу уйти. Это не мой дом.

— Да. Это мой,— ответила миссис Пипчин.

— Очень гадкий дом,— сказал Поль.

— А в нем есть местечко похуже этого,— сказала миссис Пипчин,— куда мы запираем наших нехороших мальчиков.

— *Он* когда-нибудь был там? — спросил Поль, указывая на юного Байтерстона.

Миссис Пипчин утвердительно кивнула головой; и Поль нашел себе занятие на целый день, осматривая мистера Байтерстона с головы до ног и следя за всеми изменениями его физиономии с интересом, которого заслуживали таинственные и ужасные испытания, перенесенные этим мальчиком.

В час был подан обед, состоявший преимущественно из мучной и растительной пищи, и мисс Пэнки (кроткая

маленькая голубоглазая девчурка, которую каждое утро растирали после купанья, подвергая, казалось, опасности окончательно стереть с лица земли) была приведена из плена самой людоедкой и уведомлена, что тот, кто фыркает при гостях, никогда не попадет в рай. Когда эта великая истина была основательно ей внушена, ее угостили рисом, после чего она прочла установленную в замке послеобеденную молитву, заключавшую в себе особую благодарность миссис Пипчин за хороший обед. Племянница миссис Пипчин, Беринтия, поела холодной свинины. Миссис Пипчин, чей организм требовал горячей пищи, пообедала бараньими отбивными котлетами, которые были принесены прямо с пылу, прикрытые тарелкою, и издавали весьма приятный запах.

Так как после обеда шел дождь и нельзя было идти на взморье, а организм миссис Пипчин требовал отдыха после отбивных котлет, дети отправились с Бери (она же — Беринтия) в темницу — пустую комнату, откуда виден был меловой откос и бочка с водой; это помещение имело вид крайне неуютный по вине ветхого камина без всяких приспособлений для топки. Впрочем, благодаря обществу, его оживлявшему, оно оказалось в конце концов наилучшим, потому что здесь Бери играла с детьми и, по-видимому, наслаждалась возней не меньше, чем они, покуда миссис Пипчин не постучала сердито в стену, словно ожившее кок-лейнское привидение *, после чего игры были прекращены, и Бери до самых сумерек рассказывала шепотом сказки.

К чаю было подано вдоволь молока с водой и хлеба с маслом, а также маленький черный чайник для миссис Пипчин и Бери и намазанные маслом гренки в неограниченном количестве для миссис Пипчин, принесенные прямо с пылу так же, как отбивные котлеты. Хотя миссис Пипчин снаружи сделалась очень маслянистой после этого блюда, — оно как будто вовсе не смазало ее внутри, потому что она оставалась такой же свирепой, как и раньше, и ее жесткие серые глаза ничуть не смягчились.

После чая Бери принесла маленькую рабочую шкатулку с изображением Королевского павильона на крышке и принялась усердно работать, а миссис Пипчин,

надев очки и раскрыв огромную книгу, переплетенную в зеленое сукно, начала клевать носом. И каждый раз, когда миссис Пипчин готова была упасть в огонь и просыпалась, она угощала щелчком юного Байтерстона за то, что тот тоже клевал носом.

Наконец настало время детям идти спать, и после молитвы они улеглись. Так как маленькая мисс Пэнки боялась спать одна в темноте, миссис Пипчин всегда почитала своим долгом гнать ее наверх, как овцу; и весело было слушать, как мисс Пэнки долго еще хныкала в самой неудобной спальне, а миссис Пипчин то и дело входила, чтобы сделать ей внушение. Примерно в половине десятого благоухание горячего сладкого мяса (организм миссис Пипчин требовал сладкого мяса, без коего она не могла заснуть) присоединилось к преобладающему аромату дома, который миссис Уикем называла «запахом здания», и вскоре после этого замок погрузился в сон.

На следующее утро завтрак не отличался от вечернего чая, но только миссис Пипчин ела булку вместо гренков и после этого казалась еще более раздраженной. Мистер Байтерстон вслух читал остальным родословную из книги Бытия * (разумно избранную миссис Пипчин), преодолевая имена с легкостью и уверенностью человека, спотыкающегося на ступальном колесе *. Затем мисс Пэнки была унесена для растирания, а над мистером Байтерстоном проделывалась еще какая-то процедура с соленой водой, после чего он всегда возвращался очень синим и подавленным. Между тем Поль и Флоренс пошли к морю с Уикем, которая все время заливалась слезами, а около полудня миссис Пипчин руководила детским чтением. Так как в систему миссис Пипчин входило не допускать, чтобы детский ум развивался и расцветал, как бутон, но раскрывать его насильно, как устрицу, то мораль этих уроков была обычно жестокой и ошеломляющей: героя — злого мальчика — даже в случае самой счастливой развязки обычно приканчивал лев или медведь, но никак не меньше.

Так текла жизнь у миссис Пипчин. По субботам приезжал мистер Домби; Флоренс с Полем ходили к нему в гостиницу и пили чай. Они проводили с ним все

воскресенье и обычно катались перед обедом, и в таких случаях мистер Домби, как враги Фальстафа, из одного накрахмаленного человека превращался в дюжину *. Воскресный вечер был самым меланхолическим вечером в неделе, ибо миссис Пипчин почитала своим долгом быть особенно сердитой в воскресные вечера. Мисс Пэнки обычно возвращалась в глубокой тоске из Ротингдина от тетки, а мистер Байтерстон, чьи родные жили в Индии и которому приказывали сидеть в перерывах между церковными службами у стены гостиной, выпрямившись и не двигая ни рукой, ни ногой, претерпевал столь жестокие для своей юной души страдания, что в один из воскресных вечеров спросил Флоренс, не может ли она сообщить ему какие-нибудь сведения о том, как вернуться в Бенгалию.

Но принято было считать, что у миссис Пипчин есть собственная система воспитания детей, и, разумеется, так оно и было. Несомненно, буяны, прожив несколько месяцев под ее гостеприимным кровом, возвращались домой ручными. Принято было также считать, что весьма почтенно со стороны миссис Пипчин посвятить себя такой жизни, пожертвовать в такой мере своими чувствами и так решительно противостоять невзгодам, после того как мистер Пипчин умер от разрыва сердца на Перуанских копях.

На эту примерную старую леди Поль мог смотреть без конца, сидя в своем креслице у камина. Казалось, он не знал, что такое усталость, когда пристально разглядывал миссис Пипчин. Он не любил ее; он не боялся ее, но когда его посещало это старческое раздумье, в ней как будто сосредоточивалось что-то чудовищно привлекательное для него. Так сидел он, и смотрел на нее, и грел руки, и все смотрел на нее, и иной раз приводил в полное замешательство миссис Пипчин, хотя она и была людоедкой. Однажды, когда они были вдвоем, она спросила его, о чем он думает.

— О вас,— с полной откровенностью сказал Поль.

— А что же вы обо мне думаете? — спросила миссис Пипчин.

— Думаю, какая вы, должно быть, старая,— сказал Поль.

— Молодой джентльмен, о таких вещах думать не следует,— возразила дама.— Это не годится.

— Почему не годится? — спросил Поль.

— Потому что это невежливо,— сердито сказала миссис Пипчин.

— Невежливо? — переспросил Поль.

— Да.

— Уикем говорит,— наивно сказал Поль,— что невежливо съедать все бараньи котлеты и гренки.

— Уикем,— покраснев, отрезала миссис Пипчин,— злая, бесстыжая, дерзкая нахалка.

— Что это такое? — осведомился Поль.

— Ничего, сэр! — отвечала миссис Пипчин.— Вспомните рассказ о маленьком мальчике, которого забодал до смерти бешеный бык за то, что он приставал с вопросами.

— Если бык был бешеный,— сказал Поль,— откуда он мог знать, что мальчик пристает с вопросами? Никто не станет шептать на ухо бешеному быку. Я не верю этому рассказу.

— Вы ему не верите, сэр? — с изумлением спросила миссис Пипчин.

— Не верю,— сказал Поль.

— Ну, а если бы бык был смирный, тогда вы поверили бы, вы, маленький невер? — спросила миссис Пипчин.

Так как Поль не задумывался над вопросом с этой точки зрения и основывал все свои заключения на установленном факте — бешенстве быка,— то в данный момент он согласился признать себя побежденным. Но он сидел и размышлял об этом со столь явным намерением поскорее загнать в тупик миссис Пипчин, что даже эта суровая старая леди сочла более благоразумным отступить, пока он не забудет об этом предмете.

С этого дня миссис Пипчин как будто почувствовала к Полю нечто похожее на то странное влечение, какое испытывал к ней Поль. Она заставляла его придвигать креслице к ее стулу у камина, вместо того чтобы садиться напротив; и здесь сидел он в уголке между миссис Пипчин и каминной решеткой; весь свет, исходивший



от его личика, поглощался черными бомбазиновыми складками, а он изучал каждую черточку и морщинку на ее физиономии и заглядывал в жесткие серые глаза, так что миссис Пипчин иной раз поневоле их закрывала, притворяясь дремлющей. У миссис Пипчин был старый черный кот, который обычно лежал, свернувшись у средней ножки каминной решетки, самовлюбленно мурлыча и щурясь на огонь до тех пор, пока суженые его зрачки не уподоблялись двум восклицательным знакам. Добрая старая леди — мы не хотим оказать ей неуважение — могла быть ведьмой, а Поль и кот — когда они сидели все вместе у камина — двумя прислуживающими ей духами. Увидя эту компанию, никто бы не удивился, если бы порыв ветра унес их всех однажды вечером в трубу и они исчезли бы навсегда.

Этого, однако, не случилось. С наступлением темноты кот, Поль и миссис Пипчин неизменно находились на своих обычных местах; и Поль, избегая общества мистера Байтерстона, продолжал изучать по вечерам миссис Пипчин, кота и огонь, точно это был трактат о некромантии в трех томах.

Миссис Уикем давала свое собственное толкование странностям Поля и, укрепившись в дурном расположении духа, чему виной был смущающий вид дымовых труб, открывающийся из комнаты, где она обычно сидела, а также завывание ветра и скука (убийственная скука, как выражалась энергически миссис Уикем) теперешнего ее существования, выводила самые мрачные заключения из вышеупомянутых посылок. В правила миссис Пипчин входило удерживать ее собственную «молодую девку» — таково было у миссис Пипчин родовое имя для служанок — от общения с миссис Уикем; на это она тратила много времени, прячась за дверьми и пугая эту преданную девицу, как только та приближалась к комнате миссис Уикем. Но Бери имела право поддерживать общение с этой частью дома, если оно не препятствовало исполнению различных дел, которыми она занималась непрерывно с утра до ночи; и в разговоре с Бери миссис Уикем облегчала душу.

— Какой он хорошенький мальчуган, когда спит! — сказала как-то вечером Бери, принеся ужин миссис

Уикем и приостановившись, чтобы посмотреть на спящего Поля.

— Ах! — вздохнула миссис Уикем.— Так и должно быть.

— Ну, он неплох, и когда не спит,— заметила Бери.

— Да, сударыня. О да! Такой была и дочь моего дяди, Бетси Джейн,— сказала миссис Уикем.

Бери, казалось, не прочь была проследить, какая связь существовала между Полем Домби и дочерью дяди миссис Уикем, Бетси Джейн.

— Жена моего дяди,— продолжала миссис Уикем,— умерла точь-в-точь так же, как его мамаша. Дочь моего дяди горевала точь-в-точь так же, как мистер Поль. Дочь моего дяди иной раз замораживала кровь в жилах у людей, вот что!

— Как? — спросила Бери.

— Я бы не согласилась просидеть ночь напролет наедине с Бетси Джейн,— сказала миссис Уикем,— даже в том случае, если бы вы дали возможность Уикему открыть на следующее утро свое собственное дело. Я бы не могла это сделать, мисс Бери.

Мисс Бери, естественно, спросила — почему. Но миссис Уикем, следуя обычаю многих леди в ее положении, продолжала развивать свою мысль без всяких угрызений совести.

— Бетси Джейн,— сказала миссис Уикем,— была таким милым ребенком, какого только можно пожелать. Лучшего я бы не могла пожелать. Всеми болезнями, какие только могут быть у детей, Бетси Джейн переболела. Судороги бывали у нее так же часто,— сказала миссис Уикем,— как у вас чирьи, мисс Бери.

Мисс Бери невольно сморщила нос.

— Но за Бетси Джейн, когда она была в колыбели,— сказала миссис Уикем, понижая голос и окидывая взглядом комнату и Поля в кроватке,— ухаживала ее покойная мать. Я не могла бы сказать — как, и не могла бы сказать — когда, и не могла бы сказать, знало ли об этом милое дитя или не знало, но за Бетси Джейн присматривала ее мать, мисс Бери! Вы можете сказать — вздор! Я не обижусь, мисс. Надеюсь, вы, не кривя душой,

будете считать это вздором; тогда вы увидите, что тем легче будет у вас на сердце в этом — простите, что я так откровенно выражаюсь,— в этом склепе, который сводит меня в могилу. Мистер Поль как-то неспокойно спит. Пожалуйста, похлопайте его по спине.

— Конечно, вы полагаете,— сказала Бери, ласково исполняя то, о чем ее просили,— что и *его* выходила мать?

— Бетси Джейн,— самым торжественным тоном отвечала миссис Уикем,— приходилось так же худо, как и этому ребенку, и она изменилась так же, как изменился этот ребенок. Частенько случалось мне видеть, как она сидит и думает, думает, передумывает так же, как он. Частенько случалось мне видеть ее такой же старой, старой, старой, как он. Я считаю, мисс Бери, что этот ребенок и Бетси Джейн находятся в совершенно одинаковом положении.

— Дочь вашего дяди жива? — спросила Бери.

— Да, мисс, жива,— отвечала миссис Уикем с торжествующим видом, ибо ясно было, что мисс Бери ждала обратного,— и замужем за серебряных дел мастером. О да, мисс, *она*-то жива,— сказала миссис Уикем с сильным ударением на местоимении.

Так как было очевидно, что кто-то умер, племянница миссис Пипчин осведомилась — кто.

— Мне бы не хотелось вас тревожить,— отвечала миссис Уикем, продолжая ужинать.— Не спрашивайте меня.

Это был вернейший путь к тому, чтобы ее снова спросили. Поэтому мисс Бери повторила вопрос, и после некоторого сопротивления и колебаний миссис Уикем положила нож и, снова окинув взглядом комнату и Поля в кроватке, отвечала:

— Она вдруг привязывалась к людям; чудно́ привязывалась иной раз; а некоторые привязанности у нее были такие, каких и следовало ждать, но только сильнее, чем обычно. Все эти люди умерли.

Племяннице миссис Пипчин это показалось столь неожиданным и страшным, что она выпрямилась на жестком крае кровати, прерывисто дыша и с нескрываемым испугом глядя на рассказчицу.

Миссис Уикем осторожно махнула указательным пальцем левой руки в сторону кровати, на которой спала Флоренс; затем опустила его вниз и несколько раз выразительно указала на пол: как раз под ними находилась гостиная, где миссис Пипчин имела обыкновение поедать гренки.

— Попомните мои слова, мисс Бери,— сказала миссис Уикем,— и будьте благодарны, что мистер Поль не очень вас любит. Уверяю вас, я благодарна, что меня он не очень любит, хотя не велика радость жить в этой — простите, что я так откровенно выражаюсь,— в этой тюрьме!

Быть может, волнение побудило мисс Бери слишком сильно похлопать Поля по спине или же прервало ее успокоительно монотонные движения,— как бы ни было, но в этот момент он повернулся в своей постельке, проснулся, сел — головка у него была горячая и влажная после какого-то детского сна — и позвал Флоренс.

Флоренс вскочила с постели, как только раздался его голос, и, склонившись над его подушкой, снова убаюкала его песней. Миссис Уикем, покачивая головой и роняя слезы, указала Бери на маленькую группу и возвела глаза к потолку.

— Спокойной ночи, мисс! — тихо промолвила Уикем.— Спокойной ночи! Ваша тетка — старая леди, мисс Бери, и вы должны быть готовы к этому.

Такое утешительное напутствие миссис Уикем сопроводила скорбно-прочувственным взглядом и, оставшись одна с двумя детьми и слушая, как жалобно завывает ветер, предалась меланхолии — этому самому дешевому и доступному наслаждению,— пока ее не одолела дремота.

Хотя племянница миссис Пипчин, спускаясь вниз, не думала, что узрит этого образцового дракона простертым на коврике у камина, однако она почувствовала облегчение, увидев тетку необычайно сварливой и сердитой и, по всей вероятности, собирающейся прожить многие годы на утешение всем, кто ее знал. Никаких признаков упадка у нее не наблюдалось и в течение следующей недели, на протяжении коей диетические яства исчезали с регулярной последовательностью, несмотря на

то, что Поль изучал ее так же внимательно, как и раньше, и занимал обычное свое место между черными юбками и каминной решеткой с непоколебимым постоянством.

Но так как сам Поль по истечении этого срока не стал сильнее, чем был по приезде, для него добыли колясочку, в которой он очень комфортабельно мог лежать с азбукой и другими начальными учебниками, в то время как его везли к морскому берегу. Верный своим странным вкусам, он отверг краснощекого подростка, который должен был возить эту коляску, и вместо него выбрал его деда, сморщенного старика с лицом, напоминающим краба, в потертом клеенчатом костюме,— старика, который, хорошо просолившись в морской воде, стал жестким и жилистым и от которого пахло водорослями, покрывавшими морской берег во время отлива.

С этим примечательным слугой, катившим коляску, с Флоренс, всегда шедшей рядом, и с погруженной в уныние Уикем, замыкавшей шествие, он спускался ежедневно к берегу океана; и здесь он часами сидел или лежал в своей коляске, и ничто так не огорчало его, как присутствие других детей,— за исключением одной только Флоренс.

— Уходите, пожалуйста,— говорил он детям, которые приходили посидеть с ним.— Благодарю вас, но вы мне не нужны.

Случалось, детский голосок под самым его ухом спрашивал, как он себя чувствует.

— Очень хорошо, благодарю вас,— отвечал он.— Но вы, пожалуйста, идите и играйте.

Потом он повертывал голову, смотрел вслед уходящему ребенку и говорил Флоренс:

— Нам никого больше не надо, правда? Поцелуй меня, Флой.

В такие минуты ему неприятно было даже присутствие Уикем, и он радовался, когда она, по обыкновению своему, уходила искать раковины и знакомых. Любимое его местечко было самое уединенное, куда не заглядывало большинство гуляющих; и если Флоренс сидела подле него с работой, или читала ему, или разговаривала с ним, а ветер дул ему в лицо и вода подступала

к колесам его коляски — ему больше ничего не было нужно.

— Флой,— сказал он однажды,— где Индия, в которой живут родные этого мальчика?

— О, далеко, далеко отсюда,— сказала Флоренс, поднимая глаза от работы.

— Нужно ехать несколько недель? — спросил Поль.

— Да, дорогой. Много недель, днем и ночью.

— Если бы ты была в Индии, Флой,— сказал Поль, помолчав минуту,— я бы... Что сделала мама? Я забыл.

— Любила меня! — подсказала Флоренс.

— Нет, нет. Разве сейчас я не люблю тебя, Флой?.. Как это?.. Умерла... Если бы ты была в Индии, я бы умер, Флой.

Она поспешно отложила работу и, лаская его, опустила голову на его подушку. И она умерла бы, если бы он был там,— сказала она. Скоро он будет чувствовать себя лучше.

— О, мне теперь гораздо лучше! — отвечал он.— Я не то хотел сказать. Я хочу сказать, что умер бы от огорчения и от того, что был бы один, Флой.

Однажды он заснул и долго спал спокойно. Внезапно проснувшись, он прислушался, встрепенулся, сел и продолжал к чему-то прислушиваться.

Флоренс спросила его, что́ ему послышалось.

— Я хочу знать, что оно говорит,— ответил он, пристально глядя ей в лицо.— Море, Флой,— о чем оно говорит все время?

Она ответила, что это только шум набегающих волн.

— Да, да,— сказал он.— Но я знаю, что они всегда что-то говорят. Всегда одно и то же. А что там, за морем?

Он привстал, жадно всматриваясь вдаль.

Она отвечала ему, что там другая страна. Он не об этом думает,— сказал он; он думает о том, что там дальше... дальше!

С тех пор очень часто во время разговора он умолкал, стараясь понять, о чем это всегда говорят волны, и приподнимался в коляске, чтобы посмотреть туда, где лежит этот невидимый далекий край.

ГЛАВА IX,

в которой Деревянный Мичман попадает в беду

Та смесь романтики и любви к чудесному, которая была в большой степени свойственна натуре юного Уолтера и которую опека его дяди, старого Соломона Джилса, не очень-то смыла водами сурового житейского опыта, привела к тому, что он отнесся с необычайным и восторженным интересом к приключению Флоренс у Доброй миссис Браун. Он упивался им и лелеял его в своей памяти, в особенности ту часть его, которая имела к нему отношение, пока оно не стало избалованным детищем его фантазии, не завладело и не начало распоряжаться ею самовластно.

Воспоминание об этом происшествии и его собственном участии в нем сделалось, быть может, еще пленительнее благодаря еженедельным воскресным мечтаниям старого Соля и капитана Катля. Вряд ли хоть одно воскресенье прошло без таинственных намеков на Ричарда Виттингтона, брошенных кем-либо из этих почтенных друзей; а капитан Катль так далеко зашел, что даже купил весьма старинную балладу, которая долго болталась вместе с многими другими, выражавшими главным образом чувства моряков, на глухой стене на Комершелроуд; это поэтическое произведение повествовало об ухаживании и бракосочетании подающего надежды юного грузчика угля с некоей «красоткой Пэг», весьма достойной дочкой шкипера и совладельца ньюкаслского угольного судна. В этой волнующей легенде капитан Катль усматривал глубокое философское сходство с положением Уолтера и Флоренс, и она действовала на него столь возбуждающе, что в торжественных случаях, как, например, в дни рождения и в некоторые другие нецерковные праздники, он во все горло распевал эту песню в маленькой гостиной, выводя поразительную трель в слове «Пэ-э-эг», которым, в честь героини произведения, заканчивался каждый куплет.

Но простодушный, веселый, общительный мальчик не очень склонен анализировать природу своих собствен-

ных чувств, как бы сильно они им ни владели; и Уолтеру трудно было бы разрешить эту задачу. Он очень полюбил верфь, где встретил Флоренс, и улицы (вовсе не привлекательные), по которым они шли домой. Башмаки, которые так часто спадали по дороге, он хранил у себя в комнате; а сидя как-то вечером в маленькой задней гостиной, он нарисовал целую галерею воображаемых портретов Доброй миссис Браун. Быть может, после этого памятного события он начал больше заботиться о своем костюме; и несомненно ему доставляло удовольствие в часы досуга ходить в тот квартал, где находился дом мистера Домби, с туманной надеждой встретить на улице маленькую Флоренс. Но отношение у него ко всему этому было совсем мальчишеское и наивное. Флоренс была очень хорошенькой, а любоваться хорошеньким личиком приятно. Флоренс была беззащитной и слабой, и он с гордостью думал о том, что ему удалось оказать ей покровительство и помощь. Флоренс была самым благодарным маленьким созданием в мире, и очаровательно было видеть ее лицо, светившееся горячей благодарностью. На Флоренс не обращали внимания и относились к ней с холодным пренебрежением, и сердце его преисполнилось юношеского интереса к заброшенному ребенку в скучном, величественном доме.

Вот почему случилось так, что, быть может, несколько раз в течение года Уолтер раскланивался с Флоренс на улице, а Флоренс останавливалась, чтобы пожать ему руку. Миссис Уикем (которая, переделывая на свой лад его фамилию, неизменно называла его «молодым Грейвом» [1]), зная историю их знакомства, так привыкла к этому, что никакого внимания не обращала. С другой стороны, мисс Нипер скорее искала этих встреч; ее чувствительное юное сердце было втайне расположено к миловидному Уолтеру и склонно верить, что это чувство не остается без ответа.

Таким образом, Уолтер не только не забывал впечатления от знакомства с Флоренс, но оно глубже и глубже

[1] Фамилия Уолтера — Гэй (веселый), но м-с Уикем называла его «Грейв» (мрачный).

запечатлевалось в его памяти. Что касается необычайного его начала и всех мелких обстоятельств, придававших ему особый характер и прелесть, он относился к ним скорее как к занимательному рассказу, пленявшему его воображение и не выходившему у него из головы, чем к подлинному событию, в котором он играл какую-то роль. По его мнению, эта встреча выдвигала на первый план Флоренс, но не его. Иногда он думал (и тогда шагал очень быстро), как было бы чудесно,— уйди он в плавание на следующий день после этой первой встречи; за морем он совершал бы чудеса, после долгого отсутствия вернулся бы адмиралом, сверкающим всеми цветами радуги, как дельфин, или по крайней мере капитаном почтового судна с нестерпимо блестящими эполетами, женился бы на Флоренс (к тому времени красивой молодой женщине), невзирая на зубы, галстук и часовую цепочку мистера Домби, и с торжеством увез бы ее куда-нибудь к лазурным берегам. Но эти полеты фантазии редко покрывали медную табличку конторы Домби и Сына глянцем золотой надежды или бросали ослепительный блеск на грязные окна в потолке; и когда капитан и дядя Соль толковали о Ричарде Виттингтоне и хозяйских дочерях, Уолтер чувствовал, что понимает настоящее свое положение у Домби и Сына гораздо лучше, чем они.

Вот почему он изо дня в день продолжал делать то, что должен был делать, бодро, усердно и весело; видел насквозь дядю Соля и капитана Катля с их розовыми надеждами и, однако, упивался своими собственными смутными и фантастическими мечтами, по сравнению с которыми их мечты были будничными и осуществимыми. Таково было его положение в эпоху миссис Пипчин, когда он казался немного старше, чем был раньше, но оставался все тем же живым, беззаботным, легкомысленным мальчиком, как в тот день, когда ворвался в гостиную, ведя за собой дядю Соля и воображаемых сотрапезников, и светил ему во время поисков *той самой* мадеры.

— Дядя Соль,— сказал Уолтер,— мне кажется, вы нездоровы. Вы ничего не ели за завтраком. Если так будет продолжаться, я приглашу доктора.

— Он не может дать то, что мне нужно, мой мальчик,— сказал дядя Соль.— А если может — значит у него прекрасная практика... и все-таки он не даст.

— Что же это такое, дядя? Покупатели?

— Да,— со вздохом отвечал дядя Соль.— Покупатели пригодились бы.

— Черт возьми, дядя! — воскликнул Уолтер, со стуком поставив чашку и хлопнув рукой по столу.— Когда я вижу, как люди толпами ходят целый день по улице и десятками снуют каждую минуту мимо лавки, меня так и подмывает выскочить, схватить кого-нибудь за шиворот, притащить сюда и *заставить* его купить на пятьдесят фунтов инструментов за наличные деньги. Ну, что вы там рассматриваете у двери? — продолжал Уолтер, обращаясь к старому джентльмену с напудренной головой (так, чтобы тот, разумеется, не слышал), который во все глаза смотрел на морскую подзорную трубу.— От *этого* никакого толку нет. Так я и сам могу! Войдите и купите ее.

Но старый джентльмен, удовлетворив свое любопытство, спокойно пошел дальше.

— Ушел! — воскликнул Уолтер.— Все они так. Но, дядя... послушайте, дядя Соль,— старик задумался и не отозвался на первое его обращение,— не унывайте! Не теряйте бодрости, дядя. Уж когда начнут поступать заказы, их будет такая куча, что вы не в состоянии будете исполнить все.

— Все уже будет исполнено, когда они начнут поступать, мой мальчик,— отвечал Соломон Джилс.— Не поступят они в эту лавку, покуда я из нее не выйду.

— Послушайте, дядя! Право же, вы не должны так говорить! — убеждал Уолтер.— Не надо!

Старый Соль пытался принять бодрый вид и как только мог весело улыбнулся ему через маленький стол.

— Ничего особенного не случилось, правда, дядя? — спросил Уолтер, облокачиваясь на поднос и наклоняясь вперед, чтобы говорить более ласково.— Если что-нибудь случилось, будьте со мной откровенны, дядя, и расскажите мне все.

— Нет! Нет! Нет! — отвечал старый Соль.— Особенного? Нет! Нет! Что же особенного могло случиться?

В ответ Уолтер недоверчиво покачал головой.

— Вот это я и хочу знать,— сказал он, а вы спрашиваете *меня*! Послушайте, что я вам скажу, дядя: когда я вас вижу таким, как сейчас, я, право, жалею, что живу с вами.

Старый Соль невольно раскрыл глаза.

— Да. Хотя не было еще человека счастливее, чем счастлив я с вами сейчас,— и так было всегда, но, право же, я жалею, что с вами живу, когда вижу, что вас что-то беспокоит.

— Тогда я бываю скучным, я это знаю,— заметил Соломон, покорно потирая руки.

— Вот что я хочу сказать, дядя Соль,— продолжал Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы похлопать его по плечу,— тогда я чувствую, что вместо меня должна была бы сидеть здесь с вами и разливать чай славная, маленькая, пухленькая жена — чудесная, тихая, приятная старая леди, которая была бы вам под пару и знала бы, как обращаться с вами и поддерживать доброе расположение духа. Такого любящего племянника, как я, никогда еще не бывало (а я, конечно, и не мог быть иным), но ведь я — всего-навсего племянник и не могу быть вам таким другом, когда вы пасмурны и не в своей тарелке, каким стала бы она много лет назад, хотя, право же, я бы отдал, что угодно, только бы подбодрить вас. Так вот, говорю я, когда я вижу, что вас что-то беспокоит, тогда мне жаль, что нет около вас кого-нибудь получше, чем такой бестолковый, грубый мальчишка, как я, у которого есть желанье утешить вас, дядя, но нет уменья... нет уменья,— повторил Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы пожать руку дяде.

— Уоли, дорогой мой мальчик,— сказал Соломон,— если бы приятная старая леди и расположилась в этой гостиной сорок пять лет тому назад, все равно я бы не мог любить ее больше, чем люблю тебя.

— Я это знаю, дядя Соль,— отвечал Уолтер.— Клянусь богом, я это знаю. Но вы не сгибались бы под бременем таинственных забот, если бы она была с вами, потому что она бы знала, как избавить вас от них, а я не знаю.

— Нет, нет! И ты знаешь,— возразил инструментальный мастер.

— Ну, так что же случилось, дядя Соль? — ласково спросил Уолтер.— Скажите! Что случилось?

Соломон Джилс настаивал на том, что ничего не случилось, и утверждал это так решительно, что племяннику ничего не оставалось делать, как весьма неискусно притвориться, будто он ему поверил.

— Я одно могу сказать, дядя Соль: если что-нибудь...

— Но ничего не случилось,— сказал Соломон.

— Отлично,— отвечал Уолтер.— Стало быть, мне больше нечего сказать, и это очень хорошо, потому что мне пора идти на службу. Я загляну мимоходом, дядя, посмотреть, как у вас дела. И помните, дядя! Больше я никогда не буду вам верить и никогда не буду рассказывать о мистере Каркере-младшем, если узнаю, что вы меня обманываете!

Соломон Джилс, смеясь, посоветовал ему узнать что-нибудь в этом роде, и Уолтер, обдумывая всевозможные несбыточные планы сколотить состояние и создать Деревянному Мичману независимое положение, отправился в контору Домби и Сына с таким мрачным видом, с каким обычно туда не являлся.

В те дни жил за углом — в самом конце Бишопсгет-стрит — некий Броли, присяжный маклер и оценщик, который имел лавку, где всевозможная подержанная мебель выставлена была в самом нелепом виде и в положении и комбинациях, совершенно чуждых ее назначению. Дюжины стульев, прицепленных к умывальникам, которые с трудом взгромоздились на плечи буфетов, взобравшихся, в свою очередь, на перевернутые обеденные столы, гимнастически задиравшие ноги на других обеденных столах, были расположены еще в сравнительном порядке. Десертный прибор, состоявший из крышек для блюд, рюмок и графинов, был расставлен на лоне кровати с балдахином для развлечения такой приятной компании, как три-четыре кочерги и лампа из холла. Комплект оконных занавесок, которые не подошли бы ни к одному окну, изящно драпировал баррикаду из комодов, заставленных аптекарскими пузырьками,— тогда как бездомный каминный коврик, разлученный со своим природным другом — очагом, в несчастье своем храбро противостоял резкому восточному ветру и трепетал в меланхолическом согласии

с пронзительными жалобами кабинетного пианино, которое чахло, теряя ежедневно по струне и слабо откликаясь на уличный шум своим дребезжащим и больным мозгом. Что касается неподвижных часов, которые и пальцем не могли пошевельнуть и, казалось, так же неспособны были идти нормальным ходом, как и денежные дела прежних их владельцев, то их было много в лавке мистера Броли; а всевозможные зеркала, случайно расставленные так, что давали отражения и преломления с закономерностью нарастания сложных процентов, являли глазу вечную перспективу банкротства и разорения.

Сам мистер Броли был румяным, курчавым, плотным человеком с влажными глазами и покладистым нравом, ибо эта порода Гаев Мариев, сидящих на развалинах чужого Карфагена *, всегда сохраняет хорошее расположение духа. Иной раз он заглядывал в лавку Соломона, дабы задать какой-нибудь вопрос об инструментах, с которыми имел дело Соломон, и Уолтер знал его достаточно, чтобы здороваться с ним, встречаясь на улице; но так как этим и ограничивалось знакомство маклера с Соломоном Джилсом, то Уолтер немало удивился, когда, вернувшись до полудня, согласно своему обещанию, застал мистера Броли, который сидел в задней гостиной, засунув руки в карманы и повесив шляпу за дверью.

— Ну, что, дядя Соль? — сказал Уолтер. Старик понуро сидел по другую сторону стола, а очки его находились каким-то чудом на носу, а не на лбу.— Как вы теперь себя чувствуете?

Соломон покачал головой и махнул рукой в сторону маклера, как бы представляя его.

— Что-нибудь случилось? — затаив дыхание, спросил Уолтер.

— Нет, нет! Ничего не случилось,— сказал мистер Броли.— Пусть это вас не тревожит.

Уолтер с немым изумлением переводил взгляд с маклера на дядю.

— Дело в том,— сказал мистер Броли,— что тут есть неоплаченный вексель — триста семьдесят с лишним. Вексель просрочен и попал ко мне.

— Попал к вам? — воскликнул Уолтер, окидывая взглядом лавку.

— Да,— сказал мистер Броли конфиденциальным тоном, покачивая при этом головой, как будто настаивал на том, что им всем надлежит чувствовать себя прекрасно.— Исполнительный приказ о взыскании. Вот что это значит. Пусть это вас не тревожит. Я пришел сам, чтобы все было сделано тихо и мирно. Вы меня знаете. Никакой огласки не будет.

— Дядя Соль! — пробормотал Уолтер.

— Уоли, мой мальчик,— отозвался дядя,— это случилось впервые. Такой беды никогда еще со мной не бывало. Я слишком стар, чтобы начинать сначала.

Снова сдвинув очки на лоб (ибо они больше уже не могли скрыть его волнение), он заслонил лицо рукой и заплакал, и слезы закапали на его кофейного цвета жилет.

— Дядя Соль! Пожалуйста! Ох, не надо! — воскликнул Уолтер, который буквально оцепенел от ужаса при виде плачущего старика.— Ради бога, не надо этого! Мистер Броли, что же мне делать?

— *Я* бы вам посоветовал отыскать какого-нибудь друга,— сказал мистер Броли,— и потолковать с ним.

— Совершенно верно! — вскричал Уолтер, хватаясь за соломинку.— Правильно! Благодарю вас. Капитан Катль — вот кто нам нужен, дядя. Подождите, пока я сбегаю к капитану Катлю. Пожалуйста, присмотрите за дядей, мистер Броли, и постарайтесь его успокоить, пока меня нет. Не отчаивайтесь, дядя Соль. Не падайте духом, держитесь молодцом!

Выпалив все это с большим жаром и не обращая внимания на бессвязные возражения старика, Уолтер выскочил сломя голову из лавки и, сбегав в контору, чтобы испросить разрешение на отлучку по случаю внезапной болезни дяди, пустился во всю прыть к жилищу капитана Катля.

Все как будто изменилось, когда он бежал по улицам. Была обычная сутолока и шум двуколок, ломовых телег, омнибусов, подвод и пешеходов, но несчастье, постигшее Деревянного Мичмана, сделало все каким-то чужим и новым. Дома и лавки были не те, что прежде, и на фасадах только и можно было видеть, что полномочие мистера Броли, написанное крупными буквами. Маклер, казалось,

завладел даже церквами, ибо шпили их как-то непривычно вздымались к небу. Даже само небо изменилось, и казалось, на нем был начертан исполнительный приказ.

Капитан Катль жил на берегу маленького канала около Индийских доков, где был разводной мост, который время от времени раздвигался, чтобы пропустить какое-нибудь странствующее чудовище — судно, пробиравшееся вдоль улицы подобно выброшенному на мель Левиафану. Любопытен был постепенный переход от суши к воде по мере приближения к жилищу капитана Катля. Он начинался с торчащих флагштоков как неотъемлемой принадлежности трактиров; затем шли лавки матросского платья с вязаными куртками, зюйдвестками и самыми прочными и самыми широкими парусиновыми штанами, вывешенными снаружи. За ними следовали кузницы, где ковали якоря и цепи, где большие молоты целый день били со звоном по железу. Затем шли ряды домов с маленькими увенчанными флюгером мачтами, поднимающимися из зарослей красных бобов. Затем канавы. Затем подстриженные ивы. Затем снова канавы. Затем какие-то странные полосы грязной воды, едва различимые из-за судов, покрывавших их. Затем в воздухе повеяло запахом стружек; и все прочие ремесла вытеснило изготовление мачт, весел, блоков и постройка лодок. Затем почва стала болотистой и вязкой. Затем уже ничем не пахло, кроме рома и сахара. Затем на Бриг-Плейс как раз перед вами возникало жилище капитана Катля, где второй этаж был в то же время и самым верхним.

Капитан был одним из тех людей, у кого одеяние и тело как будто вытесаны из одного куска дуба; самое пылкое воображение едва ли может отделить от них хотя бы незначительную часть их одежды. Поэтому, когда Уолтер постучал в дверь, а капитан тотчас высунул голову из маленького окошка, выходившего на улицу, и окликнул его, причем, как всегда, на нем уже была надета твердая глянцевитая шляпа, рубашка с воротничком, концы которого походили на паруса, и просторный синий костюм,— Уолтер был совершенно убежден, что он всегда пребывает в таком виде, точно капитан был птицей, а костюм — его оперением.

— Уольр, мой мальчик! — сказал капитан Катль.— Держись крепче и постучи еще раз. Погромче! Сегодня стирка.

Уолтер в нетерпении оглушительно застучал дверным кольцом.

— Вот это здорово! — сказал капитан Катль и тотчас спрятался, словно ждал шквала.

И он не ошибся; ибо вдовствующая леди с рукавами, засученными до плеч, и руками, покрытыми мыльной пеной и дымящимися от горячей воды, явилась на призыв с поразительной быстротой. Прежде чем посмотреть на Уолтера, она взглянула на дверное кольцо, а затем, смерив взглядом мальчика с головы до ног, выразила удивление, что кольцо уцелело.

— Насколько мне известно, капитан Катль дома,— сказал Уолтер с заискивающей улыбкой.

— Дома? — отвечала вдовствующая леди.— Вот как!

— Он только что говорил со мной,— торопливо пояснил Уолтер.

— Говорил? — отозвалась вдовствующая леди.— В таком случае, быть может, вы передадите ему привет от миссис Мак-Стинджер и скажете, что в следующий раз, когда он унизит себя и свою квартиру, переговариваясь через окно, она будет ему признательна, если он также спустится вниз и откроет дверь.

Миссис Мак-Стинджер говорила громко и прислушивалась, не последует ли каких-нибудь замечаний из второго этажа.

— Я передам,— сказал Уолтер,— если вы будете любезны и впустите меня, сударыня.

Дело в том, что его удерживало деревянное укрепление, тянувшееся поперек двери и возведенное здесь для того, чтобы юные Мак-Стинджеры в часы досуга не скатились со ступенек.

— Смею надеяться,— презрительно сказала миссис Мак-Стинджер,— что парень, который может вышибить мою дверь, сумеет и перепрыгнуть через это.

Но когда Уолтер принял ее слова за разрешение войти и перепрыгнул, миссис Мак-Стинджер немедленно спросила, является ли дом англичанки ее крепостью * или нет, и неужели к ней может врываться любой бездельник.

Желание ее получить сведения о сем предмете было все еще очень велико, когда Уолтер, поднявшись по маленькой лестнице сквозь искусственный туман, вызванный стиркой, вследствие коей перила покрылись липким пòтом, вошел в комнату капитана Катля и застал этого джентльмена в засаде за дверью.

— Никогда ни одного пенни не был ей должен, Уольр,— шепотом сказал капитан Катль, а лицо его явно выражало смятение.— Оказывал ей кучу услуг и детям ее. Все-таки по временам она ведьма. Тьфу!

— *Я* бы отсюда выехал, капитан Катль,— сказал Уолтер.

— Не смею, Уольр,— возразил капитан.— Она меня отыщет, куда бы я ни ушел. Садись. Что Джилс?

Капитан (в шляпе) сидел за обедом, состоявшим из холодной баранины, портера и дымящегося горячего картофеля, который он сам варил и по мере надобности вынимал из небольшой кастрюли, помещавшейся над огнем в камине. В обеденное время он отвинчивал свой крючок и вместо него ввинчивал в деревянное гнездо нож, которым уже начал очищать картофелину для Уолтера. Комнатушки у него были маленькие и пропахшие табачным дымом, но довольно уютные: все вещи были уложены и расставлены так тщательно, словно здесь каждые полчаса случалось землетрясение.

— Что Джилс? — осведомился капитан.

Уолтер, который к тому времени отдышался, но зато утратил бодрость — временный подъем, вызванный быстрой ходьбой,— посмотрев с минуту на вопрошавшего, сказал:

— О капитан Катль! — и залился слезами.

Нет слов изобразить ужас капитана, вызванный этим зрелищем. Образ миссис Мак-Стинджер совершенно стерся. Он уронил картофелину и вилку — уронил бы и нож, если бы это было возможно, и сидел, глядя на мальчика, словно приготовился услышать тотчас же, что земля в Сити разверзлась и поглотила его старого друга, кофейного цвета костюм, пуговицы, хронометр, очки и все прочее.

Но когда Уолтер сообщил ему, чтó, в сущности, произошло, капитан Катль после минутного раздумья обна-

ружил живую деятельность. Он выложил из маленькой металлической чайницы, стоявшей на верхней полке буфета, весь свой наличный капитал (равнявшийся тринадцати фунтам и полукроне), каковой препроводил в один из карманов своего широкого синего фрака; затем обогатил это хранилище содержимым своего ящика со столовым серебром, а именно двумя стертыми скелетами чайных ложек и старомодными кривыми щипцами для сахара; извлек свои огромные серебряные с двойной крышкой часы из глубин, где они покоились, дабы удостовериться, что эта драгоценность цела и невредима; снова привинтил крючок к правому запястью и, схватив палку, усеянную шишками, предложил Уолтеру отправиться в путь.

Вспомнив, однако, в разгар добродетельного своего возбуждения, что миссис Мак-Стинджер, быть может, подстерегает его внизу, капитан Катль в последний момент заколебался и даже взглянул на окно, словно у него мелькнула мысль воспользоваться этим необычным выходом, только бы не встречаться с грозным врагом. Однако он решил прибегнуть к военной хитрости.

— Уольр,— сказал капитан, робко подмигивая,— ступай вперед, мой мальчик. Когда войдешь в коридор, крикни: «До свидания, капитан Катль!» — и закрой дверь. А затем жди на углу этой улицы, покуда не увидишь меня.

Эти распоряжения вытекали из предварительного изучения тактики неприятеля, ибо когда Уолтер спустился по лестнице, миссис Мак-Стинджер подобно мстительному духу вылетела из маленькой кухни. Но, не налетев, вопреки своим ожиданиям, на капитана, она только упомянула еще раз о дверном кольце и снова влетела в кухню.

Прошло минут пять, прежде чем капитан Катль собрался с духом и отважился на побег, так как Уолтер ждал именно столько времени на углу, оглядываясь на дом и не видя никаких признаков твердой глянцевитой шляпы. Наконец капитан выскочил из двери со скоростью ядра, подошел к нему стремительно и ни разу не оглянулся, а как только они покинули эту улицу, начал насвистывать песенку.

— Дядя сильно накренился, Уольр? — осведомился капитан, когда они шли по улице.

— Боюсь, что да. Если бы вы его видели сегодня утром, вы бы никогда этого не забыли.

— Шагай быстрей, Уольр, мой мальчик,— сказал капитан, прибавив шагу,— и так же быстро ходи во все дни твоей жизни. Перелистай катехизис, чтобы отыскать этот совет, и следуй ему!

Капитан был слишком занят своими мыслями о Соломоне Джилсе, к которым примешивалось, быть может, и воспоминание о недавнем бегстве от миссис Мак-Стинджер, чтобы приводить дорогой еще какие-нибудь цитаты в интересах нравственного усовершенствования Уолтера. Больше они не обменялись ни словом, пока не подошли к двери старого Соля, где злополучный Деревянный Мичман с инструментом у глаза, казалось, обозревал горизонт в поисках друга, который помог бы ему выпутаться из беды.

— Джилс! — сказал капитан, вбегая в заднюю гостиную и с большой нежностью беря его за руку.— Держитесь носом против ветра, и мы пробьемся. Единственное, что вы должны делать,— продолжал капитан с важностью человека, изрекающего одно из драгоценнейших практических правил, когда-либо открытых человеческой мудростью,— это держаться носом против ветра — и мы пробьемся!

Старый Соль ответил на рукопожатие и поблагодарил друга. Затем капитан Катль с торжественностью, приличествующей моменту, положил на стол две чайных ложки и щипцы для сахара, серебряные часы и наличные деньги и спросил маклера мистера Броли, велик ли долг.

— Послушайте! Хватит вам этого? — спросил капитан Катль.

— Господь с вами! — отвечал маклер.— Неужели вы думаете, что от этого может быть какая-нибудь польза?

— Почему бы нет? — осведомился капитан.

— Почему? Сумма равняется тремстам семидесяти с лишним,— ответил маклер.

— Не беда,— возразил капитан, хотя он был явно смущен этой цифрой.— Полагаю, любая рыба, попадающая к вам в сети, остается рыбой.

— Разумеется,— сказал мистер Броли.— Но селедка, знаете ли, не кит.

Это философическое замечание, казалось, поразило капитана. Он размышлял с минуту, поглядывая при этом на маклера, как на великого мудреца, а затем отозвал в сторону мастера судовых инструментов.

— Джилс,— сказал капитан Катль,— по какому обязательству? Кто кредитор?

— Тише,— отозвался старик.— Отойдем подальше. Не говорите при Уоли. Это поручительство за отца Уоли, старое обязательство. Я много выплатил, Нэд, но времена для меня настали такие тяжелые, что сейчас я ничего не могу поделать. Я это предвидел, но помочь ничем не мог. Ради бога, ни слова при Уоли.

— Но ведь *какие-нибудь* деньги у вас есть? — шепотом спросил капитан.

— Да, да... о да... кое-что у меня есть,— отвечал старый Соль, сначала засунув руки в пустые карманы, а затем ухватившись за свой валлийский парик, словно надеялся выдавить из него золото.— Но я... то немногое, что у меня есть, нельзя обратить в наличные деньги, Нэд; это невозможно. Я старался сделать что-нибудь для Уоли, но я старомоден и отстал от века. Они и тут и там, и... и, короче говоря, все равно что нигде,— сказал старик, растерянно озираясь.

Он так был похож на помешанного, который припрятал свои деньги в разных местах и забыл — где, что капитан следил за его взглядом, питая слабую надежду, не вспомнит ли тот о нескольких сотнях фунтов, спрятанных в дымоходе или в погребе. Но Соломон Джилс знал, что этого не случится.

— Я отстал от века, дорогой мой Нэд,— сказал Соль с покорным отчаянием,— совсем отстал. Не имеет смысла плестись за ним где-то далеко позади. Товар пусть лучше продадут — он стоит больше, чем нужно для уплаты этого долга,— а я лучше уйду куда-нибудь и покончу счеты с жизнью. Больше нет у меня энергии. Я не понимаю того, что происходит. Уж лучше проститься со всем этим. Пусть продадут товар и снимут *его*,— сказал старик, указывая дрожащей рукой на Деревянного Мичмана,— и пусть мы оба пойдем на слом.

— А как вы думаете поступить с Уольром? — спросил капитан.— Ну-ну! Присядьте, Джилс, присядьте и дайте

мне подумать. Если бы не приходилось мне жить на маленькую ренту, которая до сегодняшнего дня была достаточно большой, мне незачем было бы думать. А вы только держитесь носом против ветра,— сказал капитан, снова предлагая этот неопровержимый утешительный совет,— и все обойдется.

Старый Соль от души поблагодарил, но вместо того, чтобы его выполнить, встал и прислонился головой к каминной доске.

Некоторое время капитан Катль шагал взад и вперед по лавке, сосредоточенно размышляя и столь мрачно хмуря косматые черные брови, наползавшие ему на нос, словно облака, опускавшиеся на гору, что Уолтер боялся прервать каким-нибудь замечанием течение его мыслей. Мистер Броли, который отнюдь не хотел быть в тягость обществу и который был человеком обходительным, бродил, тихо посвистывая, среди товаров; стучал по барометрам, встряхивал компасы, словно пузырьки с микстурой, поднимал ключи магнитом, смотрел в подзорные трубы, пытался усвоить правила пользования глобусами, насаживал себе на нос параллельные линейки и предавался другим физическим опытам.

— Уольр! — сказал, наконец, капитан.— Я придумал!

— Придумали, капитан Катль? — с великим воодушевлением воскликнул Уолтер.

— Иди сюда, мой мальчик,— сказал капитан.— Товар — это одно обеспечение. Я — другое. Твой патрон — вот кто даст ссуду.

— Мистер Домби? — пробормотал Уолтер.

Капитан важно кивнул головой.

— Посмотри на него,— сказал он.— Посмотри на Джилса. Если начнут распродавать эти вещи, он умрет. Ты сам знаешь, что умрет. Мы должны перевернуть все вверх дном, не оставить камня на камне,— и вот тебе камень.

— Камень! Мистер Домби! — пробормотал Уолтер.

— Прежде всего сбегай в контору и узнай, там ли он,— сказал капитан Катль, хлопнув его по спине.— Живо!

Уолтер почувствовал, что должен подчиниться приказу,— один взгляд, брошенный на дядю, заставил бы его



решиться, если бы он думал иначе,— и кинулся его исполнять. Вскоре он вернулся, запыхавшись, и сообщил, что мистера Домби нет в городе. Была суббота, и он уехал в Брайтон.

— Вот что я тебе скажу, Уольр,— объявил капитан, который за время его отсутствия, казалось, приготовился к такой помехе.— Мы едем в Брайтон. Я тебя поддержу, мой мальчик. Я тебя поддержу, Уольр. Мы едем в Брайтон с вечерней пассажирской каретой.

Если уже нужно было обращаться к мистеру Домби — о чем страшно было подумать,— Уолтер чувствовал, что предпочел бы сделать это один и без всякой помощи, но не прибегать к такой поддержке, как личное влияние капитана Катля, коему, по его предположениям, мистер Домби вряд ли придаст значение. Но так как капитан, повидимому, был противоположного мнения, от которого не отступал, и так как дружеские его чувства были слишком пылки и серьезны, чтобы мог ими пренебрегать человек гораздо моложе его, то Уолтер воздержался от всяких возражений. Посему Катль, торопливо попрощавшись с Соломоном Джилсом и снова отправив в карман наличные деньги, чайные ложки, щипцы для сахара и серебряные часы,— с целью, как подумал с ужасом Уолтер, произвести потрясающее впечатление на мистера Домби,— не теряя ни минуты, повел юношу в контору пассажирских карет и по дороге несколько раз повторил, что останется верен ему до конца.

ГЛАВА X,

повествующая о последствиях, к которым привели бедствия Мичмана

Майор Бегсток, после долгих и частых наблюдений над Полем через площадь Принцессы в театральный бинокль и после многих подробных донесений об этом предмете, ежедневных, еженедельных и ежемесячных, сделанных туземцем, который с этой целью поддерживал постоянные сношения со служанкой мисс Токс, пришел к заключению, что Домби, сэр,— человек, с которым стоит

познакомиться, и что Дж. Б.— паренек, который найдет способ завязать это знакомство.

Но так как мисс Токс оставалась сдержанной и холодно отказывалась понимать майора всякий раз, когда тот являлся (а это случалось часто), чтобы выудить какие-нибудь сведения, имеющие отношение к названному проекту, майор, невзирая на природную свою непреклонность и хитрость, поневоле должен был предоставить исполнение своего желания в какой-то мере случаю, «который,— как говаривал он, хихикая, в своем клубе,— пятьдесят раз против одного играл на руку Джоя Б., сэр, еще с той поры, как его старший брат умер от тропической лихорадки в Вест-Индии».

На этот раз случай не сразу пришел на помощь, но в конце концов все же оказал ему услугу. Когда чернокожий слуга доложил со всеми подробностями об отлучках мисс Токс в Брайтон, майор внезапно предался нежным воспоминаниям о своем друге Билле Байтерстоне из Бенгалии, который просил в письме навестить его единственного сына, если майор когда-нибудь окажется в Брайтоне. А когда тот же чернокожий слуга доложил о пребывании Поля у миссис Пипчин, а майор, заглянув в письмо, отправленное юным Байтерстоном по прибытии в Англию, на которое ему и в голову не приходило обратить внимание, увидел представившийся ему благоприятный случай, он пришел в такое бешенство от подагры, которая как раз в это время уложила его в постель, что в ответ на полученные сведения швырнул в чернокожего слугу скамеечкой для ног и поклялся, что сведет мерзавца в могилу, прежде чем сам отправится в нее, чему чернокожий слуга весьма расположен был поверить.

Наконец майор, оправившись от приступа подагры, ворча, отбыл как-то в субботу в Брайтон с туземцем, державшимся сзади, всю дорогу обращаясь с речью к мисс Токс и упиваясь перспективой взять штурмом ее знатного друга, которого она окутала такой таинственностью и ради которого покинула его.

— Вы бы не прочь, сударыня, не прочь? — говорил майор, напыжившись от мстительных чувств; и без того разбухшие вены у него на голове разбухали еще больше.—

Вы бы не прочь дать отставку Джою Б., сударыня? Рано еще, сударыня, рано! черт побери, рано еще, сэр! Джо бодрствует, сударыня. Бегсток живехонек, сэр. Дж. Б. знает кое-какие ходы, сударыня. Джош настороже, сэр. Вы убедитесь, что он непреклонен, сударыня. Джозеф непреклонен, сэр, непреклонен! Непреклонен и чертовски хитер!

И в самом деле юный Байтерстон убедился в его непреклонности, когда майор повел этого молодого джентльмена на прогулку. Майор, цветом лица напоминавший стилтонский сыр *, и с глазами, как у креветки, блуждал, вовсе не помышляя об увеселении мистера Байтерстона, и тащил за собой мистера Байтерстона, озираясь по сторонам в поисках мистера Домби и его детей.

В конце концов майор, предварительно осведомленный миссис Пипчин, отыскал Поля и Флоренс и устремился к ним; с ними был величавый джентльмен (несомненно мистер Домби). Когда он ворвался с мистером Байтерстоном в самый центр маленького отряда, случилось, разумеется, так, что мистер Байтерстон вступил в разговор со своими товарищами по несчастью. Вслед за сим майор остановился, сосредоточил на них внимание и пришел в восторг; припомнил с изумлением, что видел их и беседовал с ними у своей приятельницы мисс Токс на площади Принцессы; заявил, что Поль — чертовски славный мальчуган и маленький его друг; осведомился, не забыл ли Поль Джоя Б., майора; и, наконец, внезапно вспомнив о приличиях, принес извинение мистеру Домби.

— Но мой маленький друг, сэр,— сказал майор,— снова превращает меня в мальчишку. Старый майор, сэр,— майор Бегсток, к вашим услугам,— не стыдится сделать такое признание.— Тут майор приподнял шляпу.— Черт возьми, сэр,— воскликнул майор с неожиданной горячностью,— я вам завидую! — Затем он опомнился и добавил: — Простите мне такую вольность.

Мистер Домби сказал, что охотно прощает.

— Старый вояка, сэр,— сказал майор,— прокопченный, загорелый, изнуренный, искалеченный старый майор, сэр, не побоялся, что его пристрастье будет осуждено таким человеком, как мистер Домби. Кажется, я имею честь разговаривать с мистером Домби?

— В настоящее время я являюсь недостойным представителем этого имени, майор,— отвечал мистер Домби.

— Клянусь дья..., сэр,— сказал майор,— это славное имя. Это имя, сэр,— твердо сказал майор, словно ждал от мистера Домби возражений и в таком случае считал бы тяжким своим долгом оборвать его,— пользуется известностью и почетом в отдаленных британских владениях. Это имя, сэр, человек узнает с гордостью. Джозефу Бегстоку чужда лесть, сэр. Его королевское высочество герцог Йорский говаривал не раз: «Джой не льстец. Он — простой старый солдат, этот Джо. Он чересчур непреклонен — этот Джозеф». Но это славное имя, сэр. Ей-богу, это славное имя! — торжественно сказал майор.

— Вы очень любезны, майор, и цените его, быть может, выше, чем оно того заслуживает,— отвечал мистер Домби.

— Нет, сэр,— сказал майор.— Мой маленький друг, сэр, может удостоверить, что Джозеф Бегсток — прямолинейный, простодушный, откровенный человек, сэр, вот и все. Этот мальчик, сэр,— сказал майор, понизив голос,— останется в истории. Этот мальчик, сэр, незаурядное дитя. Берегите его, мистер Домби.

Мистер Домби, казалось, дал понять, что постарается это сделать.

— Вот, сэр, еще один мальчик,— продолжал майор конфиденциальным тоном, ткнув юнца тростью,— сын Байтерстона из Бенгалии. Билл Байтерстон прежде был один из наших. Отец этого мальчика и я, сэр, были закадычными друзьями. Где бы вы ни оказались, сэр, вы только и слышали, что о Билле Байтерстоне и Джо Бегстоке. А разве я слеп к недостаткам этого мальчика? Никоим образом. Он дурак, сэр.

Мистер Домби взглянул на опороченного юного Байтерстона, о котором знал столько же, сколько и майор, и произнес с самодовольным видом:

— Неужели?

— Да, таков он есть, сэр,— сказал майор.— Он дурак. Джо Бегсток никогда не смягчает выражений. Сын моего старого друга Билла Байтерстона — дурак от рождения, сэр.— Тут майор захохотал так, что стал почти черным.— Полагаю, моему маленькому другу предстоит

поступить в государственную школу, мистер Домби? — оправившись, продолжал майор.

— Я еще не решил,— отвечал мистер Домби.— Вряд ли. Он слабого здоровья.

— Если он слабого здоровья,— сказал майор,— то вы правы. Только непреклонные ребята могли вынести жизнь в Сендхерсте *, сэр. Там мы подвергали друг друга пыткам, сэр. Мы поджаривали новичков на медленном огне и вывешивали вниз головой из окна четвертого этажа. Джозефа Бегстока, сэр, вывесили из окна, придерживая за пятки, ровно на тринадцать минут по школьным часам.

В подтверждение этого факта майор мог сослаться на свое лицо. Оно и в самом деле было таким, как будто он провисел вниз головой слишком долго.

— Но школа нас сделала тем, чем мы стали, сэр,— сказал майор, поправляя брыжи.— Мы были железом, сэр, и она нас выковала. Вы живете здесь, мистер Домби?

— Обычно я приезжаю сюда раз в неделю, майор,— отвечал этот джентльмен.— Я останавливаюсь в отеле «Бедфорд».

— С вашего разрешения, сэр, я буду иметь честь навестить вас в «Бедфорде»,— сказал майор.— Джой Б., сэр, не любитель делать визиты, но мистер Домби — незаурядное имя. Я весьма признателен моему юному другу за честь быть вам представленным.

Мистер Домби отвечал очень благосклонно; и майор Бегсток, погладив по голове Поля и сказав Флоренс, что ее глаза скоро будут сводить с ума молодежь — «да и стариков тоже, сэр, уж коли на то пошло»,— добавил майор, громко хихикая, расшевелил мистера Байтерстона своею тростью и удалился рысцой с этим молодым джентльменом; он вращал головою и покашливал с большим достоинством, покачиваясь и широко расставляя ноги.

Исполняя свое обещание, майор явился засим с визитом к мистеру Домби, а мистер Домби, наведя справку в списке военных чинов, отдал визит майору. Затем майор нанес мистеру Домби визит в Лондоне и снова появился в Брайтоне, прибыв туда в одной карете с мистером Домби. Короче говоря, мистер Домби и майор поладили удивительно хорошо и удивительно быстро, и мистер Домби заметил своей сестре по поводу майора, что он не

только настоящий военный, но и нечто большее, ибо превосходно разбирается в вещах, не связанных с его профессией.

Наконец, когда мистер Домби явился в сопровождении мисс Токс и миссис Чик повидаться с детьми и снова встретил майора в Брайтоне, он пригласил его пообедать у Бедфорда и предварительно поздравил мисс Токс с таким соседом и знакомым. Несмотря на то, что эти намеки вызвали у мисс Токс сердцебиение, они отнюдь не были ей неприятны, ибо давали ей возможность быть чрезвычайно интересной и по временам обнаруживать растерянность и смятение, каковые она весьма не прочь была выставить напоказ. Майор предоставил ей немало удобных случаев проявить это волнение; за обедом он не скупился на жалобы, вызванные тем, что она покинула его и площадь Принцессы; и так как ему, по-видимому, доставляло большое удовольствие их высказывать, то все чувствовали себя прекрасно.

Завладев за столом разговором, майор не ударил лицом в грязь и обнаружил в этой области такой же огромный аппетит, как и по отношению к многочисленным яствам на столе, коими он, можно сказать, объедался, что еще более усилило его склонность воспламеняться. Так как привычная молчаливость и сдержанность мистера Домби не препятствовали подобной узурпации, майор чувствовал, что показывает себя во всем блеске и, в порыве рожденного таким образом воодушевления, выпалил такое множество новых производных от своего собственного имени, что сам себя удивил. Короче говоря, все были очень довольны. Признали, что майор обладает неистощимым запасом тем для разговора, а когда, наконец, он распрощался после затянувшегося роббера, мистер Домби еще раз поздравил зардевшуюся мисс Токс с таким соседом и знакомым.

Но на обратном пути к себе в гостиницу майор неустанно твердил себе о своей персоне: «Хитер, сэр... хитер, сэр... чертовски хитер!» А придя в гостиницу, он уселся в кресло и разразился беззвучным смехом, который иногда овладевал им и всегда производил устрашающее впечатление. На сей раз это продолжалось столько времени, что чернокожий слуга, который следил за ним, стоя

поодаль, но ни за что на свете не дерзнул бы приблизиться, готов был считать его положение безнадежным. Все туловище майора и, в особенности, лицо раздулись больше, чем когда бы то ни было, и чернокожий видел перед собой только глыбу цвета индиго. Наконец у майора начался отчаянный приступ кашля, а когда ему стало полегче, он разразился следующими восклицаниями:

— Вы бы не прочь, сударыня? Не прочь? Миссис Домби, а, сударыня? Не думаю, сударыня. Нет, покуда Джо Б. еще может вставить вам палку в колеса, сударыня. Джо Б. теперь сравнялся с вами, сударыня. Он еще не вышел из игры, сэр, Бегсток не вышел. Она лукава, сэр, лукава, но Джош еще лукавее. Старина Джо не дремлет — бодрствует и смотрит во все глаза, сэр! — Не приходилось сомневаться в том, что это последнее заявление правдиво — правдиво в устрашающей мере, ибо так продолжалось большую часть ночи, которую майор провел, испуская подобные восклицания, перемежавшиеся с припадками кашля и удушья, пугавшими весь дом.

На следующий день после этого эпизода, в воскресенье, когда мистер Домби, миссис Чик и мисс Токс сидели за завтраком, все еще воспевая хвалу майору, вбежала Флоренс с раскрасневшимся лицом и радостно сверкавшими глазами и крикнула:

— Папа! Папа! Здесь Уолтер! И он не хочет войти.

— Кто? — воскликнул мистер Домби.— О чем она говорит? Что это значит?

— Уолтер, папа,— робко сказала Флоренс, чувствуя, что слишком фамильярно приблизилась к его особе.— Который нашел меня, когда я заблудилась.

— Неужели она говорит о молодом Гэе, Луиза? — осведомился мистер Домби, сдвинув брови.— Право же, манеры у девочки стали слишком резкие. Вряд ли она говорит о молодом Гэе. Разузнайте, пожалуйста, в чем дело.

Миссис Чик выбежала в коридор и вернулась с известием, что это молодой Гэй в сопровождении очень странного на вид человека; и молодой Гэй говорит, что не осмеливается войти, зная, что мистер Домби завтракает, а подождет, пока мистер Домби не разрешит ему явиться.

— Скажите мальчику, чтобы вошел сейчас,— заявил мистер Домби.— Ну, Гэй, в чем дело? Кто послал вас сюда? Разве, кроме вас, некому было приехать?

— Прошу прощенья, сэр,— отвечал Уолтер.— Меня не посылали. Я осмелился приехать на свой страх и надеюсь, вы меня простите, когда я объясню причину.

Но мистер Домби, не слушая его, нетерпеливо посматривал то вправо, то влево от него (как будто тот был столбом на его пути) на какой-то предмет за спиной Уолтера.

— Что это? — сказал мистер Домби.— Кто это? Полагаю, вы ошиблись дверью, сэр?

— О, извините, что я вошел не один, сэр,— быстро сказал Уолтер — но это... это капитан Катль, сэр.

— Уольр, мой мальчик,— произнес капитан басом,— держись крепче!

В то же время капитан, шагнув вперед, выставил напоказ свой синий костюм, свой бросающийся в глаза воротник рубашки и свой шишковатый нос и остановился, кланяясь мистеру Домби и вежливо помахивая леди своим крючком, с твердой глянцевитой шляпой в единственной руке и с красным экватором вокруг головы, который эта шляпа недавно на ней отпечатала.

Мистер Домби взирал на этот феномен с изумлением и негодованием и как будто всем видом своим приглашал миссис Чик и мисс Токс разделить его чувства. Маленький Поль, вошедший вслед за Флоренс, попятился к мисс Токс и занял оборонительную позицию, когда капитан замахал крючком.

— Ну, Гэй,— произнес мистер Домби,— что вы имеете мне сказать?

Снова капитан заметил в виде вступления к разговору, каковое вступление должно было расположить к благосклонности всех присутствующих:

— Уольр, держись крепче!

— Боюсь, сэр,— начал Уолтер, дрожа и не поднимая глаз,— что я позволяю себе большую вольность, являясь сюда... да, я уверен, что это так. Боюсь, что у меня не хватило бы мужества прийти к вам, сэр, даже по приезде сюда, если бы я не встретил мисс Домби и...

— Ну, и что же? — сказал мистер Домби, следя за его взглядом, когда тот посмотрел на внимательно прислушивающуюся Флоренс, и невольно хмурясь, когда она ободрила его улыбкой.— Пожалуйста, продолжайте.

— Да, да,— заметил капитан, считая, что долг воспитанного человека — поддержать мистера Домби.— Прекрасно сказано! Продолжай, Уольр.

Капитану Катлю следовало бы исчезнуть от взгляда, брошенного на него мистером Домби в благодарность за такую поддержку. Однако, вовсе о том не ведая, он прищурил в ответ один глаз и, выразительно помахивая крючком, дал понять мистеру Домби, что Уолтер сначала немножко оробел, но, нужно думать, скоро разойдется.

— Сюда меня привело совершенно частное и личное дело, сэр,— заикаясь, продолжал Уолтер,— и капитан Катль...

— Здесь! — вставил капитан, удостоверяя, что он находится под рукой и на него можно положиться.

— Очень старый друг моего бедного дяди и превосходнейший человек, сэр,— продолжал Уолтер, умоляюще поднимая глаза словно в защиту капитана,— был так добр, что предложил поехать со мною, от чего я вряд ли мог отказаться.

— Нет! Нет! Нет! — благодушно заметил капитан.— Конечно, нет! И речи не могло быть об отказе. Продолжай, Уольр.

— И поэтому, сэр,— сказал Уолтер, решившись встретить взгляд мистера Домби и набравшись храбрости ввиду отчаянного своего положения, ибо отступать было уже поздно,— поэтому я пришел с ним, сэр, сообщить, что моего бедного старого дядю постигло большое несчастье. Вследствие постепенного упадка его торговли и невозможности уплатить по векселю — страх, что это случится, как мне хорошо известно, сэр, угнетал его в течение многих и многих месяцев,— на имущество его наложен арест, и ему грозит опасность потерять все и умереть от горя! Что̀, если бы вы, который давно уже знаете его, как порядочного человека, по доброте своей помогли ему выйти из затруднения, сэр? Мы никогда не в состоянии были бы выразить вам нашу признательность.

У Уолтера на глазах выступили слезы, пока он говорил; выступили они и у Флоренс. Отец видел, как они заблестели, хотя смотрел, казалось, только на Уолтера.

— Это очень большая сумма, сэр,— сказал Уолтер.— Больше трехсот фунтов. Дядя совсем убит этим несчастьем, оно его сломило, и он совершенно не в силах что-нибудь сделать. Он даже не знает, что я поехал поговорить с вами. Быть может, вы пожелаете, сэр,— нерешительно добавил Уолтер,— чтобы я точно сказал, чего я хочу. Я, право, не знаю, сэр. У дяди есть товар, и, кажется, я могу утверждать с уверенностью, что никаких других долгов нет, а затем капитан Катль также хотел бы представить поручительство. Мне... мне, пожалуй, лучше не упоминать,— продолжал Уолтер,— о тех деньгах, какие зарабатываю я; но если бы вы разрешили... откладывать их... на покрытие ссуды... дядя... бережливый честный старик...

Уолтер с трудом выговорил эти бессвязные слова, умолк и стоял, понурившись, перед своим хозяином.

Считая момент благоприятным для предъявления ценностей, капитан Катль приблизился к столу и, расчистив местечко среди чашек у локтя мистера Домби, извлек серебряные часы, наличные деньги, чайные ложки и щипцы для сахара и, сложив свое столовое серебро в кучу, чтобы оно казалось особенно ценным, произнес следующие слова:

— Полхлеба лучше, чем ни куска хлеба, и то же самое можно сказать о крошках. Вот несколько крошек. Затем может быть предложена ежегодная рента в сто фунтов. Если есть на свете человек, по горло начиненный наукой, то это старый Соль Джилс. Если есть на свете подающий надежды юноша... истекающий,— добавил капитан, приводя одну из своих удачных цитат,— млеком и медом *, то это его племянник!

Затем капитан отошел на прежнее место, где и остался, приглаживая растрепавшиеся волосы с видом человека, завершившего трудное дело.

Когда Уолтер умолк, взгляд мистера Домби обратился на маленького Поля, который, видя, что сестра опустила голову и тихо плачет, соболезнуя несчастью, о котором только что узнала, подошел к ней и старался ее утешить,

очень выразительно посматривая при этом на Уолтера и на отца. Отвлекшись на секунду выступлением капитана Катля, к каковому он отнесся с величественным равнодушием, мистер Домби снова устремил взгляд на сына и некоторое время сидел молча, пристально глядя на ребенка.

— Как был сделан этот долг? — спросил, наконец, мистер Домби.— Кто кредитор?

— Он не знает,— отвечал капитан, кладя руку на плечо Уолтера.— Я знаю. Это случилось потому, что старый Джилс помог человеку, которого нет теперь в живых, и это уже стоило моему другу Джилсу много сотен фунтов. Дальнейшие подробности, если угодно, с глазу на глаз.

— Люди, которым столько труда стоит самим удержаться на ногах,— сказал мистер Домби, не обращая внимания на таинственные знаки капитана за спиной Уолтера и по-прежнему глядя на сына,— должны ограничиваться заботой о своих обязательствах и затруднениях и не увеличивать их, беря на себя поручительство за других. Такое поведение бесчестно и к тому же самонадеянно, ибо и богатый не должен быть так самонадеян. Поль, подойди сюда!

Мальчик повиновался, и мистер Домби посадил его к себе на колени.

— Если бы сейчас у тебя были деньги...— сказал мистер Домби.— Смотри на меня!

Поль, переводивший взгляд с сестры на Уолтера, посмотрел в лицо отцу.

— Если бы сейчас у тебя были деньги,— сказал мистер Домби,— такая сумма, о которой говорил молодой Гэй, что̀ бы ты сделал?

— Отдал бы их его старому дяде,— отвечал Поль.

— Ссудил бы их его старому дяде, так? — внес поправку мистер Домби.— Ну, что ж! Тебе известно, что, когда ты подрастешь, ты будешь владеть совместно со мной моими деньгами, и мы будем распоряжаться ими вместе.

— Домби и Сын,— перебил Поль, которого рано обучили этой фразе.

— Домби и Сын,— повторил отец.— Не хотел бы ты начать сегодня же быть Домби и Сыном и ссудить эти деньги дяде молодого Гэя?

— О, прошу вас, папа! — сказал Поль.— Этого хотела бы и Флоренс.

— Девочки,— сказал мистер Домби,— не имеют никакого отношения к Домби и Сыну. *Ты* бы этого хотел?..

— Да, папа, да!

— В таком случае ты это сделаешь,— ответил отец.— И ты видишь, Поль,— добавил он, понизив голос,— как могущественны деньги и как жадно люди гонятся за ними. Молодой Гэй едет сюда просить денег, а ты, такой щедрый и благородный, потому что у тебя есть деньги, собираешься дать их ему в виде великой милости и одолжения.

Поль на секунду поднял старческое лицо, ясно выражавшее, что он понимает смысл его слов; но это лицо тотчас стало веселым и детским, когда он соскользнул с колен отца и побежал сказать Флоренс, чтобы она больше не плакала, потому что он сделает так, чтобы молодой Гэй получил деньги.

Затем мистер Домби подошел к столу, стоявшему у стены, написал записку и запечатал. Тем временем Поль и Флоренс перешептывались с Уолтером, а капитан Катль взирал на них с лучезарной улыбкой, предаваясь таким честолюбивым и бесконечно самонадеянным мыслям, что мистер Домби никогда бы этому не поверил. Когда записка была написана, мистер Домби уселся на прежнее место и протянул ее Уолтеру.

— Завтра первым делом,— сказал он,— передайте это мистеру Каркеру. Он позаботится о том, чтобы один из моих служащих вывел вашего дядю из теперешнего затруднения, уплатив следуемую сумму, и чтобы условия расплаты были определены соответственно положению вашего дяди. Считайте, что это сделал для вас мистер Поль.

Уолтер, взволнованный тем, что в его руках находится средство избавить доброго дядю от беды, попытался было выразить свою радость и признательность, но мистер Домби его оборвал.

— Считайте, что это сделал мистер Поль,— повторил он.— Я ему объяснил, и он понял. Больше я ничего не желаю слушать.

Так как он указал рукой на дверь, Уолтеру оставалось только поклониться и уйти. Мисс Токс, видя, что капитан собирается сделать то же самое, вмешалась.

— Дорогой мой сэр,— сказала она, обращаясь к мистеру Домби, чья щедрость вызвала и у нее и у миссис Чик потоки слез,— мне кажется, вы кое-что оставили без внимания. Простите меня, мистер Домби, мне кажется, по благородству своей натуры и благодаря свойственному ей величию вы упустили из виду одну деталь.

— Неужели, мисс Токс?..— сказал мистер Домби.

— Джентльмен с ... инструментом,— молвила мисс Токс, взглянув на капитана Катля,— оставил на столе возле вашего локтя...

— Ах, боже мой! — воскликнул мистер Домби, отметая от себя имущество капитана, словно это в самом деле были крошки.— Уберите это. Благодарю вас, мисс Токс: вы проявили свойственную вам осмотрительность. Будьте добры убрать это, сэр!

Капитан Катль понял, что ему остается только подчиниться. Но он был столь потрясен великодушием мистера Домби, отказавшегося от сокровищ, нагроможденных подле него, что, уложив чайные ложки и щипцы для сахара в один карман, а наличные деньги в другой и медленно опустив большие карманные часы в предназначенный для них склеп, он не мог удержаться, чтобы не схватить левую руку этого джентльмена своей левой и единственной рукой и, сильными своими пальцами держа ее раскрытой, не прикоснуться к ней в порыве восторга своим крючком. От такого проявления теплых чувств и от прикосновения холодного железа мистер Домби содрогнулся всем телом.

Затем капитан Катль с великим изяществом и галантностью поцеловал несколько раз свой крючок, приветствуя леди; и, особо попрощавшись с Полем и Флоренс, вышел вместе с Уолтером. Флоренс, сильно взволнованная, бросилась было вслед за ними, чтобы передать привет старому Солю, но мистер Домби окликнул ее и приказал остаться в комнате.

— Неужели ты *никогда* не станешь Домби, милое мое дитя? — патетически-укоризненным тоном вопросила миссис Чик.

— Дорогая тетя,— сказала Флоренс,— не сердитесь на меня. Я так благодарна папе.

Она подбежала бы к нему и обвила бы руками его шею, если бы посмела; но она не смела и только посматривала на него с благодарностью, в то время как он сидел в раздумье, изредка бросая на нее тревожный взгляд, но главным образом следя за Полем, который прохаживался по комнате с чувством собственного достоинства, порожденного тем, что он дал денег молодому Гэю.

А молодой Уолтер Гэй — что сказать о нем?

Он был в восторге от того, что избавил старика от бейлифов * и маклеров, и спешил к дяде с доброй вестью. Он был в восторге от того, что все уладит и устроит завтра же до полудня, будет сидеть вечером в маленькой задней гостиной со старым Солем и капитаном Катлем, и мастер судовых инструментов снова оживет, обретет надежды на будущее, убедившись, что Деревянный Мичман вновь стал его собственностью. Но следует признать, нисколько не осуждая его благодарности к мистеру Домби, что Уолтер чувствовал себя униженным и удрученным. Когда еще не расцветшие наши надежды гибнут безвозвратно от резкого порыва ветра, вот тогда-то мы особенно склонны рисовать себе, какие бы могли быть цветы, если бы они расцвели; и теперь, когда Уолтер чувствовал себя отрезанным от величественных высот Домби бездной нового и страшного падения, чувствовал, что при этом все его прежние сумасбродные фантазии развеялись по ветру, он начал догадываться, что в недалеком будущем они могли бы его привести к безобидным мечтам о завоевании Флоренс.

Капитан видел все в совершенно другом свете. Он, казалось, уверовал, что свидание, при котором он присутствовал, было в высшей степени удовлетворительным и обнадеживающим, и всего два-три шага отделяли его от формальной помолвки Флоренс и Уолтера, и что последнее событие если и не окончательно упрочило виттингтоновские надежды, то, во всяком случае, чрезвычайно им благоприятствовало. Воодушевленный этой уверенностью, а также радуясь улучшению дел своего старого друга, он даже попытался, угощая их в третий раз за этот вечер балладой о «Красотке Пэг», сделать замену, вставив имя

«Флоренс», но, убедившись, что это нелегко, ибо терялась рифма со словом «Пэг» (благодаря коей героиня была изображена, как не имеющая соперниц), он напал на счастливую мысль изменить его во Флэг, что и исполнил с лукавством почти сверхъестественным и голосом поистине оглушительным, несмотря на то, что близок был час, когда ему предстояло вернуться в жилище страшной миссис Мак-Стинджер.

ГЛАВА XI

Выступление Поля на новой сцене

Организм миссис Пипчин был сделан из такого твердого металла, несмотря на подверженность его плотским слабостям, вызывающим необходимость в отдыхе после отбивных котлет и требующим перед отходом ко сну такого снотворного средства, как сладкое мясо, что он совершенно опрокинул предсказания миссис Уикем и не обнаруживал никаких признаков упадка. Но так как сосредоточенный интерес Поля к старой леди не уменьшался, миссис Уикем не желала отступить ни на дюйм с позиции, ею занятой. Укрепившись и окопавшись на своем рубеже с помощью Бетси Джейн — дочери своего дяди, она дружески советовала мисс Бери быть готовой к худшему и предупреждала, что тетка ее в любой момент может взлететь на воздух, как пороховой завод.

Бедная Бери приняла все это добродушно и, как всегда, работала не покладая рук; совершенно убежденная в том, что миссис Пипчин — одна из достойнейших особ в мире, она ежедневно приносила себя в жертву на алтарь этой благородной старухи. Но выходило как-то так, что все жертвоприношения Бери ставились в заслугу миссис Пипчин друзьями и поклонниками миссис Пипчин и согласовывались и связывались с тем меланхолическим фактом, что покойный мистер Пипчин разбил свое сердце на Перуанских копях.

Так, например, был некий честный розничный торговец колониальными и прочими товарами, в общении которого с миссис Пипчин всегда была в ходу маленькая

записная книжка в засаленном красном переплете, по поводу коей между заинтересованными сторонами не прекращались тайные совещания и конференции в коридоре, устланном циновками, и за закрытой дверью гостиной. Юный Байтерстон (чей нрав сделало мстительным палящее солнце Индии, воздействовавшее на его кровь) не раз смутно намекал на неоплаченные счета и на отсутствие однажды, уже на его памяти, желтого сахарного песку к чаю. Этот торговец, холостяк, не придающий значения внешней красоте, сделал как-то честное предложение, домогаясь руки Бери, каковое миссис Пипчин с возмущением и презрением отвергла. Все говорили о том, сколь это похвально со стороны миссис Пипчин, вдовы человека, который умер из-за Перуанских копей, и каким стойким, благородным, независимым характером отличается старая леди. Но никто ни слова не сказал о бедной Бери, которая проплакала шесть недель (выдерживая все это время жестокие головомойки от своей доброй тетки) и, потеряв всякую надежду, обречена была остаться старой девой.

— Бери вас очень любит, правда? — спросил однажды Поль миссис Пипчин, когда они сидели вместе с котом у камина.

— Да,— сказала миссис Пипчин.

— Почему? — спросил Поль.

— Почему? — повторила сбитая с толку старая леди.— Как можно задавать такие вопросы, сэр? Почему вы любите свою сестру Флоренс?

— Потому, что она очень добрая,— сказал Поль.— Нет другой такой, как Флоренс.

— Ну, что ж! — резко отозвалась миссис Пипчин.— И другой такой, как я, полагаю, тоже нет.

— Неужели нет? — спросил Поль, наклоняясь вперед в своем креслице и глядя на нее очень пристально.

— Нет,— сказала старая леди.

— Я этому рад,— заметил Поль, задумчиво потирая руки.— Это очень хорошо.

Миссис Пипчин не осмелилась спросить — почему, чтобы не получить какого-нибудь совершенно уничтожающего ответа. Но, в возмездие за оскорбление, нанесенное ее чувствам, она до позднего часа так изводила

мистера Байтерстона, что он в тот же вечер начал готовиться к сухопутному путешествию домой, в Индию, и припрятал за ужином четверть ломтя хлеба и кусок голландского сыра, начав таким образом запасаться провизией на дорогу.

Около года миссис Пипчин охраняла и опекала маленького Поля и его сестру. Дважды они ездили домой, но всего на несколько дней, и регулярно каждую неделю навещали мистера Домби в гостинице. Мало-помалу Поль окреп и мог обходиться без своей коляски; но он по-прежнему был худым и слабым и оставался все тем же старообразным, тихим, мечтательным ребенком, каким был, когда его только что поручили заботам миссис Пипчин. Как-то в субботний вечер, в сумерки, великий переполох поднялся в замке вследствие неожиданного извещения о том, что мистер Домби явился с визитом к миссис Пипчин. Все общество немедленно улетучилось из гостиной наверх, словно унесенное вихрем, захлопали двери спален, послышался топот над головой, и мистер Байтерстон получил немало тумаков от миссис Пипчин, успокаивавшей таким образом свои смятенные чувства, после чего черное бомбазиновое платье достойной старой леди омрачило приемную, где мистер Домби созерцал незанятое креслице своего сына и наследника.

— Миссис Пипчин,— сказал мистер Домби,— как поживаете?

— Благодарю вас, сэр,— сказала миссис Пипчин,— сравнительно недурно, принимая во внимание...

Миссис Пипчин всегда прибегала к такому обороту речи. Он означал: принимая во внимание ее добродетели, жертвы и прочее.

— Я не могу рассчитывать, сэр, на прекрасное здоровье,— сказала миссис Пипчин, садясь и переводя дух,— но я признательна и за то, каким пользуюсь.

Мистер Домби наклонил голову с удовлетворенным видом клиента, который знает, что как раз за это он и платит определенную сумму каждые три месяца. Помолчав, он продолжал:

— Миссис Пипчин, я взял на себя смелость явиться к вам, чтобы посоветоваться относительно сына. Я давно уже собирался это сделать, но со дня на день откладывал,

выжидая, пока здоровье его не восстановится окончательно. На этот счет у вас нет никаких опасений, миссис Пипчин?

— Брайтон оказал весьма благотворное действие, сэр,— ответила миссис Пипчин.— Да, весьма благотворное.

— Я предполагаю,— сказал мистер Домби,— оставить его в Брайтоне.

Миссис Пипчин потерла руки и уставилась своими серыми глазами на огонь.

— Но,— продолжал мистер Домби, вытянув указательный палец,— но возможно, что теперь произойдет перемена, и он будет вести здесь иной образ жизни. Короче говоря, миссис Пипчин, такова цель моего посещения. Мой сын растет, миссис Пипчин. Он несомненно растет.

Было что-то меланхолическое в том торжествующем виде, с каким произнес это мистер Домби. Ясно было, каким долгим кажется ему детство Поля и что надежды он возлагает на более позднюю стадию его существования. Жалость, пожалуй, странное слово в применении к человеку столь надменному и столь холодному, и тем не менее в тот миг он казался достойным ее объектом.

— Ему шесть лет! — сказал мистер Домби, поправляя галстук, быть может с целью скрыть улыбку, которая, ни на секунду не осветив его лица, казалось, только скользнула по поверхности и скрылась, не найдя для себя местечка.— Боже мой, мы и оглянуться не успеем, как шесть превратится в шестнадцать.

— Десять лет,— прокаркала безжалостная Пипчин, холодно сверкнув жесткими серыми глазами и мрачно покачав склоненной головой,— большой срок.

— Это зависит от обстоятельств,— возразил мистер Домби.— Как бы там ни было, миссис Пипчин, моему сыну шесть лет, и, боюсь, не приходится сомневаться в том, что в занятиях он отстал от многих детей своего возраста, вернее от детей столь же юных лет,— сказал мистер Домби, быстро отвечая на лукавый, как показалось ему, огонек в холодных глазах.— Да, «юных лет» — более подходящее выражение. Но, миссис Пипчин, вместо того чтобы отставать от своих сверстников, мой сын должен их опередить — далеко опередить. Его ждет высокое

положение, которое ему предстоит занять. Нет ничего случайного или ненадежного в будущей карьере моего сына. Жизненный его путь был расчищен, подготовлен и намечен до его рождения. С образованием такого молодого джентльмена медлить не следует. В нем не должно быть никаких изъянов. Следует заняться им очень настойчиво и серьезно, миссис Пипчин.

— Что ж, сэр,— сказала миссис Пипчин,— я ничего не могу возразить против этого.

— Я был совершенно уверен, миссис Пипчин,— одобрительно заметил мистер Домби,— что такая здравомыслящая особа, как вы, не могла бы и не желала бы возражать.

— Много говорится всяких глупостей о том, что молодежь не следует вначале слишком принуждать, а нужно прибегать к ласке, и прочее, сэр,— сказала миссис Пипчин, нетерпеливо потирая горбатый нос.— В мое время никогда так не думали, и незачем думать так теперь. «Заставляйте их» — вот мое мнение.

— Уважаемая, ваша репутация заслужена вами,— отвечал мистер Домби,— и я прошу вас верить, миссис Пипчин, что я более чем удовлетворен вашей превосходной системой воспитания и с величайшим удовольствием буду рекомендовать ее всякий раз, когда скромная моя рекомендация,— надменность мистера Домби, когда он умышленно умалял свое значение, была безгранична,— может оказаться полезной. Я подумывал о докторе Блимбере, миссис Пипчин.

— О моем соседе, сэр? — отозвалась миссис Пипчин.— Я считаю заведение доктора превосходным. Я слыхала, что там правила очень строгие и что с утра до ночи там занимаются только учением.

— И плата очень высокая,— добавил мистер Домби.

— И плата очень высокая, сэр,— повторила миссис Пипчин, ухватившись за этот факт, словно, умалчивая о нем, она умалчивала об одном из главных достоинств заведения.

— Я советовался с доктором, миссис Пипчин,— сказал мистер Домби, озабоченно придвигая свое кресло ближе к камину,— и он отнюдь не считает Поля слишком юным. Он говорил о нескольких сверстниках Поля, кото-

рые изучали греческий. Если и возникают у меня, миссис Пипчин, некоторые опасения по поводу этой перемены, то они касаются другого пункта. У моего сына, не знавшего матери, постепенно развилась сильная — слишком сильная — детская любовь к сестре. Что́ если разлука с нею...— Мистер Домби не сказал больше ни слова и сидел молча.

— Пустяки! — воскликнула миссис Пипчин, встряхивая свою черную бомбазиновую юбку и обнаруживая все качества людоедки.— Если ей это не по вкусу, мистер Домби, нужно, чтобы она это переварила.

Добрая леди тотчас попросила извинения за такое вульгарное выражение, но сказала (и сказала правду), что именно этим способом *она* обучала их уму-разуму.

Мистер Домби подождал, пока миссис Пипчин перестала вскидывать и трясти головой и хмуриться на легион Байтерстонов и Пэнки, а затем сказал спокойно, но внося поправку:

— Я говорю о *нем*, уважаемая. О *нем*.

Система миссис Пипчин легко допустила бы применение этого метода лечения и к любому недомоганию Поля, но так как жесткие серые глаза были достаточно зорки и видели, что рецепт, который мистер Домби, быть может, и признавал эффективным по отношению к дочери, не является наилучшим лекарством для сына, то она, уяснив себе этот пункт, заявила, что перемена обстановки, новое общество, другой образ жизни в заведении доктора Блимбера и науки, которыми он должен овладеть, весьма скоро приведут к отчуждению. Так как это согласовалось с надеждой и уверенностью самого мистера Домби, то у этого джентльмена составилось еще более высокое мнение об уме миссис Пипчин; а так как миссис Пипчин в то же время выразила скорбь по поводу разлуки со своим милым маленьким другом (каковая разлука не была для нее ошеломляющим ударом: она давно ее ждала и вначале предполагала, что мальчик пробудет у нее не дольше трех месяцев), у него создалось не менее высокое представление о бескорыстии миссис Пипчин. Было ясно, что он тщательно обдумал этот вопрос, ибо составил план, с которым познакомил людоедку: поместить Поля в заведение доктора пансионером на полуго-

дие и на это время оставить Флоренс в замке, чтобы брат мог навещать ее по субботам. Таким образом он отучится постепенно,— сказал мистер Домби, вспомнив, быть может, что Поля отлучили от груди сразу.

В конце свидания мистер Домби выразил надежду, что миссис Пипчин сохранит за собою пост главной наставницы и руководительницы его сына во время его обучения в Брайтоне; затем, поцеловав Поля, пожал руку Флоренс, узрел мистера Байтерстона в его парадном воротничке и довел до слез мисс Пэнки, погладив ее по голове (каковое место было у нее чрезвычайно чувствительно вследствие привычки миссис Пипчин стучать по нему, как по бочонку, костяшками пальцев), после чего отправился в гостиницу обедать, приняв решение, что теперь, когда Поль так вырос и окреп, он должен безотлагательно приступить к усиленному прохождению курса обучения, дабы подготовиться к тому блестящему положению, какое предстоит ему занять, и что доктор Блимбер должен немедленно взять его в свои руки.

Всякий раз, когда доктор Блимбер забирал в руки какого-нибудь юного джентльмена, тот мог не сомневаться, что попадет в надежные тиски. Сам доктор занимался обучением не более десяти юных джентльменов, хотя у него всегда был наготове запас учености на сотню, и делом и наслаждением его жизни было кормить сей ученостью до отвала злосчастную десятку.

В сущности, заведение доктора Блимбера было большой теплицей, где постоянно работал форсирующий аппарат. Все мальчики расцветали преждевременно. Умственный зеленый горошек созревал к рождеству, а интеллектуальная спаржа — круглый год. Под надзором доктора Блимбера математический крыжовник (и очень кислый) обычно появлялся в самую неожиданную пору года, и притом на молодых побегах. Все виды греческих и латинских овощей приносились самыми сухими ветками и в самый лютый мороз. Природа не имела ровно никакого значения. Для каких бы плодов ни был предназначен юный джентльмен, доктор Блимбер так или иначе заставлял его приносить плоды установленного образца.

Все это было очень приятно и искусно, но система насильственного выращивания имела и свою оборотную

сторону. Не было надлежащего вкуса у скороспелых продуктов, и они плохо сохранялись. Мало того, один юный джентльмен с распухшим носом и чрезвычайно большой головой (старший из десятка, который «прошел через все») в один прекрасный день вдруг перестал цвести и остался в заведении просто в виде стебля. Говорили, что доктор хватил через край с молодым Тутсом и что тот утратил мозги, когда у него начали пробиваться усы.

Как бы там ни было, молодой Тутс жил у доктора Блимбера; он обладал самым грубым голосом и самым жалким умом, украшал свою рубашку булавками и носил кольцо в жилетном кармане, дабы украдкой надевать на мизинец, когда ученики выходили на прогулку; постоянно влюблялся с первого взгляда в нянек, которые понятия не имели о его существовании, и в час отхода ко сну взирал на освещенный газом мир сквозь железную решетку в левом угловом, выходившем на улицу окне третьего этажа, наподобие весьма великовозрастного ангелочка, слишком долго просидевшего там, наверху.

Доктор был представительный джентльмен в черном одеянии, с тесемками у колен, и в чулках, доходивших до тесемок. У него была лысая голова, весьма гладко отполированная, низкий голос и такой двойной подбородок, что чудом было, как он ухитрялся выбривать его в складках. Были у него маленькие глазки, всегда полузакрытые, и рот, всегда распускавшийся в некое подобие улыбки, словно он поставил мальчика в тупик своим вопросом и ждет, что тот сам признает себя виновным. Когда доктор закладывал правую руку за борт фрака, а левую за спину и, чуть заметно покачивая головой, обращался с банальнейшим замечанием к нервному незнакомцу, вид его заставлял вспоминать о сфинксе и решал дело.

У доктора был прекрасный дом, обращенный фасадом к морю. Дом внутри не из веселых, а как раз наоборот. Мрачного цвета занавески, слишком узкие и жалкие, уныло прятались за окнами. Столы и стулья были выстроены рядами, словно цифры в арифметической задаче: камин в парадных комнатах топили так редко, что они напоминали колодец, а посетитель изображал ведро; столовая казалась последним местом в мире, где можно было

есть или пить; ни звука не слышно было в доме — только тиканье больших часов в холле, которое доносилось даже на чердак, а иной раз глухое завывание юных джентльменов, учивших урок, напоминавшее воркованье стаи меланхолических голубей.

Да и мисс Блимбер, хотя она и была стройной и грациозной девой, отнюдь не оказывала смягчающего влияния на суровую атмосферу дома. Глупое легкомыслие было чуждо мисс Блимбер. Волосы она стригла и завивала и носила очки. Она усохла и покрылась песком, раскапывая могилы мертвых языков. Живые языки не нужны мисс Блимбер. Они должны быть мертвыми — безнадежно мертвыми,— а тогда мисс Блимбер выроет их из могилы, как вампир.

Ее матушка, миссис Блимбер, не была ученой, но притворялась таковой, и получалось ничуть не хуже. На вечеринках она говорила, что, кажется, умерла бы спокойно, если бы могла познакомиться с Цицероном. Неизменной для нее радостью было видеть юных джентльменов доктора, когда они, в отличие от всех прочих юных джентльменов, выходили на прогулку в самых высоких воротничках и самых тугих галстуках. Это было так классически,— говорила она.

Что касается мистера Фидера, бакалавра искусств, помощника доктора Блимбера, то это был человек-шарманка, с маленьким репертуаром, каковой он постоянно исполнял снова и снова, без всяких вариаций. Быть может, на заре жизни его могли бы снабдить запасными валиками, если бы судьба ему благоприятствовала; но она не благоприятствовала; он получил только один валик, и его занятием было с помощью этого однообразно вращающегося цилиндра спутывать юные идеи юных джентльменов доктора Блимбера. Юные джентльмены преждевременно узнавали тяжкие заботы. Они не ведали отдыха, преследуя жестокосердные глаголы, безжалостные имена существительные, неумолимые синтаксические периоды и призраки упражнений, которые являлись им в сновидениях. Под влиянием форсирующей системы юный джентльмен обычно утрачивал бодрость через три недели. Все тяготы мира обрушивались на его голову через три месяца. Он начинал питать горькие чувства к родителям или опеку-

нам через четыре; он становился старым мизантропом через пять; завидовал счастливому исчезновению Курция в недрах земли * через шесть; а к концу первого года приходил к заключению, которому никогда уже не изменял, что все грезы поэтов и поучения мудрецов — набор слов и грамматических правил и никакого другого смысла не имеют. Но все это время он продолжал цвести — цвести и расцветать в теплице доктора, и велики были честь и слава доктора, когда воспитанник привозил зимние свои плоды домой, к родственникам и друзьям.

У двери доктора остановился однажды Поль с бьющимся сердцем, держась правой ручонкой за руку отца. Другая его рука сжимала руку Флоренс. Как крепко было пожатие этой крохотной ручки и как вяло и холодно — другой!

Миссис Пипчин маячила за спиной своей жертвы, в траурном оперении и с крючковатым носом, подобно зловещей птице. Она запыхалась, ибо мистер Домби, исполненный великих дум, шел очень быстро, и хрипло каркала, дожидаясь, когда откроют дверь.

— Поль,— с торжеством сказал мистер Домби,— вот путь к тому, чтобы действительно стать Домби и Сыном и распоряжаться деньгами. Ты уже почти мужчина.

— Почти,— отозвался ребенок.

Даже ребяческое волнение не могло стереть ту лукавую, странную и, однако, трогательную мину, с какой он произнес это слово.

Это вызвало неопределенное выражение недовольства на лице мистера Домби, но когда дверь открылась, оно быстро исчезло.

— Доктор Блимбер, полагаю, дома? — спросил мистер Домби.

Слуга отвечал утвердительно, а когда они вошли, посмотрел на Поля, как будто тот был мышонком, а дом — мышеловкой. Молодой человек был подслеповат, с едва заметными признаками улыбки на лице. Это был попросту признак слабоумия, но миссис Пипчин вбила себе в голову, что он наглец, и тотчас в него вцепилась.

— Как вы смеете смеяться за спиной джентльмена? — сказала миссис Пипчин.— И за кого вы меня принимаете?

— Я ни над кем не смеюсь, и, право же, я вас ни за кого не принимаю, сударыня,— испуганно ответил молодой человек.

— Шайка бездельников! — сказала миссис Пипчин.— Годитесь только для того, чтобы поворачивать вертел. Ступайте и доложите своему хозяину, что пришел мистер Домби, иначе вам не поздоровится.

Подслеповатый молодой человек кротко пошел исполнять приказание и, вскоре вернувшись, пригласил их в кабинет доктора.

— Вы опять смеетесь, сэр,— сказала миссис Пипчин, замыкавшая шествие, когда дошла до нее очередь пройти мимо него в холле.

— Я *не* смеюсь,— отвечал крайне удрученный молодой человек.— Никогда еще не видывал я ничего подобного.

— В чем дело, миссис Пипчин? — спросил, оглянувшись, мистер Домби.— Тише! Прошу вас!

Миссис Пипчин из уважения к нему только зашипела на молодого человека, проходя мимо, и сказала: «О, это замечательный тип!» — оставив эту воплощенную кротость и глупость расстроенным до слез этим инцидентом. Но у миссис Пипчин был обычай набрасываться на всех кротких людей, и друзья ее говорили: что ж тут удивительного после Перуанских копей?

Доктор сидел в своем величественном кабинете, имея по глобусу у каждого колена, книги вокруг, Гомера над дверью и Минерву на каминной полке.

— Ну, как поживаете, сэр? — сказал он мистеру Домби.— И как поживает мой юный друг?

Торжественным, как орга́н, был голос доктора; а когда он умолк, большие часы в холле (во всяком случае, так показалось Полю) подхватили его слова и стали твердить: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?» — снова, и снова, и снова.

Так как юный друг был слишком мал, чтобы можно было разглядеть его из-за книг на столе с того места, где сидел доктор, то доктор делал тщетные попытки увидеть его из-за ножек стола; мистер Домби, заметив это, вывел доктора из затруднения — взял на руки Поля и посадил его на другой стол, против доктора, посреди комнаты.

— Так! — сказал доктор, откидываясь на спинку кресла и закладывая руку за борт фрака.— Теперь я вижу моего юного друга. Как поживаете, мой юный друг?

Часы в холле не пожелали признать это изменение в обороте речи и по-прежнему повторяли: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр,— отозвался Поль, отвечая и доктору и часам.

— Так! — сказал доктор Блимбер.— Сделаем из него мужчину?

— Ты слышишь, Поль? — добавил мистер Домби, так как Поль молчал.

— Сделаем из него мужчину? — повторил доктор.

— Я больше хотел бы остаться ребенком,— ответил Поль.

— Вот как! — сказал доктор.— Почему?

Мальчик сидел на столе, глядя на него странным взглядом, выражавшим подавленное волнение, и похлопывая одной рукой по колену, как будто именно здесь накипали у него слезы, а он их удерживал. Но другая его рука в то же время протянулась в сторону, дальше, еще дальше, пока не обвилась вокруг шеи Флоренс. «Вот почему»,— как будто говорила она, а затем напряженное выражение лица изменилось, исчезло; дрожавшая губа опустилась, и хлынули слезы.

— Миссис Пипчин,— недовольным тоном сказал отец,— право же, мне очень неприятно это видеть.

— Отойдите от него, слышите, мисс Домби,— произнесла надзирательница.

— ...Ничего,— сказал доктор, кротко кивая головой, чтобы удержать миссис Пипчин.— Ни-че-го. В скором времени мы это заменим новыми интересами и новыми впечатлениями, мистер Домби. Вы по-прежнему желаете, чтобы мой юный друг усвоил...

— Все! Прошу вас, доктор,— твердо произнес мистер Домби.

— Хорошо,— сказал доктор, который, полузакрыв глаза и улыбаясь обычной своей улыбкой, казалось, разглядывал Поля с тем любопытством, какое мог вызывать у него редкий зверек, из коего он намеревался сделать чучело.— Хорошо, превосходно. Так! Мы сообщим на-

шему маленькому другу самые разнообразные сведения и, смею думать, быстро его разовьем. Смею думать. Кажется, вы говорили, что почва совершенно девственная, мистер Домби?

— Если не считать обычной подготовки дома и у этой леди,— отвечал мистер Домби, представляя миссис Пипчин, которая тотчас напрягла всю свою мускульную систему и заранее фыркнула вызывающе на тот случай, если доктор отнесется к ней с пренебрежением,— если не считать этого, Поль до сих пор ничему не обучался.

Доктор Блимбер наклонил голову, мягко снисходя к такому ничтожному вмешательству, как вмешательство миссис Пипчин, и сказал, что рад это слышать. Значительно лучше, заметил он, потирая руки, начинать с самых основ. И снова он покосился на Поля, словно не прочь был тут же засадить его за греческую азбуку.

— Действительно, это обстоятельство, доктор Блимбер,— продолжал мистер Домби, взглянув на своего маленького сына,— и беседа, которую я уже имел удовольствие вести с вами, делают дальнейшие объяснения и, стало быть, дальнейшее посягательство на ваше драгоценное время столь бесполезными, что...

— Ну, мисс Домби! — кисло сказала Пипчин.

— Простите,— сказал доктор,— одну минуту. Разрешите представить вам миссис Блимбер и мою дочь, которые будут участвовать в домашней жизни нашего юного пилигрима, держащего путь к Парнасу. Миссис Блимбер (ибо эта леди, быть может, находившаяся на случай надобности под рукой, вошла как раз вовремя в сопровождении дочери, этого очаровательного могильщика в очках), мистер Домби. Моя дочь Корнелия — мистер Домби. Мистер Домби, дорогая моя,— продолжал доктор, обращаясь к жене,— оказывает нам такое доверие, что... Вы видите нашего юного друга?

Миссис Блимбер от избытка учтивости, относившейся к мистеру Домби, вероятно, не видела, ибо она пятилась, приближаясь к юному другу и подвергая серьезной опасности его позицию на столе. Но после этого намека она повернулась, чтобы полюбоваться классическими и интеллектуальными чертами его лица, и, снова повернувшись к

мистеру Домби, промолвила со вздохом, что завидует его милому сыну.

— Как пчеле, сэр,— сказала миссис Блимбер, возводя глаза к потолку,— готовой спуститься в сад, к прекраснейшим цветам, и впервые вкусить их сладость. Вергилий, Гораций, Овидий, Теренций, Плавт, Цицерон. Какое обилие меду! Мистеру Домби, быть может, покажется странным, что та, кто является женой... женой такого мужа...

— Довольно, довольно,— сказал доктор Блимбер.— Какой стыд!

— Мистер Домби простит пристрастие жены,— сказала миссис Блимбер с чарующей улыбкой.

Мистер Домби отвечал: «Вовсе нет», относя эти слова, нужно думать, к пристрастию, а не к прощению.

— ...И может показаться странным, что та, кто является также и матерью...— продолжала миссис Блимбер.

— И какой матерью! — заметил мистер Домби с поклоном, смутно предполагая, что говорит комплимент Корнелии.

— Но, право же,— продолжала миссис Блимбер,— если бы я могла познакомиться с Цицероном, быть его другом и беседовать с ним в его уединении близ Тускула * (очаровательный Тускул!), я умерла бы счастливой.

Ученый энтузиазм весьма заразителен, и мистер Домби наполовину поверил, что так же обстоит дело и с ним; и даже миссис Пипчин, которая, как мы видели, не отличалась покладистым нравом, испустила не то стон, не то вздох, словно хотела сказать, что никто, кроме Цицерона, не мог бы стать для нее подлинным утешением после краха Перуанских копей и что он несомненно оказался бы спасительной лампой Дэви *.

Корнелия смотрела сквозь очки на мистера Домби, как будто не прочь была блеснуть перед ним несколькими цитатами из упомянутого автора. Но замысел этот, если таковой у нее и возник, был разрушен стуком в дверь.

— Кто там? — спросил доктор.— О! Войдите, Тутс, войдите! Мистер Домби, сэр.— Тутс поклонился.— Какое

совпадение,— сказал доктор Блимбер.— Здесь перед нами начало и конец. Альфа и омега. Это наш старший ученик, мистер Домби.

Доктор мог назвать его старшим и длиннейшим, ибо все остальные едва доходили ему до плеча. Тот сильно покраснел, очутившись в незнакомом обществе, и громко захихикал.

— Добавление к нашему скромному Портику *, Тутс,— сказал доктор,— сын мистера Домби.

Молодой Тутс снова покраснел и, убедившись, судя по воцарившемуся глубокому молчанию, что от него ждут каких-то слов, сказал Полю «Как поживаете?» таким низким басом и с таким робким видом, что показалось бы не более удивительным, если бы зарычал ягненок.

— Пожалуйста, попросите мистера Фидера, Тутс,— сказал доктор,— приготовить несколько начальных учебников для сына мистера Домби и отвести ему удобное место для занятий. Дорогая моя, кажется, мистер Домби не видел дортуаров.

— Если мистер Домби пожелает подняться наверх,— сказала миссис Блимбер,— я буду гордиться возможностью показать ему владения бога сна и дремоты *.

Вслед за сим миссис Блимбер, которая была весьма учтивой леди крепкого сложения и носила чепец, смастеренный из небесно-голубой материи, проследовала наверх с мистером Домби и Корнелией; миссис Пипчин шла за ними и зорко осматривалась по сторонам, не видно ли ее врага-лакея.

Пока их не было, Поль сидел на столе, держа за руку Флоренс, робко посматривая на доктора и окидывая взором комнату, тогда как доктор, откинувшись на спинку кресла и заложив по своему обыкновению руку за борт фрака, держал перед собой в другой вытянутой руке книгу и читал. Было нечто весьма устрашающее в такой манере чтения. Это была такая решительная, бесстрастная, неумолимая, хладнокровная манера приниматься за работу! Она оставляла на виду физиономию доктора; а когда доктор благосклонно улыбался автору, хмурился или качал головой и делал гримасы, точно желая сказать: «Не говорите мне, сэр, я не так глуп»,— это наводило ужас.

Да и Тутсу совершенно незачем было стоять у двери, хвастаясь часами, механизм которых он рассматривал, и пересчитывая свои полукроны. Но это продолжалось недолго, ибо когда мистер Блимбер случайно изменил положение своих крепких толстых ног, словно собираясь встать, Тутс мгновенно исчез и больше не появлялся.

Вскоре послышалось, как мистер Домби и его спутницы, разговаривая, спускаются вниз, а затем они снова вошли в кабинет доктора.

— Надеюсь, мистер Домби,— сказал доктор, положив на стол книгу,— наши порядки заслужили ваше одобрение?

— Они превосходны, сэр,— сказал мистер Домби.

— В самом деле, очень недурны,— тихим голосом промолвила миссис Пипчин, отнюдь не расположенная к чрезмерным похвалам.

— С вашего разрешения, доктор и миссис Блимбер,— обернувшись, сказал мистер Домби,— время от времени миссис Пипчин будет навещать Поля.

— Когда будет угодно миссис Пипчин,— заметил доктор.

— Всегда рады ее видеть,— сказала миссис Блимбер.

— Кажется,— сказал мистер Домби,— я причинил достаточно хлопот и могу откланяться. Поль, дитя мое,— он подошел вплотную к столу, на котором тот сидел,— прощай.

— Прощайте, папа.

Вяло и небрежно протянутая ручка, которую мистер Домби взял в свою, странно не соответствовала напряженному выражению лица. Но мистер Домби не имел никакого отношения к этому скорбному лицу. Оно было обращено не к нему. Нет, нет! К Флоренс — все для Флоренс!

Если мистер Домби, чванившийся своим богатством, приобрел когда-либо врага, неумолимого и в ненависти своей безжалостно мстительного, то даже враг этот, быть может, принял бы боль, пронзившую надменное сердце мистера Домби, как возмездие за свою обиду.

Он наклонился к сыну и поцеловал его. Если глаза его были при этом затуманены чем-то, что на секунду засло-

нило маленькое личико, умственный его взор, быть может, стал зорче на это короткое мгновение.

— Скоро я тебя увижу, Поль. Ты свободен по субботам и воскресеньям.

— Да, папа,— отвечал Поль, глядя на сестру.— По субботам и воскресеньям.

— И ты постараешься многому научиться здесь и стать умным мужчиной,— сказал мистер Домби.— Не так ли?

— Постараюсь,— устало отвечал ребенок.

— И теперь ты скоро будешь взрослым,— сказал мистер Домби.

— О, очень скоро! — отозвался ребенок.

И снова старческое, старческое выражение промелькнуло на его лице, словно странный луч. Он упал на миссис Пипчин и угас в ее черном платье. Эта превосходная людоедка шагнула вперед, чтобы попрощаться и увести Флоренс, что она давно уже порывалась сделать. Это движение заставило встрепенуться мистера Домби, чей взгляд был устремлен на Поля. Погладив его по голове и еще раз пожав его маленькую ручку, он с обычной своей ледяной учтивостью попрощался с доктором Блимбером, миссис Блимбер и мисс Блимбер и вышел из кабинета.

Несмотря на просьбу не беспокоиться, доктор Блимбер, миссис Блимбер и мисс Блимбер устремились вперед, чтобы проводить его до холла, вследствие чего миссис Пипчин оказалась зажатою между мисс Блимбер и доктором и была вытеснена из кабинета, прежде чем успела схватить Флоренс. Этой счастливой случайности Поль был впоследствии обязан сладким воспоминанием о том, как Флоренс бегом вернулась к нему, чтобы обвить руками его шею, и ее лицо было последним, мелькнувшим в дверях,— лицо, обращенное к нему с ободряющей улыбкой, казавшейся еще светлее благодаря слезам, сквозь которые она сияла.

Вот почему его грудь вздымалась, когда улыбка исчезла, и тут же глобусы, книги, слепой Гомер и Минерва поплыли по комнате. Но вдруг они остановились; и тогда он услышал громогласные часы в холле, серьезно вопрошавшие: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»

Скрестив руки, он сидел на своем пьедестале и молча прислушивался. Но он мог бы ответить. «Устал, устал! Очень одинок, очень грустно!» И вот с мучительной пустотой в детском сердце, когда вокруг было так холодно, пустынно и чуждо, сидел Поль, словно его, беззащитного, бросили в жизнь и не было никого, кто мог бы прийти и украсить ее.

ГЛАВА XII

Воспитание Поля

Спустя несколько минут, которые маленькому Полю Домби, сидевшему на столе, показались бесконечными, доктор Блимбер вернулся. Походка доктора была величественна и рассчитана на то, чтобы внушать юношеским умам возвышенные чувства. Это было нечто вроде маршировки; но когда доктор вытягивал правую ногу, он с достоинством поворачивался вокруг своей оси, делая полуоборот налево; а вытягивая левую ногу, он таким же манером поворачивался направо. Вот почему казалось, что он на каждом шагу озирается и как бы говорит: «Не будет ли кто-нибудь столь любезен указать какой-нибудь предмет в любом направлении, о котором я не осведомлен? Вряд ли это возможно».

Миссис Блимбер и мисс Блимбер вернулись вместе с доктором; и доктор, сняв нового ученика со стола, передал его мисс Блимбер.

— Корнелия,— сказал доктор,— первое время Домби будет на твоем попечении. Развивай его, Корнелия, развивай.

Мисс Блимбер приняла своего юного питомца из рук доктора; и Поль, чувствуя, что очки созерцают его, опустил глаза.

— Сколько вам лет, Домби? — спросила мисс Блимбер.

— Шесть,— ответил Поль, взглянув украдкой на молодую леди и удивившись, почему волосы у нее не такие длинные, как у Флоренс, и почему она похожа на мальчика.

— Что вы знаете из латинской грамматики, Домби? — спросила мисс Блимбер.

— Ничего,— ответил Поль. Сообразив, что такой ответ наносит удар чувствительности мисс Блимбер, он посмотрел снизу вверх на три лица, смотревшие на него сверху вниз, и сказал: — Я был нездоров. Я был слабым ребенком. Я не мог учить латинскую грамматику, потому что каждый день проводил на воздухе со старым Глабом. Мне бы хотелось, чтобы вы позвали старого Глаба навестить меня, будьте так добры.

— Какое возмутительно-вульгарное имя! — сказала миссис Блимбер.— В высшей степени неклассическое! Кто это чудовище, дитя?

— Какое чудовище? — осведомился Поль.

— Глаб! — сказала миссис Блимбер с великим омерзением.

— Он такое же чудовище, как и вы,— объявил Поль.

— Что такое?! — страшным голосом возопил доктор.— Ай-ай-ай! Это что такое?

Поль ужасно испугался но тем не менее встал на защиту отсутствующего Глаба, хотя при этом весь дрожал.

— Он очень славный старик, сударыня,— сказал он.— Он возил мою колясочку. Он знает все об океане, о рыбах, которые в нем водятся, и об огромных чудищах, которые выползают на скалы и греются на солнце и снова ныряют в воду, если их испугать, и так пыхтят и плещутся, что их слышно за много миль. Есть там животные,— продолжал Поль, увлекаясь своим рассказом,— не знаю сколько ярдов в длину и я забыл, как они называются, но Флоренс знает, которые притворяются, как будто им грозит беда, а когда человек из жалости приближается к ним, они разевают огромную пасть и нападают на него. Но все, что нужно делать,— продолжал Поль, храбро сообщая эти сведения самому доктору,— это сворачивать на бегу то в ту, то в другую сторону, и тогда непременно от них убежишь, потому что они такие длинные и поворачиваются медленно. И хотя старый Глаб не знает, почему море напоминает мне о моей маме, которая умерла, и о чем это оно всегда говорит — всегда говорит! — но все-таки он знает о нем очень много. И я бы хотел,— закончил ребенок, который вдруг приуныл и

забыл о своем оживлении, растерянно глядя на три незнакомых лица,— чтобы вы позволили старому Глабу приходить сюда ко мне, потому что я его очень хорошо знаю, и он меня знает.

— Так! — сказал доктор, покачивая головой.— Это плохо, но учение свое дело сделает.

Миссис Блимбер с некоторым содроганием высказала мнение, что он — непонятный ребенок, и, насколько это было возможно при несходстве лиц обеих леди, посмотрела на него почти так, как, бывало, смотрела миссис Пипчин.

— Пройдись с ним по всему дому, Корнелия,— сказал доктор,— и познакомь его с новым окружением. Ступайте с этой молодой леди, Домби.

Домби повиновался, протянув руку загадочной Корнелии и посматривая на нее искоса с робким любопытством, когда они вместе вышли. Ибо очки с поблескивающими стеклами делали ее такой таинственной, что он не знал, куда она смотрит, и, в сущности, был не совсем уверен в том, что за очками у нее есть глаза.

Корнелия повела его прежде всего в классную комнату, вход в которую был прямо из холла и которая сообщалась с ним посредством обитой байкой двойной двери, заглушавшей голоса молодых джентльменов. Здесь было восемь молодых джентльменов в различных стадиях умственной прострации, очень усердно работающих и очень серьезных. Тутс как старший сидел за отдельным пюпитром в углу, и великолепным мужчиною, безмерно взрослым, показался он юному Полю за этим пюпитром.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, сидевший за другим маленьким пюпитром, затянул своего Вергилия и медленно наигрывал эту мелодию четырем молодым джентльменам. Из остальных четырех двое, судорожно сжав голову, занимались решением математических задач; один, у которого от долгого плача лицо сделалось похоже на грязное окно, силился одолеть до обеда безнадежное количество строк, а еще один сидел за своим уроком в отчаянии и каменном оцепенении, в каковом состоянии пребывал, по-видимому, с самого завтрака.

Появление нового мальчика не вызвало той сенсации, какой можно было ждать. Мистер Фидер, бакалавр искус-

ств (у которого была привычка брить для прохлады голову, так что в настоящее время на ней красовалась только короткая щетина), протянул ему костлявую руку и сказал, что рад его видеть,— эти слова Поль был бы очень рад сказать *ему,* если бы при этом мог остаться хоть чуточку искренним. Затем Поль по предписанию Корнелии пожал руку четырем молодым джентльменам у пюпитра мистера Фидера; затем двум молодым джентльменам, корпевшим над задачей, которые были очень возбуждены; затем молодому джентльмену, корпевшему над срочной работой, который был весь в чернилах, и, наконец, молодому джентльмену, пребывавшему в оцепенении, который был вял и холоден как лед.

Так как Поль был уже представлен Тутсу, то это воспитанник, по своему обыкновению, только хихикнул, засопел и продолжал заниматься своим делом. Оно было не из трудных, ибо, вследствие того, что он «через столько прошел» (понимая это не только буквально) и вдобавок, как было упомянуто выше, перестал цвести на самой заре жизни, Тутс пользовался теперь разрешением следовать особой учебной программе, главную часть которой составляло писание самому себе от имени выдающихся особ длинных писем, адресованных «П. Тутсу, эсквайру, Брайтон, Суссекс», и заботливое хранение их в пюпитре.

По окончании церемонии Корнелия повела Поля в верхний этаж дома. Это было довольно медленное путешествие, ввиду того, что Полю приходилось ставить обе ноги на каждую ступеньку, прежде чем подняться на следующую. Но в конце концов они достигли цели своего путешествия; и там, в комнате, выходившей окнами на бурное море, Корнелия показала ему хорошенькую кроватку с белыми занавесками, стоявшую перед окном; на табличке уже было написано красивым круглым почерком — нижняя половина очень жирно, верхняя — очень тонко: *Домби,* тогда как две другие кроватки в той же комнате возвещали таким же способом о том, что принадлежат *Бригсу* и *Тозеру.*

Как только они снова спустились в холл, Поль увидел, что подслеповатый молодой человек, который нанес смертельную обиду миссис Пипчин, вдруг схватил длинную барабанную палочку и набросился на висевший здесь гонг,

как будто сошел с ума или жаждал мщения. Однако вместо того, чтобы быть уволенным или посаженным немедленно под стражу, молодой человек, произведя устрашающий шум, не подвергся никакому наказанию. Тогда Корнелия Блимбер сказала Домби, что обед будет подан через четверть часа, и предложила ему отправиться в классную комнату, к своим «друзьям».

Итак, Домби, почтительно пройдя мимо больших часов, которые по-прежнему горели желанием узнать, как он поживает, чуть-чуть приоткрыл дверь классной, проскользнул в нее, словно заблудившееся дитя, и не без труда закрыл ее за собой. Все его друзья слонялись по комнате, за исключением окаменевшего друга, который оставался недвижимым. Мистер Фидер потягивался в своей серой мантии, словно, не заботясь об убытке, решил вырвать рукава.

— Хей-хо-хо-хо-хаа! — воскликнул мистер Фидер, встряхиваясь, как ломовая лошадь.— Ах, боже мой, боже мой! А-а-а!

Поль даже испугался зевка мистера Фидера: зевок был чудовищный, и совершен он был с устрашающей серьезностью. Все мальчики (за исключением Тутса) казались измученными и готовились к обеду — одни перевязывали наново галстуки, чрезвычайно тугие, а другие мыли руки или приглаживали волосы в прихожей с таким видом, будто не ждали от трапезы никакого удовольствия.

Молодой Тутс был уже готов, и так как ему нечего было делать и он располагал временем, которое мог уделить Полю, то он сказал с неуклюжим добродушием:

— Садитесь, Домби.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Поль.

Он попытался вскарабкаться на очень высокий подоконник, но соскальзывал с него вниз, и это, по-видимому, подготовило ум Тутса к открытию.

— Вы очень маленький мальчуган,— сказал мистер Тутс.

— Да, сэр, я маленький,— ответил Поль.— Благодарю вас, сэр.

Ибо Тутс поднял и посадил его и вдобавок сделал это ласково.

— Кто ваш портной? — осведомился Тутс, поглядев на него несколько секунд.

— До сих пор мои платья шила женщина,— сказал Поль.— Портниха моей сестры.

— Мой портной — Берджес и К°,— сказал Тутс.— Модный. Но очень дорогой.

У Поля хватило ума покачать головой, как будто он хотел сказать, что заметить *это* нетрудно; да он и в самом деле так думал.

— Ваш отец здорово богат, не правда ли? — осведомился мистер Тутс.

— Да, сэр,— сказал Поль.— Он — Домби и Сын.

— И кто? — спросил Тутс.

— И Сын, сэр,— ответил Поль.

Мистер Тутс шепотом сделал две-три попытки запечатлеть в памяти название фирмы, но, не совсем преуспев в этом, сказал, что попросит Поля повторить фамилию еще раз завтра утром, ибо это не лишено значения. И в самом деле, он собирался ни больше ни меньше, как написать немедленно самому себе частное и конфиденциальное письмо от Домби и Сына.

К тому времени Поля окружили остальные ученики (по-прежнему — за исключением окаменевшего мальчика). Они были вежливы, но бледны и разговаривали тихо; и были так подавлены, что по сравнению с расположением духа этой компании юный Байтерстон был настоящим Миллером, или «Полным собранием шуток» *. А между тем и над ним, над Байтерстоном, также тяготело сознание обиды.

— Вы спите со мною в одной комнате? — спросил степенный молодой джентльмен в воротничке, подпиравшем мочки его ушей.

— Мистер Бригс? — осведомился Поль.

— Тозер,— сказал молодой джентльмен.

Поль ответил утвердительно, а Тозер, указывая на окаменевшего ученика, сказал, что это Бригс. Поль, сам не зная почему, был почти уверен в том, что это либо Бригс, либо Тозер.

— У вас здоровье хорошее? — осведомился Тозер.

Поль сказал, что он этого не думает. Тозер заметил, что и он этого не думает, судя по виду Поля, и что это печально, ибо здоровье ему понадобится. Затем он спросил Поля, предстоит ли ему начать ученье с Корнелией,

а когда Поль ответил утвердительно, все молодые джентльмены (за исключением Бригса) испустили тихий стон.

Он потонул в звоне гонга, который снова загремел с великим неистовством, после чего все двинулись в столовую, опять-таки за исключением Бригса, окаменевшего мальчика, который остался на прежнем месте и в прежнем положении; Поль заметил, что ему отнесли ломоть хлеба, элегантно сервированный на тарелке с салфеткой и серебряной вилкой, лежащей поперек ломтя.

Доктор Блимбер уже сидел на своем месте в столовой, во главе стола, с мисс Блимбер по одну сторону и миссис Блимбер — по другую. Мистер Фидер в черном фраке сидел в другом конце стола. Стул Поля помещался рядом с мисс Блимбер; но когда он уселся, обнаружилось, что брови его приходятся почти на уровне скатерти, после чего было принесено из кабинета доктора несколько книг, на которые водрузили Поля и на которых он с тех пор всегда сидел; впоследствии он сам приносил и уносил их, уподобляясь маленькому слону с башенкой.

Доктор прочитал молитву, и обед начался. Был подан вкусный суп, а затем жаркое, вареная говядина, овощи, пирог и сыр. Перед каждым молодым джентльменом лежали массивная серебряная ложка и салфетка; и вся сервировка была внушительна и изящна. Особенно обращал на себя внимание дворецкий в синем фраке с блестящими пуговицами, который сообщал прямо-таки винный аромат легкому пиву — столь величественно он его разливал.

Никто не разговаривал, если к нему не обращались, за исключением доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, которые иногда перебрасывались словами. Всякий раз, когда внимание молодых джентльменов не было поглощено ножом, вилкой или ложкой, взоры их, повинуясь непреодолимой силе притяжения, искали взоров доктора Блимбера, миссис Блимбер или мисс Блимбер и скромно приковывались к ним. Тутс, по-видимому, был единственным исключением из этого правила. Он сидел возле мистера Фидера с той же стороны стола, что и Поль, и часто откидывался назад или наклонялся вперед, чтобы взглянуть на Поля, заслоненного сидевшими между ними мальчиками.

Один только раз зашел за обедом разговор, имевший отношение к молодым джентльменам. Это случилось за сыром, когда доктор, выпив рюмку портвейна и дважды или трижды кашлянув, начал:

— Замечательно, мистер Фидер, что римляне...

При упоминании об этом ужасном народе, неумолимом их враге, все молодые джентльмены обратили взоры на доктора с видом, глубоко заинтересованным. Один из них, который как раз в это время пил и который поймал на себе сквозь стакан пристальный взгляд доктора, откинулся назад с такой поспешностью, что в течение нескольких секунд корчился в судорогах и в конце концов все же прервал речь доктора Блимбера.

— Замечательно, мистер Фидер,— повторил доктор,— что римляне во время этих великолепных и обильных пиршеств в императорскую эпоху, о которых мы читаем, когда роскошь достигла пределов, неведомых дотоле и с той поры неизвестных, и когда целые области опустошались с целью добыть огромные средства для одного императорского пира...

Тут нарушитель порядка, который раздувался, напрягался и тщетно ждал точки, неудержимо взорвался.

— Джонсон,— сказал мистер Фидер тихим, укоризненным голосом,— выпейте воды.

Доктор с весьма суровым видом выдерживал паузу, пока не принесли воды, а затем продолжал:

— И когда, мистер Фидер...

Но мистер Фидер, который видел, что Джонсон готов снова взорваться, и знал, что доктор в присутствии молодых джентльменов никогда не поставит точки, прежде чем не произнесет все, что собирается сказать, не мог отвести глаз от Джонсона и, таким образом, попался на том, что не смотрит на доктора, который вследствие этого прервал свою речь.

— Прошу прощения, сэр,— краснея, сказал мистер Фидер.— Прошу прощения, доктор Блимбер.

— И когда, сэр,— продолжал доктор, повысив голос,— как мы читаем и чему не имеем оснований не верить,— хотя бы невеждам нашего века это и казалось невероятным,— когда брат Вителия устроил для него пир, на котором было подано две тысячи рыбных блюд... *

— Выпейте воды, Джонсон... Блюд, сэр,— повторил мистер Фидер.

— Всевозможных видов птицы пять тысяч блюд...

— Или попробуйте взять корочку хлеба,— сказал мистер Фидер.

— И одно блюдо,— продолжал доктор Блимбер, снова повышая голос и окидывая взором стол,— названное вследствие грандиозных его размеров щитом Минервы и приготовленное, не говоря уже о прочих весьма дорогих ингредиентах, из мозгов фазанов...

— Кхы, кхы, кхы! (Джонсон).

— Вальдшнепов...

— Кхы, кхы, кхы!

— Из плавательных пузырей рыбы, называемой скар...

— У вас какая-нибудь жила в голове лопнет,— сказал мистер Фидер.— Лучше не удерживайтесь.

— И из икры миноги, доставленной из Эгейского моря,— продолжал доктор самым грозным тоном,— когда мы читаем о таких дорогих пиршествах, как это, и памятуем, что есть еще Тит...

— Каково будет вашей матери, если вы умрете от удара! — сказал мистер Фидер.

— Домициан...

— Послушайте, вы уже посинели,— сказал мистер Фидер.

— Нерон, Тиберий, Калигула, Гелиогабал и многие другие,— продолжал доктор,— то это, мистер Фидер, если вы соблаговолите удостоить меня своим вниманием, примечательно, в высшей степени примечательно, сэр...

Но Джонсон, не будучи в силах больше удерживаться, разразился в этот момент таким устрашающим кашлем (хотя оба ближайших его соседа начали колотить его по спине, а мистер Фидер собственноручно поднес к его губам стакан воды, а дворецкий заставил его несколько раз промаршировать между столом и буфетом, наподобие часового), что прошло добрых пять минут, прежде чем он более или менее оправился, и тогда в комнате водворилось глубокое молчание.

— Джентльмены,— сказал доктор Блимбер,— встаньте на молитву. Корнелия, снимите Домби.— После этого над

скатертью виден был только его скальп.— Завтра перед завтраком Джонсон прочтет мне наизусть из Нового завета первую главу послания апостола Павла к ефесянам, по-гречески. Мистер Фидер, мы возобновим занятия через полчаса.

Молодые джентльмены поклонились и вышли. Мистер Фидер поступил точно так же. В течение получаса молодые джентльмены, разбившись на пары, прохаживались рука об руку по маленькой площадке позади дома или пытались раздуть искру оживления в груди Бригса. Но ничего вульгарного вроде игр не было и в помине. Ровно в назначенный час прозвучал гонг, и занятия возобновились при благодетельном участии как доктора Блимбера, так и мистера Фидера.

Так как олимпийские игры, заключавшиеся в хождении взад и вперед, были в тот день сокращены из-за Джонсона, все отправились на прогулку перед чаем. Даже Бригс (хотя он еще не приступил к работе) участвовал в этом увеселении, наслаждаясь коим он раза два-три мрачно посматривал вниз с вершины утеса. Доктор Блимбер шествовал за ними, и Поль удостоился чести быть взятым на буксир самим доктором: почетная позиция, заняв которую он казался очень маленьким и хилым.

Чай был сервирован не менее изысканно, чем обед, а после чая молодые джентльмены, встав и поклонившись, как и раньше, удалились, чтобы вернуться к незаконченным урокам сегодняшнего дня или приняться за надвигающиеся уроки завтрашнего. Тем временем мистер Фидер ушел в свою комнату, а Поль уселся в уголок, размышляя, думает ли о нем Флоренс и что они там поделывают у миссис Пипчин.

Спустя некоторое время мистер Тутс, которого задержало важное письмо от герцога Веллингтона, разыскал Поля; он долго смотрел на него, как и раньше, а затем осведомился, любит ли он жилеты.

Поль ответил:

— Да, сэр.

— Я тоже,— сказал Тутс.

Больше ни слова не произнес в тот вечер Тутс; он только стоял, глядя на Поля, словно Поль ему нравился, и так как это было каким-то общением, а беседовать Поль



не был расположен, то это отвечало его желаньям больше, чем разговор.

Часов в восемь снова зазвучал гонг, призывая на молитву в столовую, где дворецкий распоряжался за столом, стоявшим у стены, на котором находились хлеб, сыр и пиво для тех молодых джентльменов, кто не прочь был подкрепиться. Церемония закончилась словами доктора: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», и тогда Поль в первый раз увидел глаза Корнелии Блимбер и увидел, что они устремлены на него. Когда доктор произнес эти слова: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», ученики снова поклонились и пошли спать.

В комнате наверху Бригс сказал, что голова у него трещит и что он хотел бы умереть, не будь у него матери и черного дрозда, оставшегося дома. Тозер говорил мало, но вздыхал много и посоветовал Полю быть начеку, потому что завтра очередь дойдет до него. Произнося эти пророческие слова, он мрачно разделся и лег в постель. Бригс уже лежал в своей постели, а Поль — в своей, когда появился подслеповатый молодой человек, чтобы унести свечу, и пожелал им спокойной ночи и приятных сновидений. Но благие его пожелания, в той мере, в какой предназначались Бригсу и Тозеру, остались втуне, ибо Поль, который долго не мог заснуть, а потом часто просыпался, слышал, что Бригса урок преследует как кошмар, а Тозер, который терзался во сне по той же причине,— но в меньшей степени,— говорит на неведомых языках, не то по-гречески, не то по-латыни,— что для Поля было одно и то же,— и в тишине ночи это казалось необычайно нечестивым и преступным.

Поль погрузился в сладкий сон, и ему снилось, что он гуляет рука об руку с Флоренс по прекрасным садам и подходят к большому подсолнечнику, который вдруг превращается в гонг и начинает гудеть. Раскрыв глаза, он увидел, что уже настало утро — хмурое, ветреное, с моросящим дождем, а внизу в вестибюле настоящий гонг грозно возвещает, что пора приниматься за уроки.

Поэтому он тотчас вскочил и увидел, что Бригс с заплывшими глазами,— ибо лицо у него распухло от горя и ночных кошмаров,— натягивает башмаки, а Тозер стоит,

дрожа и растирая себе плечи, в очень дурном расположении духа. Бедному Полю с непривычки трудно было одеваться самому, и он попросил их, не будут ли они так добры и не завяжут ли ему шнурки, но так как Бригс сказал только: «Вот надоел!», а Тозер: «Еще бы!» — он, кое-как одевшись, спустился этажом ниже, где увидел миловидную молодую женщину в кожаных перчатках, которая чистила печку. Молодая женщина как будто удивилась, заметив его, и спросила, где его мать. Когда Поль сказал, что она умерла, она сняла перчатки и сделала то, о чем он просил; а потом растерла ему руки, чтобы согреть их, поцеловала его и сказала, что всякий раз, когда ему понадобится что-нибудь в этом роде — имея в виду его туалет,— пусть он позовет Милию, на что Поль, горячо поблагодарив ее, отвечал, что непременно так и сделает. Затем он продолжал свое путешествие вниз, направляясь в ту комнату, где молодые джентльмены возобновили свои занятия, как вдруг, проходя мимо полуотворенной двери, услышал голос: «Это Домби?» На что Поль ответил: «Да, сударыня», так как узнал голос мисс Блимбер. Мисс Блимбер сказала: «Войдите, Домби». И Поль вошел.

Вид у мисс Блимбер был точь-в-точь такой же, как и вчера, с тою лишь разницей, что на ней была шаль. Ее короткие светлые волосы все так же курчавились, и она была уже в очках, что заставило Поля задуматься, не ложится ли она в них спать. В ее собственном распоряжении имелась холодная маленькая гостиная, где были книги и не было камина. Но мисс Блимбер никогда не бывало холодно и никогда не хотелось спать.

— Сейчас, Домби,— сказала мисс Блимбер,— я выйду прогуляться — мне нужен моцион.

Поль подивился, что бы это могло быть и почему в такую ненастную погоду она не пошлет за этим лакея. Но он не сделал по этому поводу никаких замечаний, ибо внимание его было сосредоточено на небольшой стопке новых книг, которые мисс Блимбер, по-видимому, только что просматривала.

— Это ваши книги, Домби,— сказала мисс Блимбер.

— Все, сударыня? — спросил Поль.

— Да,— ответила мисс Блимбер,— и в ближайшее время мистер Фидер подыщет для вас еще несколько, если

вы окажетесь таким прилежным, каким я надеюсь вас видеть, Домби.

— Благодарю вас, сударыня,— сказал Поль.

— Я пойду прогуляться, мне нужен моцион,— продолжала мисс Блимбер,— а пока меня не будет, иными словами — до завтрака, Домби, я хочу, чтобы вы прочли все, что я отметила в этих книгах, и сказали мне, вполне ли вам понятно то, что вы должны выучить. Не мешкайте, Домби, времени у вас мало, возьмите их с собою вниз и приступайте немедленно.

— Хорошо, сударыня,— ответил Поль.

Их было столько, что, хотя Поль положил одну руку под нижнюю книгу, а другую руку и подбородок — на верхнюю и крепко сжал их в своих объятиях, средняя книга выскользнула, прежде чем он дошел до двери, а затем и все остальные посыпались на пол. Мисс Блимбер сказала: «О Домби, Домби, право же, вы очень небрежны!» — и снова сложила их в стопку; на этот раз, искусно удерживая книги в равновесии, Поль выбрался из комнаты и спустился с нескольких ступенек, где снова выронил две книги. Но остальные он держал так крепко, что потерял только одну во втором этаже и одну в коридоре, и, доставив остальные в классную комнату, снова отправился наверх подбирать упавшие. Собрав, наконец, всю библиотеку и вскарабкавшись на свое место, он взялся за работу, поощренный замечанием Тозера, высказавшегося в том смысле, что «теперь за него принялись»; больше никто не прерывал его до завтрака. За этой трапезой, к которой он приступил без всякого аппетита, все было так же торжественно и приятно, как и за прежними; по окончании ее он последовал за мисс Блимбер наверх.

— Ну-с, Домби,— сказала мисс Блимбер,— что вы извлекли из этих книг?

Среди них было несколько английских и очень много латинских; в них он нашел названия предметов, склонение артиклей и имен существительных, соответствующие упражнения и начальные правила правописания, обзор древней истории, два-три замечания о новой, несколько примеров из таблицы умножения, две-три меры веса и кое-какие общие сведения. Когда бедный Поль прочитал по складам номер второй, он обнаружил, что понятия не имеет о

номере первом, обрывки коего позднее вторглись в номер третий, который проскользнул в номер четвертый, приросший к номеру второму. Таким образом, составляют ли двадцать Ромулов одного Рема, является ли hic, haec, hoc[1] монетным весом, всегда ли согласуется глагол с древним бриттом и составляют ли трижды четыре taurus[2] быка — все эти вопросы остались для него открытыми.

— О Домби, Домби! — сказала мисс Блимбер.— Это очень скверно.

— Простите,— сказал Поль,— мне кажется, если бы я мог иногда разговаривать со старым Глабом, дело пошло бы у меня лучше.

— Вздор, Домби! — сказала мисс Блимбер.— Об этом я и слышать не хочу. Здесь не место для Глабов. Мне кажется, Домби, вы должны брать эти книги вниз по одной, сначала усвоить намеченную на сегодня часть предмета А, а затем уже приступить к предмету Б. Теперь, Домби, возьмите, пожалуйста, верхнюю книгу и приходите, когда усвоите урок.

Мисс Блимбер высказала свое мнение по вопросу о невежестве Поля с мрачным удовлетворением, словно ждала такого результата и радовалась, что они будут находиться в постоянном общении. Поль удалился с верхней книгой, как было ему приказано, и, сойдя вниз, принялся за ее изучение; то он помнил каждое слово, то забывал урок от начала до конца, а вдобавок и все остальное, пока, наконец, не отважился подняться снова наверх, чтобы ответить урок, который чуть было не вылетел у него из головы, прежде чем он успел начать, ибо мисс Блимбер захлопнула книгу и сказала: «Продолжайте, Домби!», каковой поступок столь явно указывал на заключенные в мисс Блимбер познания, что Поль посмотрел на молодую леди с ужасом, точно на некоего ученого Гая Фокса * или хитроумное пугало, набитое схоластической соломой.

Тем не менее он справился со своей задачей очень хорошо; мисс Блимбер, похвалив его, как подающего надежды на быстрое развитие, тотчас снабдила его предметом Б, после которого он еще до обеда перешел к В и

---

[1] Этот, эта, это *(лат.)*.
[2] Бык *(лат.)*.

даже к Г. Трудное было дело — возобновить занятия вскоре после обеда, и он чувствовал дурноту, головокружение, сонливость и утомление. Но — если только есть в этом какое-то утешение — все прочие молодые джентльмены испытывали такие же ощущения и также принуждены были возобновить занятия. Странно, что большие часы в холле, вместо того чтобы беспрерывно твердить один и тот же вопрос, никогда не провозглашали: «Джентльмены, сейчас мы возобновим наши занятия», хотя эта фраза повторялась по соседству с ними достаточно часто.

После чая при свечах приступили к письменным упражнениям и приготовлению уроков на завтрашний день. И в назначенный час улеглись в постель, где их ждал отдых и сладкое забвение, если бы только возобновление занятий не вторгалось и в сновидения.

О, субботы! Счастливые субботы, когда Флоренс приходила в полдень и ни за что не хотела остаться дома, какая бы ни была погода, хотя миссис Пипчин злилась, ворчала и жестоко ее терзала. Эти субботы были днем субботним по крайней мере для двух маленьких христиан среди иудеев и делали святое субботнее дело, крепко связывая любовью брата и сестру.

Даже воскресные вечера — мучительные воскресные вечера, чья тень омрачала первые проблески рассвета в воскресные утра,— не могли испортить этих чудесных суббот. Был ли то морской берег, где они сидели и гуляли вместе, или скучная задняя комната у миссис Пипчин, где Флоренс тихо напевала ему, в то время как его сонная голова лежала у нее на плече,— Полю было все равно. С ним была Флоренс. Больше он ни о чем не думал. Поэтому в воскресные вечера, когда мрачная дверь доктора распахивалась, чтобы снова поглотить его на неделю, наступала минута прощания с Флоренс — больше ни с кем.

Миссис Уикем была отослана домой, в Лондон, и приехала мисс Нипер, ставшая бойкой молодой девушкой. Много поединков с миссис Пипчин выдержала мисс Нипер; и если хоть раз в своей жизни миссис Пипчин нашла достойного противника, то именно в те дни. Мисс Нипер вступила в бой в первое же утро, когда проснулась в доме миссис Пипчин. Она не просила и не давала пощады. Она

сказала — быть войне, и началась война; и с тех пор миссис Пипчин жила под угрозой внезапных нападений, вылазок, наскоков и беспорядочных атак, которые обрушивались на нее из коридора даже в безмятежный час отбивных котлет и отравляли ей гренки.

Как-то в воскресный вечер, когда мисс Нипер с Флоренс, проводив Поля к доктору, вернулись домой, Флоренс достала из-за корсажа клочок бумаги, на котором было записано карандашом несколько слов.

— Смотрите, Сьюзен,— сказала она,— вот названия тех книжек, которые Поль приносит сюда, чтобы писать эти длинные упражнения, хотя он такой усталый. Я их списала вчера вечером, пока он работал.

— Пожалуйста, не показывайте мне, мисс Флой,— возразила Нипер.— Мне так же хочется смотреть на них, как на миссис Пипчин.

— Я хочу, чтобы завтра утром вы их купили для меня, Сьюзен, будьте так добры. Денег у меня хватит,— сказала Флоренс.

— Господи помилуй, мисс Флой,— отозвалась мисс Нипер,— как это вы можете говорить такие вещи, когда книг у вас и без того уже горы, а учителя и учительницы вечно обучают вас всякой всячине, хотя я уверена, что ваш папаша, мисс Домби, никогда и ничему не стал бы вас обучать, никогда и не подумал бы об этом, если бы вы его сами не просили,— а тут уже, конечно, он не мог отказать; но согласиться, когда просят, и самому предложить, когда не просят, мисс, две вещи разные; быть может, я не стану возражать, чтобы молодой человек за мной поухаживал, и когда он задаст известный вопрос, быть может, скажу: «Да», но это еще не значит сказать: «Не будете ли вы так добры полюбить меня?»

— Но вы можете купить для меня эти книги, Сьюзен, и вы их купите, когда узнаете, что они мне нужны.

— Ну, а зачем они вам нужны, мисс? — спросила Нипер и добавила, понизив голос: — Если затем, чтобы швырнуть их в голову миссис Пипчин, я готова купить целый воз.

— Мне кажется, Сьюзен, я могла бы помочь Полю, если бы у меня были эти книги,— сказала Флоренс,— и чуть-чуть облегчить для него следующую неделю. Во вся-

ком случае, я хочу попробовать. Купите же их для меня, дорогая, я никогда не забуду, как будет мило с вашей стороны, если вы исполните мою просьбу.

Нужно было иметь сердце более черствое, чем у Сьюзен Нипер, чтобы отвернуться от маленького кошелька, который протянула ей с этими словами Флоренс, и от нежного умоляющего взгляда, сопровождавшего эту просьбу. Сьюзен молча сунула кошелек в карман и тотчас побежала исполнять поручение.

Найти книги было нелегко; в лавках ей говорили, что они только что распроданы, или что их и не было, или что была большая партия в прошлом месяце, или что большая партия ожидается на будущей неделе. Но Сьюзен трудно было смутить в подобном случае; и убедив беловолосого юношу в черном коленкоровом переднике, работавшего в библиотеке, где ее знали, принять участие в поисках, она до того измучила его хождением туда и сюда, что он приложил все усилия, хотя бы только для того, чтобы от нее избавиться, и в конце концов помог ей вернуться домой с триумфом.

Над этими сокровищами Флоренс сидела по вечерам, окончив свои собственные ежедневные уроки, следуя за Полем по тернистым тропам науки; от природы сообразительная и способная, руководимая чудеснейшим из учителей — любовью, она вскоре догнала Поля, поравнялась с ним и перегнала его.

Ни слова не было об этом сказано миссис Пипчин; но по ночам, когда все спали, когда мисс Нипер в папильотках, задремав в неудобной позе, спала, сидя подле Флоренс, и когда зола в камине становилась холодной и серой, и когда свечи догорали и оплывали, Флоренс так упорно старалась заменить некоего маленького Домби, что ее решимость и настойчивость, пожалуй, могли бы завоевать для нее право самой носить эту фамилию.

И велика была ее награда, когда как-то, в субботний вечер, Поль собрался, по обыкновению, «возобновить свои занятия», а она подсела к нему и показала, каким образом все, что было таким трудным, делается легким, и все, что было таким туманным, делается ясным и простым. Ничего особенного не случилось — только появилось изумление на увядшем лице Поля... вспыхнул румянец... улыбка...



а потом крепкие объятия,— но богу известно, как затрепетало ее сердце от этой щедрой награды за труды.

— О Флой! — воскликнул брат.— Как я люблю тебя! Как я люблю тебя, Флой!

— А я тебя, милый!

— О, в этом я уверен, Флой!

Больше он ничего не сказал, но весь вечер сидел возле нее очень молчаливый, а вечером раза три-четыре крикнул из своей комнаты, что любит ее.

После этого Флоренс всегда готовилась к тому, чтобы в субботний вечер сесть вместе с Полем и терпеливо объяснить ему все, что, по их мнению, предстояло ему пройти на будущей неделе. Приятное сознание, что его уроки уже выучила до него Флоренс, само по себе должно было подбодрить Поля, вечно «возобновлявшего» свои занятия; когда же к этому сознанию присоединялось и реальное облегчение его обязанностей — результат ее помощи,— то это, быть может, помешало ему свалиться под тяжестью ноши, которую взгромоздила на его плечи прекрасная Корнелия Блимбер.

Нельзя сказать, что мисс Блимбер хотела быть слишком с ним суровой или что доктор Блимбер хотел взваливать слишком тяжелый груз на молодых джентльменов. Корнелия просто держалась той веры, в какой была воспитана, а доктор благодаря некоторой путанице в мыслях смотрел на молодых джентльменов так, будто все они были докторами и родились взрослыми. Было бы странно, если бы доктор Блимбер, успокоенный похвалами ближайшей родни молодых джентльменов и понукаемый их слепым тщеславием и безрассудной торопливостью, обнаружил свою ошибку или переменил галс.

Так было и в случае с Полем. Когда доктор Блимбер сказал, что он делает большие успехи и от природы смышлен, мистер Домби более чем когда-либо склонился к тому, чтобы его насильственно развивали и забивали ему голову знаниями. В случае с Бригсом, когда доктор Блимбер сообщил, что тот все еще не делает больших успехов и от природы несмышлен, Бригс-старший был неумолим, преследуя ту же цель. Короче говоря, как бы высока и искусственна ни была температура, которую доктор поддерживал в своей теплице, владельцы растений всегда

готовы были оказать помощь, взявшись за мехи и раздувая огонь.

Ту живость, какою вначале отличался Поль, он, конечно, скоро утратил. Но он сохранил все, что было в его характере странного, старческого и сосредоточенного, и в условиях, столь благоприятствующих развитию этих наклонностей, стал еще более странным, старообразным и сосредоточенным.

Единственная разница заключалась в том, что он не проявлял своего характера. С каждым днем он становился задумчивее и сдержаннее и ни к кому из домочадцев доктора не относился с тем любопытством, какое вызвала у него миссис Пипчин. Он любил одиночество, и в короткие промежутки, свободные от занятий, ему больше всего нравилось бродить одному по дому или сидеть на лестнице, прислушиваясь к большим часам в холле. Он хорошо знал все обои в доме, видел в их узорах то, чего никто не видел, отыскивал миниатюрных тигров и львов, взбегающих по стенам спальни, и лица с раскосыми глазами, подмигивающие в квадратах и ромбах вощанки на полу.

Одинокий ребенок жил, окруженный этими причудливыми образами, созданными его напряженным воображением, и никто его не понимал. Миссис Блимбер считала его «странным», а иногда слуги говорили между собой, что маленький Домби «хандрит»; но тем дело и кончалось.

Пожалуй, у молодого Тутса возникали какие-то мысли об этом предмете, но к выражению их он был совершенно неспособен. К мыслям, как к привидениям (согласно привычному представлению о привидениях), нужно обратиться с вопросом, прежде чем они обретут ясные очертания, а Тутс давно уже перестал задавать какие бы то ни было вопросы своему мозгу. Быть может, какой-то туман исходил из этой свинцовой коробки — его черепа,— туман, который превратился бы в джина, если бы имел возможность принять форму, но этой возможности у него не было, и он подражал дыму в известной арабской сказке лишь в том, что вырывался густым облаком и нависал и парил над головой. Однако он никогда не заслонял маленькой фигурки на пустынном берегу, и Тутс всегда пристально на нее смотрел.

— Как поживаете? — спрашивал он Поля раз пятьдесят в день.

— Очень хорошо, сэр, благодарю вас,— отвечал Поль.

— Вашу руку,— таково было следующее замечание Тутса.

И Поль, конечно, подавал ее немедленно. Мистер Тутс обычно спрашивал снова после того, как долго в него вглядывался и тяжело дышал: «Как поживаете?», на что Поль неизменно отвечал: «Очень хорошо, сэр, благодарю вас».

Как-то вечером мистер Тутс сидел за своим пюпитром, обремененный корреспонденцией, как вдруг его осенила, казалось, великая идея. Он положил перо и отправился разыскивать Поля, которого нашел, наконец, после долгих поисков, у окна его маленькой спальни.

— Послушайте! — крикнул Тутс, едва войдя в комнату, ибо опасался, как бы эта идея от него не ускользнула.— О чем вы думаете?

— О, я думаю об очень многом,— отвечал Поль.

— Да неужели? — сказал Тутс, считая, по-видимому, что этот факт сам по себе удивителен.

— Если бы вам пришлось умирать...— начал Поль, глядя ему в лицо.

Мистер Тутс вздрогнул и, казалось, очень смутился.

— ...не кажется ли вам, что хорошо было бы умереть в лунную ночь, когда небо совсем ясное, а ветер дует, как дул прошлой ночью?

Мистер Тутс, с сомнением посматривая на Поля и качая головой, сказал, что в этом не уверен.

— Или не дует,— сказал Поль,— а гудит, как гудит море в раковинах. Была чудесная ночь. Я долго слушал море, потом встал и посмотрел в окно. На море была лодка в ярком лунном свете, лодка с парусом.

Ребенок смотрел на него так пристально и говорил так серьезно, что мистер Тутс, почитая себя обязанным сказать что-нибудь по поводу этой лодки, сказал: «Контрабандисты». Но, добросовестно припомнив, что есть две стороны в любом вопросе, он добавил: «Или береговая охрана».

— Лодка с парусом! — повторил Поль.— В ярком лунном свете. Парус, похожий на руку, весь серебряный. Она уплывала вдаль, и как вы думаете, что она делала, когда неслась по волнам?

— Ныряла,— сказал мистер Тутс.

— Она как будто манила,— сказал мальчик,— манила меня за собой!.. Вот она! Вот она!

Тутс был не на шутку напуган этим неожиданным возгласом после того, что было сказано раньше, и крикнул:

— Кто?

— Моя сестра Флоренс! — воскликнул Поль.— Смотрит сюда и машет рукой. Она меня видит, она меня видит! Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи, спокойной ночи!

Быстрый переход к неудержимой радости, когда он стоял у окна, посылая воздушные поцелуи и хлопая в ладоши, и происшедшая с ним перемена, когда Флоренс скрылась из виду, а его маленькое личико потускнело и на нем застыло терпеливо-скорбное выражение, были так заметны, что не могли ускользнуть даже от внимания Тутса. Так как свидание их было в этот момент прервано визитом миссис Пипчин, которая имела обыкновение раза два в неделю под вечер угнетать Поля своими черными юбками, Тутс не имел возможности оставаться дольше, но визит миссис Пипчин произвел на него такое глубокое впечатление, что Тутс, обменявшись обычными приветствиями с ней, возвращался дважды, чтобы спросить у нее, как она поживает. Раздражительная старая леди увидела в этом умышленное и хитроумное оскорбление, порожденное дьявольскою изобретательностью подслеповатого молодого человека внизу, и в тот же вечер подала на него официальную жалобу доктору Блимберу, который заявил молодому человеку, что, если это еще повторится, он принужден будет с ним расстаться.

Вечера стали теперь длиннее, и каждый вечер Поль подкрадывался к своему окну, высматривая Флоренс. Она всегда прохаживалась несколько раз взад и вперед, в определенный час, пока не увидит его; и эта минута, когда они друг друга замечали, была проблеском солнечного света в будничной жизни Поля. Часто в сумерках еще один человек прогуливался перед домом доктора. Теперь он редко присоединялся к детям по субботам. Он не мог вынести свидания. Он предпочитал приходить неузнанным, смотреть вверх на окна, за которыми его сын готовился стать мужчиной, и ждать, наблюдать, строить планы, надеяться.

О, если бы мог он увидеть — или видел так, как видели другие,— слабого, худенького мальчика наверху, следившего в сумерках серьезным взглядом за волнами и облаками и прижимавшегося к окну своей клетки, где он был одинок, а мимо пролетали птицы, и он хотел последовать их примеру и улететь!

ГЛАВА XIII

Сведения о торговом флоте и дела в конторе

Контора мистера Домби помещалась на небольшой площади, где издавна находился на углу ларек, торговавший отборными фруктами, и где разносчики обоего пола предлагали покупателям в любое время от десяти до пяти часов домашние туфли, записные книжки, губки, ошейники и уиндзорское мыло, а иногда пойнтера или картину масляными красками.

Пойнтер всегда появлялся в расчете на фондовую биржу, где процветает любовь к спорту (коренящаяся в тех пари, которые держат новички). Другие предметы торговли предназначались для всех вообще; но торговцы никогда не предлагали их мистеру Домби. Когда он появлялся, владельцы этих товаров почтительно отступали. Главный поставщик туфель и ошейников, который считал себя общественным деятелем и чей портрет был привинчен к двери некоего художника в Чипсайде, подносил указательный палец к полям шляпы, когда мистер Домби проходил мимо. Носильщик с бляхой на груди, если только не отсутствовал по делу, всегда бежал угодливо вперед, чтобы распахнуть пошире дверь в контору перед мистером Домби, и, стоя с непокрытой головой, придерживал ее, пока тот входил.

Клерки в конторе нисколько не отставали в проявлении почтительности; когда мистер Домби проходил через первую комнату, водворялась торжественная тишина. Остряк, сидевший в бухгалтерии, мгновенно становился таким же безгласным, как ряд кожаных пожарных ведер, висевших за его спиною. Тот безжизненный и тусклый дневной свет, какой просачивался сквозь матовые стекла окон и окна в потолке, оставляя черный осадок на стеклах, давал

возможность разглядеть книги и бумаги, а также склоненные над ними фигуры, окутанные дымкой трудолюбия и столь по виду своему оторванные от внешнего мира, словно они собрались на дне океана, а зарешеченная душная каморка кассира в конце темного коридора, где всегда горела лампа под абажуром, напоминала пещеру какого-нибудь морского чудовища, взирающего красным глазом на эти тайны океанских глубин.

Когда Перч, рассыльный, который подобно часам занимал место на маленькой подставке, видел входящего мистера Домби, или, вернее, когда чувствовал, что тот входит,— ибо он всегда чутьем угадывал его приближение,— он бросался в кабинет мистера Домби, раздувал огонь, доставал уголь из недр угольного ящика, вешал на каминную решетку газету, чтобы ее просушить, придвигал кресло, ставил на место экран и круто поворачивался в момент появления мистера Домби, чтобы принять от него пальто и шляпу и повесить их. Затем Перч брал газету, раза два повертывал ее перед огнем и почтительно клал у локтя мистера Домби. И столь мало возражений было у Перча против почтительности, доведенной до предела, что если бы мог он простереться у ног мистера Домби или наделить его теми титулами, какими когда-то величали калифа Гаруна аль Рашида, он был бы только рад.

Так как подобное воздаяние почестей явилось бы новшеством и экспериментом, Перч поневоле довольствовался тем, что раболепные заверения: «Вы свет очей моих, Вы дыхание души моей, Вы повелитель верного Перча!» — выражал как умел, на свой лад. Лишенный великого счастья приветствовать его в этой форме, он потихоньку закрывал дверь, удалялся на цыпочках и оставлял своего великого владыку, на которого через сводчатое окно в свинцовой раме взирали уродливые дымовые трубы, задние стены домов, а в особенности дерзкое окно парикмахерского салона во втором этаже, где восковая кукла, по утрам, лысая, как мусульманин, а после одиннадцати часов украшенная роскошными волосами и бакенбардами по последней христианской моде, вечно показывала ему затылок.

От мистера Домби к миру простых смертных,— поскольку к этому миру был доступ через приемную, на

которую присутствие мистера Домби в его собственном кабинете действовало, как сырой или холодный воздух,— вели две ступени. Мистер Каркер в *своем* кабинете был первой ступенью, мистер Морфин в *своем* кабинете — второй. Каждый из этих джентльменов занимал комнатку величиной с ванную, которая выходила в коридор, куда открывалась дверь мистера Домби. Мистер Каркер, как великий визирь, обитал в комнате, ближайшей к султану. Мистер Морфин, как чиновник более низкого ранга, обитал в комнате, ближайшей к клеркам.

Последний из упомянутых джентльменов был бодрый пожилой холостяк с карими глазами, одевавшийся солидно: что касается верхней его половины,— в черное, а что касается ног,— в цвет перца с солью. Темные волосы на голове были только кое-где тронуты крапинками седины, словно ее расплескало шествующее Время, хотя бакенбарды у него были уже совсем седые. Он питал глубокое уважение к мистеру Домби и воздавал ему должные почести; но так как сам он был веселого нрава и всегда чувствовал себя неловко в присутствии столь важной особы, то отнюдь не завидовал многочисленным беседам, коими наслаждался мистер Каркер, и испытывал тайное удовольствие оттого, что по характеру своих обязанностей очень редко удостаивался такого отличия. Он на свой лад был великим любителем музыки — после службы — и питал отцовскую привязанность к своей виолончели, которая аккуратно раз в неделю препровождалась из Излингтона, его местожительства, в некий клуб по соседству с банком, где вечером по средам небольшая компания исполняла самые мучительные и душераздирающие квартеты.

Мистер Каркер был джентльмен лет тридцати восьми — сорока, с прекрасным цветом лица и двумя безукоризненными рядами блестящих зубов, чья совершенная форма и белизна действовали поистине удручающе. Нельзя было не обратить на них внимания, ибо, разговаривая, он их всегда показывал и улыбался такой широкой улыбкой (хотя эта улыбка очень редко расплывалась по лицу за пределами рта), что было в ней нечто напоминающее оскал кота. Он питал склонность к тугим белым галстукам, по примеру своего патрона, и всегда был застегнут на все пуговицы и одет в плотно облегающий костюм. Его манера обращения

с мистером Домби была глубоко продумана, и он никогда от нее не отступал. Он был фамильярен с ним, резко подчеркивая в то же время расстояние, лежащее между ними. «Мистер Домби, по отношению к человеку вашего положения со стороны человека моего положения никакие знаки почтения, совместимые с нашими деловыми связями, я не считаю достаточными. Скажу вам откровенно, сэр, я окончательно от этого отказываюсь. Я чувствую, что не мог бы удовлетворить самого себя; и, видит небо, мистер Домби, вам бы следовало избавить меня от таких усилий». Если бы эти слова были напечатаны на афише и мистер Каркер носил бы их на груди поверх своего сюртука так, чтобы мистер Домби в любой момент мог их прочесть, он не в силах был бы выразить яснее то, что уже выразил своим поведением.

Таков был Каркер, заведующий конторой. Мистер Каркер-младший, приятель Уолтера, был его братом, на два-три года старше его, но бесконечно ниже по своему положению. Место младшего брата было на верхней ступеньке служебной лестницы; место старшего — на нижней. Старший брат никогда не поднимался на следующую ступень и не заносил на нее ноги. Молодые люди проходили над его головой и поднимались выше и выше; но он всегда оставался внизу. Он совершенно примирился с тем, что занимает такое скромное положение, никогда на него не жаловался и, конечно, никогда не надеялся изменить его.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил однажды мистер Каркер, заведующий, входя с пачкой бумаг в руке в кабинет мистера Домби вскоре после его прибытия.

— Здравствуйте, Каркер! — сказал мистер Домби, поднимаясь со стула и становясь спиною к камину.— Есть у вас тут что-нибудь для меня?

— Не знаю, имеет ли смысл вас беспокоить,— отозвался Каркер, перебирая бумаги.— Сегодня в три у вас заседание комитета, как вам известно.

— И второе — без четверти четыре,— добавил мистер Домби.

— Никогда-то вы ничего не забываете! — воскликнул Каркер, все еще перебирая свои бумаги.— Если мистер Поль унаследует вашу память, беспокойной особой будет он для фирмы. Достаточно одного такого, как вы.

— У вас тоже хорошая память,— сказал мистер Домби.

— О! У *меня!* — отвечал заведующий.— Это единственный капитал у такого человека, как *я.*

Мистер Домби сохранял напыщенный и самодовольный вид, когда стоял, прислонившись к камину, и осматривал своего (конечно, не ведающего об этом) служащего с головы до пят. Чопорность и изящество костюма мистера Каркера и несколько высокомерные манеры, либо свойственные ему самому, либо принятые в подражание образцу, за которым недалеко было ходить, придавали особую цену его смирению. Он производил впечатление человека, который восстал бы против силы, если бы мог, но был совершенно раздавлен величием и превосходством мистера Домби.

— Морфин здесь? — спросил мистер Домби после короткой паузы, на протяжении которой мистер Каркер шелестел бумагами и бормотал себе под нос небольшие выдержки из них.

— Морфин здесь,— отвечал он, поднимая голову и неожиданно улыбаясь своей самой широкой улыбкой.— Мурлычет, предаваясь музыкальным воспоминаниям, полагаю, о последнем своем вечернем квартете, и все это — за стеной, разделяющей нас,— и сводит меня с ума. Лучше бы он устроил костер из своей виолончели и сжег бы свои ноты.

— Мне кажется, вы никого не уважаете, Каркер,— сказал мистер Домби.

— Да? — отозвался Каркер, снова осклабясь и совсем по-кошачьи скаля зубы.— Ну, что ж! Думаю, немногих. Пожалуй,— прошептал он, словно размышляя вслух,— пожалуй только одного.

Опасная черта характера, если она была подлинной; и не менее опасная, если она была притворной. Но вряд ли так думал мистер Домби, который по-прежнему стоял спиной к камину, выпрямившись во весь рост и глядя на своего старшего клерка с величественным спокойствием, за которым как будто скрывалось сознание собственной власти, более глубокое, чем обычно.

— Кстати, о Морфине,— продолжал мистер Каркер, вынимая из папки одну бумагу,— он докладывает, что в торговом агентстве, на Барбадосе, умер младший агент, и предлагает поставить койку для заместителя на «Сыне и

наследнике» — судно отходит приблизительно через месяц. Полагаю, вам все равно, кто поедет? У нас здесь нет подходящего лица.

Мистер Домби с величайшим равнодушием покачал головой.

— Место незавидное,— заметил мистер Каркер, взяв перо, чтобы сделать отметку на оборотной стороне листа.— Надеюсь, он предоставит его какому-нибудь сироте — племяннику одного из своих музыкальных друзей. Быть может, это положит конец *его* музыкальным упражнениям, если есть у того такой талант. Кто там? Войдите.

— Простите, мистер Каркер. Я не знал, что вы здесь, сэр,— сказал Уолтер, появляясь с письмами в руке, не распечатанными и только что доставленными.— Мистер Каркер-младший, сэр...

Услышав это имя, мистер Каркер-заведующий был задет за живое или притворился, будто почувствовав стыд и унижение. Он посмотрел в упор на мистера Домби, лицо его изменилось, он потупился и помолчал секунду.

— Мне кажется, сэр,— сказал он вдруг, с раздражением поворачиваясь к Уолтеру,— вас уже просили не упоминать в разговоре о мистере Каркере-младшем.

— Простите, сэр,— отозвался Уолтер,— я хотел только сказать, что, по словам мистера Каркера-младшего, вы ушли, иначе не постучал бы я в дверь, когда вы заняты с мистером Домби. Вот письма, мистер Домби.

— Прекрасно, сэр,— сказал мистер Каркер-заведующий, резко выхватив их у него.— Можете вернуться к исполнению своих обязанностей.

Но завладев ими столь бесцеремонно, мистер Каркер уронил одно на пол и не заметил этого; да и мистер Домби не обратил внимания на письмо, лежащее у его ног. Уолтер секунду колебался, надеясь, что кто-нибудь из них увидит это; но, убедившись в обратном, он остановился, вернулся, поднял письмо и положил на стол перед мистером Домби. Письма были получены по почте; и то, о котором шла речь, оказалось очередным отчетом миссис Пипчин; адрес на нем, по обыкновению, был написан Флоренс, ибо миссис Пипчин не владела пером в совершенстве. Когда внимание мистера Домби было привлечено Уолтером к этому письму, он вздрогнул и грозно посмотрел на

юношу, как будто считал, что тот умышленно его выбрал!

— Можете удалиться, сэр! — надменно сказал мистер Домби.

Он скомкал письмо и, проводив взглядом уходившего Уолтера, сунул его в карман, не сломав печати.

— Вы говорили, что вам нужно послать кого-нибудь в Вест-Индию? — быстро сказал мистер Домби.

— Да,— ответил Каркер.

— Пошлите молодого Гэя.

— Прекрасно, очень хорошо! Ничего не может быть легче,— сказал мистер Каркер, не проявляя ни малейшего изумления и беря перо, чтобы сделать на бумаге новую пометку так же хладнокровно, как сделал это раньше.— «Послать молодого Гэя».

— Верните его,— сказал мистер Домби.

Мистер Каркер поспешил это сделать, а Уолтер поспешил явиться.

— Гэй,— сказал мистер Домби, слегка повернувшись, чтобы взглянуть на него через плечо,— есть...

— Вакансия,— вставил мистер Каркер, растягивая рот до последних пределов.

— В Вест-Индии. На Барбадосе. Я намерен послать вас,— сказал мистер Домби, не унижаясь до прикрашивания голой истины,— на должность младшего агента в торговом отделении на Барбадосе. Передайте от меня вашему дяде, что я выбрал вас для поездки в Вест-Индию.

Дыхание у Уолтера прервалось от изумления, и он едва мог повторить:

— ...в Вест-Индию.

— Кто-нибудь должен ехать,— сказал мистер Домби,— а вы молоды, здоровы и дела у вашего дяди идут плохо. Передайте дяде, что вы назначены. Вы поедете еще не так скоро. Быть может, пройдет месяц или два.

— Я там останусь, сэр? — осведомился Уолтер.

— Останетесь ли вы там, сэр? — повторил мистер Домби, слегка поворачиваясь к нему.— Что вы хотите сказать? Что он хочет сказать, Каркер?

— Буду ли я жить там, сэр? — запинаясь, выговорил Уолтер.

— Конечно,— ответил мистер Домби.

Уолтер поклонился.

— Это все,— сказал мистер Домби, возвращаясь к своим письмам. Конечно, вы объясните ему заблаговременно, Каркер, все, что касается необходимой экипировки и прочего. Он может идти, Каркер.

— Вы можете идти, Гэй,— повторил Каркер, обнажая десны.

— Если,— сказал мистер Домби, прерывая чтенье и как бы прислушиваясь, но не сводя глаз с письма,— если ему больше нечего сказать.

— Нет, сэр,— отвечал Уолтер, взволнованный, растерянный и почти ошеломленный, в то время как всевозможные образы представлялись его воображению, среди которых капитан Катль в своей глянцевитой шляпе, онемевший от изумления в доме миссис Мак-Стинджер, и дядя, оплакивающий свою потерю в маленькой задней гостиной, занимали видное место. Я, право, не знаю... я... я очень благодарен.

— Он может идти, Каркер,— сказал мистер Домби.

И так как мистер Каркер снова повторил слова патрона и собрал свои бумаги, словно также готовился уйти, Уолтер понял, что дальнейшее промедление было бы непростительной дерзостью,— к тому же ему нечего было сказать,— и вышел в полном смятении.

Проходя по коридору, не вполне отдавая себе отчет в том, что произошло и чувствуя свою беспомощность, как бывает во сне, он услышал, что дверь мистера Домби снова захлопнулась, это вышел мистер Каркер, и тотчас же сей джентльмен окликнул его:

— Пожалуйста, приведите вашего друга мистера Каркера-младшего в мой кабинет, сэр.

Уолтер прошел в первую комнату и передал это распоряжение мистеру Каркеру-младшему, который вышел из-за перегородки, где сидел один в углу, и отправился вместе с ним в кабинет мистера Каркера-заведующего.

Этот джентльмен стоял спиной к камину, заложив руки за фалды фрака и глядя поверх своего белого галстука так же неумолимо, как мог бы смотреть сам мистер Домби. Он принял их, нимало не изменив позы и не смягчив сурового и мрачного выражения лица; только дал знак, чтобы Уолтер закрыл дверь.

— Джон Каркер,— сказал заведующий, когда дверь была закрыта, и внезапно повернулся к брату, оскалив два ряда зубов, словно хотел его укусить,— что это у вас за союз с этим молодым человеком, из-за чего меня преследуют и донимают упоминанием вашего имени? Или мало вам, Джон Каркер, что я — ближайший ваш родственник и не могу избавиться от этого...

— Скажите — позора, Джеймс,— тихо подсказал тот, видя, что он не находит слова.— Вы это имеете в виду, и вы правы: скажите — позора.

— От этого позора,— согласился брат, делая резкое ударение на этом слове.— Но неужели нужно вечно об этом кричать и трубить и заявлять даже в присутствии главы фирмы? Да еще в доверительные минуты? Или вы думаете, Джон Каркер, что ваше имя располагает к доверию и конфиденциальности?

— Нет,— отвечал тот.— Нет, Джеймс. Видит бог, этого я не думаю.

— Что же вы в таком случае думаете? — сказал брат.— И почему вы мне надоедаете? Или вы еще мало мне навредили?

— Я никогда не причинял вам вреда умышленно, Джеймс.

— Вы мой брат,— сказал заведующий.— Это уже само по себе вредит мне.

— Хотелось бы мне, чтобы я мог это изменить, Джеймс.

— Хотелось бы и мне, чтобы вы могли изменить и изменили.

Во время этого разговора Уолтер с тоской и изумлением переводил взгляд с одного брата на другого. Тот, кто был старшим по годам и младшим в фирме, стоял с опущенными глазами и склоненной головой, смиренно выслушивая упреки другого. Хотя их делали особенно горькими тон и взгляд, коими они сопровождались, и присутствие Уолтера, которого они так удивили и возмутили, он не стал возражать против них и только приподнял правую руку с умоляющим видом, словно хотел сказать: «Пощадите меня!» Так мог бы он стоять перед палачом, будь эти упреки ударами, а он героем, скованным и ослабевшим от страданий.

Уолтер, великодушный и порывистый в своих чувствах, почитая себя невольной причиной этого издевательства, вмешался со всей присущей ему страстностью.

— Мистер Каркер,— сказал он, обращаясь к заведующему,— право же, право, виноват я один. С какой-то неосмотрительностью, за которую не знаю, как и бранить себя, я, вероятно, упоминал о мистере Каркере-младшем гораздо чаще, чем было нужно; и иногда его имя срывалось с моих губ, хотя это противоречило выраженному вами желанию. Но это исключительно моя вина, сэр! Об этом мы никогда ни слова не говорили — да и вообще очень мало говорили о чем бы то ни было. И с моей стороны, сэр,— помолчав, добавил Уолтер,— это была не простая неосмотрительность; я почувствовал интерес к мистеру Каркеру, как только поступил сюда, и иной раз не мог удержаться, чтобы не заговорить о нем, раз я столько о нем думаю.

Эти слова вырвались у Уолтера из глубины сердца и дышали благородством. Ибо он смотрел на склоненную голову, опущенные глаза, поднятую руку и думал: «Я так чувствую; почему же мне не признаться в этом ради одинокого, сломленного человека?»

— По правде говоря, вы меня избегали, мистер Каркер,— сказал Уолтер, у которого слезы выступили на глазах, так искренне было его сострадание.— Я это знаю, к сожалению моему и огорчению. С тех пор как я в первый раз пришел сюда, я, право же, старался быть вашим другом — поскольку можно притязать на это в мои годы; но никакого толку из этого не вышло.

— И заметьте, Гэй,— быстро перебил его заведующий,— что еще меньше выйдет толку, если вы по-прежнему будете напоминать людям о мистере Джоне Каркере. Этим не помочь мистеру Джону Каркеру. Спросите его, так ли это, по его мнению?

— Да, этим услужить мне нельзя,— сказал брат.— Это приводит только к таким разговорам, как сейчас, без которых я, разумеется, прекрасно мог бы обойтись. Лишь тот может быть мне другом,— тут он заговорил раздельно, словно хотел, чтобы Уолтер запомнил его слова,— кто забудет меня и предоставит мне идти моей дорогой, не обращая на меня внимания и не задавая вопросов.

— Так как память ваша, Гэй, не удерживает того, что вам говорят другие,— сказал мистер Каркер-заведующий, распаляясь от самодовольства,— я счел нужным, чтобы вы это услышали от лица, наиболее в данном вопросе авторитетного.— Он кивнул в сторону брата.— Надеюсь, теперь вы вряд ли это забудете. Это все, Гэй. Можете идти.

Уолтер вышел и хотел закрыть за собой дверь, но, услышав снова голоса братьев, а также свое собственное имя, остановился в нерешительности, держась за ручку полуотворенной двери и не зная, вернуться ему или уйти. Таким образом, он невольно подслушал то, что последовало.

— Если можете, думайте обо мне более снисходительно, Джеймс,— сказал Джон Каркер,— когда я говорю вам, что у меня — да и может ли быть иначе, если здесь запечатлена моя история! — он ударил себя в грудь,— у меня сердце дрогнуло при виде этого мальчика, Уолтера Гэя. Когда он впервые пришел сюда, я увидел в нем почти мое второе я.

— Ваше второе я! — презрительно повторил заведующий.

— Не того, каков я сейчас, но того, каким я был, когда так же в первый раз пришел сюда; такой же жизнерадостный, юный, неопытный, одержимый теми же дерзкими и смелыми фантазиями и наделенный теми же наклонностями, которые равно способны привести к добру или злу.

— Надеюсь, что вы ошибаетесь,— сказал брат, вкладывая в эти слова какой-то скрытый и саркастический смысл.

— Вы бьете меня больно,— отвечал тот таким голосом (или, может быть, это почудилось Уолтеру?), словно какое-то жестокое оружие действительно вонзалось в его грудь, пока он говорил.— Все это мне мерещилось, когда он пришел сюда мальчиком. Я в это верил. Для меня это была правда. Я видел, как он беззаботно шел у края невидимой пропасти, где столько других шли так же весело и откуда...

— Старое оправдание,— перебил брат, мешая угли.— Столько других! Продолжайте. Скажите — столько других сорвалось.

— Откуда сорвался *один* путник,— возразил тот,— который пустился в путь таким же мальчиком, как и этот,

и все чаще и чаще оступался, и понемногу соскальзывал ниже и ниже, и продолжал идти спотыкаясь, пока не полетел стремглав и не очутился внизу, разбитым человеком. Подумайте, как я страдал, когда следил за этим мальчиком.

— За все можете благодарить только самого себя,— отозвался брат.

— Только самого себя,— согласился он со вздохом.— Я ни с кем не пытаюсь разделить вину или позор.

— Позор вы разделили,— сквозь зубы прошипел Джеймс Каркер. И сколько бы ни было у него зубов и как бы тесно ни были они посажены, сквозь них он прекрасно мог шипеть.

— Ах, Джеймс! — сказал брат, впервые заговорив укоризненным тоном и, судя по его голосу, закрыв лицо руками.— С тех пор я служил для вас прекрасным фоном. Вы спокойно попирали меня ногами, взбираясь вверх. Не отталкивайте же меня каблуком!

Ответом ему было молчание. Спустя некоторое время послышалось, как мистер Каркер-заведующий стал перебирать бумаги, словно намеревался прекратить эту беседу. В то же время его брат отошел к двери.

— Это все,— сказал он.— Я следил за ним с таким трепетом и таким страхом, что для меня это было еще одною карою; наконец, он миновал то место, где я первый раз оступился; будь я его отцом, я бы не мог возблагодарить бога более пламенно. Я не смел предостеречь его и дать ему совет, но будь у меня повод, я рассказал бы ему о своем горьком опыте. Я не хотел, чтобы видели, как я разговариваю с ним, я боялся, как бы не подумали, что я порчу его, толкаю его ко злу и совращаю его, а может быть, боялся, что и в самом деле это сделаю. А что, если во мне кроется источник такой заразы, кто знает? Припомните мою историю, сопоставьте ее с теми чувствами, какие молодой Уолтер Гэй вызвал у меня, и, если возможно, судите обо мне более снисходительно, Джеймс.

С этими словами он вышел за дверь — туда, где стоял Уолтер. Он слегка побледнел, увидев его, и стал еще бледнее, когда Уолтер схватил его за руку и сказал шепотом:

— Мистер Каркер, пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас! Позвольте мне сказать, как я вам сочувствую! Как сожалею о том, что явился злосчастной причиной

всего происшедшего! Я готов смотреть на вас, как на моего покровителя и защитника. Как я глубоко, глубоко признателен вам и жалею вас! — говорил Уолтер, пожимая ему обе руки и, в волнении, вряд ли сознавая, что делает.

Так как комната мистера Морфина находилась поблизости и никого там не было, а дверь была раскрыта настежь, они как будто по обоюдному соглашению направились туда; ибо редко случалось, чтобы кто-нибудь не проходил по коридору. Когда они вошли и Уолтер увидел на лице мистера Каркера следы душевного смятения, ему почудилось, что он еще никогда не видел этого лица — так сильно оно изменилось.

— Уолтер,— сказал тот, кладя руку ему на плечо,— большое расстояние отделяет меня от вас, и пусть всегда будет так. Вы знаете, кто я таков?

«Кто я таков?», казалось, готово было сорваться с губ Уолтера, пристально смотревшего на него.

— Это началось,— сказал Каркер,— раньше, чем мне исполнилось двадцать один год — к этому уже давно клонилось дело, но началось примерно в то время. Я их ограбил в первый раз, когда стал совершеннолетним. Я грабил их и после. Прежде чем мне исполнилось двадцать два года, все открылось. И тогда, Уолтер, я умер для всех.

Снова эти его слова готовы были сорваться и с губ Уолтера, но он не мог их выговорить и вообще ничего не мог сказать.

— Фирма была очень добра ко мне. Небо да вознаградит старика за его снисходительность! И этого также — его сына, который в ту пору только-только вошел в дела фирмы, где я пользовался огромным доверием! Меня вызвали в ту комнату, которую занимает теперь он,— с тех пор я ни разу туда не входил,— и я вышел из нее таким, каким вы меня знаете. В течение многих лет я занимал нынешнее мое место — один, как и теперь, но тогда я служил признанным и наглядным примером для остальных. Все они были милостивы ко мне, и я остался жить. С годами мое горькое искупление приняло иную форму, ибо теперь, за исключением трех руководителей фирмы, мне кажется, нет здесь никого, кто бы знал подлинную мою историю. К тому времени, когда подрастет мальчик и ему расскажут ее, мой угол, быть может, опустеет. Хотел бы

я, чтобы так и случилось! Вот единственная перемена, происшедшая со мною с того дня, когда я в той комнате распрощался навсегда с молодостью, надеждой и обществом честных людей. Да благословит вас бог, Уолтер! Сохраните себя и всех, кто вам дорог, от бесчестья, а если не удастся, лучше убейте их!

Смутное воспоминание о том, как он дрожал с головы до ног, словно в ознобе, и залился слезами,— вот все, что мог добавить к этому Уолтер, когда старался полностью восстановить в памяти то, что произошло между ними.

Когда Уолтер снова его увидел, он сидел, склонившись над своей конторкой, по-прежнему молчаливый, апатичный, приниженный. Тогда, видя его за работой и понимая, как твердо он решил прекратить всякое общение между ними, и обдумывая снова и снова все, что видел и слышал в то утро за такой короткий промежуток времени в связи с историей обоих Каркеров, Уолтер едва мог поверить, что получил приказ ехать в Вест-Индию и скоро лишится дяди Соля и капитана Катля и редких мимолетных встреч с Флоренс Домби,— нет, он хотел сказать — с Полем,— и всего, что он любил, к чему был привязан и о чем мечтал день за днем.

Но это была правда, и слухи уже проникли в первую комнату, ибо пока он сидел, с тяжелым сердцем размышляя об этом и подпирая голову рукой, рассыльный Перч, спустившись со своей подставки из красного дерева и тронув его за локоть, извинился и осмелился шепотом его спросить, не удастся ли ему переправить домой, в Англию, банку имбирного варенья по дешевой цене для подкрепления миссис Перч, когда она будет поправляться после следующих родов?

ГЛАВА XIV

Поль становится все более чудаковатым и уезжает домой на каникулы

Когда подошли летние вакации, никаких неприличных проявлений радости молодые джентльмены с потускневшими глазами, собранные в доме доктора Блимбера, не

обнаружили. Такое сильное выражение, как «распускают», было бы совершенно неуместно в этом благопристойном заведении. Молодые джентльмены каждые полгода отбывали домой; но их никогда не распускали. Они отнеслись бы с презрением к такому факту.

Тозер, которого вечно раздражал и терзал накрахмаленный белый батистовый шейный платок, каковой он носил по особому желанию миссис Тозер, своей родительницы, предназначавшей его для принятия духовного сана и придерживавшейся того мнения, что чем раньше сын пройдет эту предварительную стадию подготовки, тем лучше,— Тозер сказал даже, что, если выбирать из двух зол меньшее, он, пожалуй, предпочел бы остаться там, где был, и не ехать домой. Хотя такое заявление и может показаться несовместимым с тем отрывком из сочинения, написанного на эту тему Тозером, где он сообщал, что «мысли о доме и все воспоминания о нем пробудили в его душе приятнейшие чувства ожидания и восторг», а также уподоблял себя римскому полководцу, упоенному недавней победой над иценами * или нагруженному добычей, отнятой у карфагенян, к находящемуся на расстоянии нескольких часов пути от Капитолия, каковой в целях аллегории являлся предположительно местожительством миссис Тозер,— однако это заявление было сделано совершенно искренне. Ибо оказалось, что у Тозера есть грозный дядя, который не только добровольно экзаменует его в каникулярное время по непонятным предметам, но и цепляется за невинные события и обстоятельства и извращает их с той же гнусной целью. К примеру, если этот дядя брал его в театр или, прикрываясь маской добродушия, вел посмотреть великана, карлика, фокусника или еще что-нибудь, Тозер знал, что он заблаговременно прочел у древних авторов упоминание об этом предмете, и посему Тозер пребывал в смертельном страхе, не ведая, когда дядя разразится и на какой авторитет будет он ссылаться, уличая его в невежестве.

Что касается Бригса, то *его* отец отнюдь не прибегал к уловкам. Он ни на секунду не оставлял его в покое. Столь многочисленны и суровы были душевные испытания этого злополучного юнца в каникулярное время, что друзья семьи (проживавшей в ту пору в Лондоне, близ

Бейзуотера) редко приближались к пруду в Кенсингтон-Гарден не чувствуя туманных опасений увидеть шляпу мистера Бригса плавающею на поверхности и недописанное упражнение лежащим на берегу. Поэтому Бригс вовсе не был преисполнен радостных надежд по случаю каникул; а эти двое, помещавшиеся в одной спальне с маленьким Полем, были очень похожи на всех прочих молодых джентльменов, ибо самые легкомысленные из них ждали наступления праздничного периода с кроткою покорностью.

Совсем иначе дело обстояло с маленьким Полем. Окончание этих первых каникул должно было ознаменоваться разлукой с Флоренс, но кто станет думать об окончании каникул, которые еще не начались? Конечно, не Поль! Когда приблизилось счастливое время, львы и тигры, взбиравшиеся по стенам спальни, стали совсем ручными и игривыми. Мрачные, хитрые лица в квадратах и ромбах вощанки смягчились и посматривали на него не такими злыми глазами. Важные старые часы более мягким тоном задавали свой безучастный вопрос; а неугомонное море по-прежнему шумело всю ночь, мелодично и меланхолически,— однако мелодия звучала приятно, и нарастала, и затихала вместе с волнами, и баюкала мальчика, когда он засыпал.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, кажется, полагал, что также будет рад каникулам. Мистер Тутс собирался превратить в каникулы всю жизнь, ибо, как неизменно сообщал он каждый день Полю, это было его «последнее полугодие» у доктора Блимбера, и ему предстояло немедленно вступить во владение своим имуществом.

Было совершенно ясно для Поля и мистера Тутса, что они — близкие друзья, несмотря на разницу в возрасте и положении. Так как вакации приближались и мистер Тутс сопел громче и таращил глаза в обществе Поля чаще прежнего, Поль понимал, что тот хотел этим выразить грусть по поводу близкой разлуки, и был ему очень благодарен за покровительство и расположение.

Было ясно даже для доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, равно как и для всех молодых джентльменов, что Тутс каким-то образом сделался защитником и покровителем Домби, и факт этот был столь оче-

виден для миссис Пипчин, что славная старуха питала злобу и ревность к Тутсу и в святая святых своего собственного дома не раз поносила его как «безмозглого болвана». А невинному Тутсу не приходило в голову, что он возбудил гнев миссис Пипчин, так же как не приходила в голову какая бы то ни было иная догадка. Напротив, он скорее был склонен считать ее замечательной особой, обладающей многими ценными качествами. По этой причине он улыбался ей с такою учтивостью и столь часто спрашивал ее, как она поживает, когда она навещала маленького Поля, что в конце концов как-то вечером она сказала ему напрямик, что не привыкла к этому, что бы он там ни думал, и не может и не хочет сносить это от него или от другого молокососа; после такого неожиданного ответа на его любезности мистер Тутс был так встревожен, что спрятался в укромном местечке и оставался там, покуда она не ушла. С тех пор он ни разу не встречался лицом к лицу с доблестной миссис Пипчин под кровом доктора Блимбера.

Оставалось две-три недели до каникул, когда Корнелия Блимбер позвала однажды Поля к себе в комнату и сказала:

— Домби, я собираюсь послать домой ваш анализ.

— Благодарю вас, сударыня,— ответил Поль.

— Вы понимаете, о чем я говорю, Домби? — осведомилась мисс Блимбер, строго глядя на него сквозь очки.

— Нет, сударыня.

— Домби, Домби,— сказала мисс Блимбер,— я начинаю опасаться, что вы нехороший мальчик. Если вы не понимаете смысла какого-нибудь выражения, почему вы не спрашиваете объяснений?

— Миссис Пипчин говорила мне, чтобы я не задавал вопросов,— отвечал Поль.

— Я должна просить вас, Домби, чтобы при мне вы ни в коем случае не упоминали о миссис Пипчин,— возразила мисс Блимбер.— Этого я не могу допустить. Курс обучения у нас весьма далек от чего-либо подобного. Повторение таких замечаний принудит меня потребовать, чтобы завтра утром, до завтрака, вы мне ответили без ошибок от verbum personale до simillima cygno *.

— Я не хотел, сударыня...— начал маленький Поль.

— Будьте добры, Домби, потрудитесь не сообщать мне, чего именно вы не хотели,— сказала мисс Блимбер, которая оставалась устрашающе вежливой даже тогда, когда делала выговор.— Таких рассуждений я никак не могу допустить.

Поль счел самым благоразумным ничего не говорить; поэтому он только посмотрел на очки мисс Блимбер. Мисс Блимбер, серьезно покачав головой, обратилась к лежащей перед ней бумаге.

— «Анализ характера П. Домби». Если память мне не изменяет,— сказала мисс Блимбер, прерывая чтение,— анализ, противопоставленный синтезу, определяется Уокером * так: «Разложение объекта наших чувств или интеллекта на первоначальные его элементы». Противопоставленный синтезу, заметьте. *Теперь* вы знаете, что такое анализ, Домби.

Домби как будто был не совсем ослеплен светом, пролившимся на его интеллект, однако он слегка поклонился мисс Блимбер.

— «Анализ,— продолжала мисс Блимбер, устремив взгляд на бумагу,— характера П. Домби. Я нахожу, что природные способности Домби чрезвычайно хороши и что прилежание его заслуживает такой же оценки. Принимая восемь за наше мерило и высшую отметку, я нахожу, что каждое из этих качеств Домби измеряется шестью и тремя четвертями!»

Мисс Блимбер приостановилась, чтобы посмотреть, как принял эту новость Поль. Хорошенько не зная, что означают шесть и три четверти — то ли это шесть фунтов пятнадцать шиллингов, шесть пенсов три фартинга, шесть футов три дюйма, шесть часов сорок пять минут, или шесть каких-то предметов, которых он еще не проходил, с какими-то тремя неизвестными четвертями,— Поль потер руки и посмотрел прямо на мисс Блимбер. Оказалось, что этот ответ не хуже всякого другого, какой он мог дать, и Корнелия продолжала: — «Запальчивость — два. Эгоизм — два. Склонность к дурному обществу, проявившаяся в отношении человека по фамилии Глаб, первоначально — семь, но впоследствии уменьшилась. Поведение, приличествующее джентльмену,— четыре и постепенно улуч-

шается». Теперь, Домби, я хочу обратить особое ваше внимание на общие замечания в конце этого анализа.

Поль приготовился слушать с особым вниманием.

— «Что касается общих замечаний,— продолжала мисс Блимбер, читая громким голосом и через каждые два слова обращая свои очки на маленькую фигурку,— можно сказать о Домби, что способности и наклонности его хороши и что он сделал такие успехи, на какие при данных обстоятельствах можно было рассчитывать. Но достойно сожаления, что этот молодой джентльмен отличается странностями (как принято говорить — «не от мира сего») в характере и поведении и что, не проявляя таких черт, которые явно заслуживали бы порицания, он часто бывает очень непохож на других молодых джентльменов его возраста и общественного положения». Ну-с, Домби,— сказала мисс Блимбер, кладя бумагу на стол,— вы это понимаете?

— Кажется, понимаю, сударыня,— сказал Поль.

— Этот анализ, Домби,— продолжала мисс Блимбер,— будет, как вы знаете, послан домой вашему уважаемому отцу. Разумеется, ему очень неприятно будет узнать, что у вас есть странности в характере и поведении. Разумеется, это неприятно и для нас, ибо, видите ли, Домби, мы не можем вас любить так, как этого бы хотели.

Она задела больное место ребенка. По мере того как приближался его отъезд, он с каждым днем все больше заботился втайне о том, чтобы все в доме его любили. По какой-то скрытой причине, очень смутно им сознаваемой, а быть может, и вовсе не сознаваемой, он чувствовал, как постепенно усиливается его нежность чуть ли не ко всем и ко всему в этом доме. Ему нестерпимо было думать, что они останутся совершенно равнодушны к нему, когда он уедет. Ему хотелось, чтобы они вспоминали о нем хорошо, и он поставил себе задачей умилостивить даже большую охрипшую лохматую собаку, сидевшую на цепи позади дома, которая сначала приводила его в ужас, чтобы и она почувствовала его отсутствие, когда его здесь не будет.

Мало помышляя о том, что он лишний раз обнаруживает несходство со своими сверстниками, бедный крошечный Поль изложил все это как можно лучше мисс Блимбер и умолял ее, несмотря на официальный анализ,

постараться полюбить его. К миссис Блимбер, которая присоединилась к ним, он обратился с такою же просьбой; а когда эта леди даже в его присутствии не удержалась и упомянула, как бывало нередко, о его странностях, Поль ответил ей, что, конечно, она права и, по-видимому, это вошло у него в плоть и кровь, но он не совсем понимает, в чем здесь дело, и надеется, что она посмотрит на это сквозь пальцы, потому что он любит их всех.

— Конечно, не так люблю,— сказал Поль застенчиво и в то же время с полной откровенностью, являвшейся одной из своеобразнейших и обаятельнейших черт этого ребенка,— не так люблю, как Флоренс; это было бы невозможно. Ведь вы не могли на это рассчитывать, сударыня!

— О, вы, маленький чудак! — прошептала миссис Блимбер.

— Но я очень привязан здесь ко всем,— продолжал Поль,— и мне было бы грустно уезжать и думать, что кто-то радуется моему отъезду или ему это безразлично.

Теперь миссис Блимбер окончательно убедилась в том, что Поль — самый странный ребенок в мире, а когда она рассказала доктору о происшедшем, доктор не опровергал мнения жены. Но он сказал, как говорил уже раньше, когда Поль только что прибыл, что учение свое дело сделает, а затем прибавил то же, что говорил в тот раз:

— Развивай его, Корнелия! Развивай его!

Корнелия развивала его со всей энергией, на какую была способна, и Полю жилось нелегко. Но, помимо приготовления уроков, он давно уже наметил себе другую цель, которую никогда не терял из виду и упорно преследовал: быть кротким, услужливым, тихим ребенком, всегда старающимся заслужить любовь и привязанность окружающих; и хотя его часто можно было застать на старом его местечке на лестнице или наблюдающим волны и облака из окна его уединенной спальни, теперь он чаще бывал с другими мальчиками, скромно оказывая им маленькие добровольные услуги. В результате даже среди этих суровых и сосредоточенных юных затворников, умерщвлявших плоть под кровом доктора Блимбера, Поль был объектом всеобщего интереса, хрупкой маленькой игрушкой, которую все любили и с которой никому не пришло бы в голову обращаться грубо. Но он не мог изменить свою

натуру, а следовательно, не мог изменить и «анализ», и посему все они пришли к тому заключению, что Домби — «не от мира сего».

Были, впрочем, некоторые льготы, связанные с такой репутацией, которыми никто другой не пользовался. Эти льготы не были бы распространены на ребенка, менее чудаковатого, и уже одно это имело большое значение. Когда остальные, отправляясь спать, ограничивались поклоном доктору Блимберу и семейству, Поль протягивал ручонку и смело пожимал руку доктора, а также миссис Блимбер, а также мисс Корнелии. Если нужно было отвести от кого-нибудь грозящее ему наказание, Поль всегда был делегатом. Даже подслеповатый молодой человек однажды советовался с ним относительно разбитого стекла и фарфора. И ходили смутные слухи, что дворецкий, взирая на него с благосклонностью, какой сей суровый человек доселе не удостаивал никого из смертных мальчиков, иногда подливал ему портер в столовое пиво, чтобы Поль окреп.

Помимо этих чрезвычайных привилегий, Поль имел свободный доступ в комнату мистера Фидера, откуда он дважды выводил на свежий воздух мистера Тутса в обморочном состоянии после неудачной попытки выкурить отвратительную сигару — одну из той пачки, которую этот молодой человек тайком приобрел на морском берегу у отчаяннейшего контрабандиста, сообщившего по секрету, что за его голову, живую или мертвую, таможня назначила награду в двести фунтов. Уютная комната была у мистера Фидера; кровать стояла в другой маленькой комнатке, смежной, а флейта, на которой мистер Фидер еще не умел играть, но, по его словам, поставил себе целью научиться, висела над камином. Было здесь также несколько книг и удочка, ибо, по словам мистера Фидера, он несомненно научится удить рыбу, когда у него будет свободное время. С тою же целью мистер Фидер приобрел прекрасный маленький, изогнутый, подержанный корнет-а-пистон, шахматную доску и шахматы, испанскую грамматику, принадлежности для рисования и пару перчаток для бокса. Искусство самозащиты, по словам мистера Фидера, он решительно намеревался изучить, считая это долгом каждого человека, так как оно дает возможность оказать покровительство женщине, попавшей в беду.

Но величайшим сокровищем мистера Фидера была большая зеленая банка нюхательного табаку, которую мистер Тутс привез ему в подарок по окончании последних вакаций и за которую заплатил очень дорого, так как она безусловно принадлежала принцу-регенту *. Ни мистер Тутс, ни мистер Фидер не могли угоститься ни одной понюшкой, даже самой умеренной, чтобы не расчихаться до судорог. Тем не менее великим удовольствием было для них смочить табак в табакерке холодным чаем, размешать его на листе пергамента ножом для разрезания бумаги и время от времени заниматься его потреблением. Набивая себе нос, они претерпевали ужасную пытку со стойкостью мучеников и, попивая в промежутках столовое пиво, наслаждались всеми прелестями разгула.

Для маленького Поля, молча сидевшего в их компании возле главного своего патрона, мистера Тутса, было в этих беспутных занятиях какое-то жуткое очарование; а когда мистер Фидер заводил речь о мрачных тайнах Лондона и сообщал мистеру Тутсу, что намерен во время ближайших каникул изучить эти тайны внимательно, со всех сторон, и с этой целью договорился поселиться в пансионе у двух старых девствующих леди в Пекеме, Поль смотрел на него, словно тот был героем какой-нибудь книги путешествий или невероятных приключений, и готов был опасаться такого отчаянного человека.

Войдя как-то вечером в эту комнату, когда каникулы уже приближались, Поль увидел, что мистер Фидер заполняет пробелы в каких-то отпечатанных письмах, а мистер Тутс складывает и заклеивает другие, уже заполненные и разложенные перед ним. Мистер Фидер сказал:

— Ага, Домби, вот и вы! — ибо они были всегда ласковы с ним и рады его видеть; а затем добавил, бросив ему одно из писем: — А вот для вас, Домби. Это вам.

— Мне, сэр? — сказал Поль.

— Пригласительный билет вам,— отвечал мистер Фидер.

Поль взглянул: на билете было выгравировано,— только его имя и число написаны были рукою мистера Фидера,— что доктор и миссис Блимбер просят мистера П. Домби пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, что она назначена на половину восьмого и что будут

танцевать кадриль. Мистер Тутс, взяв такой же листок бумаги, в свою очередь показал ему, что доктор и миссис Блимбер просят мистера Тутса пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, назначенную на половину восьмого; причем будут танцевать кадриль. Поль убедился также, взглянув на стол, за которым сидел мистер Фидер, что доктор и миссис Блимбер просят и мистера Бригса пожаловать, и мистера Тозера пожаловать, и всех молодых джентльменов пожаловать по тому же приятному поводу.

Затем мистер Фидер, к великой радости Поля, сообщил, что приглашена его сестра, что это событие завершает полугодие и что каникулы начнутся в тот же день, и он, если хочет, может уехать с сестрой после вечеринки,— тут Поль перебил его и сказал, что этого он очень хочет. Затем мистер Фидер сообщил ему о необходимости изящнейшим почерком написать доктору и миссис Блимбер, что мистер П. Домби польщен и будет счастлив посетить их согласно их любезному приглашению. Наконец мистер Фидер сказал, что он хорошо сделает, если не будет упоминать о празднестве в присутствии доктора и миссис Блимбер; ибо эти приготовления ведутся на началах классицизма и великосветского тона и что предполагается, будто доктор и миссис Блимбер, с одной стороны, а молодые джентльмены, с другой, в качестве особ ученых, понятия не имеют о предстоящем.

Поль поблагодарил мистера Фидера за эти указания, спрятал пригласительный билет в карман и уселся, как всегда, на скамейку возле мистера Тутса. Но голова Поля, которая давно уже побаливала, а иногда бывала очень тяжелой и сильно болела, была в тот вечер такой затуманенной, что он принужден был подпереть ее рукою. Однако она опускалась все ниже и ниже, приникла к колену мистера Тутса и тут и осталась, словно ей не предстояло снова подняться.

Не было у него никаких оснований оглохнуть; но, должно быть, это случилось,— подумал он,— ибо вскоре услышал, что мистер Фидер окликает его под самым ухом и тихонько встряхивает, желая привлечь его внимание. А когда он с испугом поднял голову и осмотрелся кругом, он увидел, что в комнате находится доктор Блим-

бер, что окно раскрыто и лоб у него смочен водой, хотя было действительно очень странно, каким образом все это произошло помимо его ведома.

— А! Ну-ну! Прекрасно! Как себя чувствуете сейчас, мой юный друг? — ободряюще сказал доктор Блимбер.

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр,— отвечал Поль.

Но, по-видимому, случилось что-то неладное с полом, так как он не мог стоять на нем твердо; да и со стенами, ибо они обнаружили склонность вращаться, и остановить их можно было только глядя на них очень пристально. В то же время голова мистера Тутса казалась такой большой и находилась так далеко, что это было не совсем естественно; а когда он взял Поля на руки, чтобы отнести наверх, Поль с изумлением заметил, что дверь находится совсем не там, где он предполагал ее увидеть, и в первый момент он готов был подумать, что мистер Тутс собирается пройти прямо через дымоход.

Было очень любезно со стороны мистера Тутса отнести его так ласково в верхний этаж дома, и Поль сказал ему об этом. Но мистер Тутс ответил, что сделал бы гораздо больше, если бы это было возможно; да он и сделал больше, ибо помог Полю раздеться и с величайшей заботливостью уложил его в постель, а затем сел у кровати и очень долго хихикал; а мистер Фидер, бакалавр искусств, склонившись над кроватью, вздыбил костлявой рукой свою короткую щетину на голове, а затем притворился, будто нападает на Поля по всем правилам науки по случаю его полного выздоровления, и это было так забавно и так мило со стороны мистера Фидера, что Поль, не зная, нужно ему смеяться или плакать, и плакал и смеялся одновременно.

Как испарился мистер Тутс, а мистер Фидер превратился в миссис Пипчин — Полю не пришло в голову спросить, да он этим вовсе и не интересовался; но, увидев, что вместо мистера Фидера в ногах кровати стоит миссис Пипчин, он воскликнул:

— Миссис Пипчин, не говорите Флоренс!

— О чем не говорить Флоренс, мой маленький Поль? — спросила миссис Пипчин, обойдя кровать и опускаясь на стул.

— Обо мне,— сказал Поль.

— Нет, нет, не скажу,— сказала миссис Пипчин.

— Как вы думаете, миссис Пипчин, что я хочу сделать, когда выpасту? — осведомился Поль, поворачиваясь на подушке к ней лицом и задумчиво опуская подбородок на сложенные руки.

Миссис Пипчин не могла угадать.

— Я хочу,— сказал Поль,— положить все свои деньги в банк, не заботиться о том, чтобы их стало еще больше, уехать за город с моей дорогой Флоренс, где будет красивый сад, поля и леса, и жить там с ней всю жизнь!

— Вот как? — воскликнула миссис Пипчин.

— Да,— сказал Поль.— Вот что я хочу сделать, когда я...

Он запнулся и на секунду задумался.

Серые глаза миссис Пипчин всматривались в его сосредоточенное лицо.

— Если я выpасту,— сказал Поль.

Затем он тотчас же начал рассказывать миссис Пипчин о вечеринке, о приглашении Флоренс, о том, как он будет гордиться тем восхищением, какое она вызовет у всех мальчиков, о том, как они добры к нему и любят его, как он их любит и как он всему этому рад. Затем он сообщил миссис Пипчин об анализе и о том, что он, конечно, не от мира сего, и пожелал узнать мнение миссис Пипчин по этому поводу, а также, известно ли ей, почему это случилось и что это значит. Миссис Пипчин, избрав легчайший способ выпутаться из затруднения, начисто отрицала этот факт, но Поль далеко не удовлетворился таким ответом и столь испытующе смотрел на миссис Пипчин в ожидании более правдивых слов, что она принуждена была встать и выглянуть в окно, чтобы уйти от его взгляда.

Некий, всегда уравновешенный лекарь, который посещал заведение, когда заболевал кто-нибудь из молодых джентльменов, каким-то образом проник в комнату и появился у постели вместе с миссис Блимбер. Как очутились они здесь и долго ли пробыли,— Поль не знал; но, увидев их, он уселся в постели и подробно ответил на все вопросы лекаря и шепнул ему, что, право, Флоренс ничего не должна знать об этом и что он твердо решил, чтобы она была на вечеринке. Он много болтал с лека-

рем, и они расстались наилучшими друзьями. Потом, лежа с закрытыми глазами, он слышал, как лекарь сказал, выйдя из комнаты и где-то очень далеко,— или ему это приснилось,— что наблюдается отсутствие жизненной силы («что бы это могло быть?» — подумал Поль) и организм чрезвычайно ослаблен; что мальчуган твердо решил расстаться со своими школьными товарищами семнадцатого и поэтому следует удовлетворить его желание, если ему не станет хуже; что он рад был узнать от миссис Пипчин о переезде мальчугана к родным в Лондон, назначенном на восемнадцатое; что он еще раньше, как только лучше ознакомится с болезнью, сам напишет мистеру Домби; что сейчас нет прямых оснований для... для чего? — Поль не расслышал сло́ва; и что у мальчугана живой ум, но он — не от мира сего.

Что это значит «не от мира сего»,— с замирающим сердцем размышлял Поль,— что это за особенность, так явно выраженная в нем, так отчетливо видимая столь многими?

Он не мог это понять и не мог долго утруждать себя размышлениями. Миссис Пипчин снова была возле него, словно и не уходила (он думал, что она вышла вместе с доктором, но, быть может, все это был сон), и вскоре у нее в руках таинственным образом появились стакан и бутылка, и она наполнила для него стакан. После этого он получил очень вкусное желе, которое принесла ему сама миссис Блимбер; и тогда он почувствовал себя так хорошо, что миссис Пипчин после настойчивых его просьб отправилась домой, а Бригс и Тозер пришли ложиться спать. Бедный Бригс ужасно жаловался на свой анализ — его разлагающее действие не могло бы быть сильнее, будь это настоящий химический процесс; но он был очень ласков с Полем, так же как и Тозер, так же как и все остальные, ибо все до единого заходили к нему перед сном и говорили: «Как вы себя чувствуете сейчас, Домби?» — «Не унывайте, маленький Домби!» и прочее. Когда Бригс лег в постель, он долго не спал, все еще сетуя на свой анализ и говоря, что, конечно, он совершенно неверен, и даже убийце они не могли бы дать анализа хуже, и что бы сказал доктор Блимбер, если бы сумма его собственных карманных денег зависела от

такого анализа. Очень легко,— заявил Бригс,— делать из мальчика галерного раба в течение целого полугодия, а потом заносить в анализ, что он лентяй, и каждую неделю дважды оставлять его втихомолку без обеда, а потом заносить в анализ, что он жаден; но это не значит,— полагает он,— что надо этому подчиниться, не так ли? Ох! Ах!

На следующее утро, прежде чем приняться за гонг, подслеповатый молодой человек поднялся наверх к Полю и сказал ему, чтобы он не вставал с постели, что Поль с радостью исполнил. Миссис Пипчин снова появилась незадолго до прихода лекаря, а спустя некоторое время добрая молодая женщина, которая чистила печку, когда Поль увидел ее в то первое утро (каким далеким казалось оно теперь!), принесла ему завтрак. Был еще один консилиум где-то очень далеко,— или же Полю опять это приснилось,— а затем лекарь, снова появившись с доктором Блимбером и миссис Блимбер, сказал:

— Да, я думаю, доктор Блимбер, теперь мы можем освободить этого молодого джентльмена от книг: вакации уже на носу.

— Несомненно,— сказал доктор Блимбер.— Дорогая моя, пожалуйста, сообщите об этом Корнелии.

— Непременно,— сказала миссис Блимбер.

Лекарь, наклонившись, пристально посмотрел в глаза Полю, пощупал ему голову, пульс и выслушал сердце с таким вниманием и заботливостью, что Поль сказал:

— Благодарю вас, сэр.

— Наш юный друг,— заметил доктор Блимбер,— никогда не жаловался.

— О да! — ответил лекарь.— Вряд ли он стал бы жаловаться.

— Вы находите, что ему гораздо лучше? — осведомился доктор Блимбер.

— О, ему гораздо лучше, сэр,— ответил лекарь.

Поль по свойственной ему странной привычке начал размышлять о том, чем могли быть заняты в тот момент мысли лекаря,— так задумчиво ответил он на два замечания доктора Блимбера. Но поскольку лекарь случайно встретил взгляд своего маленького пациента, когда тот пустился в эти умозрительные изыскания, и тотчас же

вывел его из раздумья веселой улыбкой, то Поль улыбнулся в ответ и бросил свои размышления.

Весь день он пролежал в постели, дремал, грезил и смотрел на мистера Тутса, но на следующий день встал и спустился вниз. О, чудо! Что-то случилось с большими стенными часами, и рабочий, стоявший на стремянке, снял с них циферблат и при свете свечи ковырял инструментами в механизме! Это было великое событие для Поля, который уселся на ступеньку и внимательно следил за операцией, то и дело посматривая на циферблат, прислоненный к стене, и чувствуя некоторое смущение при мысли, что циферблат подмигивает ему.

Рабочий на стремянке был очень вежлив; когда, увидев Поля, он сказал: «Как поживаете, сэр?» — Поль вступил с ним в разговор и сообщил ему, что был не совсем здоров. Когда лед был таким образом сломан, Поль задал ему множество вопросов о часах-курантах и о том, дежурят ли по ночам люди на колокольнях, чтобы заставить часы бить, и как звонят в колокола, когда умирают люди, и отличается ли этот звон от свадебного звона, или живым только чудится, что он заунывен. Убедившись, что новый его знакомый не очень хорошо осведомлен, для чего в старину по вечерам звонили в колокол, Поль рассказал ему об этом обычае, а также спросил его как человека практического, какого он мнения о затее короля Альфреда * измерять время при помощи горящих свечей, на что рабочий отвечал, что, по его мнению, она погубила бы торговлю часами, если бы снова вернулись к этой затее. Короче говоря, Поль наблюдал, пока часы не приняли обычного своего вида и не начали снова задавать свой степенный вопрос, после чего рабочий, сложив инструменты в длинную корзинку, пожелал ему всех благ и ушел. Но предварительно он шепнул что-то лакею у двери, причем употребил слово «чудаковат»,— Поль это слышал.

Что такое «чудаковатость» и почему она вызывала сожаление у людей? Что бы это могло быть?

Свободный теперь от занятий, он часто об этом думал; хотя не так часто, как могло бы случиться, если бы ему нужно было думать о меньшем количестве вещей. А их было очень много, и он думал все время, с утра до вечера.

Прежде всего о Флоренс, которая придет на вечеринку. Флоренс увидит, что мальчики его любят, и это ее обрадует. Вот об этом он думал постоянно. Пусть Флоренс убедится, что они ласковы и добры к нему и что он стал их маленьким любимцем, и тогда она будет вспоминать о тех днях, которые он здесь провел, без особой грусти. Быть может, благодаря этому у Флоренс легче будет на душе, когда он сюда вернется.

Когда он сюда вернется! Пятьдесят раз в день его маленькие ножки бесшумно взбирались по лестнице в его комнату: он собирал свои книги и все свое имущество и складывал все, вплоть до последней мелочи, чтобы взять с собою домой! Незаметно было, чтобы маленький Поль собирался сюда вернуться; никаких приготовлений к этому, никаких намеков на это не было во всем, что он думал и делал, за исключением мимолетной мысли, связанной с сестрой. Наоборот, блуждая по дому в этом сосредоточенном расположении духа, он думал обо всем ему близком так, словно должен был с этим расстаться навсегда, а потому-то и надо было думать об очень многом, с утра до вечера.

Надо было заглянуть в комнаты наверху и подумать о том, как будет в них пусто, когда он уедет; и поинтересоваться, сколько безмолвных дней, недель, месяцев и лет будут они оставаться такими же торжественными и тихими. Надо было подумать о том, будет ли здесь бродить когда-нибудь другой мальчик («не от мира сего», как и он), которому откроются такие же странные изменения в узорах обоев и вощанки, и расскажет ли кто-нибудь этому мальчику о маленьком Домби, который жил здесь когда-то.

Надо было подумать о портрете на лестнице, который всегда провожал его задумчивым взглядом, когда он проходил, поглядывая через плечо, и который, если он шел не один, все-таки смотрел как будто только на него, а не на его спутника. Надо было хорошенько подумать о гравюре, висевшей в другом месте, на которой в центре потрясенной группы людей одна фигура, ему известная, фигура с сиянием вокруг головы — добрая, кроткая и милосердная — стояла, указывая вверх.

У окна его спальни сотни мыслей сливались с этими и приходили одна за другой, одна за другой, как набегающие волны. Где живут эти дикие птицы, которые в ненастную погоду всегда кружатся над морем; откуда поднимаются и где зарождаются облака; откуда мчится ветер в стремительном своем полете и где он останавливается; может ли то место, где они так часто сидели с Флоренс и смотрели вдаль и рассуждали обо всем,— может ли оно и без них оставаться точь-в-точь таким, каким было; могло ли оно остаться таким для Флоренс, если бы он был где-нибудь далеко, а она сидела там одна.

Надо было подумать также о мистере Тутсе и мистере Фидере, бакалавре искусств; обо всех мальчиках, и о докторе Блимбере, и о миссис Блимбер, и о мисс Блимбер, о доме, и о тетке, и о мисс Токс; об отце, Домби и Сыне, об Уолтере и его бедном старом дяде, получившем деньги, в которых он нуждался, и об этом капитане с хриплым голосом и железной рукой. Помимо всего этого, надо было сделать в течение дня множество маленьких визитов: побывать в классной комнате, в кабинете доктора Блимбера, в комнате миссис Блимбер, мисс Блимбер и у собаки. Ибо теперь он пользовался правом разгуливать по всему дому; а так как ему хотелось расстаться со всеми в наилучших отношениях, он по-своему старался всем услужить. То он находил нужные места в книге для Бригса, который всегда их терял; то отыскивал слова в лексиконах для других молодых джентльменов, попавших в затруднительное положение; то помогал миссис Блимбер мотать шелк; то приводил в порядок письменный стол Корнелии; то пробирался даже в кабинет доктора и, сидя на ковре близ его ученых ног, потихоньку поворачивал глобусы и отправлялся в кругосветное путешествие или совершал полет среди далеких звезд.

Короче говоря, в те дни перед самыми каникулами, когда прочие молодые джентльмены выбивались из сил, восстанавливая в памяти все пройденное за полугодие, Поль был таким привилегированным учеником, какого никогда еще не видали в этом доме. Он сам едва мог этому поверить; однако проходили часы и дни, а свободу он сохранял; и маленького Домби ласкали все. Доктор Блимбер был так внимателен к нему, что однажды за обе-

дом приказал Джонсону выйти из-за стола, когда тот необдуманно назвал его «бедненьким Домби»; по мнению Поля, это было, пожалуй, сурово и жестоко, хотя в тот момент он вспыхнул и удивился, почему Джонсон его жалеет. Справедливость доктора была, по мнению Поля, тем более сомнительна, что накануне вечером он ясно слышал, как этот великий авторитет согласился с замечанием (высказанным миссис Блимбер), что бедненький милый Домби стал еще более «не от мира сего». Вот тогда-то Поль и начал подумывать о том, что быть не от мира сего — значит быть очень худым и слабым, быстро уставать и чувствовать желание где-нибудь прилечь и отдохнуть; а он не мог не замечать, что эта склонность развивается у него со дня на день.

Наконец настал день вечеринки, и доктор Блимбер сказал за завтраком:

— Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца.

Мистер Тутс немедленно сбросил иго рабства, надел кольцо и вскоре после этого, упомянув в случайном разговоре о докторе, назвал его «Блимбер». Такая вольность вызвала у старших учеников чувство восторга и зависти; но более юные умы были устрашены и как будто удивлялись, что потолок не рухнул и не раздавил его.

Как за завтраком, так и за обедом не было сделано ни одного намека на вечернюю церемонию, но в доме весь день царила суматоха, и во время своих скитаний Поль познакомился с многочисленными странными скамьями и подсвечниками и повстречался с арфой в зеленом пальто, стоявшей на площадке перед дверью гостиной. А за обедом голова миссис Блимбер имела какой-то странный вид, как будто волосы ее были закручены слишком туго; и хотя на обоих висках мисс Блимбер красовались накладные букли, ее собственные кудри под ними были как будто завернуты в бумагу, и вдобавок в театральную афишу, ибо над одним стеклом ее сверкающих очков Поль прочел: «Королевский театр», а над другим: «Брайтон».

Под вечер в дортуарах юных джентльменов был грандиозный парад белых жилетов и галстуков и стоял такой сильный запах паленых волос, что доктор Блимбер послал

наверх лакея с приветом и пожелал узнать, не пожар ли в доме. Но в действительности это был всего лишь парикмахер, который завивал молодых джентльменов и в пылу усердия перегрел щипцы.

Когда Поль оделся,— что было сделано быстро, ибо он чувствовал недомогание и сонливость и не мог заниматься туалетом очень долго,— он спустился в гостиную, где застал доктора Блимбера, прогуливающегося по комнате, в вечернем костюме, но с таким величественным и безучастным видом, как будто он попросту допускал возможность, что к нему кто-нибудь заглянет. Затем появилась миссис Блимбер, очаровательная, на взгляд Поля, и надевшая такое множество юбок, что нужно было совершить целую экскурсию, чтобы обойти вокруг нее. Мисс Блимбер спустилась вскоре после своей матушки, непомерно перетянутая, но прелестная.

Вслед за ними прибыли мистер Тутс и мистер Фидер. Каждый из этих джентльменов держал в руке свою шляпу, словно жил где-нибудь далеко отсюда; а когда дворецкий доложил о них, доктор Блимбер сказал: «А-а-а! Ах, боже мой!» — и, казалось, был чрезвычайно рад их видеть. Мистер Тутс сверкал драгоценными камнями и пуговицами и придавал такое значение этому обстоятельству, что, пожав руку доктору и поклонившись миссис Блимбер и мисс Блимбер, отвел Поля в сторонку и спросил:

— Что вы об этом думаете, Домби?

Но, несмотря на такую скромную уверенность в себе, мистер Тутс, казалось, пребывал в нерешительности по поводу того, надлежит ли застегнуть нижнюю пуговицу жилета и следует ли, при трезвом учете всех обстоятельств, отвернуть или выправить манжеты. Заметив, что у мистера Фидера они отвернуты, мистер Тутс отвернул свои; но так как у следующего гостя манжеты были выправлены, мистер Тутс выправил свои. Что касается пуговиц жилета, не только нижних, но и верхних, то по мере прибытия гостей вариации стали столь многообразны, что Тутс все время теребил пальцами эту принадлежность туалета, точно играл на каком-то инструменте, и, по-видимому, находил эти неустанные упражнения весьма затруднительными.

Когда все молодые джентльмены, завитые, в тугих галстуках и лакированных туфлях, держа в руках новенькие шляпы, собрались, причем о появлении каждого было доложено дворецким, пришел учитель танцев, мистер Бепс, в сопровождении миссис Бепс, с которой миссис Блимбер была в высшей степени любезна. Мистер Бепс был очень серьезный джентльмен с медлительной и размеренной речью; не простояв и пяти минут под лампой, он заговорил с Тутсом (который молчаливо сравнивал его лакированные туфли со своими) о том, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Мистер Тутс, которому вопрос показался туманным, предложил «сварить его». Но мистер Бепс как будто не считал такую меру целесообразной.

Поль выскользнул из своего уголка на диване, среди подушек, служившего ему наблюдательным пунктом, и спустился в комнату, где был сервирован чай, чтобы встретить Флоренс, которой не видел почти две недели, так как прошлую субботу и воскресенье оставался у доктора Блимбера во избежание простуды. Вскоре она пришла с живыми цветами в руках, такая красивая в своем скромном бальном платье, что, когда она опустилась на колени, чтобы обнять Поля за шею и поцеловать его (так как никого здесь не было, кроме его приятельницы и еще одной молодой женщины, которые разливали чай), он едва мог заставить себя отпустить ее или отвести взгляд от ее сияющих и любящих глаз.

— Что случилось, Флой? — спросил Поль, почти уверенный, что увидел слезу.

— Ничего, милый, ничего,— отвечала Флоренс.

Поль осторожно коснулся пальцем ее щеки — да, это была слеза!

— Что же это, Флой? — сказал он.

— Мы вместе поедем домой, и я буду ухаживать за тобой, мой милый,— сказала Флоренс.

— Ухаживать за мной? — повторил Поль.

Поль не мог понять, какое это имеет отношение к слезе, почему обе молодые женщины смотрели так серьезно и почему Флоренс на секунду отвернулась, а потом повернула к нему лицо, вновь светившееся улыбкой.

— Флой,— проговорил Поль, держа в руке локон ее темных волос,— скажи мне, дорогая: как ты думаешь, я — не от мира сего?

Сестра засмеялась, приласкала его и ответила: «Нет».

— Потому что я знаю, они так говорят,— продолжал Поль,— и мне хочется знать, что они хотят этим сказать, Флой.

Тут раздался громкий стук в дверь. Флоренс поспешила отойти к столу, и больше они об этом не говорили. Поль снова удивился, увидев, что его приятельница шепчет что-то Флоренс, как будто утешает ее, но прибытие новых гостей отвлекло его от этой мысли.

Это были сэр Барнет Скетлс, леди Скетлс и юный мистер Скетлс. После вакаций мистеру Скетлсу предстояло поступить в школу, и в комнате мистера Фидера постоянно прославляли его отца, который был в палате общин и о котором мистер Фидер сказал, что когда он поймает взгляд спикера * (чего ждали от него вот уже три или четыре года), то можно предвидеть, как он отхлещет радикалов.

— Ну, а это что за комната? — обратилась леди Скетлс к приятельнице Поля, Милии.

— Кабинет доктора Блимбера, сударыня,— был ответ...

Леди Скетлс обозрела его в лорнет и с одобрительным кивком сказала сэру Барнету Скетлсу: «Очень хорошо». Сэр Барнет Скетлс согласился, но мистер Скетлс смотрел подозрительно и недоверчиво.

— Ну, а этот малютка,— сказала леди Скетлс, поворачиваясь к Полю.— Он один из...

— Один из молодых джентльменов, сударыня,— сказала приятельница Поля.

— Как же вас зовут, мое бедное дитя? — осведомилась леди Скетлс.

— Домби,— отвечал Поль.

Сэр Барнет Скетлс тотчас вмешался и заявил, что имел честь встретиться с отцом Поля на публичном обеде, и выразил надежду, что он находится в добром здравии. Затем Поль услышал, как он говорил леди Скетлс: «Сити... очень богат... в высшей степени респектабелен... доктор упоминал об этом». А затем он сказал Полю:

— Пожалуйста, передайте вашему милому папе, что сэр Барнет Скетлс весьма рад, что он находится в добром здравии, и посылает ему свой горячий привет.

— Хорошо, сэр,— отвечал Поль.

— Молодец! — сказал сэр Барнет Скетлс.— Барнет,— обратился он к юному мистеру Скетлсу, который, назло предстоящему ученью, налег на кекс с коринкой,— с этим молодым человеком тебе следует познакомиться. С этим молодым человеком ты *можешь* познакомиться,— сказал сэр Барнет Скетлс, выразительно подчеркивая свое позволение.

— Какие глаза! Какие волосы! Какое прелестное личико! — тихо воскликнула леди Скетлс, взирая в лорнет на Флоренс.

— Моя сестра,— сказал Поль, представляя ее.

Скетлсы были теперь вполне удовлетворены. А так как леди Скетлс с первого взгляда почувствовала расположение к Полю, они все вместе отправились наверх; сэр Барнет Скетлс взял на себя заботу о Флоренс, а юный Барнет следовал за ними.

Юный Барнет недолго пребывал на заднем плане после того, как они вошли в гостиную, ибо доктор Блимбер в одну минуту выдвинул его, заставив танцевать с Флоренс. Поль не заметил, чтобы тот был особенно счастлив или проявлял что-нибудь, кроме угрюмости и слабой заинтересованности своим занятием; но поскольку Поль слышал, как леди Скетлс сказала миссис Блимбер, отбивавшей такт веером, что ее дорогой мальчик явно без ума от этого ангела — мисс Домби,— то, по-видимому, Скетлс-младший пребывал в состоянии блаженства, отнюдь этого не обнаруживая.

Маленький Поль усмотрел странное стечение обстоятельств в том, что никто не занял его места среди подушек; и когда он вернулся в комнату, все, помня, что это место принадлежит ему, расступились, давая ему возможность снова его занять. И никто не останавливался перед ним, когда заметили, как приятно ему видеть Флоренс среди танцующих; напротив, все старались стать так, чтобы он мог все время следить за нею. Все были очень добры — даже незнакомые ему люди, которых вскоре появилось очень много,— и то и дело подходили и заго-

варивали с ним, спрашивали, как он себя чувствует, не болит ли у него голова, и не устал ли он. Он был им очень признателен за доброту и внимание и, прислонясь к подушкам в своем уголке на диване, где сидели также миссис Блимбер и леди Скетлс, наблюдал и был очень счастлив; Флоренс приходила и подсаживалась к нему после каждого тура.

Флоренс сидела бы с ним весь вечер и предпочла бы вовсе не танцевать, но Поль заставил ее, сказав, какое удовольствие это ему доставляет. И он сказал правду, потому что сердечко его расширялось и лицо горело, когда он видел, как все восхищаются ею и каким прелестным цветком была она в этой комнате.

Из своего гнездышка среди подушек Поль мог видеть и слышать чуть ли не все происходящее, словно все это делалось для его развлечения. Помимо прочих мелких инцидентов, им замеченных, он увидел, как мистер Бепс, учитель танцев, вступил в разговор с сэром Барнетом Скетлсом и вскоре спросил его, как спрашивал мистера Тутса, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Сэр Барнет Скетлс многое имел сказать по этому вопросу и сказал; но вопрос как будто остался неразрешенным, ибо мистер Бепс возразил: да, но, предположим, Россия выступит со своими жирами; после чего сэр Барнет чуть ли не онемел и мог только покачать головой и сказать: ну, что ж, тогда вам, вероятно, придется обратиться к своему хлопку.

Сэр Барнет Скетлс посмотрел вслед мистеру Бепсу, когда тот пошел подбодрить миссис Бепс (всеми покинутая, она делала вид, будто разглядывает ноты джентльмена, игравшего на арфе),— посмотрел так, словно считал его замечательным человеком; а вскоре он это и высказал доктору Блимберу и осведомился, может ли он спросить, имел ли когда-нибудь этот джентльмен отношение к департаменту торговли. Доктор Блимбер отвечал: нет, не совсем, и что, собственно говоря, он — преподаватель...

— Готов поклясться, в какой-нибудь области, связанной со статистикой? — заметил сэр Барнет Скетлс.

— Нет, видите ли, сэр Барнет,— ответил доктор Блимбер, потирая подбородок,— нет, не совсем так.

— Но с какими-нибудь расчетами, готов пари держать,— сказал сэр Барнет Скетлс.

— Да, видите ли,— сказал доктор Блимбер,— да, но в другом роде. Мистер Бепс — весьма достойный человек, сэр Барнет, и... собственно говоря, он — наш учитель танцев.

Поль с изумлением увидел, что эта новость совершенно изменила мнение сэра Барнета Скетлса о мистере Бепсе и что сэр Барнет пришел в бешенство и через всю комнату бросил грозный взгляд на мистера Бепса. Он даже до того дошел, что, сообщая леди Скетлс о случившемся, послал мистера Бепса к черту и сказал, что это ве-ли-чай-шая и воз-му-ти-тель-ней-шая наглость.

И еще одну вещь отметил Поль. Мистер Фидер, выпив несколько бокалов негуса *, начал веселиться. В общем, танцы были церемонные, а музыка торжественная, слегка напоминающая, собственно говоря, церковную музыку; но после вышеупомянутых бокалов мистер Фидер сказал мистеру Тутсу, что собирается внести некоторое оживление в танцы. Затем мистер Фидер не только начал танцевать так, как будто решил танцевать не на шутку, но и тайком подстрекал музыкантов к исполнению бравурных мелодий. Далее он стал оказывать большое внимание дамам и, танцуя с мисс Блимбер, нашептывал ей — нашептывал, но достаточно громко, чтобы Поль мог услышать! — замечательные стихи:

Пускай обманом дышит сердце,
Но вас не обману!

Поль слышал, как он повторил это четырем молодым леди по очереди. Не без оснований сказал мистер Фидер мистеру Тутсу, что опасается, как бы не пришлось ему расплачиваться за это завтра.

Миссис Блимбер была слегка встревожена этим, так сказать, разнузданным поведением и в особенности изменившимся характером музыки, в которой зазвучали вульгарные мелодии, популярные на улицах, что, как естественно было предположить, могло показаться оскорбительным для леди Скетлс. Но леди Скетлс была очень добра и просила миссис Блимбер не тревожиться; и объ-

яснение ее касательно живости мистера Фидера, иногда приводящей его к эксцентрическим выходкам, приняла с величайшей любезностью и учтивостью, заметив, что он производит впечатление весьма приятного человека, если принять во внимание его положение, и что ей особенно нравится скромная его манера причесывать волосы, которые (как уже упоминалось) были примерно в четверть дюйма длиной.

Как-то, во время перерыва в танцах, леди Скетлс сказала Полю, что он, по-видимому, очень любит музыку. Поль ответил, что любит; а если и она ее любит, то следовало бы ей послушать, как поет его сестра Флоренс. Леди Скетлс тотчас поведала, что умирает от желания получить это удовольствие; и хотя Флоренс была сначала очень испугана просьбой петь в таком большом обществе и настойчиво просила освободить ее от этого, однако, когда Поль подозвал ее и сказал: «Спой! Пожалуйста! Для меня, моя дорогая!» — она подошла к фортепьяно и запела. Когда все отступили в сторону, чтобы Поль мог ее видеть, и когда он увидел, как она сидит там одна, такая юная, добрая, прекрасная и любящая его, и услышал, как ее звонкий голос, такой чистый и нежный, золотое звено между ним и всей любовью и счастьем его жизни, зазвучал среди общего молчания,— он отвернулся и постарался скрыть слезы. Дело не в том, как объяснял он, когда с ним заговаривали об этом, дело не в том, что музыка была слишком печальной или заунывной, но она так дорога ему!

Все полюбили Флоренс! Да и могло ли быть иначе?! Поль заранее знал, что они должны ее полюбить и полюбят; и когда он сидел в своем уголке среди подушек и смотрел на нее, спокойно сложив руки и небрежно подогнув под себя ногу, мало кому пришло бы в голову, каким торжеством и восторгом переполняется его детское сердце и какое сладкое упоение он чувствует. Восторженные похвалы «сестре Домби» он слышал от всех мальчиков; восхищенные отзывы об этой сдержанной и скромной маленькой красавице были у всех на устах; замечания об ее уме и талантах все время доносились к нему; и, словно разлитое в воздухе летней ночи, было рассеяно вокруг какое-то еле уловимое чувство, имевшее отношение к

Флоренс и к нему и дышавшее симпатией к ним обоим, которое успокаивало и трогало его.

Он не знал — почему. Ибо все, что видел, чувствовал и думал в тот вечер Поль,— присутствующие и отсутствующие, настоящее и прошедшее,— все это слилось, как цвета в радуге или в оперении ярких птиц, когда светит на них солнце, или в тускнеющем небе, когда солнце клонится к закату. Все то, о чем последнее время приходилось ему думать, проплывало теперь перед ним в музыке; оно уже не требовало его внимания и вряд ли способно было снова его занять, оно как бы умиротворялось и уходило. Окно, в которое он смотрел так давно, было обращено к океану, отступившему от него на много миль; на водах океана занимавшие его еще вчера фантазии были усыплены, убаюканы, как укрощенные волны. Все тот же таинственный ропот,— чудилось ему,— которого он не мог понять, когда лежал в своей колясочке на морском берегу, он снова слышит сквозь пенье сестры и сквозь гул голосов и топот ног, и как-то отражается этот ропот в мелькающих мимо лицах и даже в неуклюжей нежности мистера Тутса, часто подходившего пожать ему руку. Сквозь доброту всех окружающих,— чудилось ему,— он снова слышит этот ропот, обращенный к нему, и даже его репутация ребенка не от мира сего словно была связана с ним каким-то неведомым ему образом. Так сидел маленький Поль, слушая, наблюдая и грезя, и был очень счастлив.

Пока не настало время прощаться, а тогда все заволновались. Сэр Барнет Скетлс подвел Скетлса-младшего пожать ему руку и спросил, не забудет ли он передать своему милому папе, что он, сэр Барнет Скетлс, шлет ему горячий привет и выражает надежду на будущую близкую дружбу обоих молодых джентльменов. Леди Скетлс поцеловала его, разгладила ему волосы на лбу и заключила его в свои объятия, и даже миссис Бепс — бедная миссис Бепс! — Полю это было приятно — покинула свое место у нотной тетради джентльмена, игравшего на арфе, и попрощалась с ним так же сердечно, как и все прочие.

— До свидания, доктор Блимбер,— сказал Поль, протягивая руку.

— До свидания, мой юный друг,— отвечал доктор.

— Я вам очень признателен, сэр,— сказал Поль, наивно глядя снизу вверх на это лицо, внушающее почтительный страх.— Пожалуйста, пусть не забывают о Диогене.

Диогеном звали собаку, которая за всю свою жизнь не имела ни одного близкого друга, кроме Поля. Доктор обещал, что в отсутствие Поля Диогену будут оказывать полное внимание, и Поль, снова поблагодарив его и пожав ему руку, попрощался с миссис Блимбер и Корнелией с такой задушевной серьезностью, что миссис Блимбер в тот момент забыла упомянуть о Цицероне в разговоре с леди Скетлс, хотя весь вечер собиралась это сделать. Корнелия, взяв Поля за обе руки, сказала:

— Домби, Домби, вы всегда были моим любимым учеником. Да благословит вас бог!

По мнению Поля, это свидетельствовало о том, как легко быть несправедливым к человеку, ибо мисс Блимбер говорила то, что думала, хотя и была мучительницей.

Затем среди молодых джентльменов пронесся гул: «Домби уезжает!», «Маленький Домби уезжает!» — и все, включая семейство Блимберов, двинулись вслед за Полем и Флоренс вниз по лестнице в холл. Подобное обстоятельство, как заявил вслух мистер Фидер, на его памяти еще не имело места по отношению к кому бы то ни было из прежних молодых джентльменов; но трудно решить, было ли это трезвой оценкой фактов или сказано под воздействием бокалов. Все слуги, во главе с дворецким, пожелали проводить маленького Домби, и даже подслеповатый молодой человек, перенося его книги и чемоданы в карету, которая должна была отвезти на эту ночь его и Флоренс к миссис Пипчин, явно расчувствовался.

Даже влияние более нежного чувства на молодых джентльменов — а они все до единого были очарованы Флоренс — не помешало им шумно распрощаться с Полем, махать ему вслед шляпой, напирать друг на друга, спускаясь по лестнице, чтобы пожать ему руку, кричать: «Домби, не забывайте меня!» — и предаваться излияниям, несвойственным этим юным Честерфилдам *. Поль шептал Флоренс, в то время как она одевала его, прежде чем открыть дверь: слышит ли она их? Может ли она когда-



нибудь забыть об этом? Приятно ли ей это знать? И радость светилась в его глазах.

Один раз он оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд, и, посмотрев на обращенные к нему лица, с удивлением увидел, какие они сияющие и веселые, как их много, словно в переполненном театре. Они проплывали перед ним, как будто отражались в дрожащем зеркале, а через секунду он уже сидел в темной карете, прижимаясь к Флоренс. С тех пор, когда бы ни случалось ему подумать о заведении доктора Блимбера, оно вспоминалось таким, каким он его видел в последний раз; и никогда не казалось оно реальным, но, как бывает в сновидениях, он видел только множество глаз.

Однако это не было последним впечатлением от заведения доктора Блимбера. Было еще кое-что. Мистер Тутс, неожиданно опустив одно окно кареты и заглянув внутрь, сказал с самым ненатуральным хихиканьем: «Домби здесь?» — и тотчас поднял окно снова, не дожидаясь ответа. Но и это не было последним появлением Тутса, ибо, не успела карета отъехать, как он так же внезапно опустил другое окно и, заглянув внутрь, точь-в-точь так же хихикнул и сказал точь-в-точь таким же тоном: «Домби здесь?» — и скрылся точь-в-точь так же, как и раньше.

Как смеялась Флоренс! Поль часто вспоминал об этом и сам всегда смеялся.

Но вскоре — на следующий день и позже — произошло много такого, о чем Поль помнил смутно. Так, например, почему они проводили дни и ночи у миссис Пипчин вместо того, чтобы ехать домой; почему он лежал в постели и Флоренс сидела возле него; находился ли в комнате отец, или то была лишь длинная тень на стене; слышал ли он, как доктор сказал о ком-то, что, если бы его увезли до праздника, который завладел его воображением слишком сильно и помог ему преодолеть слабость, весьма возможно, что он бы зачах.

Он даже не мог припомнить, говорил ли он часто Флоренс: «О Флой, увези меня домой и никогда не оставляй меня одного!» — но, кажется, говорил. Ему чудилось иногда, будто он снова и снова слышит свой голос: «Увези меня домой, увези меня домой, Флой!»

Но он мог припомнить, когда вернулся домой и его несли по хорошо знакомой ему лестнице, что в течение долгих часов грохотала карета, а он лежал на сиденье, и около него была Флоренс, а старая миссис Пипчин сидела напротив. Он помнил и свою старую кроватку, куда его уложили; свою тетку, мисс Токс и Сьюзен; но случилось еще кое-что, совсем недавно, что все еще приводило его в недоумение.

— Будьте добры, я хочу поговорить с Флоренс,— сказал он.— Только с Флоренс, одну минутку!

Она наклонилась к нему, а все остальные стояли поодаль.

— Флой, милочка, не папа ли это был в холле, когда меня вынесли из кареты?

— Да, дорогой.

— Он не заплакал и не ушел в свою комнату, Флой, когда увидел, что меня несут?

Флоренс покачала головой и прижалась губами к его щеке.

— Я очень рад, что он не плакал,— сказал маленький Поль.— Мне показалось, что он заплакал. Не говори им, о чем я спрашивал.

ГЛАВА XV

Изумительная изобретательность капитана Катля и новые заботы Уолтера Гэя

На протяжении нескольких дней Уолтер не мог решить, как ему быть с барбадосским назначением; он даже лелеял слабую надежду, что мистер Домби, быть может, имел в виду не то, что сказал, или передумает и сообщит ему об отмене поездки. Но так как не случилось ничего сколько-нибудь подтверждающего эту догадку (которая сама по себе была в достаточной степени невероятна), а время шло и медлить было нельзя, он решился действовать без дальнейших колебаний.

Основная трудность для Уолтера заключалась в том, каким образом сообщить об этой перемене в его делах

дяде Солю, для которого — чувствовал он — это будет жестоким ударом. Потрясти дядю Соля столь поразительным известием было ему тем труднее, что за последнее время дела пошли в гору и старик так повеселел, что маленькая задняя гостиная приняла прежний вид. Дядя Соль уплатил в назначенный срок часть долга мистеру Домби и надеялся покрыть остальное; и повергать его снова в уныние, когда он так мужественно справился со своими невзгодами, было весьма печальной необходимостью.

Однако не могло быть и речи о том, чтобы уехать потихоньку. Дядя должен был узнать обо всем заблаговременно; затруднение заключалось в том, как ему сказать. Что касается вопроса — ехать или не ехать, Уолтер считал, что не в его власти выбирать. Мистер Домби был прав, говоря, что он молод, а дела у его дяди идут плохо, и мистер Домби ясно выразил взглядом, сопровождавшим это напоминание, что в случае отказа ехать он может остаться дома, но не у него в конторе. Оба они с дядей были многим обязаны мистеру Домби; этого добился сам Уолтер. Самому себе он мог сознаться, что потерял надежду снискать расположение сего джентльмена, и мог считать, что тот иной раз относится к нему с пренебрежением, вряд ли оправданным. Но так или иначе, долг остается долгом — во всяком случае так думал Уолтер,— а долг нужно исполнять.

Когда мистер Домби взглянул на него и сказал, что он молод, а дела его дяди идут плохо, лицо его выражало презрение — пренебрежительную и унизительную мысль, что Уолтер-де весьма не прочь жить в праздности на средства обедневшего старика, и это задело благородную душу юноши. Решив доказать мистеру Домби,— если можно было дать такое доказательство, не прибегая к словам,— что тот судит о нем неверно, Уолтер старался после разговора о Вест-Индии быть еще веселее и расторопнее, чем раньше, насколько был на это способен человек с таким живым и пылким нравом, как у него. Он был слишком молод и неопытен и не помышлял о том, что эти самые качества могут быть неприятны мистеру Домби, а не унывать под сенью его грозной немилости, справедливой или несправедливой, отнюдь не значит подняться в его

глазах. Могло быть и так, что великий человек усматривал вызов в этом новом проявлении благородного духа и решил его сломить.

«Ну, что ж. В конце концов придется сказать дяде Солю»,— со вздохом думал Уолтер. А так как Уолтер боялся, что голос его, пожалуй, дрогнет и физиономия будет не такой веселой, как было бы ему желательно, если он сам сообщит об этом старику и увидит по морщинистому его лицу, какое впечатление произвело это известие, он задумал прибегнуть к услугам могущественного посредника — капитана Катля. Поэтому, когда настало воскресенье, он решил после завтрака вторгнуться в обиталище капитана Катля.

По дороге он с удовольствием припомнил, что каждое воскресное утро миссис Мак-Стинджер совершает далекое путешествие, чтобы послушать проповедь преподобного Мельхиседека Хаулера, который, будучи уволен со службы в Вест-индских доках по ложному подозрению (выдвинутому против него неведомым врагом) в том, будто он просверливал бочки и прикладывался губами к отверстию, предсказал, что светопреставление настанет ровно в десять часов утра через два года, начиная с того дня, и открыл зал для приема леди и джентльменов, приверженцев секты Горланов; * на первом же их собрании увещания преподобного Мельхиседека произвели столь сильное впечатление, что при восторженном исполнении священного джига, коим закончилась служба, все стадо провалилось в кухню и привело в негодное состояние каток для белья, принадлежавший одному из паствы.

Капитан в минуту необычайного оживления поведал об этом Уолтеру и его дяде в промежутках между куплетами «Красотки Пэг» в тот вечер, когда было уплачено маклеру Броли. Сам капитан аккуратно посещал церковь по соседству, которая поднимала великобританский флаг каждое воскресное утро, и где он по доброте своей — так как бидл был немощен — присматривал за мальчиками, среди которых пользовался большим авторитетом благодаря своему загадочному крючку. Зная нерушимые привычки капитана, Уолтер спешил по мере сил, чтобы застать его дома; и он развил такую скорость, что, свернув на Бриг-Плейс, имел удовольствие узреть широкий синий

фрак и жилет, вывешенные из открытого окна капитана для проветривания на солнце.

Казалось невероятным, что смертный мог увидеть фрак и жилет без капитана, но последний несомненно не был в них облачен, в противном случае ноги его — дома на Бриг-Плейс невысоки — преграждали бы вход в парадную дверь, который был совершенно свободен. Изумленный этим открытием, Уолтер постучал один раз.

— Стинджер, — отчетливо услышал он возглас капитана, несшийся сверху из его комнаты, как будто стук его вовсе не касался. Тогда Уолтер постучал два раза.

— Катль! — услышал он возглас капитана; и тотчас же капитан в чистой рубашке и подтяжках, в платке, свободно повязанном вокруг шеи, наподобие свернутого в бухту каната, и в глянцевитой шляпе появился в окне, выглядывая из-за широкого синего фрака и жилета.

— Уольр! — воскликнул капитан, с изумлением глядя на него вниз.

— Да, да, капитан Катль, — отвечал Уолтер, — это я.

— Что случилось, мой мальчик? — с великой тревогой осведомился капитан. — Уж не стряслось ли еще что-нибудь с Джилсом?

— Нет, нет, — ответил Уолтер. — У дяди все благополучно, капитан Катль.

Капитан выразил удовольствие и сообщил, что спустится вниз и отопрет дверь, что и сделал.

— Однако ты раненько, Уольр, — сказал капитан, все еще недоверчиво на него посматривая, пока они поднимались наверх.

— Вот в чем дело, капитан Катль, — садясь, сказал Уолтер, — я боялся, что вы уйдете, а мне нужен ваш дружеский совет.

— Ты его получишь, — сказал капитан. — Чем тебя угостить?

— Вашим мнением, капитан Катль, — с улыбкой отвечал Уолтер. — Больше мне ничего не нужно.

— В таком случае продолжай, — сказал капитан. — С удовольствием скажу тебе свое мнение, мой мальчик!

Уолтер рассказал ему о том, что произошло; о затруднении, какое возникло у него в связи с дядей, и о том

облегчении, какое он почувствует, если капитан Катль по доброте своей поможет ему; бесконечное изумление и недоумение, вызванные открывшейся перед капитаном перспективой, постепенно поглотили сего джентльмена, покуда его лицо не лишилось какого бы то ни было выражения, а синий костюм, глянцевитая шляпа и крючок, казалось, лишились хозяина.

— Видите ли, капитан Катль,— продолжал Уолтер,— что касается меня, то я молод, как сказал мистер Домби, и обо мне нечего думать. Я должен пробивать себе дорогу в жизни, я это знаю; но по пути сюда я размышлял о том, что должен быть осторожен в двух пунктах, поскольку это касается дяди. Я не хочу сказать, будто заслуживаю чести считаться гордостью и счастьем его жизни,— знаю, вы мне верите,— но тем не менее это так. Не кажется ли вам, что это так?

Капитан как будто сделал попытку подняться из бездны изумления и вновь обрести свое лицо; но это усилие ни к чему не привело, и глянцевитая шляпа только кивнула безгласно, с невыразимой многозначительностью.

— Если я буду жив и здоров,— сказал Уолтер,— а на этот счет у меня нет опасений,— все же, покидая Англию, я вряд ли могу надеяться увидеть дядю снова. Он стар, капитан Катль, кроме того, его жизнь основана на привычном...

— Стоп, Уолтер! На привычном отсутствии покупателей? — сказал капитан, вдруг воскресая.

— Совершенно верно,— отвечал Уолтер, покачивая головой,— но я имел в виду уклад его жизни, капитан Катль, постоянные привычки. И если (как вы очень справедливо заметили) он умер бы раньше времени, лишившись товаров и всех вещей, к которым привык за столько лет, то не думаете ли вы, что он умер бы еще раньше, лишившись...

— Своего племянника,— вставил капитан.— Правильно!

— Значит,— сказал Уолтер, пытаясь говорить весело,— мы должны уверить его, что разлука эта в конце концов только временная. Но я-то лучше знаю, капитан Катль, или опасаюсь, что лучше знаю, а так как у меня

столько оснований относиться к нему с любовью, почтением и уважением, то боюсь, как бы не оказаться мне совсем беспомощным, если я попробую его в этом убеждать. Вот главная причина, почему я хочу, чтобы о моем отъезде сообщили ему вы; и это пункт первый.

— Поверни на три румба! — задумчивым тоном заметил капитан.

— Что вы сказали, капитан Катль? — осведомился Уолтер.

— Держись крепче! — глубокомысленно ответил капитан.

Уолтер замолчал, дабы удостовериться, не желает ли капитан присовокупить к этому какое-нибудь особое замечание, но так как тот ничего больше не сказал, он заговорил снова:

— Теперь пункт второй, капитан Катль. К сожалению, должен сказать, что я не пользуюсь расположением мистера Домби. Я всегда старался делать все как можно лучше и делал, но он меня не любит. Быть может, он не властен над своими симпатиями и антипатиями,— об этом я ничего не говорю. Я говорю только, что он несомненно не любит меня. На это место он меня посылает не потому, что оно хорошее; он не удостаивает изображать его лучше, чем оно есть; и я очень сомневаюсь, чтобы оно когда-нибудь помогло мне занять более высокое положение в фирме — оно, мне кажется, является средством навсегда избавиться от меня и убрать меня с дороги. Но об этом мы ни слова не должны говорить дяде, капитан Катль; мы должны по мере сил изобразить это место выгодным и многообещающим; я рассказываю вам, каково оно на самом деле, но делаю это только для того, чтобы на родине был у меня друг, который знает истинное положение — на случай, если явится когда-нибудь возможность оказать мне помощь там, далеко.

— Уольр, мой мальчик,— отвечал капитан,— в притчах Соломоновых ты найдешь следующие слова: «Пусть никогда не будет у тебя недостатка в друге нуждающемся и в бутылке для него!» Когда найдешь это место, сделай отметку.

Тут капитан протянул руку Уолтеру с самым простодушным видом, который был красноречивей слов, и снова

повторил (ибо он гордился своей точной и кстати приведенной цитатой):

— Когда найдешь, сделай отметку.

— Капитан Катль,— продолжал Уолтер, беря обеими руками протянутую ему капитаном огромную лапу, которую он еле-еле мог обхватить,— после моего дяди Соля я больше всех люблю вас. И конечно нет на свете никого, кому бы я мог больше доверять. Что касается отъезда, капитан Катль, меня это не беспокоит; чего мне беспокоиться? Будь я волен искать счастья, будь я волен отправиться простым матросом, будь я волен пуститься на свой страх на край света,— я бы с радостью поехал! Я бы с радостью уехал уже несколько лет назад и посмотрел, что из этого выйдет. Но это противоречило желаниям моего дяди и планам, которые он для меня строил, и тем дело и кончилось. Но я чувствую, капитан Катль, что мы все время немножко ошибались, и если уж говорить о моих видах на будущее, положение мое теперь ничуть не лучше, чем в то время, когда я только что поступил в фирму Домби,— быть может, чуточку хуже, ибо тогда фирма, пожалуй, была расположена ко мне благосклонно, а теперь это, конечно, не так.

— Вернись, Виттингтон,— пробормотал огорченный капитан, поглядев на Уолтера.

— Да,— смеясь, отвечал Уолтер.— Боюсь, придется возвращаться много раз, капитан Катль, прежде чем подвернется такая удача, как ему. Впрочем, я не жалуюсь,— добавил он со свойственным ему бодрым, оживленным, энергическим видом.— Мне не на что жаловаться. Я обеспечен. Я как-нибудь проживу. Оставляя дядю, я оставляю его на вас; и нет лучше человека, на которого я мог бы его оставить, капитан Катль. Все это я вам рассказал не потому, что я в отчаянии, о нет! Но нужно вас убедить, что я не могу выбирать, служа в фирме Домби, и куда меня посылают, туда я должен ехать, и что мне предлагают, то я должен принять. Для дяди лучше, что меня отсылают, так как в его глазах мистер Домби — драгоценный друг, каким он себя и показал,— вам это известно, капитан Катль; и я уверен, что он не сделается менее драгоценным, если не будет здесь меня, чтобы ежедневно возбуждать его неприязнь. Итак, да здрав-

ствует Вест-Индия, капитан Катль! Как начинается эта песня, которую поют моряки?

В порт Барбадос, ребята!
  Веселей!
Старая Англия прощай, ребята!
  Веселей!

Капитан заорал припев:

Эх! Веселей, веселей!
  Эх, веселей!

Последний стих коснулся чутких ушей жившего напротив ревностного шкипера, не совсем трезвого, который немедленно вскочил с постели, распахнул окно и через улицу подхватил во всю глотку припев, что произвело прекрасное впечатление. Когда уже невозможно было тянуть дольше последнюю ноту, шкипер проревел устрашающе: «Эхой!» — отчасти в виде дружеского приветствия, а отчасти из желания показать, что он ничуть не задохся. Совершив это, он закрыл окно и снова лег в постель.

— А теперь, капитан Катль,— сказал Уолтер, подавая ему синий фрак и жилет и поторапливая капитана,— если вы пойдете и сообщите дяде Солю новость (которую ему, по справедливости, следовало бы узнать давным-давно), я, знаете ли, оставлю вас у двери и пойду поброжу до полудня.

Однако капитан был как будто не очень обрадован поручением и отнюдь не уверен в своей способности исполнить его. Он устроил жизнь и похождения Уолтера совсем по-иному, и, к полному своему удовольствию, он так часто радовался своей прозорливости и предусмотрительности, обнаруженным в этом устроении, и находил его столь законченным и совершенным во всех отношениях, что великое усилие воли требовалось от него, чтобы присутствовать при том, как все разваливается, и даже способствовать этому разрушению. Вдобавок капитану очень трудно было выгрузить старые свои представления об этом предмете и, приняв на борт новый груз с той стремительностью, какой требовали обстоятельства, не перепутать оба груза. Итак, вместо того чтобы надеть фрак и жилет с проворством, какое одно только и могло

отвечать расположению духа Уолтера, он вовсе отказался облачиться в это одеяние и уведомил Уолтера, что по случаю такого серьезного дела следует разрешить ему «чуточку погрызть ногти».

— Это у меня старая привычка, Уольр,— сказал капитан,— ей вот уже пятьдесят лет. Когда ты видишь, что Нэд Катль грызет ногти, Уольр, будь уверен, что Нэд Катль на мели.

Затем капитан сунул меж зубов свой железный крючок, словно это была рука, и с видом мудрым и глубокомысленным, присущим выспренности всякого философического размышления и серьезного исследования, принялся обдумывать это дело в его многоразличных разветвлениях.

— Есть у меня друг,— рассеянно бормотал капитан,— но в настоящее время он плавает вдоль побережья в Уитби, а он может высказать такое суждение по этому вопросу, да и по всякому другому, что даст шесть очков вперед парламенту и побьет его. Дважды падал этот человек за борт,— сказал капитан,— и ему хоть бы что! Когда он был в ученье, его три недели (с перерывами) колотили по голове железным болтом. А все-таки не ходил еще по земле человек с более ясным умом.

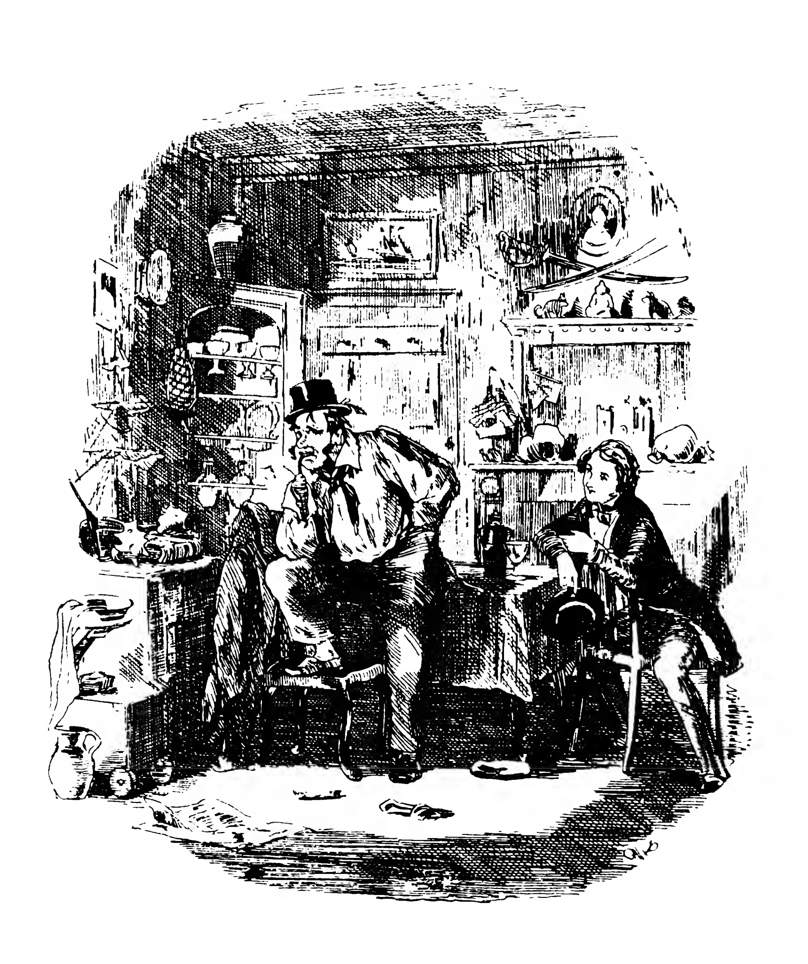
Несмотря на свое уважение к капитану Катлю, Уолтер втайне не мог не порадоваться отсутствию этого мудреца и не пожелать от всей души, чтобы этот светлый ум не был привлечен к разрешению его затруднений, покуда они не будут окончательно улажены.

— Если бы ты взял да показал этому человеку Норский буй,— тем же тоном продолжал капитан Катль,— и пожелал бы узнать его мнение о нем, Уольр, он бы тебе высказал мнение, которое имело бы такое же отношение к этому бую, как пуговицы твоего дяди. По земле не ходил человек — во всяком случае на *двух* ногах,— который мог бы за ним угнаться. Нет, никому не угнаться.

— Как его зовут, капитан Катль? — осведомился Уолтер, решив заинтересоваться другом капитана.

— Зовут его Бансби,— сказал капитан.— Но, бог мой, с такой головой, как у него, можно зваться как угодно!

Точный смысл, который капитан вкладывал в эту последнюю похвалу, он не стал разъяснять, да и Уолтер не



пытался его открыть. Ибо, начав еще раз пересматривать с возбуждением, естественным для него и того положения, в котором он находился, главные пункты своих затруднений, он вскоре обнаружил, что капитан вновь впал в прежнее глубокомысленное состояние и хотя взирает на него пристально из-под косматых бровей, но, очевидно, не видит его и не слышит, погруженный в раздумье.

Действительно, капитан Катль разрабатывал столь грандиозные планы, что, снявшись с мели, вышел вскоре в глубочайшие воды и не мог нащупать дна своей проницательности. Постепенно капитану стало совершенно ясно, что произошла какая-то ошибка; что несомненно ошибку допустил скорее Уолтер, чем он; что если и есть какой-то проект, связанный с Вест-Индией, то он ничего общего не имеет с предположениями Уолтера, человека молодого и опрометчивого, и может быть лишь новым средством для быстрейшего устроения его счастья. «Если и возникло между ними какое-нибудь маленькое недоразумение,— думал капитан, имея в виду Уолтера и мистера Домби,— то достаточно одного слова, вовремя сказанного другом обеих сторон, чтобы все уладить, сгладить и снова привести в полную исправность». Из этих соображений капитан Катль сделал следующий вывод: так как он уже имеет удовольствие знать мистера Домби, проведя в его обществе очень приятные полчаса в Брайтоне (в то утро, когда они брали деньги взаймы), а два светских человека, которые понимают друг друга и оба готовы привести все в порядок, легко могут уладить такого рода маленькое затруднение и перейти к реальным фактам,— то долг дружбы повелевает ему, ни слова не говоря сейчас об этом Уолтеру, попросту зайти к мистеру Домби, сказать слуге: «Будь добр, любезный, доложи, что пришел капитан Катль», встретиться с мистером Домби в духе взаимного доверия, зацепить его крючком за петлю фрака, обо всем переговорить, привести все к желаемому концу и удалиться с триумфом!

Когда эти соображения мелькнули у капитана и постепенно обрели форму, физиономия его прояснилась, как хмурое утро, уступающее место солнечному полудню. Брови, которые были зловеще нахмурены, перестали топорщиться и разгладились; глаза, которые почти закры-

лись от жестокого умственного напряжения, раскрылись широко; улыбка, которая ограничила себя сначала тремя точками — правым уголком рта и уголками обоих глаз,— постепенно расплылась по всему лицу и, заструившись вверх по лбу, приподняла глянцевитую шляпу, словно и эта шляпа тоже сидела на мели вместе с капитаном Катлем, а теперь, подобно ему, снялась с мели.

Наконец капитан перестал грызть ногти и сказал:

— Теперь, Уольр, мой мальчик, помоги мне натянуть это обмундирование.— Капитан имел в виду свой фрак и жилет.

Уолтеру и в голову не приходило, почему капитан так старательно повязывал галстук, закручивая свисающие концы его, как свиной хвостик, и продергивая их в массивное золотое кольцо, на котором, в память какого-то усопшего друга, были изображены могила, железная ограда и дерево. И почему капитан подтянул вверх воротник рубашки, насколько позволяло ирландское нижнее белье, и таким образом украсил себя настоящими шорами; и почему он снял башмаки и надел неподражаемую пару полусапог, которою пользовался только в экстренных случаях. Нарядившись, наконец, к полному своему удовольствию и осмотрев себя с ног до головы в зеркальце для бритья, снятом для этой цели со стены, капитан взял свою сучковатую палку и объявил, что готов.

Когда они вышли на улицу, капитан выступал с бо́льшим самодовольством, чем обычно, но это обстоятельство Уолтер приписал действию сапог и особого внимания на него не обратил. Они не успели далеко уйти, как повстречали женщину, продававшую цветы, и капитан, остановившись как вкопанный, словно его осенила блестящая мысль, купил самый большой пучок в ее корзине — великолепнейший букет в форме веера, имевший около двух с половиной футов в обхвате и составленный из прекраснейших в мире цветов.

Вооруженный этим маленьким подношением, предназначавшимся для мистера Домби, капитан Катль шел с Уолтером, покуда они не приблизились к двери мастера судовых инструментов, перед которой оба остановились.

— Вы зайдете? — спросил Уолтер.

— Да,— отвечал капитан, чувствуя, что от Уолтера

нужно избавиться, прежде чем приступить к дальнейшему, и что лучше перенести намеченный визит на более поздний час.

— И вы ничего не забудете? — спросил Уолтер.

— Нет,— ответил капитан.

— Я сейчас же отправлюсь на прогулку,— сказал Уолтер,— и не буду мешать, капитан Катль.

— Хорошенько прогуляйся, мой мальчик! — крикнул ему вслед капитан. Уолтер махнул рукой в знак согласия и пошел своей дорогой.

Идти ему было некуда, и он решил выйти в поле, где бы можно было поразмыслить о предстоящей ему неведомой жизни и, лежа под деревом, спокойно подумать. Самыми красивыми казались ему поля близ Хэмстеда, а лучшей дорогой — дорога мимо дома мистера Домби.

Когда Уолтер проходил мимо него и поднял глаза на хмурый его фасад, дом, как всегда, был величествен и мрачен. Все шторы были спущены, но окна верхнего этажа открыты настежь, и ветерок, пробегая по занавескам и развевая их, один только и оживлял внешний вид дома. Уолтер прошел спокойно мимо и был рад, когда этот дом и следующий за ним остались позади.

Тогда он оглянулся,— с любопытством, которое всегда внушал ему этот дом со времени приключения с заблудившейся девочкой много лет назад, и с особым вниманием посмотрел на окна в верхнем этаже. Пока он был этим занят, к двери подъехала коляска, и осанистый джентльмен в черном, с массивной цепочкой от часов, сошел и вступил в дом. Вспомнив потом о джентльмене и его экипаже, Уолтер не сомневался, что это врач, и задавал себе вопрос, кто болен; но это открытие он сделал уже после того, как прошел некоторое расстояние, рассеянно размышляя о других вещах.

Впрочем, и эти его размышления были связаны с домом мистера Домби; ибо Уолтер тешил себя надеждой, что настанет время, когда прелестная девочка, старый его друг, которая с тех пор всегда была ему так благодарна и так рада его видеть, заинтересует им своего брата и изменит его судьбу к лучшему. В тот момент ему было приятно мечтать об этом — скорее из-

за удовольствия воображать, что она постоянно будет о нем помнить, чем ради жизненных благ, какие могли бы выпасть в этом случае на его долю; но другое, более трезвое соображение подсказывало ему, что если он до той поры не умрет, то будет за океаном, всеми забытый, а она — замужем, богатая, гордая, счастливая. При столь изменившихся обстоятельствах у нее будет не больше оснований вспоминать о нем, чем об одной из старых игрушек. Пожалуй, даже меньше.

Однако Уолтер так идеализировал хорошенькую девочку, которую встретил на шумных улицах, и так тесно связывал с ней наивную ее благодарность в тот вечер и простодушное, искреннее выражение этой благодарности, что осуждал себя, как клеветника, за свои предположения, будто она когда-нибудь станет гордой и высокомерной. С другой стороны, размышления его носили такой фантастический характер, что едва ли не клеветой казалось ему воображать, будто она станет женщиной,— думать о ней иначе, чем о том непосредственном, кротком, обаятельном создании, каким она была в дни Доброй миссис Браун. Одним словом, Уолтер убедился, что рассуждать с самим собой о Флоренс весьма неблагоразумно; и лучшее, что он может сделать, это — хранить в памяти ее образ как нечто драгоценное, недостижимое, неизменное и неясное — неясное во всем, кроме ее власти доставлять ему радость и, подобно руке ангела, удерживать его от всего недостойного.

Длинную прогулку по полям совершил в тот день Уолтер, слушая пение птиц, воскресный колокольный звон и заглушенный шум города, вдыхая сладкие ароматы, посматривая иной раз на туманный горизонт, куда лежал его путь и где находилось место его назначения, потом окидывая взглядом зеленые английские луга и родной пейзаж. Но вряд ли он хоть раз отчетливо подумал об отъезде и, казалось, беспечно откладывал размышления об этом с часу на час и с минуты на минуту, не переставая, однако, размышлять.

Уолтер оставил за собой поля и в прежнем раздумье брел по направлению к дому, как вдруг услышал окрик мужчины, а затем голос женщины, громко назвавшей его по имени. С удивлением повернувшись, он увидел, что

наемная карета, ехавшая в противоположную сторону, остановилась неподалеку и кучер оглядывается со своих козел, делая ему знаки кнутом, а молодая женщина в карете высунулась из окна и подзывает его весьма энергически. Подбежав к карете, он убедился, что молодая женщина была мисс Нипер и что мисс Нипер была в смятении и почти вне себя.

— Сады Стегса, мистер Уолтер! — сказала мисс Нипер.— О, умоляю вас!

— Что? — воскликнул Уолтер.— Что случилось?

— О мистер Уолтер, Сады Стегса, пожалуйста! — сказала Сьюзен.

— Ну, вот! — вскричал кучер, с каким-то торжествующим отчаянием взывая к Уолтеру.— Вот этак молодая леди твердит уже битый час, а я только и делаю, что пячусь задом, чтобы выбраться из тупиков, куда ей *угодно* ехать. Много бывало в этой карете седоков, но такого седока, как она,— никогда.

— Вы хотите проехать в Сады Стегса, Сьюзен? — осведомился Уолтер.

— Да! *Она* хочет туда проехать! *Где они?* — зарычал кучер.

— Я не знаю, где они! — вне себя вскричала Сьюзен.— Мистер Уолтер, когда-то я сама там была с мисс Флой и с нашим бедным миленьким мистером Полем, в тот самый день, когда вы нашли мисс Флой в Сити, потому что на обратном пути мы ее потеряли, миссис Ричардс и я, и бешеный бык, и старший сын миссис Ричардс, и хотя я бывала там с тех пор, я не могу припомнить, где это место, мне кажется, оно провалилось сквозь землю. О мистер Уолтер, не покидайте меня. Сады Стегса, пожалуйста! Любимец мисс Флой — наш общий любимец — маленький, кроткий, кроткий мистер Поль! О мистер Уолтер!

— Ах, боже мой! — воскликнул Уолтер.— Он очень болен?

— Миленький цветочек! — кричала Сьюзен, ломая руки.— Ему запало в голову, что он хочет повидать свою старую кормилицу, и я поехала, чтобы привезти ее к его постели, миссис Стегс из Садов Поли Тудль, кто-нибудь, умоляю, помогите!

Глубоко растроганный тем, что услышал, и тотчас заразившись волнением Сьюзен, Уолтер уразумел цель ее поездки и взялся за дело с таким рвением, что кучеру большого труда стоило следовать за ним, пока он бежал впереди, спрашивая у всех дорогу к Садам Стегса.

Но Садов Стегса не было. Это место исчезло с лица земли. Где находились некогда старые подгнившие беседки, ныне возвышались дворцы, и гранитные колонны непомерной толщины поднимались у входа в железнодорожный мир. Жалкий пустырь, где в былые времена громоздились кучи отбросов, был поглощен и уничтожен; и место этого грязного пустыря заняли ряды торговых складов, переполненных дорогими товарами и ценными продуктами. Прежние закоулки были теперь запружены пешеходами и всевозможными экипажами; новые улицы, которые прежде уныло обрывались, упершись в грязь и колесные колеи, образовали теперь самостоятельные города, рождающие благотворный комфорт и удобства, о которых никто не помышлял, покуда они не возникли. Мосты, которые прежде никуда не вели, приводили теперь к виллам, садам, церквам и прекрасным местам для прогулок. Остовы домов и начала новых улиц развили скорость пара и ворвались в предместья чудовищным поездом.

Что касается окрестного населения, которое не решалось признать железную дорогу в первые дни ее бытия, то оно поумнело и раскаялось, как поступил бы в таком случае любой христианин, и теперь хвасталось своим могущественным и благоденствующим родственником. Железнодорожные рисунки на тканях у торговцев мануфактурой и железнодорожные журналы в витринах газетчиков. Железнодорожные отели, кофейни, меблированные комнаты, пансионы; железнодорожные планы, карты, виды, обертки, бутылки, коробки для сандвичей и расписания; железнодорожные стоянки для наемных карет и кэбов; железнодорожные омнибусы, железнодорожные улицы и здания, железнодорожные прихлебатели, паразиты и льстецы в неисчислимом количестве. Было даже железнодорожное время, соблюдаемое часами, словно само солнце сдалось. Среди побежденных находился главный трубочист, бывший «невер» Садов Стегса, который

жил теперь в оштукатуренном трехэтажном доме и объявлял о себе на покрытой лаком доске с золотыми завитушками как о подрядчике по очистке железнодорожных дымоходов с помощью машин.

К центру и из центра этого великого преображенного мира день и ночь стремительно неслись и снова возвращались пульсирующие потоки — подобно живой крови. Толпы людей и горы товаров, отправлявшиеся и прибывавшие десятки раз на протяжении суток, вызывали здесь брожение, которое не прекращалось. Даже дома, казалось, были склонны упаковаться и предпринять путешествие. Достойные восхищения члены парламента, которые лет двадцать тому назад потешались над нелепыми железнодорожными теориями инженеров и устраивали им всевозможные каверзы при перекрестном допросе, уезжали теперь с часами в руках на север и предварительно посылали по электрическому телеграфу предупреждение о своем приезде. День и ночь победоносные паровозы грохотали вдали или плавно приближались к концу своего путешествия и вползали, подобно укрощенным драконам, в отведенные для них уголки, размеры которых были выверены до одного дюйма; они стояли там, шипя и вздрагивая, сотрясая стены, словно были преисполнены тайного сознания могущественных сил, в них еще не открытых, и великих целей, еще не достигнутых.

Но Сады Стегса были выкорчеваны окончательно. О, горе тому дню, когда «ни одна пядь английской земли», на которой были разбиты Сады Стегса, не находилась в безопасности!

Наконец после долгих бесплодных расспросов Уолтер, сопутствуемый каретой и Сьюзен, встретил человека, который некогда проживал в этой ныне исчезнувшей стране и оказался не кем иным, как главным трубочистом, упомянутым выше, растолстевшим и стучавшим двойным ударом в свою собственную дверь. По его словам, он хорошо знал Тудля. Он имеет отношение к железной дороге, не так ли?

— Да, сэр! — закричала Сьюзен Нипер из окна кареты.

— Где он живет теперь? — быстро осведомился Уолтер.

Он жил в собственном доме Компании, второй поворот направо, войти во двор, пересечь его и снова второй поворот направо. Номер одиннадцатый — ошибиться они не могли, но если бы это случилось, им нужно только спросить Тудля, кочегара на паровозе, и всякий им покажет, где его дом. После такой неожиданной удачи Сьюзен Нипер поспешно вылезла из кареты, взяла под руку Уолтера и пустилась во всю прыть пешком, оставив карету ждать их возвращения.

— Давно ли болен мальчик, Сьюзен? — спросил Уолтер, в то время как они шли быстрым шагом.

— Нездоровилось ему очень давно, но никто не думал, что это серьезно,— сказала Сьюзен и с необычайной резкостью добавила: — Ох, уж эти Блимберы!

— Блимберы? — повторил Уолтер.

— Я бы себе не простила, если б в такое время, как сейчас, мистер Уолтер,— сказала Сьюзен,— когда у нас столько бед, о которых приходится думать, стала нападать на кого-нибудь, в особенности на тех, о ком милый маленький Поль отзывается хорошо, но *могу* же я пожелать, чтобы все семейство было послано на работу в каменистой местности, прокладывать новые дороги, и чтобы мисс Блимбер шла впереди с мотыгой!

Затем мисс Нипер перевела дух и зашагала еще быстрее, как будто это удивительное пожелание доставило ей облегчение. Уолтер, который и сам к тому времени запыхался, летел вперед, не задавая больше вопросов; и вскоре, охваченные нетерпением, они подбежали к маленькой двери и вошли в опрятную гостиную, набитую детьми.

— Где миссис Ричардс? — озираясь, воскликнула Сьюзен Нипер.— О миссис Ричардс, миссис Ричардс, поедемте со мной, родная моя!

— Да ведь это Сьюзен! — с великим изумлением вскричала Полли; ее открытое лицо и полная фигура показались среди обступавших ее детей.

— Да, миссис Ричардс, это я,— сказала Сьюзен,— и хотела бы я, чтобы это была не я, хотя, пожалуй, нелюбезно так говорить, но маленький мистер Поль очень болен и сегодня сказал своему папаше, что был бы рад увидеть свою старую кормилицу, и он и мисс Флой надеются, что вы со мной поедете, и мистер Уолтер

также, миссис Ричардс, — забудьте прошлое и сделайте доброе дело, навестите дорогого крошку, который угасает. Да, миссис Ричардс, угасает!

Сьюзен Нипер заплакала, и Полли залилась слезами, глядя на нее и слушая, что она говорит; все дети собрались вокруг (включая и нескольких новых младенцев); а мистер Тудль, который только что вернулся домой из Бирмингема и доедал из миски свой обед, отложил нож и вилку, подал жене чепец и платок, висевшие за дверью, затем хлопнул ее по спине и произнес с отеческим чувством, но без цветов красноречия:

— Полли! Ступай!

Таким образом, они вернулись к карете гораздо раньше, чем предполагал кучер; и Уолтер, усадив Сьюзен и миссис Ричардс, сам занял место на козлах, чтобы не было больше никаких ошибок, и благополучно доставил их в холл дома мистера Домби, где, между прочим, заметил огромный букет, напомнивший ему тот, который капитан Катль купил утром. Он бы охотно остался узнать о маленьком больном и ждал бы сколько угодно, чтобы оказать хоть какую-нибудь услугу, но с болью сознавая, что такое поведение покажется мистеру Домби самонадеянным и дерзким, ушел медленно, печально, в тревоге.

Не прошло и пяти минут, как его догнал человек, бежавший за ним, и попросил вернуться. Уолтер быстро повернул назад и с тяжелыми предчувствиями переступил порог мрачного дома.

ГЛАВА XVI

О чем все время говорили волны

Поль больше не вставал со своей постельки. Он лежал очень спокойно, прислушиваясь к шуму на улице, мало заботясь о том, как идет время, но следя за ним и следя за всем вокруг пристальным взглядом.

Когда солнечные лучи врывались в его комнату сквозь шелестящие шторы и струились по противоположной

стене, как золотая вода, он знал, что близится вечер и что небо багряное и прекрасное. Когда отблески угасали и, поднимаясь по стене, прокрадывались сумерки, он следил, как они сгущаются, сгущаются, сгущаются в ночь. Тогда он думал о том, как усеяны фонарями длинные улицы и как светят вверху тихие звезды. Мысль его отличалась странной склонностью обращаться к реке, которая, насколько было ему известно, протекала через великий город; и теперь он думал о том, сколь она черна и какой кажется глубокой, отражая сонмы звезд, а больше всего — о том, как неуклонно катит она свои воды навстречу океану.

По мере того как надвигалась ночь и шаги на улице раздавались так редко, что он мог расслышать их приближение, считать их, когда они замедлялись, и следить, как они теряются вдалеке, он лежал и глядел на многоцветное кольцо вокруг свечи и терпеливо ждал дня. Только быстрая и стремительная река вызывала у него беспокойство. Иной раз он чувствовал, что должен попытаться остановить ее — удержать своими детскими ручонками или преградить ей путь плотиной из песка,— и когда он видел, что она надвигается, неодолимая, он вскрикивал. Но достаточно было Флоренс, которая всегда находилась около него, сказать одно слово, чтобы он пришел в себя; и, прислонив свою бедную головку к ее груди, он рассказывал Флой о своем сновидении и улыбался.

Когда начинал загораться день, он ждал солнца, и когда яркий его свет начинал искриться в комнате, он представлял себе — нет, не представлял! он видел — высокие колокольни, вздымающиеся к утреннему небу, город, оживающий, пробуждающийся, вновь вступающий в жизнь, реку, сверкающую и катящую свои волны (но катящуюся все с тою же быстротой), и поля, освеженные росою. Знакомые звуки и крики начинали постепенно раздаваться на улице; слуги в доме просыпались и принимались за работу; чьи-то лица заглядывали в комнату, и тихие голоса спрашивали ухаживающих за ним, как он себя чувствует. Поль всегда отвечал сам:

— Мне лучше. Мне гораздо лучше, благодарю вас! Передайте это папе!

Постепенно он уставал от сутолоки дня, от шума экипажей, подвод и людей, сновавших взад и вперед, и засыпал, или его снова начинала тревожить беспокойная мысль — мальчик вряд ли мог сказать, было то во сне или наяву,— мысль об этой стремительной реке.

— Ах, неужели она никогда не остановится, Флой? — иной раз спрашивал он.— Мне кажется, она меня уносит.

Но Флой всегда умела уговорить его и успокоить; и ежедневно он испытывал радость, заставляя ее опустить голову на его подушку и отдохнуть.

— Ты всегда ухаживаешь за мной, Флой. Теперь дай мне поухаживать за *тобой!*

Его обкладывали подушками в углу кровати, и он сидел, откинувшись на них, в то время как она лежала возле него; часто наклонялся, чтобы поцеловать ее, и шепотом говорил тем, кто находился с ними, что она устала и что она столько ночей не спит, сидя подле него.

Так постепенно угасал день, жаркий и светлый, и снова золотая вода струилась по стене.

Его навещали три важных доктора,— обычно они встречались внизу и вместе поднимались наверх,— и в комнате было так тихо, а Поль так пристально следил за ними (хотя он никогда и никого не спрашивал, о чем они говорят), что даже различал тиканье их часов. Но внимание его сосредоточивалось на сэре Паркере Пепсе, который всегда садился на край его кровати. Ибо Поль слышал, как говорили, давно-давно, что этот джентльмен был при его маме, когда она обвила руками Флоренс и умерла. И он не мог забыть об этом. Он любил его за это. Он его не боялся.

Люди вокруг него изменялись так же непонятно, как в тот первый вечер * в доме доктора Блимбера,— все, кроме Флоренс; Флоренс никогда не менялась; а тот, кто был сэром Паркером Пепсом, превращался затем в отца, который сидел, подпирая голову рукою. Старая миссис Пипчин, дремлющая в кресле, часто превращалась в мисс Токс или тетку; и Поль довольствовался тем, что снова закрывал глаза и спокойно ждал, что последует дальше. Но эта фигура, подпиравшая голову рукою, возвращалась так часто, оставалась так долго, сидела так неподвижно и

торжественно, ни с кем не заговаривая — с нею тоже не заговаривали,— и редко поднимая лицо, что Поль устало начал размышлять о том, существует ли она на самом деле, и когда видел ее, сидящую здесь ночью, ему становилось страшно.

— Флой! — сказал он.— Что *это*?

— Где, дорогой?

— Там! В ногах кровати.

— Там никого нет, кроме папы!

Фигура подняла голову, встала и, подойдя к кровати, произнесла:

— Родной мой! Разве ты не узнаешь меня?

Поль посмотрел ей в лицо и подумал: неужели это его отец? Но лицо, такое изменившееся, на его взгляд, сморщилось, словно от боли, и не успел он протянуть руки, чтобы обхватить его и привлечь к себе, как фигура быстро отошла от кровати и скрылась в дверях.

Поль с трепещущим сердцем взглянул на Флоренс; он понял, что она хочет сказать, и остановил ее, прижавшись лицом к ее губам. Заметив следующий раз эту фигуру, сидящую в ногах кровати, он окликнул ее.

— Не горюйте обо мне, милый папа! Право же, мне совсем хорошо!

Когда отец подошел и наклонился к нему,— он это сделал быстро и порывисто,— Поль обнял его за шею и повторил эти слова несколько раз и очень серьезно; и с тех пор, когда бы Поль ни видел его у себя в комнате,— было это днем или ночью,— он всегда восклицал: «Не горюйте обо мне! Право же, мне совсем хорошо!» Вот тогда-то он и начал говорить по утрам, что ему гораздо лучше и чтобы это передали отцу.

Сколько раз золотая вода струилась по стене, сколько ночей темная, темная река, невзирая на него, катила свои воды к океану, Поль не считал, не пытался узнать. Если бы доброта всех окружающих или его ощущение этой доброты могли стать еще больше, то пришлось бы допустить, что они становились добрее, а он — признательнее с каждым днем; но много или мало дней прошло — казалось теперь неважным кроткому мальчику.

Однажды ночью он размышлял о матери и ее портрете в гостиной внизу и подумал, что, должно быть, она любила

Флоренс больше, чем отец, если держала ее в своих объятиях, когда почувствовала, что умирает, ибо даже у него, ее брата, который так горячо ее любил, не могло быть более сильного желания. И тут у него возник вопрос, видел ли он когда-нибудь свою мать, потому что он не мог припомнить, отвечали они ему на это «да» или «нет»,— река текла так быстро и затуманивала ему голову.

— Флой, видел ли я когда-нибудь маму?

— Нет, дорогой; почему ты об этом спрашиваешь?

— Неужели я никогда не видел какого-то лица, ласкового, точно у мамы, склонявшегося надо мною, когда я был маленьким, Флой?

Он спрашивает недоверчиво, как будто перед ним рисовался чей-то образ.

— Видел, дорогой!

— Чье же, Флой?

— Твоей старой кормилицы. Часто.

— А где моя старая кормилица? — спросил Поль.— Она тоже умерла? Флой, мы *все* умерли, кроме тебя?

Было какое-то смятение в комнате, продолжавшееся секунду,— быть может, дольше, но вряд ли,— потом все снова стихло; и Флоренс, без кровинки в лице, но улыбающаяся, поддерживала рукою его голову. Рука ее сильно дрожала.

— Пожалуйста, покажи мне эту старую кормилицу, Флой!

— Ее здесь нет, милый. Она придет завтра.

— Спасибо, Флой.

С этими словами Поль закрыл глаза и заснул. Когда он проснулся, солнце стояло высоко, и день был ясный и теплый. Он полежал немного, глядя на окна, которые были открыты, и на занавески, шелестевшие и развевавшиеся на ветру; потом он сказал:

— Флой, это уже «завтра»? Она пришла?

Кажется, кто-то пошел за ней. Быть может, это была Сьюзен. Полю почудилось, когда он снова закрыл глаза, будто Сьюзен сказала ему, что скоро вернется; но он не открыл их, чтобы посмотреть. Она сдержала слово — быть может, она и не уходила,— но первое, что он услышал вслед за этим, были шаги на лестнице, и тогда Поль проснулся и сел, выпрямившись, в постели. Теперь он видел

всех около себя. Их больше не окутывал серый туман, какой бывал иногда по ночам. Он узнал их всех и назвал по именам.

— А это кто? Это моя старая кормилица? — спросил мальчик, глядя с сияющей улыбкой на входившую женщину.

Да. Больше никто из чужих людей не стал бы проливать слезы при виде его и называть его дорогим ее мальчиком, миленьким ее мальчиком, ее бедным, родным, измученным ребенком. Никакая другая женщина не стала бы опускаться на колени возле его кровати, брать его исхудалую ручку и прижимать к губам и к груди, как человек, имеющий какое-то право ласкать ее. Никакая другая женщина не могла бы так забыть обо всех, кроме него и Флой, и исполниться такой нежности и жалости.

— Флой! У нее милое, доброе лицо! — сказал Поль.— Я рад, что снова его вижу. Не уходи, старая кормилица. Останься со мною!

Все чувства его были обострены; и он услышал имя, которое знал.

— Кто это сказал «Уолтер»? — спросил он, оглядываясь.— Кто-то сказал «Уолтер». Он здесь? Мне бы очень хотелось его увидеть.

Никто не ответил сразу; но через мгновение отец сказал Сьюзен:

— В таком случае верните его. Пусть поднимется сюда!

Немного погодя — тем временем Поль, улыбаясь, смотрел с любопытством и удивлением на свою кормилицу и видел, что она не забыла Флой,— Уолтера ввели в комнату. Его открытое лицо, непринужденные манеры и веселые глаза всегда привлекали к нему Поля; увидев его, Поль протянул руку и сказал:

— Прощайте!

— Прощайте, дитя мое? — воскликнула миссис Пипчин, поспешив к изголовью кровати.— Почему «прощайте»?

Секунду Поль смотрел на нее с задумчивым видом, с каким так часто разглядывал ее из своего уголка у камина.

— О да,— спокойно сказал он,— прощайте! Уолтер, дорогой, прощайте! — Он повернул голову в ту сторону, где стоял Уолтер, и снова протянул руку.— Где папа?

Он почувствовал дыхание отца на своей щеке, прежде чем успел произнести эти слова.

— Не забывайте Уолтера, дорогой папа,— прошептал он, глядя ему в лицо.— Не забывайте Уолтера. Я любил Уолтера!

Слабая ручка взмахнула, как будто крикнула Уолтеру еще раз «прощайте!».

— Теперь положите меня,— сказал он,— и подойди, Флой, ко мне поближе и дай мне посмотреть на тебя!

Сестра и брат обвили друг друга руками, и золотой свет потоком ворвался в комнату и упал на них, слившихся в объятии.

— Как быстро течет река мимо зеленых берегов и камышей, Флой! Но она очень недалеко от моря. Я слышу говор волн! Они все время так говорили.

Потом он сказал ей, что его убаюкивает скольжение лодки по реке. Какие зеленые теперь берега, какие яркие цветы на них и как высок камыш! Теперь лодка вышла в море, но плавно подвигается вперед. А вот теперь перед ним берег. Кто это стоит на берегу?..

Он сложил ручки, как складывал, бывало, на молитве. Но он не отнял рук, было видно, как он соединил их у нее на шее.

— Мама похожа на тебя, Флой. Я ее знаю в лицо! Но скажи им, что гравюра на лестнице в школе не такая божественная. Сияние вокруг этой головы освещает мне путь!

И снова на стене золотая рябь, а в комнате все недвижимо. Древний закон сей пришел с нашим первым одеянием и будет нерушим, пока род человеческий не пройдет своего пути и необъятный небосвод не свернется, как свиток. Древний закон сей — Смерть!

О, возблагодарим бога все те, кто видит ее, за другой еще более древний закон — Бессмертье! И не смотрите на нас, ангелы маленьких детей, безучастно, когда быстрая река уносит нас к океану!

ГЛАВА XVII

Капитану Катлю удается кое-что устроить для молодых людей

Капитан Катль, применяя тот изумительный талант к составлению таинственных и непостижимых проектов, которым он искренне считал себя наделенным от природы (что вообще свойственно людям безмятежно простодушным), отправился в это знаменательное воскресенье к мистеру Домби, всю дорогу подмигивал, давая тем исход своей чрезмерной проницательности, и предстал в своих ослепительных сапогах пред очи Таулинсона. С глубоким огорчением услышав от этого индивидуума о надвигающемся несчастье, капитан Катль со свойственной ему деликатностью поспешил удалиться в смущении, оставив только букет в знак своего участия, поручив передать почтительный привет всему семейству и выразив при этом надежду, что при создавшихся обстоятельствах они будут держаться носом против ветра, и дружески намекнул, что «заглянет еще раз» завтра.

О привете капитана никто так и не услышал. Букет капитана, пролежав всю ночь в холле, был выброшен утром в мусорное ведро; а хитроумный план капитана, застигнутый крушением более высоких надежд и более величественных замыслов, был окончательно расстроен. Так, когда лавина сметает лес в горах, побеги и кусты претерпевают ту же участь, что и деревья, и все погибают вместе.

Когда Уолтер в этот воскресный вечер вернулся домой после длинной своей прогулки и памятного ее завершения, он сначала был слишком поглощен известием, которое должен был сообщить, и чувствами, какие, естественно, пробудила в нем сцена, им виденная, и не заметил, что дядя, по-видимому, не знает той новости, которую капитан взялся объявить, а капитан подает сигналы своим крючком, предлагая ему не касаться этой темы. Впрочем, сигналы капитана трудно было понять, как бы внимательно в них ни всматриваться; ибо подобно тем китайским мудрецам, о которых говорят, будто они во

время беседы пишут в воздухе какие-то ученые слова, совершенно неудобопроизносимые, капитан чертил такие зигзаги и росчерки, что не посвященный в его тайну никак не мог бы их уразуметь.

Однако капитан Катль, узнав о случившемся, отказался от этих попыток, видя, как мало остается теперь шансов на непринужденную беседу с мистером Домби до отъезда Уолтера. Но признавшись самому себе с видом разочарованным и огорченным, что Соль Джилс должен быть предупрежден, а Уолтер должен ехать,— принимая положение в данный момент таким, каково оно есть, и отнюдь не изменившимся к лучшему, ибо мудрого вмешательства своевременно не последовало,— капитан попрежнему был непоколебимо уверен в том, что он, Нэд Катль,— самый подходящий человек для мистера Домби; им нужно только встретиться, и будущее Уолтера обеспечено. Ибо капитан не мог забыть о том, как прекрасно сошлись они с мистером Домби в Брайтоне; с какою деликатностью каждый из них вставлял нужное слово; как хорошо поняли они друг друга и как он, Нэд Катль, в трудную минуту жизни указал на необходимость этой встречи и привел свидание к желанным результатам. На этом основании капитан успокаивал себя мыслью, что хотя Нэду Катлю под давлением обстоятельств в настоящее время «держаться крепче» почти бесполезно, однако Нэд в подходящий миг поднимет паруса и одержит полную победу.

Под влиянием этого невинного заблуждения капитан Катль начал даже обсуждать мысленно вопрос о том — в это время он сидел, глядя на Уолтера, и, уронив слезу на воротничок, слушал его рассказ,— не будет ли тонко и политично при встрече с мистером Домби лично передать ему приглашение зайти и отведать у капитана баранины на Бриг-Плейс в любой день, какой тот назначит, и за стаканом вина повести речь о видах на будущее юного Уолтера. Но неуравновешенный характер миссис Мак-Стинджер и опасение, что она во время этой беседы раскинет лагерь в коридоре и оттуда произнесет какую-нибудь проповедь нелестного содержания, подействовали, как узда, на мечты гостеприимного капитана и лишили его охоты предаваться им.

Одно обстоятельство капитан вполне уяснил себе,— пока Уолтер, задумчиво сидя за обедом и не прикасаясь к еде, размышлял о случившемся,— а именно: хотя сам Уолтер по скромности своей, быть может, этого и не понимает, но он является, так сказать, членом семейства мистера Домби. Он лично связан с событием, которое так трогательно описал; о нем вспомнили, назвав по имени, и позаботились о его судьбе в тот самый день; и, стало быть, судьба его должна представлять особый интерес для его хозяина. Если у капитана и были какие-нибудь тайные сомнения касательно его собственных выводов, он нимало не сомневался в том, что выводы эти укрепят спокойствие духа мастера судовых инструментов. Поэтому он воспользовался столь благоприятным моментом и преподнес своему старому другу известие о Вест-Индии, как пример удивительного повышения по службе, заявив, что он, со своей стороны, охотно поставил бы сто тысяч фунтов (если бы они у него были) за успех Уолтера в будущем и не сомневается в том, что такое помещение капитала принесло бы большую выгоду.

Соломон Джилс сначала был оглушен этим сообщением, обрушившимся на маленькую заднюю гостиную подобно удару молнии, и неистово ворошил угли в камине. Но капитан развернул перед затуманенными его глазами такие блестящие перспективы, столь таинственно намекнул на виттингтоновские последствия, такое значение придал только что услышанному рассказу Уолтера и с таким доверием ссылался на него, как на доказательство в пользу своих предсказаний и великий шаг к осуществлению романтической легенды о красотке Пэг, что сбил с толку старика. Уолтер в свою очередь притворился таким обнадеженным и бодрым, столь уверенным в скором возвращении своем домой и, поддерживая капитана, так выразительно покачивал головой и потирал руки, что Соломон, взглянув сначала на него, а потом на капитана Катля, стал подумывать о том, не следует ли ему ликовать.

— Но я, видите ли, отстал от века,— сказал он в свое оправдание, нервно проводя рукой сверху вниз по ряду блестящих пуговиц на своем сюртуке, а затем снизу вверх, словно это были четки, которые он перебирал.—

И я бы предпочел, чтобы мой милый мальчик остался здесь. Должно быть, это старомодное желание. Он всегда любил море. Он...— и старик пытливо посмотрел на Уолтера,— он рад, что едет.

— Дядя Соль! — быстро сказал Уолтер.— Раз вы так говорите, я не поеду. Да, капитан Катль, я не поеду! Если дядя думает, что я могу радоваться разлуке с ним, хотя бы мне предстояло стать губернатором всех островов в Вест-Индии, этого достаточно. Я не сдвинусь с места.

— Уольр, мой мальчик,— сказал капитан,— спокойствие! Соль Джилс, обратите внимание на вашего племянника!

Проследив взглядом за величественным мановением капитанского крючка, старик посмотрел на Уолтера.

— Имеется некое судно,— сказал капитан, наслаждаясь аллегорией, на крыльях которой воспарил,— и ему предстоит пуститься в некое путешествие. Какое имя неизгладимо начертано на этом судне? Гэй? Или,— продолжал капитан, возвысив голос и как бы предлагая обратить внимание на этот пункт,— или Джилс?

— Нэд,— сказал старик, привлекая к себе Уолтера и нежно беря его под руку,— я знаю. Знаю! Конечно, я знаю, что Уоли всегда думает обо мне больше, чем о себе. Вот что у меня на уме. Если я говорю — он рад поездке, это значит — я надеюсь, что он рад. Понятно? Послушайте, Нэд, и ты также, Уоли, дорогой мой, для меня это ново и неожиданно; боюсь, всему причиной то, что я беден и отстал от века. Скажите же мне, для него это действительно большая удача? — продолжал старик, тревожно переводя взгляд с одного на другого.— Всерьез и на самом деле? Так ли это? Я могу примириться с чем угодно, если это к выгоде Уоли, но не хочу, чтобы Уоли поступал во вред себе ради меня или скрывал что-нибудь от меня, Нэд Катль! — сказал старик, глядя в упор на капитана, к явному смущению сего дипломата.— Честную ли игру ведете вы со своим старым другом? Говорите, Нэд Катль. Быть может, что-то за этим скрывается? Следует ли ему ехать? Откуда вы это знаете и почему?

Так как сейчас шло соревнование в любви и самоотречении, Уолтер, к успокоению капитана, вмешался,

достигнув некоторых результатов; вдвоем, говоря без умолку, они более или менее примирили старого Соля Джилса с этим проектом, или, вернее, до того сбили его с толку, что все, даже мучительная разлука, рисовалось ему в тумане.

У него оставалось мало времени об этом думать, ибо на следующий же день Уолтер получил от мистера Каркера, заведующего, распоряжение об отъезде и экипировке, а также узнал, что «Сын и наследник» отплывает через две недели или, быть может, на один-два дня позже. В суете, вызванной приготовлениями, которую Уолтер умышленно старался раздуть, старик потерял последнее самообладание; день отъезда быстро приближался.

Капитан, который не переставал знакомиться со всем происходящим, ежедневно наводя справки у Уолтера, убедился, что дни, остающиеся до отъезда, проходят, тогда как не представляется случая — и вряд ли таковой представится — выяснить положение дел. Вот тогда-то, после долгого обсуждения этого факта и после долгих размышлений о неблагоприятном стечении обстоятельств, капитану пришла в голову блестящая мысль. Что, если он нанесет визит мистеру Каркеру и от *него* постарается узнать, с какого борта берег?

Капитану Катлю чрезвычайно понравилась эта мысль. Она осенила его в минуту вдохновения, когда он после завтрака курил первую трубку у себя на Бриг-Плейс, и была достойна табака. Да, это успокоит его совесть, которая отличалась чуткостью и была слегка смущена тем, что доверил ему Уолтер и что сказал Соль Джилс; это будет умный и ловкий ход во имя дружбы. Он старательно испытает мистера Каркера и выскажется более или менее откровенно, только когда уяснит себе характер этого джентльмена и удостоверится, поладили они или нет.

Итак, не опасаясь встретить Уолтера (который, как было ему известно, укладывался дома), капитан Катль снова надел полусапоги и, заколов галстук траурной булавкой, предпринял вторую экспедицию. На этот раз он не покупал букета для подношения, потому что отправлялся в контору; но он продел в петлицу маленький под-

солнечник, дабы приятный аромат деревни исходил от его особы, и с этим подсолнечником, сучковатой палкой и глянцевитой шляпой отбыл в контору Домби и Сына.

Осушив в ближайшей таверне стакан теплого грога,— а это помогало собраться с мыслями,— капитан промчался по двору, чтобы не рассеялось благотворное действие рома, и внезапно предстал перед мистером Перчем.

— Приятель,— внушительным тоном сказал капитан,— одного из твоих начальников зовут Каркер.

Мистер Перч с этим согласился; но по долгу службы дал ему понять, что все его начальники заняты и вряд ли когда-нибудь освободятся.

— Послушай, приятель,— сказал ему на ухо капитан,— меня зовут капитан Катль.

Капитан хотел потихоньку притянуть к себе Перча крючком, но мистер Перч ускользнул — не столько преднамеренно, сколько потому что вздрогнул при мысли о том, как подобное оружие, будь оно неожиданно показано миссис Перч, могло бы в теперешнем ее положении погубить надежды этой леди.

— Если ты будешь так любезен и доложишь при первой возможности, что пришел капитан Катль,— сказал капитан,— я подожду.

С этими словами капитан уселся на подставку мистера Перча и, вынув носовой платок из тульи глянцевитой шляпы, которую он зажал между колен (не причиняя ущерба ее фасону, ибо никто не мог бы ее согнуть), старательно вытер голову и как будто почувствовал себя освежившимся. Вслед за этим он пригладил крючком волосы и с безмятежным видом сидел, осматривая контору и созерцая клерков.

Хладнокровие капитана было столь невозмутимо, а сам он казался таким таинственным существом, что Перч, рассыльный, был устрашен.

— Как, говорите вы, ваше имя? — спросил мистер Перч, наклоняясь над своей подставкой, занятой капитаном.

— Капитан,— раздался густой хриплый шепот.

— Ну? — сказал мистер Перч, качнув головой.

— Катль.

— О! — сказал тем же тоном мистер Перч, ибо он

расслышал и теперь ничего не мог поделать; дипломатия капитана была неотразима.— Пойду посмотрю, не освободился ли он сейчас. Не знаю. Быть может, и освободился на минутку.

— Да, да, приятель, я не задержу его дольше, чем на минуту,— сказал капитан, кивая со всем достоинством, на какое был способен.

Перч вскоре вернулся и сказал:

— Не угодно ли капитану Катлю пройти?

Мистер Каркер-заведующий, стоя на коврике перед холодным камином, который был украшен фестонами из оберточной бумаги, посмотрел на вошедшего капитана не слишком ободряющим взглядом.

— Мистер Каркер? — сказал капитан Катль.

— Полагаю, что так,— сказал мистер Каркер, показывая все зубы.

Капитану понравилось, что тот отвечает с улыбкой; это было приятно.

— Видите ли,— начал капитан, медленно обведя глазами комнату и увидев ровно столько, сколько позволял ему воротничок,— я, стало быть, моряк, мистер Каркер, а молодой Уольр, который значится у вас тут в списках, мне почти что сын.

— Уолтер Гэй? — спросил мистер Каркер, снова обнажая все зубы.

— Уольр Гэй, он самый,— ответил капитан,— правильно!

В голосе капитана слышалась горячая похвала сообразительности мистера Каркера.

— Я близкий друг его и его дяди,— сказал капитан.— Быть может, вам случалось слышать от главного вашего начальника мое имя? Капитан Катль.

— Нет! — сказал мистер Каркер, еще откровеннее обнажая зубы.

— Так вот,— продолжал капитан,— я имею удовольствие быть знакомым с ним. Я навестил его на Суссекском побережье вместе с моим молодым другом Уольром, когда... короче говоря, когда понадобилось заключить маленькое соглашение.— Капитан кивнул головой с видом беззаботным, непринужденным и в то же время многозначительным.— Полагаю, вы припоминаете?

— Кажется, я имел честь,— сказал мистер Каркер,— улаживать это дело.

— Верно! — отвечал капитан.— Правильно! Имели. Теперь я позволил себе смелость явиться сюда...

— Не угодно ли присесть? — улыбаясь, сказал мистер Каркер.

— Благодарю вас,— отвечал капитан, воспользовавшись приглашением.— Пожалуй, легче вести разговор, когда сидишь. А вы не хотите присесть?

— Нет, благодарю вас,— отвечал заведующий, продолжая стоять — быть может, в силу зимней привычки — спиной к камину и глядя вниз на капитана так, словно в каждом зубе и в деснах у него было по глазу.— Вы позволили себе смелость, говорите вы, хотя, право же, никакой...

— Очень вам благодарен, приятель,— отозвался капитан.— Да, смелость прийти сюда по поводу моего друга Уольра. Соль Джилс, его дядя,— человек науки, и в науке он может считаться быстроходным судном, но искусным моряком я бы его, пожалуй, не назвал, и человеком практики — тоже. Уольр — мальчик с прекрасной оснасткой, но, надо сознаться, есть у него один изъян — скромность. Ну-с, так вот какой вопрос я бы хотел вам предложить,— продолжал капитан, понизив голос и переходя на конфиденциальное бурчание,— дружеским образом, только между нами, и исключительно для моего осведомления, покуда ваш главный начальник немножко оправится, чтобы я мог подойти к нему борт о борт. Все ли здесь спокойно и благополучно и отправляется ли мой Уольр в плаванье с попутным ветром?

— А вы как думаете, капитан Катль? — отозвался Каркер, подбирая полы сюртука и утверждаясь в этой позиции.— *Вы* ведь человек практический: как думаете вы?

Проницательный и многозначительный взгляд капитана, когда он в ответ подмигнул, никакие слова изобразить не могут, кроме неудобопроизносимых китайских слов, ранее упомянутых.

— Послушайте! — сказал капитан, весьма обнадеженный.— Что вы скажете? Прав я или не прав?

После того как подмигивание капитана выразило столь многое, он, поощренный и подзадоренный вежли-

вой улыбкой мистера Каркера, нашел, что все так подготовлено к обсуждению весьма важного вопроса, как будто он выражал свои чувства с величайшим красноречием.

— Правы,— сказал мистер Каркер,— у меня нет никаких сомнений.

— Стало быть, говорю я, он отправляется в плаванье при благоприятной погоде! — воскликнул капитан Катль.

Мистер Каркер улыбнулся в знак согласия.

— Ветер попутный и дует вовсю,— продолжал капитан.

Мистер Каркер снова улыбнулся в знак согласия.

— Да, да! — сказал капитан Катль с великим облегчением и радостью.— Я сразу знал, какой взят курс. Я это говорил Уольру. Благодарю вас, благодарю вас.

— У Гэя блестящие перспективы,— заметил мистер Каркер, растягивая рот еще шире,— перед ним весь мир.

— Весь мир и жена, как гласит поговорка! — подхватил в восторге капитан.

На слове «жена» (которое он произнес без всякого умысла) капитан запнулся, снова подмигнул и, надев свою глянцевитую шляпу на набалдашник сучковатой палки, принялся вращать ее, искоса поглядывая на своего неизменно улыбающегося собеседника.

— Готов держать пари на четверть пинты старого ямайского рома,— сказал капитан, внимательно к нему присматриваясь,— что я знаю, чему вы улыбаетесь.

Мистер Каркер принял это к сведению и улыбнулся еще шире.

— Отсюда это не выйдет? — спросил капитан, ткнув сучковатой палкой в дверь, дабы убедиться, что она закрыта.

— Ни на дюйм! — сказал мистер Каркер.

— Вы думаете о прописном Ф, верно? — сказал капитан.

Мистер Каркер этого не отрицал.

— А как насчет Л,— сказал капитан,— или О?

Мистер Каркер по-прежнему улыбался.

— Я опять-таки прав? — шепотом осведомился капитан; он был так обрадован, что алый ободок у него на лбу вздулся.

Так как мистер Каркер в ответ, улыбаясь по-прежнему, утвердительно закивал, капитан Катль встал и пожал ему руку, с жаром уверяя, что они взяли один и тот же курс, а что касается его (Катля), то он все время придерживался этого направления.

— Он познакомился с ней,— сказал капитан с той таинственностью и серьезностью, каких требовала эта тема,— необычным образом: вы-то, конечно, помните, как он нашел ее на улице, когда она была совсем малюткой, и с той поры он полюбил ее, а она его, как только могут любить двое таких ребят. Мы всегда говорили, Соль Джилс и я, что они созданы друг для друга.

Кошка, обезьяна, гиена или череп не могли бы показать капитану столько зубов сразу, сколько показал ему мистер Каркер за время их свидания.

— Все клонится к этому,— заметил счастливый капитан.— Как видите, направления ветра и течения совпадают. Подумайте, ведь он присутствовал там в тот день!

— Что весьма благоприятствует его надеждам,— сказал мистер Каркер.

— Подумайте, ведь он был взят в тот день на буксир! — продолжал капитан.— Что может пустить его теперь по воле волн?

— Ничто,— отвечал мистер Каркер.

— Вы опять-таки правы,— сказал капитан, пожимая ему руку.— Вот именно, ничто! Итак, спокойствие! Сын умер, прелестный малютка. Не так ли?

— Да, сын умер,— сказал покладистый Каркер.

— Скажите слово, и у вас будет другой сын,— произнес капитан.— Племянник ученого дяди! Племянник Соля Джилса! Уольр! Уольр, который уже работает в вашей фирме. Тот, кто,— продолжал капитан, постепенно подбираясь к фразе, которую готовил для финального взрыва,— ежедневно приходит от Соля Джилса в вашу фирму и в ваши объятия.

Самодовольство капитана, легонько подталкивавшего локтем мистера Каркера после каждой из вышеупомянутых коротких фраз, не могло быть превзойдено ничем, кроме того восторга, с коим он откинулся на спинку стула и воззрился на Каркера, когда закончил эту бле-

стящую речь, исполненную проницательности и пафоса; его широкий синий жилет вздымался, рождая такой шедевр; а нос ярко пламенел по той же причине.

— Прав ли я? — сказал капитан.

— Капитан Катль,— сказал мистер Каркер, на секунду странным образом сгибаясь в коленях, словно он падал и в то же время сразу подхватывал самого себя,— ваши рассуждения касательно Уолтера Гэя вполне и безусловно правильны. Полагаю, что мы беседуем конфиденциально.

— Клянусь честью! — вставил капитан.— Ни слова!

— Ни ему, ни кому бы то ни было? — продолжал заведующий.

Капитан Катль насупился и кивнул.

— Но исключительно для вашего успокоения и надлежащего руководства — и руководства, разумеется,— повторил мистер Каркер,— имея в виду дальнейшие ваши шаги.

— Право же, я вам весьма признателен,— сказал капитан, слушая с великим вниманием.

— Я говорю, не колеблясь, что это факт. Вы угадали возможные последствия.

— А что касается вашего главного начальника,— сказал капитан,— ну, что же, пусть наша встреча произойдет сама собой. Времени достаточно.

Мистер Каркер, растянув рот от уха до уха, повторил: «Времени достаточно». Причем он не произнес явственно этих слов, но любезно склонил голову и беззвучно пошевелил языком и губами.

— И так как теперь мне все известно... и это я всегда говорил... что Уольр идет навстречу своему счастью...— сказал капитан.

— Навстречу своему счастью,— повторил так же беззвучно мистер Каркер.

— И так как эта маленькая поездка Уольра входит, если можно выразиться, в круг его повседневных занятий и согласуется с его надеждами здесь...— сказал капитан.

— С его надеждами здесь,— подтвердил мистер Каркер так же беззвучно, как и раньше.

— Ну вот, раз мне это известно,— продолжал капитан,— значит, спешить незачем, и я спокоен.

Так как мистер Каркер, оставаясь по-прежнему безгласным, снова утвердительно кивнул, капитан Катль укрепился в своем убеждении, что это один из приятнейших людей, каких ему когда-либо приходилось встречать, и даже сам мистер Домби не проиграет, если кое-что у него позаимствует. Поэтому капитан весьма сердечно еще раз протянул мистеру Каркеру свою огромную руку (цветом напоминающую старый пень) и угостил его таким рукопожатием, что на более нежной коже мистера Каркера остались оттиски трещин и морщин, коими была обильно разукрашена ладонь капитана.

— До свидания! — сказал капитан.— Я человек не многоречивый, но я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и откровенны. Вы меня простите, что я к вам вторгся? — добавил капитан.

— Ну, что вы! — ответил тот.

— Благодарю вас. Каюта моя невелика,— сказал капитан, снова возвращаясь,— но довольно уютна, и если вам в любой час дня случится быть около Бриг-Плейс, номер девятый,— быть может, вы запишете? — и подняться наверх, не обращая внимания на то, что вам скажет особа, которая откроет двери, я буду счастлив вас видеть.

После такого гостеприимного приглашения капитан, сказав: «Всего хорошего!» — вышел и закрыл дверь, оставив мистера Каркера все в той же позе у камина. В лукавом его взоре и настороженной позе, в его фальшивых губах, растянутых, но не улыбающихся, в его безупречном галстуке и бакенбардах, даже в том, как он молча проводил своей мягкой рукой по белоснежной манишке и гладко выбритому лицу, было что-то кошачье.

Не подозревавший ничего дурного капитан вышел, упоенный своим успехом, отчего даже фасон его широкого синего фрака изменился. «Держись крепче, Нэд! — сказал себе капитан.— Ну, дружище, сегодня тебе удалось кое-что состряпать для молодых людей».

На радостях и по случаю настоящей и будущей своей близости к фирме, капитан, выйдя в первую комнату конторы, не мог удержаться, чтобы не подразнить мистера Перча и не спросить его, думает ли он по-прежнему, что все заняты. Тем не менее, не желая огорчать

человека, который исполнял свой долг, капитан шепнул ему на ухо, что, если тот не откажется от стакана грога и готов за ним следовать, он с радостью предложит ему таковой.

Прежде чем выйти на улицу, капитан, к немалому изумлению клерков, осмотрелся кругом с некоего центрального пункта и обозрел контору, как нечто нераздельно связанное с планом, в котором был близко заинтересован его молодой друг. Зарешеченная каморка кассира вызвала особое его восхищение; но, не желая показаться слишком мелочным, он ограничился одобрительным взглядом и, любезно отвесив клеркам общий поклон, в высшей степени учтивый и покровительственный, вышел во двор. К нему быстро присоединился мистер Перч, после чего он повел этого джентльмена в таверну и исполнил свое обещание, не теряя времени, ибо для Перча оно было дорого.

— Давай-ка выпьем,— сказал капитан,— за здоровье Уольра!

— За здоровье кого? — покорно отозвался мистер Перч.

— Уольра! — громогласно повторил капитан.

Мистер Перч, припоминая, будто слышал в детстве, что жил некогда поэт, носивший такую фамилию *, не стал возражать, но он был крайне изумлен тем, что капитан явился в Сити, чтобы предложить тост за поэта; право же, если бы тот предложил воздвигнуть статую какого-нибудь поэта,— например, Шекспира,— на одной из главных улиц, он вряд ли мог бы сильнее поколебать привычные представления мистера Перча. В общем, капитан оказался таким таинственным и непостижимым человеком, что мистер Перч решил вовсе не говорить о нем с миссис Перч во избежание каких-либо неприятных последствий.

Воодушевленный мыслью о том, что ему удалось коечто состряпать для молодых людей, капитан весь день оставался таинственным и непостижимым даже для самых близких своих друзей; и если бы Уолтер не объяснял его подмигиваний, улыбок и других мимических движений, облегчавших его душу, тем удовольствием, какое капитан испытывал благодаря успеху их невинной лжи ста-

рому Солю Джилсу, капитан несомненно выдал бы себя в тот же вечер. Как бы то ни было, но он сохранил свою тайну. От мастера судовых инструментов он вернулся домой поздно,— его глянцевитая шляпа была так сдвинута набекрень и физиономия так сияла, что миссис Мак-Стинджер (которая как будто получила воспитание у доктора Блимбера — столь была она похожа на римскую матрону), едва взглянув на него, заняла оборонительную позицию за открытой парадной дверью и отказывалась выйти оттуда к своим невинным младенцам, пока он благополучно не водворился в свою комнату.

ГЛАВА XVIII

Отец и дочь

В доме мистера Домби тишина. Слуги бесшумно скользят вверх и вниз по лестнице, их шагов не слышно. Они все время беседуют друг с другом и долго сидят за столом, уделяя большое внимание еде и питью, и услаждают себя, следуя мрачному и нечестивому обычаю. Миссис Уикем с глазами, полными слез, рассказывает меланхолические истории, повествует о том, как она всегда говорила миссис Пипчин, что это случится, пьет столового эля больше, чем обычно, и очень грустна, но общительна. В таком же расположении духа кухарка. Она обещает жареное мясо к ужину и старается преодолеть как свою чувствительность, так и действие лука.

Таулинсон усматривает в случившемся перст судьбы и желает знать — пусть ответит кто-нибудь,— можно ли ждать добра, если живешь в угловом доме. Им всем кажется, что это было давным-давно, хотя мальчик все еще лежит, тихий и прекрасный, на своей кроватке.

В сумерках являются некии гости, бесшумно, в войлочных туфлях. Они бывали здесь и раньше, и вместе с ними появляется это ложе отдохновения, такое странное ложе для уснувших детей. Отца, понесшего тяжелую утрату, не видел все это время даже его слуга; ибо он садится в дальний угол своей темной комнаты, когда

кто-нибудь туда входит, а в другое время как будто только и делает, что шагает взад и вперед. Но утром домочадцы шепчутся о том, что глубокой ночью слышали, как он поднялся наверх и оставался там, в той комнате, пока не взошло солнце.

В конторе в Сити окна с матовыми стеклами стали еще более тусклыми благодаря закрытым ставням; и в то время, как дневной свет, прокрадываясь в комнату, заставляет меркнуть зажженные лампы на конторках, лампы в свою очередь заставляют меркнуть дневной свет; здесь царит какой-то необычный сумрак. Дела идут вяло. Клерки не расположены работать; они уславливаются поесть отбивных котлет днем и подняться вверх по реке. Перч, рассыльный, не торопится исполнять поручения, попадает в трактиры, куда его приглашают друзья, и разглагольствует о ненадежности дел человеческих. Вечером он возвращается домой в Болс-Понд раньше, чем обычно, и угощает миссис Перч телячьей котлетой и шотландским элем. Мистер Каркер-заведующий никого не угощает; и его никто не угощает; но в уединении своей комнаты он весь день скалит зубы; и может показаться, будто что-то исчезло с дороги мистера Каркера — удалено какое-то препятствие, и путь перед ним свободен.

А вот румяные дети, живущие против дома мистера Домби, смотрят из окон своей детской вниз на улицу, потому что там, у его двери, стоят четыре черных лошади с перьями на голове, и перья колеблются на экипаже, в который они впряжены; и эти перья и шеренга людей с шарфами и жезлами привлекают толпу. Фокусник, собиравшийся вертеть таз, снова надевает широкое пальто поверх своего пестрого наряда, а его жена, волочащая ноги и кривобокая, ибо не спускает с рук тяжелого младенца, задерживается, чтобы поглядеть, как тронется процессия. Но крепче прижимает она ребенка к своей грязной груди, когда выносят ношу, которая так легка; а в высоком окне напротив младшая румяная девочка перестает шалить и, указывая пухлым пальчиком, засматривает в лицо няни и спрашивает: «Что это?»

А вот мимо кучки слуг в трауре и плачущих женщин мистер Домби проходит через холл и направляется к другому экипажу, который его ждет. Он не «раздавлен»

горем и отчаянием,— думают зрители. Походка его так же уверенна, осанка так же надменна, как всегда. Он не прячет лица за носовым платком и смотрит прямо перед собой. Хотя лицо у него слегка осунувшееся, суровое и бледное, но выражение его не изменилось. Он занимает место в экипаже, и за ним следуют еще трое джентльменов. Затем торжественная похоронная процессия медленно движется по улице. Перья еще колышутся вдали, а фокусник уже вертит свой таз на трости, и та же толпа глазеет на него. Но жена фокусника медленнее, чем обычно, берет тарелочку для сбора денег, ибо детские похороны навели ее на мысль о том, что младенец, прикрытый ее поношенной шалью, быть может, не станет взрослым, не наденет небесно-голубой повязки на голову и телесного цвета шерстяных панталон и не будет кувыркаться в грязи.

Перья совершают свой мрачный путь по улицам, и вот уже слышен колокольный звон. В этой самой церкви хорошенький мальчик получил все, что останется от него на земле,— имя. Все, что умерло, кладут здесь, недалеко от бренных останков его матери. Это хорошо. Их прах лежит там, куда Флоренс во время своих прогулок — о, одинокие, одинокие прогулки! — может приходить в любой день.

Когда окончилась служба и священник ушел, мистер Домби оглядывается и тихо спрашивает, здесь ли человек, которому приказано было явиться за инструкциями относительно надгробной плиты.

Кто-то выступает вперед и говорит: «Здесь».

Мистер Домби сообщает, где он хотел бы ее поместить, показывает ему рукой на стене ее форму и размер и объясняет, что она должна находиться рядом с плитой матери. Затем он пишет карандашом текст, отдает ему и говорит:

— Я хочу, чтобы это было сделано немедленно.

— Будет сделано немедленно, сэр.

— Как видите, нужно начертать только имя и возраст.

Человек кланяется, смотрит на бумагу и как будто колеблется. Мистер Домби, не замечая его колебаний, поворачивается и направляется к выходу.

— Прошу прощения, сэр! — Рука осторожно прикасается к траурному плащу.— Вы желаете, чтобы это было сделано немедленно, а это можно сдать в работу, когда я вернусь...

— Ну так что?

— Не угодно ли вам прочесть еще раз? Мне кажется, здесь ошибка.

— Где?

Ваятель возвращает ему бумагу и указывает линейкой на слова: «любимого и единственного ребенка».

— Мне кажется, следовало бы «сына», сэр?

— Вы правы. Конечно. Измените.

Отец, ускорив шаги, идет к карете. Когда остальные трое, которые следовали за ним по пятам, занимают свои места, лицо его в первый раз закрыто — заслонено плащом. И в тот день они его больше не видят. Он выходит из экипажа первым и немедленно удаляется в свою комнату. Остальные, присутствовавшие на похоронах (это всего лишь мистер Чик и два врача) идут наверх в гостиную, где их принимают миссис Чик и мисс Токс. А какое лицо у человека в запертой комнате внизу, каковы его мысли, что́ у него на сердце, какова его борьба и каковы страдания,— никто не знает.

На кухне знают только, что «сегодня похоже на воскресенье». Там едва могут убедить себя в том, что нет ничего непристойного, если не греховного, в поведении людей на улице, которые занимаются своими повседневными делами и одеты в будничное платье. Но шторы уже подняты и ставни открыты; и слуги мрачно развлекаются за бутылкой вина, которого пьют вволю, словно по случаю праздника. Они весьма расположены к нравоучительной беседе. Мистер Таулинсон со вздохом провозглашает тост: «За очищение всех нас от скверны!», на что кухарка отзывается тоже со вздохом: «Богу известно, что в этом мы нуждаемся». Вечером миссис Чик и мисс Токс снова принимаются за рукоделие. И вечером же мистер Таулинсон выходит подышать свежим воздухом вместе с горничной, которая еще не обновила своего траурного чепца. Они очень нежны друг к другу в темных закоулках, и Таулинсон мечтает о том, чтобы вести дру-

гую, безупречную жизнь в качестве солидного зеленщика на Оксфордском рынке.

В эту ночь в доме мистера Домби спят крепче и спокойнее, чем спали в течение многих ночей. Утреннее солнце пробуждает весь дом, и снова все входит в прежнюю свою колею. Румяные дети, живущие напротив, пробегают мимо со своими обручами. В церкви — блестящая свадьба. Жена фокусника подвизается с тарелочкой для сбора денег в другом городском квартале. Каменотес поет и насвистывает, высекая на лежащей перед ним мраморной плите: *Поль.*

И возможно ли, чтобы в мире, столь многолюдном и хлопотливом, утрата одного слабого существа нанесла чьему-либо сердцу рану, столь широкую и глубокую, что только необъятная широта и глубина вечности могла бы ее исцелить? Флоренс в невинной своей скорби дала бы такой ответ: «О мой брат, мой горячо любимый и любящий брат! Единственный друг и товарищ моего невеселого детства! Может ли мысль менее возвышенная пролить свет, уже озаряющий твою раннюю могилу, или пробудить умиротворенную грусть, которая рождается под этим градом слез?»

— Милое мое дитя,— сказала миссис Чик, которая почитала долгом, на нее возложенным, воспользоваться удобным случаем,— когда ты достигнешь моего возраста...

— То есть будете во цвете лет,— вставила мисс Токс.

— ...Тогда ты узнаешь,— продолжала миссис Чик, нежно пожимая руку мисс Токс в благодарность за дружеское замечание,— тогда ты узнаешь, что грустить бесполезно и что наш долг — смириться...

— Я постараюсь, милая тетя. Я буду стараться,— рыдая, отвечала Флоренс.

— Рада это слышать,— заявила миссис Чик,— ибо, дорогая моя, как скажет тебе наша милая мисс Токс, о здравом смысле и удивительной рассудительности которой двух мнений быть не может...

— Дорогая моя Луиза, право же, я скоро возгоржусь,— вставила мисс Токс.

— ...Скажет тебе и подкрепит своим опытом,— продолжала миссис Чик,— мы призваны к тому, чтобы при всех обстоятельствах делать усилия. Они от нас тре-

буются. Если бы не... милая моя,— повернулась она к мисс Токс,— я запамятовала слово.— Не... не...

— Небрежность? — подсказала мисс Токс.

— Нет, нет, нет! — сказала миссис Чик.— Что вы! Ах, боже мой, оно вертится у меня на языке. Не...

— Неуместная привязанность? — робко подсказала мисс Токс.

— О, господи, Лукреция! — воскликнула миссис Чик.— Это просто чудовищно! Ненавистник человечества — вот слово, которое я запамятовала. Придет же в голову! Неуместная привязанность! Итак, говорю я, если бы ненавистник человечества задал в моем присутствии вопрос: «Зачем мы родились?» — я бы ответила: «Чтобы делать усилия».

— В самом деле, это прекрасно! — сказала мисс Токс, находясь под впечатлением столь оригинальной мысли.— Прекрасно!

— К сожалению,— продолжала миссис Чик,— у нас пример перед глазами. Дорогое мое дитя, мы вправе предполагать, что, если бы в этой семье было своевременно сделано усилие, можно было бы избежать многих весьма тяжелых и прискорбных событий. Ничто и никогда не разубедит меня в том,— заметила решительным тоном славная матрона,— что покойная Фанни могла сделать усилие, и тогда покинувший нас драгоценный малютка был бы, во всяком случае, более крепкого сложения.

Миссис Чик на полсекунды отдалась своим чувствам, но, как бы наглядно иллюстрируя свою доктрину, сдержалась, оборвав рыданье, и заговорила снова:

— Поэтому, Флоренс, докажи нам, прошу тебя, что ты крепка духом, и не отягчай эгоистически того отчаяния, в какое погружен твой бедный папа.

— Милая тетя! — воскликнула Флоренс, быстро опускаясь перед ней на колени, чтобы можно было пристальнее и внимательнее взглянуть ей в лицо.— Скажите мне еще что-нибудь о папе! Пожалуйста, расскажите мне о нем! Он очень страдает?

У мисс Токс была чувствительная натура, и эта мольба глубоко ее растрогала. Увидела ли она в ней желание заброшенной девочки взять на себя ту нежную

заботу, которую так часто выражал ее любимый брат,— увидела ли она любовь, которая пыталась прильнуть к сердцу, любившему его, и не могла смириться с тем, что ей отказывают в сочувствии такому горю при столь печальном содружестве любви и скорби,— или же мисс Токс почувствовала в девочке пылкую и преданную душу, которая, хотя ее и отвергли и оттолкнули, была преисполнена нежности, долго остававшейся без ответа, и в тоскливом одиночестве, вызванном этой утратой, обращалась к отцу в надежде найти утешение и самой его утешить,— что́ бы ни почувствовала мисс Токс, но она была растрогана. На секунду она забыла о величии миссис Чик; быстро погладив Флоренс по щеке, она отвернулась и, не дожидаясь указаний сей мудрой матроны, не удержалась от слез.

Сама миссис Чик на секунду утратила присутствие духа, коим так гордилась, и оставалась безмолвной, глядя на прекрасное юное лицо, которое так долго, так упорно и терпеливо было обращено к маленькой кроватке. Но обретя голос, который являлся синонимом присутствия духа — право же, это было одно и то же,— она ответила с достоинством:

— Флоренс, дорогое моя дитя, твой бедный папа бывает временами немного странным: и спрашивать меня о нем — значит задавать вопрос о предмете, на понимание которого я не притязаю. Мне кажется, я имею на твоего папу более сильное влияние, чем кто-нибудь другой. Однако я могу сказать только, что он говорил со мною очень мало и видела я его всего раза два и каждый раз не более одной минуты, да и тогда я его почти не видела, так как у него в комнате темно. Я сказала твоему папе: «Поль!» — вот точное выражение, к которому я прибегла: «Поль! Почему вы не примете какого-нибудь возбуждающего средства?» Твой папа отвечал неизменно: «Луиза, будьте добры оставить меня. Мне ничего не нужно. Мне лучше побыть одному». Лукреция, если бы завтра меня заставили принести присягу в суде,— продолжала миссис Чик,— не сомневаюсь, я не остановилась бы перед тем, чтобы клятвенно повторить эти самые слова.

Мисс Токс выразила свое восхищение, сказав:

— Моя Луиза всегда методична!

— Одним словом, Флоренс,— продолжала тетка,— мы с твоим бедным папой почти не разговаривали, вплоть до сегодняшнего дня, когда я сообщила твоему папе, что сэр Барнет и леди Скетлс прислали чрезвычайно любезную записку... Наш ненаглядный мальчик! Леди Скетлс любила его, как... Где мой носовой платок?

Мисс Токс подала платок.

— ...Чрезвычайно любезную записку, предлагая, чтобы ты навестила их с целью переменить обстановку. Заметив твоему папе, что, по моему мнению, мисс Токс и я можем вернуться теперь домой (с чем он вполне согласился), я осведомилась, нет ли у него каких-нибудь возражений против того, чтобы ты приняла это приглашение. Он сказал: «Нет, Луиза, никаких!»

Флоренс подняла заплаканные глаза.

— Но если, Флоренс, тебе больше хочется остаться здесь, чем погостить там или поехать со мной...

— Мне бы этого гораздо больше хотелось, тетя,— был тихий ответ.

— В таком случае, дитя,— сказала миссис Чик,— поступай как знаешь. Должна сказать, что это странный выбор. Но ты *всегда* была странной. Казалось бы, в твоем возрасте и после того, что случилось,— милая моя мисс Токс, я опять потеряла носовой платок,— каждый был бы рад уехать отсюда.

— Мне бы не хотелось думать,— сказала Флоренс,— что все стараются покинуть этот дом. Мне бы не хотелось думать, что комнаты... его... комнаты наверху остаются пустыми и мрачными, тетя. Я предпочла бы побыть теперь здесь. О, мой брат! Мой брат!

Это был естественный взрыв чувств, который нельзя подавить; и они прорвались бы даже сквозь пальцы рук, которыми она закрыла лицо. Страждущая и измученная грудь должна получить облегчение, иначе бедное раненое одинокое сердце затрепещет, как птица со сломанными крыльями, и разобьется.

— Ну, что ж, дитя! — помолчав, заметила миссис Чик.— Ни в каком случае не хотела бы я сказать тебе что-нибудь неласковое, и, конечно, ты это знаешь. Итак, ты останешься здесь и будешь поступать, как тебе взду-

мается. Никто не будет вмешиваться в твои дела, Флоренс, и я уверена, никто и не захочет вмешиваться.

Флоренс покачала головой, печально соглашаясь.

— Не успела я заметить твоему бедному папе, что ему следовало бы развлечься и попытаться восстановить свои силы, временно переменив обстановку,— продолжала миссис Чик,— как он уведомил меня, что принял уже решение уехать ненадолго из города. Право же, я надеюсь, что он уедет очень скоро. Чем скорее, тем лучше. Но, кажется, нужно привести в порядок его личные бумаги после того несчастья, которое так потрясло всех нас,— понять не могу, что случилось с моим платком; Лукреция, дайте мне ваш, моя милая...— и этим он будет заниматься один-два вечера в своей комнате. Твой папа, дитя,— самый настоящий Домби, какой только может быть,— сказала миссис Чик, с большим старанием вытирая глаза уголками платка мисс Токс.— Он сделает усилие. За него можно не бояться.

— Могла бы я, тетя,— дрожа, спросила Флоренс,— что-нибудь сделать, чтобы...

— Ах, боже мой, дорогое мое дитя,— быстро перебила миссис Чик,— о чем ты говоришь? Если твой папа сказал мне — я тебе передала подлинные его слова: «Луиза, мне ничего не нужно, мне лучше побыть одному»,— как ты полагаешь, что сказал бы он тебе? Ты не должна показываться ему на глаза, дитя. Об этом нечего и думать.

— Тетя,— сказала Флоренс,— я пойду лягу.

Миссис Чик одобрила это решение и отпустила ее, напутствовав поцелуем. Но мисс Токс под предлогом поисков потерянного носового платка поднялась вслед за нею наверх и попыталась, улучив минутку, утешить ее, несмотря на величайшее неодобрение Сьюзен Нипер. Ибо мисс Нипер в пылу усердия пренебрежительно отзывалась о мисс Токс, как о крокодиле; однако ее сочувствие казалось искренним и отличалось тем преимуществом, что было бескорыстно,— таким путем вряд ли можно было заслужить чью-нибудь благосклонность.

И неужели не было никого ближе и дороже, чем Сьюзен, чтобы ободрить сердце, истерзанное тоской? Никого, кого можно было бы обнять, ни одного лица,

к которому можно было обратить свое лицо? Никого не было, кто нашел бы слово утешения для такой глубокой скорби? Неужели Флоренс была так одинока в суровом мире, что больше ничего не оставалось ей? Ничего! Лишившись сразу и матери и брата — ибо с потерей маленького Поля первая утрата еще сильнее придавила ее своей тяжестью,— она не могла обратиться за помощью ни к кому, кроме Сьюзен. О, кто расскажет, как сильно нуждалась она в помощи первое время!

Первое время, когда жизнь в доме вошла в привычную колею, когда разъехались все, кроме слуг, а отец заперся в своих комнатах, Флоренс могла только плакать, бродить по дому, а иногда, под наплывом мучительных воспоминаний, убежать к себе в комнату, заломить руки, броситься ничком на кровать, не находя никакого утешения — ничего, кроме горькой и жестокой тоски. Обычно это случалось при виде какого-нибудь уголка или вещи, тесно связанных с Полем; из-за этого первое время злосчастный дом превратился для нее в место пыток.

Чистой любви несвойственно гореть так неистово и так немилосердно долго. Пламя более грубое и более земное терзает грудь, его приютившую; но священный огонь с небес так же тихо мерцает в сердце, как в тот час, когда он осенил головы собравшихся двенадцати * и каждому показал его брата, просветленного и невредимого. Когда этот образ явился им, вскоре обрели они вновь и безмятежное лицо, мягкий голос, любящий взгляд, тихое доверие и мир; вот так и Флоренс — хотя и продолжала плакать — плакала более спокойно и лелеяла воспоминание.

Прошло немного времени, и золотая вода, струящаяся по стене на прежнем месте, в прежний тихий час, медленно убывая, притягивала ее спокойный взгляд. Прошло немного времени, и снова она часто бывала в этой комнате; сидела здесь одна, такая же терпеливая и кроткая, как и тогда, когда дежурила у кроватки. Если она вдруг остро ощущала, что эта кроватка опустела, она могла стать перед нею на колени и молить бога — это было излияние ее переполненного сердца — о том, чтобы некий ангел любил ее и помнил о ней.

Прошло немного времени, и в унылом доме, таком большом и мрачном, ее тихий голос в сумерках, медленно и иногда прерываясь, запел ту старую песенку, которую Поль так часто слушал, прислонив голову к ее плечу. А потом, когда совсем стемнело, чуть слышная музыка зазвучала в комнате; она играла и пела так тихо, что это было похоже скорее на горестное воспоминание о том, как она пела по его просьбе, в тот последний вечер, чем на песню. Но это повторялось часто, очень часто, в сумеречном одиночестве; и прерывистое журчание мелодии еще дрожало на клавишах, когда слезы заглушали нежный голос.

Так обрела она мужество взглянуть на рукоделие, которым заняты были ее пальцы, когда она сидела рядом с ним на морском берегу; так прошло немного времени, и она снова принялась за рукоделие, питая к нему какую-то нежную привязанность, словно оно было наделено сознанием и помнило о Поле; и, сидя у окна, около портрета матери, в нежилой комнате, давно заброшенной, она проводила часы в раздумье.

Почему ее темные глаза так часто отрывались от этой работы, чтобы взглянуть на дом, где жили румяные дети? Они не напоминали ей непосредственно об ее утрате, ибо это были девочки, четыре сестренки. Но у них, как и у нее, не было матери, и — был отец.

Легко было угадать, когда его нет дома и дети ждут его возвращения, потому что старшая девочка всегда одевалась и поджидала его в гостиной у окна или на балконе; и когда он появлялся, ее внимательное личико озарялось радостью, а другие дети у высокого окна, и всегда на страже, хлопали в ладоши, барабанили по подоконнику и окликали его. Старшая девочка спускалась в холл, брала его за руку и вела по лестнице, а позднее Флоренс видела, как она сидит возле него или у него на коленях или ласково обнимает за шею и разговаривает с ним; и хотя они оба всегда бывали веселы, он часто вглядывался в лицо дочери, словно находил в ней сходство с матерью, которой не было в живых. Иногда Флоренс не могла больше смотреть и, залившись слезами, пряталась за занавеску, как бы в испуге, или

быстро отходила от окна. Однако она невольно возвращалась; и забытая работа вскоре снова падала у нее из рук.

Прежде этот дом пустовал. Так продолжалось довольно долго. Однажды, когда она не жила дома, эта семья сняла его; здание отремонтировали и заново покрасили; появились птицы и цветы; дом принял теперь совсем другой вид. Но она никогда не думала об этом. Дети и их отец поглощали ее внимание.

Когда отец кончал обедать, она видела в открытые окна, как они спускались вниз со своей гувернанткой или няней и собирались у стола; а в тихие летние дни их детские голоса и звонкий смех доносились через улицу в унылую комнату, где она сидела. Потом они карабкались вверх по лестнице вместе с ним и возились около него на диване или прижимались к его коленям — настоящий букет маленьких лиц,— а он, по-видимому, рассказывал им какую-то историю. Или они выбегали на балкон, и тогда Флоренс быстро пряталась, опасаясь, что веселье их будет нарушено, если они увидят ее в черном платье, сидящую здесь в одиночестве.

Старшая девочка оставалась с отцом, когда младшие уходили, и готовила ему чай — какой счастливой маленькой хозяйкой была она тогда! — и сидела, беседуя с ним, иногда у окна, иногда в глубине комнаты, пока не приносили свечи. Он сделал ее своим товарищем, хотя она была на несколько лет моложе Флоренс; и за своей книжкой или рабочей шкатулкой она умела быть степенной и очаровательно серьезной, как взрослая. Когда им приносили свечи, Флоренс из своей темной комнаты не боялась смотреть на них. Но в определенный час девочка говорила: «Спокойной ночи, папа»,— и шла спать, а Флоренс всхлипывала и дрожала, когда та поднимала к нему лицо... больше Флоренс не могла смотреть.

Однако, прежде чем самой лечь спать, она снова и снова, отрываясь от той простой песни, которая в былое время так часто убаюкивала Поля, и от той другой — тихой, нежной, прерывистой мелодии, возвращалась мысленно к этому дому. Она постоянно о нем думала и следила за ним, но это оставалось тайной, которую она хранила в своей юной груди.

А скрывалась ли в груди Флоренс — Флоренс, такой искренней и правдивой, Флоренс, столь достойной любви, какую Поль к ней питал, о которой шептал слабым голосом в последнюю минуту, Флоренс, чье прекрасное лицо отражало ее чистую душу, которая трепетала в каждом звуке ее кроткого голоса,— скрывалась ли в этой юной груди еще какая-нибудь тайна? Да. Еще одна.

Когда все в доме засыпали и огни были погашены, она потихоньку выходила из своей комнаты, бесшумно ступая, спускалась по лестнице и подходила к двери отца. К ней, чуть дыша, прислонялась она лицом и головой и с любовью прижималась губами. Каждую ночь она опускалась перед ней на холодный пол в надежде услышать хотя бы его дыхание; и охваченная одним всепоглощающим желанием — выказать ему свою привязанность, быть утешением для него, склонить его к тому, чтобы он принял любовь своего одинокого ребенка, она, если бы посмела, упала бы перед ним на колени со смиренной мольбой.

Никто этого не знал. Никто об этом не думал. Дверь всегда была закрыта, и он сидел взаперти. Раза два он уходил, и в доме говорили, что он очень скоро уедет за город, но он жил в этих комнатах, жил один, и никогда ее не видел и не спрашивал о ней. Быть может, он и не знал, что она находится в доме.

Однажды, через неделю после похорон, Флоренс сидела за работой, когда явилась Сьюзен; не то плача, не то смеясь, она доложила о приходе гостя.

— Гость? Ко мне, Сьюзен? — спросила Флоренс, с удивлением подняв голову.

— Да, это и в самом деле чудо, не правда ли, мисс Флой? — сказала Сьюзен.— Но я хочу, чтобы у вас было много гостей, право же, хочу, потому что от этого вам только лучше будет, и мне кажется, чем скорее мы с вами поедем хотя бы к этим старым Скетлсам, мисс, тем лучше для нас обеих, а я, может быть, и не желаю жить в большом обществе, мисс Флой, но все-таки я не устрица.

Воздадим должное мисс Нипер — она больше заботилась о своей молодой хозяйке, чем о себе, и это было видно по ее лицу.

— Ну, а гость, Сьюзен? — сказала Флоренс.

Сьюзен с истерическим фырканьем, которое столько же походило на смех, сколько на рыдание, и столько же на рыдание, сколько на смех, ответила:

— Мистер Тутс!

Улыбка, появившаяся на лице Флоренс, через секунду исчезла, и глаза ее наполнились слезами. Но все же это была улыбка, и она доставила великое удовольствие мисс Нипер.

— Я почувствовала точь-в-точь то же самое, мисс Флой,— сказала Сьюзен, утирая глаза передником и покачивая головой.— Как только я увидела в холле этого блаженного, мисс Флой, я сперва расхохоталась, а потом не могла удержаться от слез.

Сьюзен Нипер невольно начала всхлипывать снова. Тем временем мистер Тутс, который поднялся вслед за нею наверх, не ведая о произведенном им впечатлении, заявил о своем присутствии, постучав в дверь, и вошел очень бойко.

— Как поживаете, мисс Домби? — сказал мистер Тутс.— Я здоров, благодарю вас; как ваше здоровье?

Мистер Тутс — не было на свете человека лучше его, хотя, быть может, нашлось бы несколько голов более ясных,— заботливо придумал эту длинную речь с целью доставить облегчение как Флоренс, так и самому себе. Но, обнаружив, что промотал свое имущество, в сущности, неразумно, расточив все сразу, прежде чем он сел на стул, и прежде чем Флоренс вымолвила слово, и даже прежде чем сам он переступил через порог, он счел уместным начать сначала.

— Как поживаете, мисс Домби? — сказал мистер Тутс.— Я здоров, благодарю вас; как ваше здоровье?

Флоренс подала ему руку и сказала, что хорошо себя чувствует.

— Я себя чувствую прекрасно,— сказал мистер Тутс, садясь.— Да, я прекрасно себя чувствую. Не помню,— сказал мистер Тутс, минутку подумав,— чтобы я когда-нибудь чувствовал себя лучше; благодарю вас.

— Очень мило, что вы пришли,— сказала Флоренс, принимаясь за свое рукоделие.— Я очень рада вас видеть.

Мистер Тутс отвечал хихиканьем. Подумав, что это может показаться слишком развязным, он заменил его вздохом. Подумав, что это может показаться слишком меланхолическим, он заменил его хихиканьем. Не совсем довольный как тем, так и другим, он засопел.

— Вы были очень добры к моему дорогому брату,— сказала Флоренс, в свою очередь повинуясь естественному желанию выручить его этим замечанием.— Он часто рассказывал мне о вас.

— О, это не имеет никакого значения,— поспешно сказал мистер Тутс.— Тепло, не правда ли?

— Прекрасная погода,— отвечала Флоренс.

— Мне она по душе! — сказал мистер Тутс.— Вряд ли я когда-нибудь чувствовал себя так хорошо, как сейчас; очень вам благодарен.

Сообщив об этом любопытном и неожиданном факте, мистер Тутс провалился в глубокий кладезь молчания.

— Кажется, вы расстались с доктором Блимбером? — сказала Флоренс, помогая ему выкарабкаться.

— Надеюсь,— ответил мистер Тутс. И снова полетел вниз.

Он пребывал на дне, по-видимому захлебнувшись, по крайней мере десять минут. По истечении этого срока он вдруг всплыл на поверхность и сказал:

— Ну, всего хорошего, мисс Домби.

— Вы уходите? — спросила Флоренс, вставая.

— Впрочем, не знаю. Нет, еще не сейчас,— сказал мистер Тутс, совершенно неожиданно усаживаясь снова.— Дело в том... видите ли, мисс Домби!..

— Говорите со мной смелее,— с тихой улыбкой сказала Флоренс,— я была бы очень рада, если бы вы поговорили о моем брате.

— В самом деле? — отозвался мистер Тутс, и каждая черточка его лица, в общем не слишком выразительного, дышала сочувствием.— Бедняга Домби! Право же, я никогда не думал, что Берджесу и К° — это модные портные (но очень дорогие), о которых нам случалось беседовать,— придется шить это платье для такого случая.— Мистер Тутс был в трауре.— Бедняга Домби! Послушайте! Мисс Домби! — выпалил Тутс.

— Что? — отозвалась Флоренс.

— Есть один друг, к которому он последнее время был очень привязан. Я подумал, что, может быть, вам приятно было бы получить его как некий сувенир. Вы помните, как он вспоминал о Диогене?

— О да! Да! — воскликнула Флоренс.

— Бедняга Домби! Я тоже помню, — сказал мистер Тутс.

При виде плачущей Флоренс мистеру Тутсу великого труда стоило перейти к следующему пункту, и он чуть было не свалился опять в колодезь. Но хихиканье помогло ему удержаться у самого края.

— Видите ли, — продолжал он, — мисс Домби! Я бы мог украсть его за десять шиллингов, если бы они его не отдали, и я бы украл, но, кажется, они рады были от него избавиться. Если вы хотите его взять, он у двери. Я нарочно привез его к вам. Это, знаете ли, не комнатная собачка, — сказал мистер Тутс, — но вы ничего против не имеете, правда?

Действительно, в этот момент Диоген — в чем они вскоре убедились, посмотрев вниз на улицу, — выглядывал из окна наемного кабриолета, куда его — с целью доставить к месту назначения — заманили под предлогом, будто в соломе крысы. По правде говоря, из всех собак он меньше всего был похож на комнатную собачку и, охваченный нетерпеливым желанием вырваться на волю, имел вид весьма непривлекательный, когда отрывисто тявкнул, скривив пасть, и, потеряв равновесие, перекувырнулся и упал в солому, а затем, задыхаясь, снова вскочил с высунутым языком, как будто явился в лечебницу для освидетельствования здоровья.

Но хотя Диоген был самой нелепой собакой, какую только можно встретить в летний день, — попадающей впросак, злополучной, неуклюжей, упрямой собакой, постоянно руководствующейся ложным представлением, будто поблизости находится враг, на которого весьма похвально лаять, — и хотя он отнюдь не отличался добрым нравом и совсем не был умен, и волосы свешивались ему на глаза, и у него был забавный нос, беспокойный хвост и хриплый голос, но в силу того, что Поль о нем вспомнил при отъезде и просил заботиться о нем, — Флоренс он был дороже, чем самый ценный и красивый представи-

тель этой породы. Да, так дорог был ей этот безобразный Диоген и так обрадовалась она ему, что взяла украшенную драгоценными камнями руку мистера Тутса и с благодарностью поцеловала. А когда Диоген, освобожденный, взлетел по лестнице и ворвался в комнату (а сколько было перед этим хлопот, чтобы извлечь его из кабриолета!), залез под мебель и обмотал длинной железной цепью, болтавшейся у него на шее, ножки стульев и столов, а потом начал дергать ее, пока глаза его, доселе скрытые под косматой шерстью, едва не выскочили из орбит, и когда он заворчал на мистера Тутса, притязавшего на близкое знакомство, и набросился на Таулинсона, почти не сомневаясь в том, что это и есть тот самый враг, на которого он всю жизнь лаял из-за угла, но которого никогда еще не видел,— Флоренс осталась им так довольна, словно это было чудо благоразумия.

Мистер Тутс был столь обрадован успехом своего подарка и с таким восторгом смотрел на Флоренс, наклонившуюся к Диогену и гладившую своей нежной ручкой его жесткую спину,— Диоген любезно разрешил это с первой же минуты их знакомства,— что ему нелегко было распрощаться, и несомненно он потратил бы гораздо больше времени на то, чтобы принять такое решение, если бы ему не помог сам Диоген, которому взбрело в голову залаять на мистера Тутса и броситься на него с разинутой пастью. Хорошенько не зная, как положить конец этому наступлению, и понимая, что оно грозит гибелью панталонам, обязанным своим существованием искусству Берджеса и К°, мистер Тутс с хихиканьем выскользнул за дверь, от коей, заглянув еще раза два-три в комнату совершенно бесцельно и приветствуемый каждый раз новой атакой Диогена, он, наконец, отошел и убрался восвояси.

— Подойди же, Ди! Милый Ди! Подружись с твоей новой хозяйкой. Будем любить друг друга, Ди! — сказала Флоренс, лаская его лохматую голову.

И грубый и сердитый Ди,— словно мохнатая его шкура оказалась проницаемой для упавшей на нее слезы, а его собачье сердце растаяло, когда она скатилась,— потянулся носом к ее лицу и поклялся в верности.



Диоген-человек не мог говорить яснее с Александром Великим, чем Диоген-собака говорил с Флоренс. Он весело принял предложение своей маленькой хозяйки и посвятил себя служению ей. Для него было немедленно устроено пиршество в углу; и досыта наевшись и напившись, он подошел к окну, где сидела смотревшая на него Флоренс, встал на задние лапы, неуклюже положив передние ей на плечи, лизнул ей лицо и руки, прижался огромной головой к ее груди и вилял хвостом, пока не устал. Наконец Диоген свернулся у ее ног и заснул.

Хотя мисс Нипер с опаской относилась к собакам и считала необходимым, входя в комнату, старательно подбирать юбки, словно переходила по камням через ручей, а также взвизгивать и вскакивать на стулья, когда Диоген потягивался, однако она была по-своему тронута добротой мистера Тутса и при виде Флоренс, столь обрадованной привязанностью и обществом этого неотесанного друга маленького Поля, не могла не сделать некоторых умозаключений, заставивших ее прослезиться. Мистер Домби, один из объектов ее размышлений, был, может быть, по какой-то ассоциации идей, связан с собакой; как бы там ни было, проведя весь вечер в наблюдениях над Диогеном и его хозяйкой и очень охотно потрудившись над устройством Диогену постели в передней за дверью его хозяйки, она быстро сказала Флоренс, прощаясь с ней на ночь:

— Ваш папаша, мисс Флой, уезжает завтра утром.

— Завтра утром, Сьюзен?

— Да, мисс; так он распорядился. Рано утром.

— Вы не знаете, Сьюзен,— не глядя на нее, спросила Флоренс,— куда уезжает папа?

— Хорошенько не знаю, мисс. Сначала он хочет встретиться с этим драгоценным майором, и должна сказать, что, будь я сама знакома с каким-нибудь майором (от чего избави меня бог), он бы не был синим!

— Тише, Сьюзен! — мягко остановила ее Флоренс.

— Ну, знаете ли, мисс Флой,— возразила мисс Нипер, которая пылала возмущением и на знаки препинания обращала еще меньше внимания, чем обычно,— тут уж я ничего не могу поделать, он — синий, а покуда я

христианка, хотя бы и смиренная, я желала бы иметь друзей натурального цвета или вовсе никаких!

Из дальнейших ее слов выяснилось, что внизу она наслушалась немало о том, что миссис Чик предложила майора в спутники мистеру Домби и что мистер Домби после некоторого колебания пригласил его.

— Говорят, будто это какая-то перемена, как бы не так! — заметила вскользь мисс Нипер с безграничным презрением.— Если *он* — перемена, то я предпочитаю постоянство!

— Спокойной ночи, Сьюзен,— сказала Флоренс.

— Спокойной ночи, моя милая, дорогая мисс Флой.

Ее сострадательный тон коснулся струны, которую так часто задевали грубо, но к которой Флоренс никогда не прислушивалась в присутствии Сьюзен или кого бы то ни было. Оставшись одна, Флоренс опустила голову на руку и, приложив другую руку к трепещущему сердцу, отдалась своему горю.

Была сырая ночь, дождь грустно, с какой-то усталостью, барабанил по стеклам. Лениво дул ветер и обегал, стеная, вокруг дома, словно страдал от боли или печали. С пронзительным скрипом раскачивались деревья. Пока она сидела и плакала, время шло, и на колокольне мрачно пробило полночь.

По годам Флоренс была почти ребенком — ей еще не исполнилось четырнадцати лет,— а тоска и уныние этого часа в большом доме, где Смерть недавно произвела жестокое опустошение, пожалуй, заставила бы и человека более взрослого задуматься о страшных вещах. Но ее невинное воображение было слишком поглощено одним предметом: ничто не занимало ее мыслей, кроме любви,— да, всепоглощающей любви и отвергнутой — но всегда обращенной к отцу!

В шуме дождя, в завывании ветра, в трепете деревьев, в торжественном бое часов не было ничего, что могло бы отогнать это чувство или ослабить его силу. Ее воспоминания об умершем мальчике,— а она с ними не расставалась,— неразрывно были связаны с этим чувством. О, быть выключенной, быть такой заброшенной, никогда не заглядывать в лицо отцу, не прикасаться к нему с того часа!

Бедное дитя, она не могла лечь спать и с той поры ни разу еще не ложилась, не совершив ночного паломничества к его двери. Странное, грустное зрелище: вот она крадучись спускается по лестнице в густом мраке и с бьющимся сердцем, затуманенными глазами, с распущенными волосами останавливается у двери и прижимается к ней снаружи своей мокрой от слез щекой. Ночь окутывала ее, и никто об этом не догадывался.

В ту ночь, едва коснувшись двери, Флоренс убедилась, что она открыта. Впервые она была чуть-чуть приоткрыта и комната освещена. Первым побуждением робкой девочки — и она ему поддалась — было быстро удалиться. Следующим — вернуться и войти: это второе побуждение удержало ее в нерешительности на лестнице.

Дверь была приоткрыта,— правда, на волосок,— но и это уже сулило надежду. Ее ободрил луч света, пробившийся из-за темной суровой двери и нитью протянувшийся по мраморному полу. Она вернулась, вряд ли сознавая, что делает: ее вели любовь и испытание, которое они перенесли вместе, но не разделили; и, протянув руки и дрожа, она проскользнула в комнату.

Отец сидел за своим старым столом в средней комнате. Он приводил в порядок какие-то бумаги и уничтожал другие, которые лежали перед ним грудой обрывков. Дождь тяжело ударял в оконные стекла в первой комнате, где он так часто следил за бедным Полем, когда тот был еще совсем крошкой; и тихие жалобы ветра слышались снаружи.

Но он их не слышал. Он сидел, устремив взгляд на стол, в такой глубокой задумчивости, что поступь, гораздо более тяжелая, чем легкие шаги его дочери, не могла бы привлечь его внимания. Его лицо было обращено к ней. При свете догорающей лампы, в этот мрачный час оно казалось изможденным и унылым; и в этом полном одиночестве, его окружавшем, был какой-то призыв к Флоренс, больно отозвавшийся в ее сердце.

— Папа! Папа! Поговорите со мной, дорогой папа!

Он вздрогнул при звуке ее голоса и вскочил. Она протянула к нему руки, но он отшатнулся.

— Что случилось? — строго спросил он.— Почему ты пришла сюда? Чего ты испугалась?

Если она чего-то испугалась, то это было его лицо, обращенное к ней. Любовь, пламеневшая в груди его юной дочери, застыла перед этим лицом, и она стояла и смотрела на него, словно окаменев.

Не было ни намека на нежность или жалость. Не было ни проблеска интереса, отцовского признания или сочувствия. Была в этом лице перемена, но иного рода. Прежнее равнодушие и холодная сдержанность уступили место чему-то другому; — чему — она не понимала, не смела понять, и, однако, она это чувствовала и знала прекрасно, не называя: это *что-то,* когда лицо отца было обращено к ней, как будто бросало тень на ее голову.

Видел ли он перед собой удачливую соперницу сына, здоровую и цветущую? Смотрел ли на свою собственную удачливую соперницу в любви этого сына? Неужели безумная ревность и уязвленная гордость отравили нежные воспоминания, которые должны были заставить его полюбить ее и ею дорожить? Возможно ли, что при воспоминании о малютке-сыне ему мучительно было смотреть на нее, такую прекрасную и полную сил?

У Флоренс не было этих мыслей. Но любовь бывает зоркой, когда она отвергнута и безнадежна; и надежда в ней умерла, в то время как она стояла, глядя в лицо отцу.

— Я тебя спрашиваю, Флоренс, ты испугалась? Что-нибудь случилось? Почему ты пришла сюда?

— Я пришла, папа...

— Против моего желания. Почему?

Она видела, что он знает, почему,— это было ясно написано на его лице,— и с тихим протяжным стоном уронила голову на руки.

Ему суждено вспомнить об этом стоне в той же комнате в грядущие годы. Не успел он нарушить молчание, как стон замер в воздухе. Быть может, ему кажется, что так же быстро он улетучится из его памяти, но это неверно. Ему суждено вспомнить о нем в этой комнате в грядущие годы!

Он взял ее за руку. Рука у него была холодная и вялая и почти не сжала ее руки.

— Должно быть, ты устала,— сказал он, беря лампу и провожая ее до двери,— и тебе нужно отдохнуть. Все

мы нуждаемся в отдыхе. Ступай, Флоренс. Тебе что-нибудь пригрезилось.

Если что-нибудь и пригрезилось, то теперь она очнулась — да поможет ей бог! — и она чувствовала, что эта греза больше никогда не вернется.

— Я постою здесь и посвечу, пока ты будешь подниматься по лестнице. Весь дом там, наверху, в твоем распоряжении,— медленно сказал отец.— Теперь ты здесь хозяйка. Спокойной ночи.

Все еще не отрывая рук от лица, она всхлипнула, ответила: «Спокойной ночи, дорогой папа»,— и молча стала подниматься по лестнице. Один раз она оглянулась, как будто готова была вернуться к нему, если бы не страх. Это была мимолетная мысль, слишком безнадежная, чтобы придать ей сил; а отец стоял внизу с лампой, суровый, неотзывчивый, неподвижный, пока платье его прелестной дочери не скрылось в темноте.

Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы. Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может предвещали это своим меланхолическим шумом. Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!

В прошлый раз, когда он с этого самого места следил за ней, поднимающейся по лестнице, она несла на руках своего брата. Сейчас это не обратило к ней его сердца; он вернулся к себе, запер дверь, опустился в кресло и заплакал о своем умершем мальчике.

Диоген бодрствовал на своем посту, поджидая маленькую хозяйку.

— О Ди! Дорогой Ди! Люби меня ради него!

Диоген уже любил ее ради нее самой и не стеснялся это обнаруживать. Он вел себя крайне нелепо и совершал ряд неуклюжих прыжков в передней, а когда бедная Флоренс, наконец, заснула и увидела во сне румяных детей из дома напротив, он кончил тем, что, царапаясь в дверь спальни, отворил ее, скомкал свою подстилку, превратив ее в подушку, растянулся на полу комнаты, насколько позволяла сворка, повернул голову к Флоренс и, закатив глаза, моргал, пока сам не заснул и не увидел во сне своего врага, на которого хрипло затявкал.

ГЛАВА XIX

Уолтер уезжает

Деревянный Мичман у двери мастера судовых инструментов, как и подобало такому жестокосердному маленькому мичману, оставался вполне равнодушным к отъезду Уолтера, даже тогда, когда самый последний день его пребывания в задней гостиной был на исходе. С квадрантом у круглой черной шишечки, изображавшей глаз, и в прежней позе, выражающей неукротимую бодрость, Мичман выставлял напоказ в самом выгодном свете свои крошечные штанишки и, поглощенный научными занятиями, нимало не сочувствовал мирским заботам. Он лишь постольку поддавался внешним обстоятельствам, поскольку сухой день покрывал его пылью, туманный день посыпал его хлопьями сажи, дождливый день ненадолго возвращал блеск его потускневшему мундиру, а очень знойный день обжигал его до волдырей; но в других отношениях он был бесчувственным, черствым, самодовольным Мичманом, сосредоточенным на своих собственных открытиях и озабоченным тем, что происходило вокруг него на земле, не больше, чем Архимед во время осады Сиракуз.

Во всяком случае, именно таким мичманом казался он в настоящее время. Как часто Уолтер, входя и выходя, посматривал на него с любовью; а бедный старый Соль, когда Уолтера не было дома, выходил и прислонялся к дверному косяку, прижимаясь своим усталым париком к самым пряжкам на башмаках гения-хранителя его торговли и лавки. Но ни один свирепый идол со ртом, растянутым от уха до уха, и с кровожадной физиономией, сделанной из перьев попугая, не бывал более равнодушен к мольбам своих диких почитателей, чем этот Мичман — к таким знакам привязанности.

У Уолтера тяжело было на сердце, когда он окидывал взглядом свою старую спальню, там, наверху, на уровне крыш и дымовых труб, и думал о том, что пройдет еще одна ночь, уже надвигающаяся, и он расстанется с нею, быть может, навсегда. Лишенная немногих принадлежащих ему книг и картин, комната смотрела на

него холодно, укоряя за разлуку, и уже отбрасывала тень грядущей отчужденности. «Еще несколько часов,— думал Уолтер,— и эта старая комната будет моею меньше, чем любая из тех грез, какие посещали меня здесь, когда я был школьником. Греза может снова посетить меня во сне, и, быть может, я вернусь сюда наяву; но греза, во всяком случае, не будет служить новому хозяину, а у этой комнаты их может быть два десятка, и каждый из них может пренебречь ею или ее изуродовать, или все устроить на новый лад».

Но не следовало оставлять дядю в маленькой задней гостиной, где он сидел сейчас в одиночестве, ибо капитан Катль, деликатный, несмотря на свою грубоватость, умышленно, вопреки своему желанию, не явился, чтобы они могли поговорить наедине, без свидетелей. Поэтому Уолтер, который только что вернулся домой после дня, полного предотъездных хлопот, поспешно спустился к нему.

— Дядя,— весело сказал он, положив руку на плечо старику,— что вам прислать с Барбадоса?

— Надежду, дорогой мой Уоли. Надежду, что мы еще встретимся по сю сторону могилы. Пришли мне ее как можно больше.

— Я это сделаю, дядя; у меня ее хватит с избытком, и я не поскуплюсь! А что касается живых черепах, лимонов для пунша капитана Катля, варенья к вашему воскресному чаю и всяких таких вещей, то их я стану присылать целыми кораблями, когда разбогатею.

Старый Соль протер очки и слабо улыбнулся.

— Вот и отлично, дядя! — весело воскликнул Уолтер и еще раз шесть хлопнул его по плечу.— Вы подбодряете меня — я подбодряю вас! Завтра утром мы будем веселы, как жаворонки, дядя, и так же высоко взлетим. Что касается моих надежд, то сейчас они распевают где-то в поднебесье.

— Уоли, дорогой мой мальчик,— отозвался старик,— я сделаю все, что в моих силах, я сделаю все, что в моих силах.

— Если вы сделаете то, что в *ваших* силах, дядя,— сказал Уолтер со своим милым смехом,— то это лучшее, что может быть. Вы не забудьте, дядя, что́ вы *мне* должны посылать?

— Нет, Уоли, нет,— ответил старик,— все, что я узнаю о мисс Домби теперь, когда она осталась одна, бедная овечка, я буду сообщать. Но боюсь, это будет немного, Уоли.

— Ну, так вот что я вам скажу, дядя,— начал Уолтер после недолгого колебания,— я только что заходил туда.

— Ну, и что же? — пробормотал старик, поднимая брови, а с ними и очки.

— Не для того, чтобы увидеть ее,— продолжал Уолтер,— хотя, пожалуй, я мог бы ее увидеть, если бы попытался, так как мистера Домби нет в городе,— а для того, чтобы попрощаться с Сьюзен. Я, знаете ли, думал, что могу на это отважиться при данных обстоятельствах, и если вспомнить о том дне, когда я в последний раз видел мисс Домби.

— Да, мой мальчик, да,— ответил дядя, очнувшись от раздумья.

— И я ее видел,— продолжал Уолтер.— Я имею в виду Сьюзен; и сказал ей, что завтра уезжаю. И я прибавил, дядя, что вы всегда живо интересовались мисс Домби с того самого вечера, как она побывала здесь, и всегда желали ей здоровья и счастья, и всегда почтете за честь и удовольствие оказать ей хоть какую-нибудь услугу; мне, знаете ли, казалось, что я могу это сказать при данных обстоятельствах. Как по-вашему?

— Да, мой мальчик, да,— ответил дядя тем же тоном, что и раньше.

— И я прибавил,— продолжал Уолтер,— что если она,— я имею в виду Сьюзен,— когда-нибудь сообщит вам, сама, или через миссис Ричардс, или через кого-нибудь другого, кто заглянет в эти края, что мисс Домби здорова и счастлива, вы будете очень признательны и напишете об этом мне, и я тоже буду очень признателен. Вот и все! Честное слово, дядя,— сказал Уолтер,— прошлую ночь я почти не спал, потому что думал об этом; а выйдя из дому, никак не мог решить, сделать это или нет. И, однако, я уверен, что это было истинное желание моего сердца и впоследствии я был бы очень несчастлив, если бы не удовлетворил его.

Его искренний тон соответствовал его словам и подтверждал их правдивость.

— Так вот, дядя, если вы когда-нибудь ее увидите,— сказал Уолтер,— теперь я имею в виду мисс Домби,— быть может, вы ее увидите, кто знает? — передайте, как я ей сочувствовал, как много я о ней думал, когда был здесь, как я вспоминал о ней со слезами на глазах, дядя, в этот последний вечер перед отъездом. Передайте ей, как я говорил о том, что никогда не забуду ее ласкового обращения, ее прекрасного лица и — того, что лучше всего — ее доброты. И так как эти башмачки я взял не у женщины и не у молодой леди, а только у невинного ребенка,— продолжал Уолтер,— скажите ей, если можно, дядя, что я их сохранил — она вспомнит, как часто они спадали у нее с ног в тот вечер,— и увез с собой на память!

В этот самый момент они отправлялись в путь в одном из сундуков Уолтера. Носильщик, отвозивший его багаж на тележке, чтобы погрузить в порту на борт «Сына и наследника», завладел ими и, прежде чем их хозяин успел договорить фразу, увез из-под самого носа бесчувственного Мичмана.

Но этому старому моряку можно было простить его бесчувственное отношение к увозимому сокровищу. Ибо в тот же момент перед его носом, как раз в поле его зрения, появились, войдя в сферу его напряженных наблюдений, Флоренс и Сьюзен Нипер; Флоренс не без робости заглянула ему в лицо и увидела его деревянный выпученный глаз.

Мало того: они вошли в лавку и подошли к двери гостиной, не замеченные никем, кроме Мичмана. И Уолтер, сидевший спиной к двери, и сейчас не узнал бы об их появлении, если бы не увидел, как дядя вскочил со стула и чуть не упал, налетев на другой стул.

— Ах, дядя! — вскричал Уолтер.— Что случилось?

Старый Соломон ответил:

— Мисс Домби!

— Может ли это быть? — воскликнул Уолтер, оглянувшись и вскочив в свою очередь.— Здесь?!

Да, это было и возможно и несомненно, ибо не успели эти слова сорваться с его уст, как Флоренс пробежала мимо него, схватила дядю Соля обеими руками за отвороты табачного цвета, поцеловала его в щеку и, повернувшись, протянула руку Уолтеру с простодушной



искренностью и серьезностью, свойственными только ей и больше никому в мире!

— Уезжаете, Уолтер? — сказала Флоренс.

— Да, мисс Домби,— ответил он, но не так бодро, как ему бы хотелось,— мне предстоит путешествие.

— А ваш дядя,— сказала Флоренс, оглянувшись на Соломона,— конечно, он огорчен тем, что вы уезжаете. Ах, я вижу, что это так! Дорогой Уолтер, я тоже очень огорчена.

— Господи боже мой! — воскликнула мисс Нипер,— столько на свете людей, без которых можно обойтись, вот, например, миссис Пипчин; такую надсмотрщицу следовало бы приобрести на вес золота, а если требуется умение обращаться с черными невольниками, эти Блимберы — самые подходящие люди для такой ситивации!

С этими словами мисс Нипер развязала ленты шляпки и, рассеянно заглянув в маленький черный чайник, стоявший на столе вместе с простым сервизом, тряхнула головой и жестяной чайницей и, не дожидаясь просьб, стала заваривать чай.

Тем временем Флоренс снова повернулась к мастеру судовых инструментов, который был и восхищен и изумлен.

— Как выросла! — сказал старый Соль.— Как похорошела! И, однако, не изменилась! Все такая же!

— Неужели? — сказала Флоренс.

— Совсем не изменилась,— отвечал старый Соль, медленно потирая руки и говоря вполголоса, меж тем как задумчивый взгляд блестящих глаз, устремленный на него, привлек его внимание.— Да, такое же выражение лица было и в более юные годы!

— Вы меня помните,— сказала с улыбкой Флоренс,— помните, какая я тогда была маленькая?

— Дорогая моя юная леди,— отозвался старый мастер,— мог ли я вас забыть, когда я так часто о вас думал с тех пор и так часто о вас слышал? Да ведь в ту самую минуту, когда вы вошли, Уоли говорил мне о вас и давал поручение к вам и...

— Правда? — сказала Флоренс.— Благодарю вас, Уолтер. О, благодарю вас, Уолтер! Я боялась, что вы уедете и не вспомните обо мне.

И снова она протянула ему маленькую ручку так непринужденно и так доверчиво, что Уолтер удержал ее на несколько секунд в своей руке и никак не мог выпустить.

Но Уолтер держал ее не так, как держал бы прежде, и это прикосновение не пробудило тех старых грез его отрочества, которые иногда проплывали перед ним, еще совсем недавно, и приводили его в смущение своими неясными и расплывчатыми образами. Чистота и невинность ее ласкового обращения, безграничное доверие и нескрываемая привязанность к нему, которые так ярко сияли в ее пристальном взоре и освещали ее прелестное лицо сквозь улыбку, его затенявшую,— ибо, увы, слишком печальна была эта улыбка, чтобы лицо прояснилось,— ничего общего не имели с теми романтическими порывами. Они заставили его вспомнить о смертном ложе мальчика, у которого он ее видел, и о любви, какую питал к ней мальчик, и на крыльях этих воспоминаний она как будто вознеслась высоко над его праздными фантазиями, туда, где воздух чище и прозрачнее.

— Думается мне, что я не смогу называть вас иначе, как дядею Уолтера, сэр,— сказала Флоренс старику,— если вы мне позволите.

— Моя дорогая юная леди! — воскликнул старый Соль.— Если я вам позволю! Господи боже мой!

— Мы всегда знали вас под этим именем и так о вас и говорили,— сказала Флоренс, осматриваясь вокруг и тихо вздыхая.— Милая старая гостиная! Все такая же! Как я ее хорошо помню!

Старый Соль посмотрел сначала на нее, потом на своего племянника, а потом потер руки и протер очки и сказал чуть слышно:

— Ах, время, время, время!

Наступило короткое молчание; Сьюзен Нипер ловко выудила из буфета еще две чашки и два блюдца и с задумчивым видом ждала, когда настоится чай.

— Я хочу сказать дяде Уолтера,— продолжала Флоренс, робко кладя ручку на лежавшую на столе руку старика, чтобы привлечь его внимание,— кое о чем, что меня беспокоит. Скоро он останется один, и если он разрешит мне... не заменить Уолтера, потому что этого я не

могла бы сделать, но быть ему верным другом и утешать его по мере сил в отсутствие Уолтера, я буду ему очень признательна. Хорошо? Вы позволите, дядя Уолтера?

Мастер судовых инструментов молча поднес ее руку к своим губам, а Сьюзен Нипер, скрестив руки и откинувшись на спинку председательского кресла, которое она себе присвоила, закусила ленту шляпки и испустила тихий вздох, глядя на окно в потолке.

— Вы позволите мне навещать вас,— продолжала Флоренс,— когда представится случай, и вы будете рассказывать мне все о себе и об Уолтере; и у вас не будет никаких секретов от Сьюзен, если она придет вместо меня, и вы будете откровенны с нами, будете нам доверять и полагаться на нас? И вы позволите вам помочь? Позволите, дядя Уолтера?

Милое лицо, обращенное к нему, ласково-умоляющие глаза, нежный голос и легкое прикосновение к его руке, казавшиеся еще более привлекательными благодаря детскому уважению к его старости, которое вызывало у нее грациозное смущение и робкую нерешительность,— все это, а также присущая ей серьезность произвели такое сильное впечатление на бедного старого мастера, что он ответил только:

— Уоли, скажи за меня словечко, дорогой мой. Я очень благодарен.

— Нет, Уолтер,— с тихой улыбкой возразила Флоренс.— Пожалуйста, не говорите за него. Я его прекрасно понимаю, и мы должны научиться разговаривать друг с другом без вас, дорогой Уолтер.

Печальный тон, каким она произнесла эти последние слова, растрогал Уолтера больше, чем все остальное.

— Мисс Флоренс,— отозвался он, стараясь обрести ту бодрость, какую сохранил в разговоре с дядей,— право же, я не больше, чем дядя, знаю, как благодарить за такую доброту. Но в конце концов будь в моей власти говорить целый час, я бы только и мог сказать, что узнаю вас, узнаю!

Сьюзен Нипер принялась за другую ленту шляпки и кивнула окну в потолке в знак одобрения выраженному чувству.

— Ах, Уолтер,— сказала Флоренс,— но я хочу еще кое-что вам сказать перед вашим отъездом, и, пожалуйста, называйте меня Флоренс и не разговаривайте со мной, как с чужим человеком.

— Как с чужим человеком? — повторил Уолтер.— Нет, я бы не мог так говорить. Во всяком случае, я, конечно, не мог бы так чувствовать.

— Да, но этого мало, и я не это имею в виду. Поймите, Уолтер,— добавила Флоренс, заливаясь слезами,— он был очень привязан к вам и, умирая, сказал, что любил вас, и сказал: «Не забывайте Уолтера!» И если вы будете мне братом, Уолтер, теперь, когда он умер и у меня никого не осталось на свете, я буду вам сестрой до конца жизни и буду думать о вас, как о брате, где бы мы с вами ни были! Вот что я собиралась сказать вам, дорогой Уолтер, но я не могу сказать это так, как хотелось бы мне, потому что сердце мое переполнено.

И от полноты сердца, с милым простодушием она протянула ему обе руки. Уолтер взял их, наклонился и коснулся губами заплаканного лица, которое не отстранилось, не отвернулось, не покраснело при этом, но было обращено к нему доверчиво и простодушно. И в это мгновение малейшая тень сомнения или смятения покинула душу Уолтера. Ему казалось, что он откликается на ее невинный призыв у постели умершего мальчика и, оказавшись свидетелем той торжественной сцены, дает обет с братскою заботливостью лелеять и оберегать в своем изгнании самый ее образ, сохранить нерушимой ее чистую веру и почитать себя негодяем, если когда-нибудь он оскорбит эту веру мыслью, которой не было в ее сердце, когда она доверилась ему.

Сьюзен Нипер, которая закусила сразу обе ленты шляпки и во время этой беседы поделилась многими своими чувствами с окном в потолке, переменила тему, осведомившись, кто хочет молока, а кто сахара; получив ответ на эти вопросы, она начала разливать чай. Все четверо дружески уселись за маленький стол и стали пить чай под зорким наблюдением этой молодой леди; и присутствие Флоренс в задней гостиной озарило светом восточный фрегат на стене.

Полчаса назад Уолтер ни за что на свете не осмелился бы назвать ее по имени. Но он мог это сделать теперь, когда она его попросила. Он мог думать о ее присутствии здесь без тайных опасений, что, пожалуй, лучше было бы ей не приходить. Он мог спокойно думать о том, как она красива, как обаятельна и какой надежный приют найдет в ее сердце какой-нибудь счастливец. Он мог размышлять о своем собственном уголке в этом сердце с гордостью и с мужественной решимостью, если не заслужить права на него — это он все еще считал для себя недостижимым,— то хотя бы заслуживать их не меньше, чем теперь.

Конечно, какая-то волшебная сила управляла руками Сьюзен Нипер, разливавшей чай, и порождала тот дух успокоения, который царил в маленькой гостиной во время чаепития. Конечно, какая-то враждебная сила управляла стрелками хронометра дяди Соля и заставляла их скользить быстрее, чем когда-либо скользил восточный фрегат при попутном ветре. Как бы там ни было, гости приехали в карете, которая ждала поблизости, на углу тихой улицы; хронометр, к коему случайно обратились, решительно высказался в том смысле, что она ждет очень долго, и невозможно было сомневаться в этом факте, опирающемся на сей непогрешимый авторитет. Если бы дяде Солю предстояло быть повешенным согласно указанию его собственных часов, он никогда бы не признал, что хронометр спешит хотя бы на самую малую долю секунды.

Прощаясь, Флоренс вкратце повторила старику все, что говорила раньше, и взяла с него слово соблюдать договор. Дядя Соль любовно проводил ее до ног Деревянного Мичмана и здесь уступил место Уолтеру, который вызвался довести ее и Сьюзен Нипер до кареты.

— Уолтер,— сказала доро́гой Флоренс,— я побоялась спросить при вашем дяде. Как вы думаете, вы уезжаете очень надолго?

— Право, не знаю,— сказал Уолтер.— Боюсь, что надолго. Мне кажется, мистер Домби имел это в виду, назначая меня.

— Это знак расположения, Уолтер? — после недолгого колебания осведомилась Флоренс, с тревогой заглядывая ему в лицо.

— Мое назначение? — отозвался Уолтер.

— Да.

Больше всего на свете Уолтеру хотелось бы дать утвердительный ответ, но его лицо ответило раньше, чем губы, а Флоренс смотрела на него слишком внимательно, чтобы не понять ответа.

— Боюсь, что вы вряд ли папин любимец,— робко сказала она.

— Для этого нет никаких оснований,— с улыбкой ответил Уолтер.

— Никаких оснований, Уолтер?!

— Не *было* никаких оснований,— поправился Уолтер, угадывая ее мысль.— Много народу служит в фирме. Между мистером Домби и таким юнцом, как я, расстояние огромное. Если я исполняю свой долг, я делаю то, что должен делать, и делаю не больше, чем все остальные.

Не было ли у Флоренс опасений, которые она вряд ли сознавала, опасений, смутных и неопределенных, с той недавно минувшей ночи, когда она вошла в комнату отца,— опасений, что случайный интерес к ней Уолтера и давнее его знакомство с нею могли навлечь на него это грозное неудовольствие и неприязнь? Не было ли таких подозрений у Уолтера и не мелькнула ли у него мысль, что они возникли у нее в тот миг? Ни он, ни она не заикнулись об этом. Ни он, ни она не нарушили молчания. Сьюзен, идя рядом с Уолтером, зорко смотрела на обоих; и несомненно, мысли мисс Нипер шли в этом направлении, и вдобавок с большой уверенностью.

— Быть может, вы очень скоро вернетесь, Уолтер,— сказала Флоренс.

— *Быть может,* я вернусь стариком,— сказал Уолтер,— и увижу вас пожилой леди. Но я надеюсь на лучшее.

— Папа,— помолчав, сказала Флоренс,— вероятно... оправится от горя и когда-нибудь заговорит со мной более откровенно; и если это случится, я скажу ему, как сильно хочется мне, чтобы вы вернулись, и попрошу вас вызвать.

В этих словах об отце была трогательная неуверенность, которую Уолтер понял слишком хорошо.

Они подошли к карете, и он расстался бы с ней молча, ибо понял теперь, что значит разлука; но Флоренс, усевшись, взяла его за руку, и он нащупал в ее руке маленький сверток.

— Уолтер,— сказала она, ласково глядя ему в лицо,— я, как и вы, надеюсь на лучшее будущее. Я буду молиться и верю, что оно настанет. Этот маленький подарок я приготовила для Поля. Пожалуйста, примите его вместе с моей любовью и не смотрите, пока не уедете. А теперь да благословит вас бог, Уолтер! Не забывайте меня. Вы стали для меня братом, милый Уолтер!

Он был рад, что между ними появилась Сьюзен Нипер, иначе у Флоренс могло бы остаться печальное воспоминание о нем. И он был рад, что больше она не выглянула из окна кареты и только махала ему ручкой, пока он мог ее видеть.

Несмотря на ее просьбу, он не удержался и в тот же вечер, ложась спать, развернул сверток. В нем был маленький кошелек, а в кошельке были деньги.

Во всем блеске встало наутро солнце по возвращении своем из чужих стран, с ним встал Уолтер, чтобы впустить капитана, который уже стоял у двери: он поднялся раньше, чем было необходимо, с целью тронуться в путь, покуда миссис Мак-Стинджер еще пребывала во сне. Капитан притворился, будто находится в прекраснейшем расположении духа, и принес в одном из карманов широкого синего фрака копченый язык к завтраку.

— Уольр,— сказал капитан, когда они уселись за стол,— если твой дядя таков, каким я его считаю, он по случаю этого события достанет последнюю бутылку *той* мадеры.

— Нет, Нэд! — возразил старик.— Нет! Она будет откупорена, когда Уолтер вернется!

— Хорошо сказано! — воскликнул капитан.— Слушайте, слушайте!

— Там лежит она,— продолжал Соль Джилс,— в маленьком погребе, покрытая пылью и паутиной. И, быть может, и мы с вами, Нэд, покроемся пылью и паутиной, прежде чем она увидит свет.

— Слушайте! — крикнул капитан.— Прекрасное нравоучение! Уольр, мой мальчик! Выращивай смоковницу так, как должно, а когда состаришься, будешь сидеть под ее сенью *. Перелистайте... А впрочем,— подумав, сказал капитан,— я не совсем уверен в том, где это можно найти, но когда найдете — отметьте. Соль Джилс, валяйте дальше!

— Но там или где-нибудь в другом месте она пролежит до тех пор, Нэд, пока Уоли не вернется и не потребует ее,— заключил старик.— Вот все, что я хотел сказать.

— И прекрасно сказали,— отозвался капитан,— и если мы трое не разопьем этой бутылки все вместе, я разрешаю вам обоим выпить мою долю!

Несмотря на чрезвычайную веселость капитана, он не оказал должного внимания копченому языку, хотя — когда кто-нибудь смотрел на него — весьма старательно притворялся, будто ест с огромным аппетитом. Кроме того, он ужасно боялся остаться наедине с дядей или племянником; казалось, он считал, что единственная возможность этого избежать, не преступая границы приличий, заключается в том, чтобы все трое все время были вместе. Этот ужас, испытываемый капитаном, повлек за собой остроумные выходки с его стороны: когда Соломон пошел надевать пальто, капитан подбежал к двери, якобы для того, чтобы взглянуть на проезжавшую мимо необыкновенную наемную карету; и выскочил на улицу под предлогом, будто из соседнего дымохода доносится запах гари, когда Уолтер поднялся наверх, чтобы попрощаться с жильцами. Эти уловки капитан Катль почитал недоступными пониманию всякого непосвященного зрителя.

Попрощавшись с верхними жильцами, Уолтер спустился вниз и проходил через лавку, направляясь в маленькую гостиную, как вдруг увидел знакомое ему увядшее лицо, заглянувшее с улицы, и бросился к прохожему.

— Мистер Каркер! — воскликнул Уолтер, пожимая руку Джону Каркеру-младшему.— Войдите, пожалуйста! Очень любезно с вашей стороны прийти сюда так рано, чтобы попрощаться со мной. Вы, конечно, знаете, с ка-

кою радостью я еще раз пожму вам руку перед отъездом. Я и рассказать вам не могу, как я рад этой возможности. Войдите, пожалуйста!

— Вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся, Уолтер,— отозвался тот, мягко уклоняясь от его приглашения,— и я тоже радуюсь этой возможности. Я решаюсь говорить с вами и пожать вам руку перед разлукой. Больше мне не придется противиться вашим попыткам познакомиться со мной ближе, Уолтер.

Было что-то меланхолическое в его улыбке, когда он произнес эти слова, свидетельствующие о том, что даже в этих попытках он видел выражение дружеского участия.

— Ах, мистер Каркер! — ответил Уолтер.— Зачем вы противились? Вы могли принести мне только добро, в этом я уверен.

Тот покачал головой.

— Если бы я мог сделать что-нибудь доброе на этом свете,— сказал он,— я бы сделал это для вас, Уолтер. Видеть вас изо дня в день доставляло мне радость и в то же время вызывало угрызения совести. Но радость перевешивала боль. Это я знаю теперь, ибо понял, что́ я теряю.

— Войдите, мистер Каркер, и познакомьтесь с моим славным старым дядею,— настаивал Уолтер.— Я часто рассказывал ему о вас, и он будет рад повторить вам все, что слышал от меня. Я ничего не говорил ему,— добавил Уолтер, заметив его замешательство и тоже смутившись,— я ничего не говорил ему о нашем последнем разговоре, мистер Каркер; даже ему не говорил, поверьте мне!

Седой Каркер-младший сжал ему руку, и слезы выступили у него на глазах.

— Если я когда-нибудь и познакомлюсь с ним, Уолтер,— ответил он,— то только для того, чтобы получить известие о вас. Будьте уверены, что я не злоупотреблю вашей снисходительностью и вниманием. Я бы злоупотребил ими, если бы не открыл ему всей правды, прежде чем добиваться его доверия. Кроме вас, у меня нет ни друзей, ни знакомых, и даже ради вас я вряд ли стал бы их искать.

— Мне бы хотелось,— сказал Уолтер,— чтобы вы действительно разрешили мне быть вашим другом. Я, как

вам известно, мистер Каркер, всегда этого хотел, но никогда не желал этого так сильно, как сейчас, когда нам предстоит расстаться.

— Достаточно того, что я в душе считаю вас своим другом,— ответил тот,— и чем больше я вас избегал, тем больше склонялось к вам мое сердце и было полно вами, Уолтер. Прощайте!

— Прощайте, мистер Каркер. Да благословит вас бог, сэр! — с волнением воскликнул Уолтер.

— Если,— начал тот, удерживая его руку, пока говорил,— если по возвращении вы не найдете меня в моем уголке и узнаете от кого-нибудь, где я похоронен, пойдите и взгляните на мою могилу. Подумайте о том, что я мог быть таким же честным и счастливым, как вы! А когда я буду знать, что мой час пробил, позвольте мне подумать о том, что кто-то, похожий на меня в прошлом, остановится там на секунду и вспомнит обо мне с жалостью и всепрощением! Уолтер, до свидания!

Его фигура скользнула, как тень, по светлой, залитой солнцем улице, такой веселой и, однако, такой торжественной в это раннее летнее утро, и скрылась медленно из виду.

Наконец неумолимый хронометр возвестил, что Уолтер должен повернуться спиной к Деревянному Мичману; и они отправились — он сам, дядя и капитан — в наемной карете к пристани, откуда пароход доставил их вниз по реке к некоему Пункту, название коего, как объявил капитан, было тайной для всех сухопутных жителей. По прибытии к этому Пункту (куда корабль пришел накануне с ночным приливом), они были осаждены толпой неистовых лодочников и среди них знакомцем капитана, грязным циклопом, который, несмотря на свой единственный глаз, высмотрел капитана на расстоянии полутора миль и с той поры обменивался с ним непонятными возгласами. Доставшись в качестве законного приза этому субъекту, который устрашающе хрипел и органически нуждался в бритье, все трое были препровождены на борт «Сына и наследника». А на «Сыне и наследнике» шла суматоха: грязные паруса были расстелены на мокрой палубе, люди спотыкались о ненатянутые канаты,

матросы в красных рубахах бегали босиком туда и сюда, бочки загромождали каждый фут пространства, а в самом центре кутерьмы находился черный кок в черном камбузе, увязший по уши в овощах и полуослепший от дыма.

Капитан тотчас увлек Уолтера в уголок и с великим усилием, от коего лицо у него очень раскраснелось, вытащил серебряные часы, которые были так велики и так плотно засунуты в карман, что выскочили оттуда как пробка.

— Уольр,— сказал капитан, протягивая их и сердечно пожимая ему руку,— прощальный подарок, мой мальчик. Переводите их на полчаса назад каждое утро и примерно на четверть часа вечером, и вы будете гордиться этими часами.

— Капитан Катль! Я не могу их принять! — вскричал Уолтер, удерживая его, ибо тот хотел убежать.— Пожалуйста, возьмите их. У меня есть часы.

— В таком случае, Уольр,— сказал капитан, внезапно засунув руку в один из карманов и вытащив две чайных ложки и щипцы для сахара, которыми он вооружился на случай такого отказа,— возьмите вместо них вот эту мелочь из столового серебра.

— Нет, право же, не могу! — воскликнул Уолтер.— Тысячу раз благодарю! Не выбрасывайте их, капитан Катль! — Ибо капитан собирался швырнуть их за борт.— Вам они пригодятся гораздо больше, чем мне. Дайте мне вашу трость. Я часто подумывал, что хорошо бы иметь такую. Ну, вот! Прощайте, капитан Катль! Берегите дядю! Дядя Соль, да благословит вас бог!

В сутолоке они покинули корабль, прежде чем Уолтеру удалось еще раз на них взглянуть; а когда он побежал на корму и посмотрел им вслед, он увидел, что дядя сидит, понурившись, в лодке, а капитан Катль постукивает его по спине огромными серебряными часами (должно быть, это было очень больно) и бодро жестикулирует чайными ложками и щипцами для сахара. Завидев Уолтера, капитан Катль с полным равнодушием уронил свои ценности на дно лодки, явно забыв об их существовании, и, сняв глянцевитую шляпу, громко приветствовал его. Глянцевитая шляпа очень эффектно сверкала на

солнце, и капитан не переставал размахивать ею, покуда не скрылся из виду. Затем суматоха на борту, быстро нарастая, достигла своего апогея; отчалили с приветственными возгласами еще две-три лодки; развернутые паруса сверкали над головой, и Уолтер следил, как они наполняются попутным бризом; вода серебряными брызгами разлеталась у носа; и вот «Сын и наследник» отправился в плаванье так же бодро и легко, как до него отправлялись в путь многие сыновья и наследники, пошедшие ко дну.

День за днем в маленькой задней гостиной старый Соль и капитан Катль следили за ходом судна и изучали его курс по карте, разложенной перед ними на круглом столе. По вечерам старый Соль, такой одинокий, поднимаясь в мансарду, где иной раз бушевал ураган, смотрел на звезды, прислушивался к ветру и держал вахту дольше, чем пришлось бы ему держать на борту корабля. Последняя бутылка старой мадеры, которая когда-то совершила свой рейс и знала опасности, таящиеся в морских пучинах, тем временем лежала спокойно в пыли и паутине, и никто ее не тревожил.

ГЛАВА XX

Мистер Домби предпринимает поездку

— Мистер Домби, сэр,— сказал майор Бегсток,— Джой Б. вообще человек не сентиментальный, ибо Джозеф непреклонен. Но у Джо есть чувства, сэр, и уж если они проснулись... Черт возьми, мистер Домби,— с неожиданной яростью вскричал майор,— это слабость, и я не намерен ей поддаваться!

Майор Бегсток изрек эти фразы, встречая гостя, мистера Домби, перед дверью своей квартиры на площади Принцессы. Мистер Домби приехал завтракать к майору перед отбытием их в путь; злосчастный туземец уже перенес множество неприятностей из-за сдобных булочек, а в связи с общим вопросом о вареных яйцах жизнь стала ему в тягость.

— Не подобает старому солдату из породы Бегстоков,— заметил майор, обретя спокойствие,— отдавать себя в растерзание своим чувствам, но — черт возьми, сэр! — вскричал майор, снова приходя в ярость,— я вам сочувствую!

Багровая физиономия майора потемнела, а рачьи глаза майора выпучились еще сильнее, когда он пожимал руку мистеру Домби, придавая этому миролюбивому действию такой вызывающий вид, словно оно являлось прелюдией к бою его с мистером Домби на пари в тысячу фунтов и на звание чемпиона Англии по боксу. Затем, вращая головой с сопением, весьма напоминающим лошадиный кашель, майор повел гостя в гостиную и (совладав к тому времени со своими чувствами) приветствовал его с искренностью и непринужденностью дорожного спутника.

— Домби,— сказал майор,— я рад вас видеть. Я горжусь тем, что вижу вас. Немного людей найдется в Европе, которым сказал бы это Дж. Бегсток — ибо Джош прямодушен, сэр, это у него в натуре,— но Джой Б. гордится тем, что видит вас, Домби.

— Майор,— отвечал мистер Домби,— вы очень любезны.

— Нет, сэр,— сказал майор.— Черта-с-два! Это не в моем характере. Будь это в характере Джо, Джо был бы в настоящее время генерал-лейтенантом, сэром Джозефом Бегстоком, кавалером ордена Бани, и принимал бы вас совсем в другом доме. Вижу, что вы еще не знаете старого Джо. Но это событие, как из ряда вон выходящее, является для меня источником гордости. Ей-богу, сэр,— решительно сказал майор,— для меня это честь.

Ценя себя и свои деньги, мистер Домби чувствовал, что это весьма справедливо, а посему не стал спорить. Но инстинктивное постижение сей истины майором и его откровенное признание были очень приятны. Для мистера Домби это служило подтверждением — если бы он в таковом нуждался,— подтверждением его правильной оценки майора. Это убеждало его в том, что его власть простирается за пределы деловой сферы и что майор, офицер и джентльмен, имеет о ней столь же правильное представление, как и бидл Королевской биржи *.

И если вообще утешительно знать это или нечто подобное, то тем более утешительно было знать это теперь, когда беспомощность его воли, зыбкость его надежд, бессилие богатства были с такой беспощадностью ему раскрыты. Что может сделать богатство? — спросил у него его мальчик. Иногда, размышляя об этом ребяческом вопросе, он едва удерживался, чтобы не спросить самого себя: что же оно действительно *может* сделать? Что оно сделало?

Но то были сокровенные мысли, рожденные в поздний час ночи, в мрачном унынии и тоске одиночества, и гордыня обрела без труда прежнюю свою уверенность в многочисленных свидетельствах истины, столь же непогрешимых и драгоценных, как свидетельство майора. Мистер Домби, не имея друзей, почувствовал расположение к майору. Нельзя сказать, что он питал к нему теплое чувство, но он слегка оттаял. Майор играл некоторую роль — не слишком большую — в те дни на морском берегу. Он был человек светский и знал кое-кого из важных особ. Он много говорил и рассказывал забавные истории, и мистер Домби склонен был считать его отменным умником, который блистает в обществе и лишен того ядовитого привкуса бедности, коим обычно отравлены отменные умники. Положение у него было бесспорно хорошее. Вообще майор был благопристойным спутником, близко знакомым с праздной жизнью и с местами, подобными тому, которое они собирались посетить; он распространял вокруг себя атмосферу приличествующего джентльмену довольства, которая неплохо сочеталась с его — мистера Домби — репутацией в Сити и отнюдь с нею не конкурировала. Если у мистера Домби и мелькала мысль, что майор, привыкший, в силу своего призвания, относиться небрежно к безжалостной руке, которая не так давно сокрушила надежды мистера Домби, мог бы, сам того не ведая, научить его какой-нибудь полезной философии и спугнуть его бесплодные сожаления,— он скрыл эту мысль от самого себя и, не рассуждая, предоставил ей покоиться под бременем его гордыни.

— Где мой негодяй? — сказал майор, гневно обозревая комнату.

Туземец, который не имел определенного имени и потому отзывался на любую бранную кличку, немедленно появился в дверях, но подойти ближе не отважился.

— Злодей! — сказал холерический майор.— Где завтрак?

Темнокожий слуга исчез в поисках завтрака, и вскоре они услыхали, как он снова поднимается по лестнице с таким трепетом, что блюда и тарелки на подносе, дрожавшем из сочувствия к нему, дребезжали всю дорогу.

— Домби,— сказал майор, посматривая на туземца, накрывавшего на стол, и в виде поощрения грозно потрясая кулаком, когда тот уронил ложку,— вот мясо с острой приправой, зажаренное на рашпере, вот паштет, почки и прочее. Прошу садиться. Как видите, старый Джо может предложить вам только походную закуску.

— Превосходная закуска, майор,— отвечал гость и не только из вежливости, ибо майор всегда относился к своей особе с величайшей заботливостью и, в сущности, ел жирные блюда в количестве, вредном для здоровья, так что его блистательный цвет лица доктора объясняли главным образом этой его склонностью.

— Вы взглянули на дом напротив, сэр,— заметил майор.— Увидели нашу приятельницу?

— Вы имеете в виду мисс Токс? — отозвался мистер Домби.— Нет.

— Очаровательная женщина, сэр,— сказал майор с густым смешком, застрявшим в его коротком горле и едва не задушившим его.

— Кажется, мисс Токс — очень приличная особа,— ответил мистер Домби.

Высокомерно-холодный ответ как будто доставил майору Бегстоку бесконечное удовольствие. Он раздувался и раздувался непомерно и даже положил на секунду нож и вилку, чтобы потереть руки.

— Старый Джо, сэр,— сказал майор,— пользовался когда-то некоторым расположением в том обиталище. Но для Джо его денек миновал. Дж. Бегсток уничтожен... отставлен,.. разбит, сэр. Вот что я вам скажу, Домби.— Майор перестал есть и принял вид таинственно-негодующий.— Это чер-товски честолюбивая женщина, сэр.

Мистер Домби сказал «вот как!» с ледяным равнодушием, к коему примешивалось, пожалуй, презрительное недоверие: как может мисс Токс быть столь самонадеянной, чтобы посягать на такое возвышенное качество.

— Эта женщина, сэр,— сказал майор,— в своем роде Люцифер. Для Джоя Б., сэр, его денек миновал, но Джой не дремлет. Он все видит, этот Джо. Его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, на утреннем приеме сказал как-то о Джо, что он все видит.

Эти слова сопровождались таким взглядом, и от еды, питья, горячего чая, мяса, зажаренного на рашпере, сдобных булочек и многозначительных слов голова майора так раздулась и покраснела, что даже мистер Домби проявил некоторое беспокойство.

— У этой нелепой старой особы,— продолжал майор,— есть честолюбивые стремления. Непомерные стремления, сэр. Матримониальные, Домби.

— Весьма сожалею,— сказал мистер Домби.

— Не говорите этого, Домби,— предостерегающим тоном возразил майор.

— Почему же не говорить, майор? — спросил мистер Домби.

Майор ответил только лошадиным кашлем и продолжал усиленно насыщаться.

— Она возымела интерес к вашему семейству,— сказал майор, снова отрываясь от еды,— и вот уже в течение некоторого времени часто посещает ваш дом.

— Да! — с большим достоинством отвечал мистер Домби.— Первоначально мисс Токс была принята в нем как приятельница моей сестры в ту пору, когда скончалась миссис Домби; и так как она оказалась особой благовоспитанной и обнаружила расположение к бедному малютке, она бывала у нас в доме,— могу сказать, ее визиты поощрялись, она приходила вместе с моей сестрой; так постепенно завязались в некотором роде близкие отношения с моими домочадцами. Я,— продолжал мистер Домби тоном человека, который оказывает мисс Токс великое и неоценимое снисхождение,— я питаю уважение к мисс Токс. Она была так любезна, что оказывала много мелких услуг; быть может, майор, услуги

маленькие и незначительные, но тем не менее не следует отзываться о них с пренебрежением. Надеюсь, я имел возможность отблагодарить за них тем вниманием, какое в моей власти было уделить. Я почитаю себя в долгу перед мисс Токс, майор,— добавил мистер Домби с легким мановением руки,— за удовольствие быть знакомым с вами.

— Домби,— с жаром сказал майор,— нет! Нет, сэр! Джозеф Бегсток не может оставить это замечание без возражений. Ваше знакомство со старым Джо, сэр, таким, каков он есть, и знакомство старого Джо с вами, сэр, возникло благодаря благородному мальчику, сэр,— замечательному ребенку, сэр! Домби! — продолжал майор, напрягаясь, что ему нетрудно было сделать, ибо вся его жизнь проходила в напряженной борьбе со всевозможными симптомами апоплексии,— мы узнали друг друга благодаря вашему мальчику!

Мистер Домби — весьма вероятно, что майор на это рассчитывал,— был, казалось, растроган этими словами. Он опустил глаза и вздохнул, а майор, яростно воспрянув, снова повторил, что это слабость и ничто его не побудит ей уступить,— имея в виду то расположение духа, опасность поддаться коему грозила ему в этот момент.

— Наша приятельница имела отдаленное отношение к нашему знакомству,— сказал майор.— Дж. Б. не хочет оспаривать честь, выпавшую на ее долю, сэр. Тем не менее, сударыня,— добавил он, отводя взгляд от своей тарелки и устремляя его через площадь Принцессы туда, где в тот момент видна была в окне мисс Токс, поливающая цветы,— вы — распутная интриганка, сударыня, и ваше честолюбие — образец чудовищного бесстыдства. Если бы оно выставляло в смешном виде только вас, сударыня,— продолжал майор, обращая взгляд на ничего не ведавшую мисс Токс, причем его выпученные глаза как будто хотели перепрыгнуть к ней,— вы могли бы заниматься своими делами к полному своему удовольствию, сударыня, не встречая, уверяю вас, никаких возражений со стороны Бегстока.— Тут майор устрашающе захохотал, и этот хохот отразился на кончиках его ушей и венах на лбу.— Но когда вы, сударыня, компрометируете других людей, и к тому же людей великодушных,

доверчивых, в благодарность за их снисхождение, у старого Джо кровь закипает в жилах!

— Майор,— краснея, сказал мистер Домби,— надеюсь, вы не намекаете на нечто столь невероятное со стороны мисс Токс, как...

— Домби! — отвечал майор.— Я ни на что не намекаю. Но Джой Б. вращался в свете, сэр. Вращался в свете, глядя в оба, сэр, и навострив уши; и Джо говорит вам, Домби, что там, через дорогу, живет чертовски хитрая и честолюбивая женщина, сэр.

Мистер Домби невольно взглянул через площадь; брошенный им в этом направлении взгляд был сердитый.

— Ни единого слова об этом предмете не сорвется больше с уст Джозефа Бегстока! — решительно сказал майор.— Джо не сплетник, но бывают случаи, когда он должен говорить, когда он *не намерен* молчать! Будь прокляты ваши уловки, сударыня! — вскричал майор, снова с великим гневом обращаясь к своей прекрасной соседке.— Он будет говорить, если поведение слишком вызывающе, чтобы он мог долее безмолвствовать!

Волнение, сопутствовавшее этой вспышке, вызвало у майора приступ лошадиного кашля, который долго его терзал. Оправившись, он добавил:

— А теперь, Домби, раз вы предложили Джо — старому Джо, у которого нет никаких достоинств, сэр, кроме тех, что он непреклонен и прямодушен,— раз вы ему предложили быть вашим гостем и гидом в Лемингтоне *, распоряжайтесь им по своему желанию, и он весь к вашим услугам. Не знаю, сэр,— сказал майор, улыбаясь и потрясая своим двойным подбородком,— что находите вы все в Джо и чем вызван такой спрос на него; но мне известно, сэр: не будь он непреклонен и упрям в своих отказах, вы все скорехонько прикончили бы его своими приглашениями и прочим и прочим!

Мистер Домби в немногих словах заявил, что ценит предпочтение, оказанное ему перед другими выдающимися членами общества, которые старались завладеть майором Бегстоком. Но майор тотчас его прервал, дав ему понять, что следовал своим собственным склонностям, каковые дружно воспрянули и единогласно заявили:

«Дж. Б., Домби — тот, кого ты должен избрать своим другом».

Майор к тому времени насытился; сок пряного паштета выступал в уголках его глаз, а зажаренное на рашпере мясо и почки стянули ему галстук, и к тому же близился час отхода поезда в Бирмингем, с которым им предстояло покинуть Лондон, а посему туземец с превеликим трудом напялил на майора пальто и застегнул его доверху, после чего его лицо с выпученными глазами и разинутым ртом выглядывало из этого одеяния, как из бочки. Затем туземец подал ему по очереди, с подобающими интервалами, замшевые перчатки, толстую трость и шляпу; эту последнюю принадлежность туалета майор залихватски надел набекрень, дабы оттенить свою незаурядную физиономию. Предварительно туземец уложил во все возможные и невозможные уголки коляски мистера Домби, которая ждала у двери, невероятное количество дорожных сумок и чемоданчиков, по виду своему не менее апоплексических, чем сам майор; и, набив себе карманы бутылками сельтерской воды и ост-индского хереса, сандвичами, шалями, подзорными трубами, географическими картами и газетами, каковой легковесный багаж майор мог ежеминутно потребовать в пути, туземец объявил, что все готово. Экипировка этого злополучного чужестранца (который, по слухам, был у себя на родине принцем), когда он уселся на заднем сиденье рядом с мистером Таулинсоном, завершилась тем, что на него обрушилась груда плащей и пальто майора, наваленных квартирным хозяином, который, как один из Титанов, метал с тротуара этими тяжелыми снарядами, так что на вокзал туземец отправился как бы заживо погребенным.

Но прежде чем отъехал экипаж и покуда погребали туземца, мисс Токс, появившись в окне, замахала лилейно-белым носовым платком. Мистер Домби принял это прощальное приветствие очень холодно — очень холодно даже для него — и, удостоив ее чуть заметного кивка, откинулся на спинку экипажа с весьма недовольным видом. Его подчеркнутая сдержанность, казалось, доставила чрезвычайное удовольствие майору (который очень вежливо раскланялся с мисс Токс); и долго сидел он, подмигивая и сопя, как перекормленный Мефистофель.

Во время предотъездной сутолоки на вокзале мистер Домби и майор прогуливались бок о бок по платформе; первый был молчалив и хмур, а второй развлекал его — и, быть может, самого себя — всевозможными анекдотами и воспоминаниями, в которых Джо Бегсток обычно играл главную роль. Ни тот, ни другой не заметили, что во время этой прогулки они привлекли внимание рабочего, который стоял возле паровоза и приподнимал шляпу каждый раз, когда они проходили мимо; ибо мистер Домби имел обыкновение взирать не на чернь, а поверх нее, майор же целиком погрузился в один из своих анекдотов. Наконец, когда они поворачивали назад, этот человек шагнул им навстречу и, сняв шляпу и держа ее в руке, поклонился мистеру Домби.

— Прошу прощения, сэр,— сказал человек,— надеюсь, вы поживаете недурно, сэр.

На нем был парусиновый костюм, испачканный угольной пылью и маслом; в бакенбардах его был пепел, и вокруг себя он распространял запах пригашенной золы. Несмотря на это, вид он имел приличный, и, пожалуй, его даже нельзя было назвать грязным, а короче, это был мистер Тудль в профессиональной одежде.

— Я буду иметь честь поддерживать для вас огонь в топке, сэр,— сказал мистер Тудль.— Прошу прощения, сэр, надеюсь, вы начинаете оправляться?

В ответ на сочувственный тон мистер Домби посмотрел на него так, словно подобный человек был способен загрязнить даже его зрение.

— Простите за дерзость, сэр,— продолжал Тудль, сообразив, что его как будто не узнают,— но моя жена Полли, которую в вашем семействе звали Ричардс...

Перемена в лице мистера Домби, как будто выражавшая, что он его узнал,— так оно и было,— но в значительно большей степени выразившая досадливое чувство брезгливости, заставила мистера Тудля запнуться.

— Вероятно, ваша жена нуждается в деньгах,— сказал мистер Домби, опуская руку в карман и говоря высокомерным тоном (впрочем, так он говорил всегда).

— Нет, благодарю вас, сэр,— возразил Тудль,— не могу сказать, чтобы она нуждалась. *Я* не нуждаюсь.

Теперь мистер Домби в свою очередь запнулся и не без смущения продолжал держать руку в кармане.

— Нет, сэр,— сказал Тудль, вертя в руках свою клеенчатую шапку,— нам живется недурно, сэр; у нас нет причин жаловаться на жизнь, сэр. С той поры у нас прибавилось еще четверо, сэр, но мы помаленьку пробиваемся.

Мистер Домби тоже не прочь был бы пробиться к своему вагону, хотя бы для этого пришлось ему сбить кочегара под колеса, но внимание его было привлечено шапкой, которую тот все еще медленно вертел в руках.

— Мы потеряли одного малютку,— сказал Тудль,— этого нельзя отрицать.

— Недавно? — осведомился мистер Домби, пристально глядя на шапку.

— Нет, сэр, больше трех лет прошло, но все остальные здоровехоньки. А что касается до грамоты, сэр,— сказал Тудль с новым поклоном, как бы желая напомнить мистеру Домби о том разговоре, который когда-то был между ними по этому вопросу,— то мои мальчики сообща обучили меня в конце концов. Из меня мои мальчики сделали неплохого грамотея.

— Идемте, майор! — сказал мистер Домби.

— Прошу прощения, сэр,— продолжал Тудль, попрежнему со шляпой в руке, делая шаг им навстречу и снова почтительно их останавливая.— Я бы не стал вас утруждать этим разговором, если бы не хотел завести речь о моем сыне Байлере — крещен-то он Робином,— которого вы по доброте своей сделали Милосердным Точильщиком.

— Ну, и что же, любезный,— что с ним такое? — самым суровым своим тоном осведомился мистер Домби.

— Да как же, сэр,— отвечал Тудль, покачивая головой с видом крайне встревоженным и удрученным,— приходится сознаться, сэр, что он сбился с пути.

— Сбился с пути? — переспросил мистер Домби с каким-то жестоким удовлетворением.

— Он, знаете ли, джентльмены, попал в дурную компанию,— продолжал отец, пытливо всматриваясь в обоих и явно втягивая в разговор майора в надежде на его сочувствие.— Он повел себя дурно. Бог даст, он еще образумится, джентльмены, но сейчас он на плохой дороге!

Вероятно, это как-нибудь дошло бы до вас, сэр,— сказал Тудль, снова обращаясь к одному мистеру Домби,— и уж лучше я сам все выложу и скажу, что мой мальчик сбился с пути. Полли этим ужасно убита, джентльмены,— сказал Тудль с тем же удрученным видом и опять взывая к майору.

— Сыну этого человека я позаботился дать образование, майор,— сказал мистер Домби, беря его под руку.— Этим всегда кончается!

— Следуйте совету прямого старого Джо и никогда не давайте образования такого сорта людям, сэр,— ответил майор.— Черт побери, сэр, от этого никогда не бывает толку! Это всегда кончается плохо!

Простодушный отец стал было почтительно выражать мнение, что его сын, бывший Точильщик, которого запугивало и колотило, пороло, клеймило и обучало, как учат попугаев, некое животное в лице школьного учителя, занимавшее это место с таким же правом, с каким могла бы занимать его охотничья собака,— что этот его сын, быть может, получал образование в каком-то отношении неправильное, но мистер Домби, с раздражением повторив: «Этим всегда кончается!» — увел майора. А майор, которого нелегко было взгромоздить в вагон мистера Домби, стоявший высоко над землей, и который, не попадая ногой на подножку и падая назад на темнокожего изгнанника, клялся, что сдерет кожу с туземца, переломает ему все кости и предаст его другим пыткам,— майор едва успел до отхода поезда повторить хриплым голосом, что от этого никогда не бывает толку, что это всегда кончается плохо и что, если бы он дал образование «своему бездельнику», тот несомненно попал бы на виселицу.

Мистер Домби с горечью согласился; но его горечь и мрачный вид, с каким он откинулся к стенке вагона и, сдвинув брови, смотрел на мелькавший пейзаж, были вызваны не крахом благородной воспитательной системы, проводимой обществом Точильщиков. На шапке этого человека он заметил свежий креп и по тону его и ответам понял, что он носит траур по его сыну.

Да, с первого человека до последнего, дома и вне дома, начиная с Флоренс в его огромном доме и кончая

неотесанным мужланом, который поддерживал огонь в паровозе, дымившем сейчас впереди, каждый предъявлял пра́ва на его умершего мальчика и был соперником отцу. Мог ли он забыть о том, как эта женщина плакала у изголовья его сына и называла его своим родным малюткой? И о том, как мальчик, проснувшись, спросил о ней, приподнялся на кровати и просиял, когда она вошла?

Подумать только, что этот самонадеянный кочегар едет там впереди, среди угля и золы, со своей траурной лентой! Подумать только, что он посмел присвоить — хотя бы посредством такого обычного знака внимания — какую-то долю горя и разочарования, скрытых в тайниках сердца надменного джентльмена! Подумать только, что этот умерший ребенок, который должен был разделить с ним его богатства, надежды и власть и отгородиться от всего мира как бы двойною дверью из золота,— этот ребенок открыл доступ подобной черни, чтобы та оскорбляла его — Домби — своим пониманием обманутых его надежд и хвастливыми претензиями на общность чувств с ним, столь ей далеким! А быть может, и небезуспешными попытками пробраться туда, где он хотел властвовать один!

Путешествие не доставило ему ни удовольствия, ни облегчения. Терзаемый этими мыслями, он вез с собою мимо пробегающего ландшафта свою тоску и стремительно пересекал не богатую и живописную страну, а пустыню несбывшихся планов и мучительной ревности. Даже та скорость, с какою мчался поезд, издевалась над быстрым течением юной жизни, которая так последовательно и так неумолимо склонилась к предназначенному концу. Сила, которая мчала по железному пути — по своему пути,— презирая все другие дороги и тропы, пробиваясь сквозь все препятствия и увлекая за собой людей всех классов, возрастов и званий, была подобием торжествующего чудовища — Смерти!

Вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, сквозь город, прокладывая норы среди людского жилья и наполняя улицы гулом, сверкнув на секунду в лугах, уходя в сырую землю, гудя во мраке и духоте, вырываясь снова в солнечный день, такой яркий и широкий,— вдаль, со

скрежетом, и ревом, и грохотом, по полям, лесам, пашням, лугам, сквозь мел, сквозь чернозем, сквозь глину, сквозь камень, мимо предметов, находящихся близко, почти под рукой, и вечно ускользающих от путника, тогда как обманчивая даль вечно движется медленно за окном,— словно по следам безжалостного чудовища — Смерти!

По низинам, по холмам, мимо пустырей, мимо фруктовых садов, мимо парков, через каналы и реки, туда, где овцы пасутся, где мельница шумит, где баржа плывет, где лежат мертвецы, где завод дымит, где струится поток, где ютится деревня, где возвышается гигантский собор, где раскинулась вересковая пустошь, а неистовый вихрь по капризной своей воле приглаживает ее или ерошит,— вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, оставляя за собой только пыль и пар, словно по следам безжалостного чудовища — Смерти!

Навстречу ветру и свету, ливню и солнечным лучам, вдаль и вдаль он мчится и грохочет, неистовый и быстрый, плавный и уверенный, и огромные насыпи и массивные мосты, по которым он проносится, мелькают, как полоска тени в дюйм шириною, и затем исчезают. Вдаль и вдаль, вперед и вечно вперед: мелькают коттеджи, дома, замки, поместья, фермы и заводы, люди, дороги и тропы, на вид такие пустынные, маленькие, ничтожные, когда оставляешь их позади,— да и в самом деле они таковы,— ибо что, кроме мельканий, может быть на путях неукротимого чудовища — Смерти?

Вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, снова ныряя в землю и пробиваясь вперед с такой бешеной энергией и напором, что во мраке и вихре движение начинает казаться попятным и неистово устремленным назад, пока луч света на влажной стене не покажет ее поверхности, пролетающей мимо, словно неудержимый поток. Вдаль, снова в день и сквозь день, с пронзительным ликующим воплем, ревя, грохоча, мчась вперед, разбрасывая все своим темным дыханием, задерживаясь на минуту там, где собралась толпа, которой через минуту уж нет; жадно глотая воду, и — прежде чем насос, который поит, перестанет ронять капли на землю,— скрежещет, ревет, грохочет сквозь пурпурную даль!

Громче и громче он гудит и скрежещет, пока неуклонно мчится вперед к своей цели, и путь его, словно путь Смерти, густо усыпан золой. Все вокруг почернело. Темные лужи, грязные переулки и нищенские лачуги где-то там, внизу. Зубчатые стены и ветхие хижины здесь, рядом, и сквозь дырявые крыши и в разбитые окна видны жалкие комнаты, где ютятся гибельная нужда и лихорадка, а дым, нагромождение кровель, косые трубы, известь и кирпич, замкнувшие уродство тела и духа, заслоняют хмурую даль. Когда мистер Домби выглядывает из окна вагона, у него не мелькает мысль, что чудовище, доставившее его сюда, только пролило дневной свет на всю эту картину, а не создало ее и не послужило причиной ее возникновения. Это был подобающий конец путешествия, и таким мог быть конец всего — столь он был убедителен и страшен.

Думая только об одном, он по-прежнему видел перед собой одно безжалостное чудовище. Все предметы взирали мрачно, холодно и мертвенно на него, а он — на них. Во всем он находил напоминание о своем горе. Все, все без исключения выступало, бессовестно торжествуя над ним, и раздражало и задевало его гордость и ревность, какую бы форму ни принимало,— и сильнее всего, когда оно разделяло с ним любовь к его умершему мальчику и память о нем.

Было одно лицо — он смотрел на него прошлой ночью, и оно смотрело на него глазами, читавшими в его душе, хотя они и были затуманены слезами и хотя их тотчас заслонили дрожащие руки,— лицо, которое часто представлялось его воображению во время этой поездки. Он видел его таким, как прошлой ночью, робко умоляющим. Оно не укоряло, но было в нем какое-то сомнение, пожалуй,— слабая надежда, которая походила на укор в тот миг, когда он увидел, как она угасает, уступая место безутешной уверенности в его неприязни. Ему было мучительно думать о лице Флоренс.

Потому ли, что он почувствовал какие-то угрызения совести? Нет. Но потому, что чувство, этим лицом пробужденное, которое он смутно угадывал прежде, теперь вполне оформилось и окончательно определилось, волнуя его чрезмерно и грозя усилиться и нарушить его равно-

весне. Потому что это лицо было на каждом шагу, во всех поражениях и гонениях, которые, казалось, окружали его, как воздух. Потому что оно оставило зазубрины на стреле этого жестокого и неумолимого врага, на котором сосредоточились его мысли, и вложило ему в руку обоюдоострый меч. Потому что в глубине души он прекрасно знал, когда, стоя здесь, окрашивал мелькающие перед ним сцены в болезненные тона своих собственных мыслей и превращал их в картину гибели и разрушения, а не благотворной перемены и надежды на лучшее будущее,— знал, что к его сетованиям смерть имела такое же отношение, как и жизнь. Одно дитя умерло, и одно дитя осталось. Почему отнят тот, на кого он возлагал надежды, а не она?

Милое, тихое, кроткое лицо, представлявшееся его воображению, не вызывало у него никаких иных мыслей. Она была нежеланна ему с самого начала; теперь она усугубляла его горечь. Если бы сын был единственным его ребенком и порази его этот удар, тяжело было бы его перенести, но все же бесконечно легче, чем теперь, когда удар мог поразить ее (которую он мог, или думал что может, потерять безболезненно) и не поразил. Ее любящее и невинное лицо, обращенное к нему, не смягчало и не привлекало его. Он отверг ангела и принял терзающего демона, приютившегося в его груди. Ее терпение, доброта, юность, преданность, любовь были подобны пылинкам золы, которую он попирал ногами. Вокруг себя, в губительном мраке, он видел ее образ, не озарявший, но сгущавший тьму. Не раз во время этого путешествия и теперь снова, в конце его, когда он стоял, погруженный в размышления, чертя палкой узоры на песке, он думал о том, чем мог бы он заслониться от этого образа.

Майор, который всю дорогу сопел и пыхтел, как паровоз, и чьи глаза часто отрывались от газеты и подмигивали, всматриваясь вдаль, словно там тянулась длинная процессия потерпевших поражение мисс Токс, которых поезд извергал вместе с дымом, и они проносились над полями, чтобы спрятаться в каком-нибудь укромном местечке,— майор оторвал своего друга от размышлений,

сообщив ему, что почтовые лошади запряжены и карета подана.

— Домби,— сказал майор, легонько ударяя его тростью по плечу,— не задумывайтесь. Это дурная привычка. Старый Джо, сэр, не был бы таким непреклонным, каким вы его видите, если бы он ей предавался. Вы слишком великий человек, Домби, чтобы задумываться. В вашем положении, сэр, вы бесконечно выше всего этого.

Майор даже в дружеских своих увещаниях принимал, таким образом, во внимание достоинство и честь мистера Домби и явно понимал их значение, а мистер Домби был более чем когда-либо расположен снизойти к джентльмену, отличающемуся таким здравым смыслом и таким трезвым умом. Посему он старался прислушиваться к повествованию майора, пока они рысью ехали по шоссе, и майор, находя, что эта скорость и дорога гораздо более соответствуют его таланту рассказчика, чем способ передвижения, только что ими оставленный, принялся его развлекать.

Этот прилив воодушевления и разговорчивости, прерывавшийся только обычными симптомами, вызванными его полнокровием, а также завтраком и гневными нападками на туземца, чьи темно-коричневые уши были украшены парой серег и на ком европейское платье, непригодное для чужестранца, сидело неуклюже по собственному своему почину и вне всякой зависимости от искусства портного — длинное там, где ему полагалось быть коротким, короткое там, где ему полагалось быть длинным, узкое там, где ему полагалось быть широким, и широкое там, где ему полагалось быть узким, каковому платью он придавал еще особое изящество, съеживаясь в нем при каждом нападении майора, словно высохший орех или озябшая обезьяна,— этот прилив воодушевления и разговорчивости продолжался у майора весь день; посему, когда спустился вечер и застал их, продвигающихся рысью по зеленой и обсаженной деревьями дороге близ Лемингтона, казалось, будто голос майора в результате болтовни, еды, хихиканья и удушья исходит из ящика под сиденьем позади экипажа или из ближайшего стога сена. Он не изменился и в отеле «Ройал», где были заказаны комнаты и обед и где майор столь утрудил свои

органы речи едой и питьем, что, отправляясь спать, совсем потерял голос, которого хватало теперь только на кашель, и, объясняясь с темнокожим слугой, мог лишь разевать на него рот.

Однако наутро он не только встал, как окрепший великан, но и вел себя за завтраком, как великан подкрепляющийся. За этой трапезой они обсудили распорядок дня. Майор брал на себя все распоряжения относительно еды и питья; и они должны были каждое утро встречаться за поздним завтраком и каждый день за поздним обедом. Мистер Домби предпочитал оставаться у себя в комнате или гулять в одиночестве в этот первый день их пребывания в Лемингтоне; но на следующее утро он с радостью будет сопровождать майора к Галерее минеральных вод и в прогулке по городу. Итак, они расстались до обеда. Мистер Домби удалился, чтобы на свой лад предаться благотворным размышлениям. Майор в сопровождении туземца, который нес складной стул, пальто и зонт, важно прохаживался по всем общественным местам, наводил справки в списках приезжих, наносил визиты старым леди, у которых пользовался большим успехом, и доводил до их сведения, что Дж. Б. стал непреклонней, чем когда бы то ни было, и всюду превозносил своего богатого друга Домби. Не было на свете человека, который поддерживал бы друга с бо́льшим рвением, чем майор, когда, превознося его, он превозносил самого себя.

Удивительно, какое количество новых историй извергнул майор за обедом и какую возможность доставил мистеру Домби оценить его общительность. На следующее утро за завтраком он знал содержание последних полученных газет и в связи с этим затронул различные вопросы, по поводу коих его мнением не так давно интересовались люди, столь влиятельные и могущественные, что на них можно было только туманно намекать. Мистер Домби, который так долго жил, замкнувшись в самом себе, да и в прежние времена редко выходил из зачарованного круга, где развертывались операции Домби и Сына, начал относиться к знакомству с майором, как к приятной перемене в своей уединенной жизни; и вместо того чтобы провести в одиночестве еще один день, как думал он сделать прежде, он вышел под руку с майором.

ГЛАВА XXI

Новые лица

Майор, еще более посинев и вытаращив глаза,— более, так сказать, перезрелый, чем когда бы то ни было,— и разражаясь лошадиным кашлем не столько по необходимости, сколько от сознания собственной важности, шествовал под руку с мистером Домби по солнечной стороне улицы, причем разбухшие его щеки свисали над тугим воротничком, ноги были величественно раскоряченны, а огромная голова покачивалась из стороны в сторону, как будто он укорял самого себя за то, что был таким очаровательным субъектом. Не прошли они нескольких ярдов, как майор встретил какого-то знакомого, и еще через несколько ярдов майор снова встретил какого-то знакомого, но только помахал им рукой мимоходом и повел мистера Домби дальше, указывая при этом на местные достопримечательности и оживляя прогулку скандальными сплетнями, приходившими ему на память.

Таким манером майор и мистер Домби шествовали под руку к полному своему удовольствию, когда увидели приближающееся к ним кресло на колесах, в котором сидела леди, лениво управляя своим экипажем с помощью руля, приделанного впереди, тогда как сзади экипаж подталкивала какая-то невидимая сила. Хотя леди была не молода, но цвет лица у нее был ослепительный — совсем розовый,— а туалет и поза приличествовали весьма юной особе. Рядом с креслом, держа легкий зонтик с таким горделивым и усталым видом, словно от столь великого усилия придется вскоре отказаться и зонтик уронить, шла леди значительно моложе, очень красивая, очень высокомерная, очень своенравная на вид; она высоко поднимала голову и опускала глаза, словно если и было на свете что-нибудь достойное внимания, кроме зеркала, то, во всяком случае, не земля или небо.

— Ах, черт побери, кого же это мы видим, сэр?! — вскричал майор, останавливаясь, когда приблизилась маленькая группа.


TO TH
PUMP RO

— Дорогая моя Эдит! — растягивая слова, произнесла леди в кресле.— Майор Бегсток!

Едва услышав этот голос, майор оставил руку мистера Домби, бросился вперед, взял руку леди и поднес к своим губам. С не меньшей галантностью майор прижал обе свои руки в перчатках к сердцу и низко поклонился другой леди. И теперь, когда кресло остановилось, движущая сила обнаружилась в образе раскрасневшегося пажа, напиравшего сзади, который отчасти перерос, а отчасти перенапряг свою силу, ибо когда он выпрямился, то оказалось, что он высок, изнурен и худ; положение его было тем печальнее, что он испортил фасон своей шляпы, подталкивая кресло головой, чтобы продвинуть его вперед, как это делают иногда слоны в восточных странах.

— Джо Бегсток,— сказал майор обеим леди,— горд и счастлив до конца дней своих.

— Лукавое создание! — лениво протянула старая леди в кресле.— Откуда вы явились? Я вас не выношу.

— В таком случае, сударыня, разрешите представить вам друга, чтобы заслужить ваше снисхождение! — воскликнул майор.— Мистер Домби, миссис Скьютон.— Леди в кресле любезно улыбнулась.— Мистер Домби, миссис Грейнджер.— Леди с зонтиком едва обратила внимание на то, что мистер Домби снял шляпу и низко поклонился.— Я в восторге от такой удачи, сэр! — сказал майор.

Майор как будто не шутил, ибо он смотрел на всех троих и подмигивал весьма безобразно.

— Миссис Скьютон, Домби,— сказал майор,— производит опустошение в сердце старого Джоша.

Мистер Домби дал понять, что его это не удивляет.

— Коварный дух,— сказала леди в кресле,— замолчите! Давно ли вы здесь, негодный?

— Один день,— ответил майор.

— И вы можете пробыть один день или даже одну минуту в этом саду,— произнесла леди, слегка поправляя веером фальшивые локоны и фальшивые брови и показывая фальшивые зубы, резко выделявшиеся благодаря фальшивому цвету лица,— в этом саду... как он называется...

— Вероятно, эдем, мама,— презрительно подсказала молодая леди.

— Милая моя Эдит,— отозвалась та,— я ничего не могу поделать. Я всегда забываю эти ужасные названия... И вы можете пробыть здесь день и не вдохновиться всей душой и всем своим существом, созерцая природу, впитывая аромат,— продолжала миссис Скьютон, шурша носовым платком, от которого тошнотворно пахло духами,— аромат ее чистого дыхания, чудовище?

Противоречие между словами, полными юного энтузиазма, и безнадежно вялым тоном миссис Скьютон было вряд ли менее заметно, чем противоречие между ее возрастом — примерно лет под семьдесят — и ее туалетом, который был бы неуместен и в двадцать семь лет. Ее поза в кресле на колесах (которую она никогда не меняла) была той самой, в какой ее нарисовал в ландо лет пятьдесят назад модный в ту пору художник, подмахнувший под печатным воспроизведением рисунка имя «Клеопатра», в результате открытия, сделанного критиками тех времен, будто она удивительно похожа на эту царицу, возлежащую на борту своей галеры. Миссис Скьютон была тогда красавицей, и щеголи в честь ее осушали и разбивали бокалы дюжинами. Красота и коляска остались в прошлом, но позу она сохранила и специально для этого держала кресло на колесах и бодающегося пажа, ибо, кроме позы, не было ровно никаких оснований, препятствовавших ей ходить.

— Надеюсь, мистер Домби — поклонник природы? — заметила миссис Скьютон, поправляя бриллиантовую брошь.

Кстати сказать, она существовала главным образом благодаря славе принадлежащих ей бриллиантов и семейным связям.

— Мой друг Домби, сударыня,— отозвался майор,— быть может, и поклоняется ей втайне, но человек, занимающий столь видное место в величайшем из городов вселенной...

— Нет никого, кто бы не знал об огромном влиянии мистера Домби,— сказала миссис Скьютон.

Когда мистер Домби ответил на комплимент покло-

ном, более молодая леди посмотрела на него и встретила его взгляд.

— Вы живете здесь, сударыня? — обратился к ней мистер Домби.

— Нет, мы жили в разных местах — в Харрогете, Скарборо и в Девоншире. Мы разъезжаем и останавливаемся то тут, то там. Мама любит перемены.

— Эдит, конечно, не любит,— сказала миссис Скьютон с загробным лукавством.

— Я не заметила между этими местами никакой разницы,— последовал крайне равнодушный ответ.

— На меня клевещут. Об одной только перемене, мистер Домби, я действительно мечтаю,— с жеманным вздохом промолвила миссис Скьютон,— и боюсь, что мне никогда не позволят ею насладиться. Общество не разрешит. Но уединение и созерцание — вот для меня... как это называется...

— Если вы имеете в виду рай, мама, то так и скажите, чтобы вас могли понять,— заметила молодая леди.

— Милая Эдит,— отозвалась миссис Скьютон,— тебе известно, что я всецело завишу от тебя, когда забываю эти отвратительные названия. Уверяю вас, мистер Домби, природа предназначила меня для жизни в Аркадии. В обществе я чувствую себя плохо. Коровы — моя страсть. Всегда я мечтала только о том, чтобы поселиться на ферме в Швейцарии и жить окруженной одними коровами... и фарфором.

Это забавное сопоставление, заставлявшее вспомнить о пресловутом слоне, случайно попавшем в посудную лавку, было принято с полной серьезностью мистером Домби, который заявил, что, по его мнению, природа несомненно весьма респектабельное установление.

— Чего мне недостает,— протянула миссис Скьютон, пощипывая свою морщинистую шею,— так это... сердца.— Замечание устрашающе справедливое, хотя и не в том смысле, какой она ему придавала.— Чего мне недостает — это искренности, доверия, отсутствия условностей и свободных порывов души. Мы до ужаса искусственны.

Это была сущая правда!

— Одним словом,— сказала миссис Скьютон,— природа мне нужна всюду. Это было бы так очаровательно.

— Сейчас природа приглашает нас следовать дальше, мама, если вы согласны,— сказала молодая леди, презрительно скривив красивые губы.

Услыхав этот намек, изнуренный паж, который созерцал компанию из-за спинки кресла, скрылся за ним, словно земля его поглотила.

— Подождите минутку, Уитерс,— сказала миссис Скьютон, когда кресло двинулось вперед; она обращалась к пажу с тем томным достоинством, с каким в былые дни обращалась к кучеру в парике, с букетом величиною с головку цветной капусты и в шелковых чулках.— Где вы остановились, ужасное создание?

Майор остановился в отеле «Ройал» вместе со своим другом Домби.

— Можете навестить нас вечерком, если исправитесь,— просюсюкала миссис Скьютон.— Если мистер Домби окажет нам эту честь, мы будем польщены. Уитерс, вперед!

Майор снова поднес к своим синим губам кончики пальцев, которые покоились на ручке кресла с нарочитой небрежностью — по образцу Клеопатры, а мистер Домби отвесил поклон. Старшая леди удостоила обоих весьма милостивой улыбки и девического помахивания рукой; младшая — тем едва заметным кивком, какого требовала простая вежливость.

Последний взгляд на старое морщинистое лицо матери с пятнами румянца, которые при солнечном свете казались страшнее и отвратительнее, чем мертвенная бледность, и на горделивую красоту дочери, на ее изящную фигуру и благородную осанку пробудил и у майора и у мистера Домби невольное желание посмотреть им вслед, и оба оглянулись одновременно. Паж, изогнувшись не меньше, чем его собственная тень, тяжко трудился позади кресла подобно тарану, подталкивая его в гору; шляпа Клеопатры колыхалась так же, как и раньше, а красавица, шедшая немного впереди, выражала всей своей грациозной фигурой, с головы до пят, все то же полнейшее равнодушие ко всем и ко всему.

— Вот что я вам скажу, сэр,— начал майор, когда они возобновили свою прогулку,— будь Джо Бегсток помоложе, нет на свете женщины, которую он предпочел бы

этой женщине в роли миссис Бегсток. Черт побери, сэр,— сказал майор,— она великолепна!

— Вы имеете в виду дочь? — осведомился мистер Домби.

— Разве Джой Б.— брюква, Домби,— сказал майор,— чтобы иметь в виду мать?

— Вы говорили комплименты матери,— возразил мистер Домби.

— Старое пламя, сэр! — хихикнул майор Бегсток.— Дьявольски старое. Ей это приятно.

— Мне она кажется благородной особой,— сказал мистер Домби.

— Благородной, сэр! — повторил майор, останавливаясь и тараща глаза на своего спутника.— Почтенная миссис Скьютон, сэр, приходится сестрой покойному лорду Финиксу и теткой ныне здравствующему. Семья небогатая — в сущности бедная,— и она живет на свою маленькую вдовью часть; но уж коли дело дойдет до происхожденья, сэр!..

Майор сделал росчерк тростью и зашагал вперед, отчаявшись объяснить, до чего дойдет дело, если зайдет так далеко.

— Я заметил,— помолчав, сказал мистер Домби,— что дочь вы назвали миссис Грейнджер.

— Эдит Скьютон,— отвечал майор, снова останавливаясь и высверливая тростью в земле ямку, долженствующую изображать Эдит,— вышла замуж (восемнадцати лет) за Грейнджера из нашего полка.— Майор изобразил его в виде второй ямки.— Грейнджер, сэр,— продолжал майор, постукивая тростью по второму воображаемому портрету и выразительно покачивая головой,— был нашим полковником; чертовски красивый молодец, сэр, сорока одного года. Он умер, сэр, на втором году супружеской жизни.

Майор несколько раз проткнул тростью изображение усопшего Грейнджера и продолжал путь, держа трость на плече.

— Давно это было? — осведомился мистер Домби, снова останавливаясь.

— Эдит Грейнджер, сэр,— отвечал майор, закрывая один глаз, склоняя голову к плечу, переложив трость в

левую руку, а правой разглаживая брыжи,— Эдит Грейнджер в настоящее время под тридцать лет. И, черт побери, сэр,— сказал майор, снова водружая трость на плечо и продолжая путь,— это бесподобная женщина.

— Дети были? — спросил затем мистер Домби.

— Да, сэр,— сказал майор.— Был мальчик.

Мистер Домби уставился в землю, и лицо его омрачилось.

— Который утонул, сэр,— продолжал майор,— когда ему было лет пять.

— Вот как! — сказал мистер Домби, поднимая голову.

— Опрокинулась лодка, в которую няньке незачем было его сажать,— сказал майор.— Такова его история. Эдит Грейнджер — все еще Эдит Грейнджер; но будь непреклонный старый Джой Б., сэр, чуть-чуть помоложе и побогаче, это создание носило бы фамилию Бегсток.

Майор тряхнул плечами и щеками, захохотал и, произнося эти слова, был больше, чем когда бы то ни было, похож на перекормленного Мефистофеля.

— В том случае, полагаю, если бы леди не возражала? — холодно заметил мистер Домби.

— Ей-богу, сэр,— сказал майор.— Бегстоки не ведают такого рода препятствий. Однако справедливость требует отметить, что Эдит могла бы уже раз двадцать выйти замуж, не будь она горда, сэр,— да, горда!

Мнение о ней мистера Домби, если судить по его лицу, не изменилось от этого к худшему.

— В конце концов это великое достоинство,— сказал майор.— Клянусь богом, это высокое достоинство! Домби! Вы сами горды, и ваш друг, старый Джо, уважает вас за это, сэр.

Воздав характеру своего спутника хвалу, которая, казалось, была у него исторгнута силой обстоятельств и неумолимым течением беседы, майор оборвал разговор и пустился в общие рассуждения на тему о том, сколь был он любим и обожаем прекрасными женщинами и ослепительными созданиями.

Через день мистер Домби и майор встретили почтенную миссис Скьютон с дочерью в Галерее минеральных вод; на следующий день они снова их встретили невда-

леже от того места, где повстречались в первый раз. После того как они встречались таким образом раза три-четыре, простая вежливость по отношению к старым знакомым требовала, чтобы майор навестил их вечером. Первоначально у мистера Домби не было желания делать визиты, но когда майор заявил о своем намерении, мистер Домби заметил, что с удовольствием будет его сопровождать. Посему перед обедом майор приказал туземцу отправиться к обеим леди, передать привет от него и мистера Домби и сказать, что вечером они будут иметь честь навестить их, если леди будут одни. В ответ на это туземец принес очень маленькую записку, распространявшую очень сильный запах духов, писанную рукою почтенной миссис Скьютон майору Бегстоку и кратко сообщавшую: «Вы — гадкий медведь, и я была бы не прочь отказать вам в прощении, но если вы действительно будете вести себя очень хорошо,— это было подчеркнуто,— можете прийти. Привет от меня (Эдит присоединяет и свой привет) мистеру Домби».

Почтенная миссис Скьютон и ее дочь, миссис Грейнджер, занимали в Лемингтоне квартиру довольно фешенебельную и дорогую, но оставлявшую желать лучшего в смысле размера и удобств: когда почтенная миссис Скьютон ложилась в постель, ноги ее оказывались в окне, а голова — в камине, а служанка почтенной миссис Скьютон ютилась в каком-то чулане позади гостиной, таком крохотном, что принуждена была вползать в него и выползать, словно прелестная змейка, дабы не выставлять напоказ все его содержимое. Уитерс, изнуренный паж, спал в другом доме, под самой крышей соседней молочной, а кресло на колесах — камень этого юного Сизифа — ночевало в сарае той же молочной, где принадлежащие этому заведению куры несли свежие яйца и ночью располагались на сломанной двуколке, несомненно убежденные в том, что она выросла здесь и является чем-то вроде дерева.

Мистер Домби и майор застали миссис Скьютон в позе Клеопатры среди диванных подушек, в очень воздушном одеянии, разумеется, отнюдь не похожую на шекспировскую Клеопатру, которая с годами не увядала *. Поднимаясь по лестнице, они слышали звуки

арфы, но эти звуки оборвались, когда доложили об их приходе, и теперь Эдит стояла возле арфы, более прекрасная и высокомерная, чем когда-либо. Отличительною чертою этой леди было то, что ее красота бросалась в глаза и утверждала себя без всяких усилий и вопреки ее воле. Леди знала, что она красива; иначе и быть не могло; но, в гордыне своей, как будто относилась к этому пренебрежительно.

Почитала ли она дешевыми те чары, какие могли вызвать лишь восторг, не имевший в ее глазах никакого значения, или же такое поведение помогало ей повысить их цену в глазах поклонников,— те, кто их *ценил,* редко об этом задумывались.

— Надеюсь, миссис Грейнджер,— сказал мистер Домби, подходя к ней,— не мы повинны в том, что вы перестали играть?

— *Вы?* О нет!

— Почему же ты в таком случае не продолжаешь, дорогая Эдит? — промолвила Клеопатра.

— Я перестала играть так же, как и начала... так мне захотелось.

Полное равнодушие, с каким это было сказано,— равнодушие, ничего общего не имеющее с вялостью или бесчувственностью, ибо оно было отмечено горделивым умыслом,— великолепно оттенялось той небрежностью, с какою она провела рукой по струнам и отошла в другой конец комнаты.

— Знаете ли, мистер Домби,— сказала ее томная мать, играя ручным экраном,— иногда милая моя Эдит не совсем согласна со мною...

— А разве не всегда, мама? — заметила Эдит.

— О нет, милочка! Фи, фи, это разбило бы мне сердце,— возразила мать, пытаясь прикоснуться к ней ручным экраном, каковой попытке Эдит не пошла навстречу.— Моя милая Эдит не согласна со мной по вопросу об этих строгих правилах хорошего тона, которые соблюдаются в мелочах. Почему мы не бываем более непосредственны? Ах, боже мой! В душе у нас заложены томления, порывы и безотчетные волнения, которые так очаровательны, так почему мы не бываем более непосредственны?

Мистер Домби сказал, что это весьма справедливое наблюдение, весьма справедливое.

— Пожалуй, мы бы могли быть более непосредственны, если бы постарались,— сказала миссис Скьютон.

Мистер Домби считал это возможным.

— Черт возьми, как бы не так, сударыня,— сказал майор.— Этого мы не можем себе позволить. Поскольку мир не населен Дж. Б.— непреклонными и прямодушными старыми Джо, сударыня, копчеными селедками с икрой, сэр,— мы этого не можем себе позволить. Это недопустимо.

— Злой язычник! — воскликнула миссис Скьютон.— Умолкните!

— Клеопатра повелевает,— отозвался майор, посылая воздушный поцелуй,— и Антоний Бегсток повинуется!

— Этому человеку чужда всякая чувствительность! — сказала миссис Скьютон, жестокосердно поднимая ручной экран, дабы заслониться от майора.— Всякое сострадание! А можно ли жить без сострадания? Есть ли что-нибудь более очаровательное? Без этого солнечного луча, озаряющего нашу холодную, холодную землю,— продолжала миссис Скьютон, оправляя кружевную накидку и самодовольно наблюдая, какое впечатление производит ее обнаженная худая рука,— как могли бы мы выносить эту землю? Одним словом, сухой вы человек,— глянула она из-за экрана на майора,— я бы хотела, чтобы мой мир был весь — сердце; а вера — так очаровательна, что я не позволю вам смущать ее, слышите?

Майор отвечал, что со стороны Клеопатры жестоко требовать, чтобы весь мир был сердцем, и в то же время присваивать себе сердца всего мира. Это заставило Клеопатру напомнить ему, что лесть ей несносна, и если он дерзнет еще раз заговорить с ней в таком тоне, она безусловно прогонит его домой.

В это время Уитерс Изнуренный подал чай, а мистер Домби снова обратился к Эдит.

— По-видимому, общества здесь почти нет? — сказал мистер Домби свойственным ему величественным, джентльменским тоном.

— Да, кажется. Мы никого не видим.

— Ах, в самом деле,— откликнулась со своего ложа миссис Скьютон,— в настоящее время здесь нет людей, с которыми нам хотелось бы встречаться.

— Им не хватает сердца,— с улыбкой сказала Эдит. Сумеречная улыбка: так странно сочетались в ней свет и мрак.

— Как видите, милая Эдит посмеивается надо мной! — сказала мать, покачивая головой, которая иной раз покачивалась непроизвольно, словно параличное дрожанье возникало время от времени, протестуя против вспыхивающих бриллиантов.— Злюка!

— Если не ошибаюсь, вы бывали здесь раньше? — спросил мистер Домби. Он по-прежнему обращался к Эдит.

— О, не раз. Кажется, мы бывали всюду.

— Красивые места!

— Да, должно быть. Все так говорят.

— Твой кузен Финикс в восторге от них, Эдит,— вставила мать со своего ложа.

Дочь слегка повернула изящную головку и, чуть-чуть приподняв брови, словно с кузеном Финиксом следовало считаться меньше, чем с кем бы то ни было из смертных, снова перевела взгляд на мистера Домби.

— Мне надоели эти окрестности — надеюсь, к чести для моего вкуса,— сказала она.

— Пожалуй, у вас есть для этого основания, сударыня,— ответил он, посматривая на висевшие и разбросанные вокруг рисунки, в которых он узнал окрестные пейзажи,— если эти прекрасные зарисовки сделаны вами.

Красавица ничего ему не ответила и сидела, сохраняя вид поразительно надменный.

— Я не ошибся? — спросил мистер Домби.— Их рисовали вы?

— Да.

— И вы играете, как я уже знаю.

— Да.

— И поете?

— Да.

На все эти вопросы она отвечала со странной неохотой и словно борясь с собой, что уже было отмечено, как характеристическая особенность ее красоты. Однако она

не была смущена и вполне владела собой. Не было у нее, по-видимому, и желания уклониться от разговора, ибо она не отводила взора от собеседника и — поскольку это было для нее возможно — оказывала ему знаки внимания, даже тогда, когда он молчал.

— По крайней мере у вас много средств против скуки,— сказал мистер Домби.

— Каково бы ни было их действие,— отвечала она,— теперь вы знаете все. Больше никаких у меня нет.

— Могу ли я познакомиться с ними? — с напыщенной галантностью осведомился мистер Домби, положив рисунок, который держал в руке, и указывая на арфу.

— О, разумеется! Если хотите!

С этими словами она встала, прошла мимо кушетки матери, бросив в ее сторону высокомерный взгляд — взгляд мимолетный, но (если бы кто-нибудь его видел) выражавший очень многое и затененный той сумеречною улыбкой, которая улыбкой не была,— и вышла из комнаты.

Майор, получив к тому времени полное прощение, придвинул к Клеопатре маленький столик и сел играть с нею в пикет. Мистер Домби, не зная этой игры, подсел к ним поучиться, пока не вернулась Эдит.

— Надеюсь, мы услышим музыку, мистер Домби? — сказала Клеопатра.

— Миссис Грейнджер любезно обещала,— сказал мистер Домби.

— А! Это очень приятно. Объявляете игру, майор?

— Нет, сударыня,— сказал майор.— Не могу.

— Вы варвар,— отозвалась леди,— испортили мне игру. Вы любите музыку, мистер Домби?

— Чрезвычайно,— был ответ мистера Домби.

— Да. Музыка очень приятна,— сказала Клеопатра, глядя на свои карты.— В ней столько сердца... смутные воспоминания о прошлом существовании... и многое другое... поистине очаровательно. Знаете,— хихикнула Клеопатра, перевертывая валета треф, который был ей сдан вверх ногами,— если что-нибудь могло бы побудить меня оборвать нить жизни, то только желание узнать, в чем же тут дело и что это значит; столько есть волнующих тайн, от нас сокрытых! Майор, ваш ход!

Майор сделал ход, а мистер Домби, подсевший, чтобы обучаться, вскоре пришел бы в полное замешательство, если бы хоть какое-нибудь внимание обращал на игру, но он сидел, гадая, когда же вернется Эдит.

Наконец она вернулась и подошла к арфе, а мистер Домби встал и, стоя подле нее, слушал. Он не был любителем музыки и понятия не имел о том, что она играет, но он видел, как она склоняется над арфой и, быть может, слышал в звучании струн какую-то далекую, понятную одному ему, музыку, которая укрощала чудовище железной дороги и смягчала его жестокость.

Клеопатра за пикетом не дремала. Глаза у нее блестели, как у птицы, и взор не был прикован к картам, а пронизывал комнату из конца в конец, останавливаясь на арфе, исполнительнице, слушателе — на всем.

Окончив играть, высокомерная красавица встала и, приняв благодарность и комплименты мистера Домби с таким же видом, как и раньше, подошла к роялю.

Эдит Грейнджер, любую песенку, только не эту! Эдит Грейнджер, вы очень красивы, и туше у вас блестящее, и голос глубокий и звучный, но только не эту песенку, которую его покинутая дочь пела его умершему сыну!

Увы! Он ее не узна́ет; а если бы и узнал, какая песенка могла бы взволновать этого черствого человека? Спи, одинокая Флоренс, спи! Пусть безмятежны будут твои сны, хотя ночь стала темной и тучи надвигаются и грозят разразиться градом!

ГЛАВА XXII

Кое-что о деятельности мистера Каркера-заведующего

Мистер Каркер-заведующий сидел за конторкой, как всегда приглаженный и вкрадчивый, просматривая те письма, какие надлежало ему распечатать, делая на них пометки и распоряжения, которых требовало их содержание, и распределяя их небольшими пачками, чтобы пере-

править в различные отделения фирмы. В то утро писем поступило немало, и у мистера Каркера-заведующего было много дела.

Вид человека, занятого такой работой, просматривающего пачку бумаг, которую он держит в руке, раскладывающего их отдельными стопками, приступающего к другой пачке и пробегающего ее содержание, сдвинув брови и выпятив губы,— распределяющего, сортирующего и обдумывающего,— легко может внушить мысль о какомто сходстве с игроком в карты. Лицо мистера Каркера-заведующего вполне соответствовало такой причудливой мысли. Это было лицо человека, который старательно изучил свои карты, который знаком со всеми сильными и слабыми сторонами игры, мысленно отмечает карты, падающие вокруг него, знает в точности, каковы они, чего им недостает и что они дают, и который достаточно умен, чтобы угадать карты других игроков и никогда не выдавать своих.

Письма были на разных языках, но мистер Каркер-заведующий читал все. Если бы нашлось что-нибудь в конторе Домби и Сына, чего он не мог прочесть, значит не хватало бы одной карты в колоде. Он читал с молниеносной быстротой и комбинировал при этом одно письмо с другим и одно дело с другим, добавляя новый материал к пачкам — примерно так же, как человек сразу распознает карты и мысленно разрабатывает комбинации после сдачи. Пожалуй, слишком хитрый как партнер и бесспорно слишком хитрый как противник, мистер Каркер-заведующий сидел в косых лучах солнца, падавших на него через окно в потолке, и разыгрывал свою партию в одиночестве.

И хотя инстинктам кошачьего племени, не только дикого, но и домашнего, чужда игра в карты, однако мистер Каркер-заведующий с головы до пят походил на кота, когда нежился в полоске летнего тепла и света, сиявшей на его столе и на полу, словно стол и пол были кривым циферблатом солнечных часов, а сам он — единственной цифрой на нем. С волосами и бакенбардами, всегда тусклыми, а в ярком солнечном свете более бесцветными, чем обычно, и напоминающими шерсть рыжеватого в пятнах кота; с длинными ногтями, изящно за-

остренными и отточенными, с врожденной антипатией к малейшему грязному пятнышку, которая побуждала его иной раз отрываться от работы, следить за падающими пылинками и смахивать их со своей нежной белой руки и глянцевитой манжеты,— мистер Каркер-заведующий, с лукавыми манерами, острыми зубами, мягкой поступью, зорким взглядом, вкрадчивой речью, жестоким сердцем и пунктуальностью, сидел за своей работой с примерной настойчивостью и терпением, словно караулил возле мышиной норки.

Наконец все письма были разобраны, за исключением одного, которое он отложил для особо внимательного просмотра. Заперев в ящик более конфиденциальную корреспонденцию, мистер Каркер-заведующий позвонил.

— Почему *вы* являетесь на звонок? — так встретил он брата.

— Рассыльный вышел, и я его должен заменить,— был смиренный ответ.

— Вы — заменить его? — пробормотал заведующий.— Вот как! Это делает мне честь! Возьмите!

Указав на кучки распечатанных писем, он презрительно повернулся в кресле и сломал печать письма, которое держал в руке.

— Мне не хочется беспокоить вас, Джеймс,— сказал брат, собирая письма,— но...

— Вы хотите мне что-то сказать! Я так и знал. Ну?

Мистер Каркер-заведующий не поднял глаз и не перевел их на брата, он по-прежнему не отрывал их от письма, которого, однако, не развертывал.

— Ну? — резко повторил он.

— Меня беспокоит Хэриет.

— Хэриет? Какая Хэриет? Я не знаю никого, кто бы носил это имя.

— Она нездорова и очень изменилась за последнее время.

— Она очень изменилась много лет назад,— отозвался заведующий,— вот все, что я могу сказать.

— Мне кажется, если бы вы согласились меня выслушать...

— Зачем мне вас выслушивать, брат Джон? — возразил заведующий, делая саркастическое ударение на по-

следних двух словах и вскидывая голову, но не поднимая глаз.— Повторяю вам, много лет назад Хэриет Каркер сделала выбор между своими двумя братьями. Она может в нем раскаиваться, но должна остаться при нем.

— Поймите меня правильно. Я не говорю, что она в нем раскаивается. С моей стороны было бы черной неблагодарностью намекать на что-нибудь подобное,— возразил тот.— Хотя, поверьте мне, Джеймс, я огорчен ее жертвой так же, как и вы.

— Как я! — воскликнул заведующий.— Как я?

— Огорчен ее выбором,— тем, что вы называете ее выбором,— так же, как вы им рассержены,— сказал младший.

— Рассержен? — повторил тот, показывая все свои зубы.

— Недовольны. Подставьте любое слово. Вы знаете, что я хочу сказать. Ничего оскорбительного нет в моих словах.

— Оскорбительно все, что вы делаете,— отвечал брат, внезапно бросив на него грозный взгляд, который через секунду уступил место улыбке, еще более широкой, чем та, что обычно растягивала его губы.— Будьте добры взять эти бумаги. Я занят.

Его вежливость была настолько язвительнее гнева, что младший двинулся к двери. Но дойдя до нее и оглянувшись, он сказал:

— Когда Хэриет тщетно пыталась ходатайствовать за меня перед вами в период вашего первого справедливого негодования и первого моего позора и когда она ушла от вас, Джеймс, чтобы разделить мою несчастную участь и, под влиянием ложно направленной любви, посвятить себя обесчещенному брату, потому что, кроме нее, у него никого не было и он обречен был на гибель,— тогда она была молода и красива. Мне кажется, если бы вы увидели ее теперь, если бы вы повидались с нею,— она бы вызвала у вас восхищение и жалость.

Заведующий наклонил голову и оскалил зубы, словно в ответ на какую-нибудь незначительную фразу собирался сказать: «Ах, боже мой! Да неужели?» — но не проронил ни слова.

— Тогда мы думали, и вы и я, что она выйдет замуж и будет жить счастливо и беззаботно,— продолжал брат.— О, если бы вы знали, как радостно отказалась она от этих надежд, как радостно пошла по тропе, ею избранной, и ни разу не оглянулась,— вы бы никогда не сказали, что ее имя вам незнакомо! Никогда!

Снова заведующий наклонил голову и оскалил зубы, как бы говоря: «Право же, это замечательно! Вы меня удивляете!» И снова он не произнес ни звука.

— Могу я продолжать? — робко спросил Джон Каркер.

— Идти своей дорогой? — отозвался улыбающийся брат.— Да, сделайте милость.

Со вздохом Джон Каркер пошел к двери, но голос брата удержал его на пороге.

— Если она пошла и продолжает радостно идти своим путем,— сказал заведующий, бросив на конторку все еще не развернутое письмо и глубоко засунув руки в карманы,— можете ей передать, что я так же радостно иду своим путем. Если она ни разу не оглянулась, можете ей передать, что иногда я оглядываюсь, чтобы припомнить, как она перешла на вашу сторону, и что мое решение не менее твердо,— тут он очень сладко улыбнулся,— чем мрамор.

— Я ничего ей не говорю о вас. Мы никогда не упоминаем вашего имени. Раз в году, в день вашего рождения, Хэриет неизменно говорит: «Вспомним о Джеймсе и пожелаем ему счастья». Но больше мы ничего не говорим.

— В таком случае,— отозвался тот,— будьте добры сказать это самому себе. Повторяйте почаще, как урок, дабы в разговоре со мной избегать этой темы. Я не знаю никакой Хэриет Каркер. Такой особы нет на свете. Быть может, у *вас* есть сестра — радуйтесь этому. У меня ее нет.

Мистер Каркер-заведующий снова взял письмо и с насмешливо-учтивой улыбкой махнул, указывая на дверь. Развернув его, когда брат вышел, и мрачно поглядев ему вслед после его ухода, он уселся поудобнее в своем кресле и начал внимательно читать письмо.

Оно было написано рукой его могущественного шефа, мистера Домби, и послано из Лемингтона. Хотя все про-

чие письма мистер Каркер быстро просматривал, это письмо он читал медленно, взвешивая каждое слово и напрягая все силы, чтобы отгадать его истинный смысл. Прочитав его один раз, он начал снова перечитывать и отметил следующие места: «Перемена оказалась для меня благотворной, и я еще не расположен назначить день возвращения»... «Я хочу, чтобы вы, Каркер, постарались как-нибудь приехать сюда ко мне и лично доложили, как идут дела»... «Я забыл сказать вам о молодом Гэе. Если он не уехал на «Сыне и наследнике» или если «Сын и наследник» еще в доках, пошлите какого-нибудь другого молодого человека, а его оставьте пока в Сити. Я еще не решил».

— Вот неудача! — проговорил мистер Каркер-заведующий, растягивая рот, словно он был сделан из резины.— Ведь Гэй уже далеко!

Однако это место в постскриптуме снова привлекло его внимание и зубы.

— Кажется,— сказал он,— мой добрый друг капитан Катль мельком заметил, что в тот день Гэй был взят на буксир. Как жаль, что он так далеко!

Он сложил письмо и сидел, играя им, постукивая по столу и вертя его так и этак,— проделывая, быть может, то же самое и с его содержанием,— когда мистер Перч, рассыльный, тихонько постучал в дверь, вошел на цыпочках и, сгибаясь всем корпусом при каждом шаге, словно для него величайшим удовольствием было отвешивать поклоны, положил на стол какие-то бумаги.

— Угодно ли вам сказать, что вы заняты, сэр? — спросил мистер Перч, потирая руки и почтительно склоняя голову к плечу, словно чувствуя, что не подобает ему держать ее высоко в присутствии такой особы, и желая убрать ее по возможности подальше.

— Кто меня спрашивает?

— Видите ли, сэр,— тихим голосом сказал мистер Перч,— сейчас, сэр, никто, о ком стоило бы говорить. Мистер Джилс, мастер судовых инструментов, сэр, зашел, говорит, по делу о каком-то платеже, но я ему намекнул, сэр, что вы чрезвычайно заняты, чрезвычайно заняты.

Мистер Перч кашлянул, прикрывшись рукой, и ждал дальнейших распоряжений.

— Еще кто-нибудь?

— Я, сэр,— сказал мистер Перч,— не брал бы на себя смелость докладывать, сэр, что есть еще кто-нибудь, но этот самый мальчишка, который был здесь вчера, сэр, и на прошлой неделе, опять вертится поблизости; и ужасно это несолидно, сэр,— добавил мистер Перч, сделав паузу, чтобы притворить дверь,— когда он насвистывает воробьям во дворе и заставляет их отзываться на свист.

— Вы говорили, что он хочет получить работу, не так ли, Перч? — спросил мистер Каркер, откидываясь на спинку кресла и глядя на служителя.

— Видите ли, сэр,— сказал мистер Перч, снова кашлянув в руку,— он действительно так говорил, что нуждается в месте, и полагает, что ему можно было бы дать какую-нибудь работу в доках, раз он умеет удить рыбу, но...

Мистер Перч покачал головой, выражая этим крайнее свое недоверие.

— Что он говорит, когда приходит? — спросил мистер Каркер.

— Сэр,— сказал мистер Перч, еще раз кашлянув в руку, каковым кашлем он всегда выражал свое смирение, если другого способа не мог придумать,— его замечания обычно сводятся к тому, что он выражает почтительное желание увидеть одного из джентльменов и что он хочет зарабатывать на жизнь. Но, видите ли, сэр,— добавил Перч, понизив голос до шепота и повернувшись, дабы для сохранения тайны толкнуть дверь рукой и коленом, словно можно было ее притворить еще плотнее, хотя она была уже закрыта,— трудно стерпеть, сэр, когда такой мальчишка шныряет здесь и говорит, что его мать была кормилицей молодого хозяина нашей фирмы и по этому случаю он надеется, что наша фирма о нем позаботится. Право же, сэр,— заметил мистер Перч,— хотя миссис Перч кормила в ту пору грудью самую цветущую девчурку, какую мы когда-либо дерзали прибавить к нашему семейству, я бы не осмелился намекнуть, что она способна доставить материнское молоко фирме, хотя бы это и было желательно!

Мистер Каркер оскалил на него зубы, как акула, но сделал это с видом рассеянным и озабоченным.

— Быть может,— почтительно заметил мистер Перч, после короткого молчания и снова кашлянув,— мне следовало бы ему сказать, что, если он появится здесь еще раз, его посадят в тюрьму и оттуда не выпустят! Но, право же, я его побаиваюсь, сэр, и мог бы дать в этом присягу, потому как я по натуре своей робок и нервы у меня расшатаны нынешним положением миссис Перч.

— Покажите мне этого парня, Перч,— сказал мистер Каркер.— Приведите его сюда!

— Слушаюсь, сэр. Прошу прощения, сэр,— сказал мистер Перч, задержавшись у двери,— с виду он грубоват, сэр.

— Неважно. Если он здесь, приведите его. Затем я приму мистера Джилса. Попросите его подождать.

Мистер Перч поклонился и, закрыв дверь столь старательно и заботливо, словно не собирался возвращаться сюда в течение недели, отправился на поиски во двор, к воробьям. Когда он ушел, мистер Каркер стал в излюбленную свою позу перед камином и уставился на дверь; он подобрал нижнюю губу, изобразил улыбку, обнажившую верхний ряд зубов, и как-то странно насторожился.

Рассыльный не замедлил вернуться в сопровождении пары тяжелых сапог, которые, шагая по коридору, грохотали, как ящики. Бесцеремонно бросив: «Ну, пошевеливайся!» — весьма необычное обращение в его устах,— мистер Перч ввел крепко сложенного пятнадцатилетнего парня с круглым красным лицом, круглой коротко остриженной головой, круглыми черными глазами, округлыми руками и ногами и круглым туловищем, который, довершая округлость своей фигуры, держал в руке круглую шляпу, лишенную полей.

Повинуясь кивку мистера Каркера, Перч, введя посетителя к этому джентльмену, поспешил удалиться. Как только они остались лицом к лицу, мистер Каркер, не произнеся ни единого слова, схватил мальчика за горло и начал трясти так, что голова его, казалось, вот-вот сорвется с плеч.

Вне себя от изумления, мальчик дико таращил глаза на душившего его джентльмена с великим множеством

белых зубов и на стены комнаты, как будто твердо решил, что последний его взгляд, если его действительно задушат, проникнет в тайну, за разоблачение коей он расплачивается столь жестоко. Наконец он ухитрился вымолвить:

— Что вы, сэр? Отпустите меня, пожалуйста, отпустите!

— Отпустить тебя! — сказал мистер Каркер.— Как? Да разве ты не в моих руках?

В этом не могло быть сомнения, как и в том, что эти руки держали его крепко.

— Собака! — сквозь стиснутые зубы процедил мистер Каркер.— Я тебя задушу!

Байлер захныкал: да неужели? О нет, не задушит! И зачем ему это?.. И почему бы не задушить кого-нибудь равного по силе, а не его? Однако Байлер был укрощен необычайным приемом, ему оказанным, и когда голова его перестала раскачиваться и он посмотрел джентльмену в лицо, или, вернее, в зубы, и увидел, как тот на него оскалился, он до такой степени забыл о своем мужестве, что заплакал.

— Я вам ничего не сделал, сэр! — сказал Байлер, он же Роб, он же Точильщик и неизменно — Тудль.

— Негодный мальчишка! — сказал мистер Каркер, медленно отпуская его и отступая на шаг, чтобы принять излюбленную свою позу.— Что у тебя было на уме, когда ты осмелился явиться сюда?

— Ничего плохого не было у меня на уме, сэр,— захныкал Роб, одной рукой хватаясь за шею, а другой вытирая глаза.— Я больше никогда не приду, сэр. Я хотел только получить работу.

— Работу, вот как, юный Каин? — повторил мистер Каркер, пристально в него всматриваясь.— Да разве ты не самый ленивый бездельник в Лондоне?

Обвинение, весьма задевавшее мистера Тудля-младшего, столь соответствовало его репутации, что он ни одним словом не мог его опровергнуть. Поэтому он стоял, глядя на джентльмена с видом испуганным, униженным и покаянным. И можно было заметить, что он зачарован мистером Каркером и ни на секунду не отводит от него своих круглых глаз.

— Разве ты не вор? — сказал мистер Каркер, заложив руки в карманы.

— Нет, сэр,— взмолился Роб.

— Вор! — сказал мистер Каркер.

— Право же, нет, сэр,— хныкал Роб.— Я никогда не занимался такими делами, как воровство, сэр, верьте мне. Я знаю, что сбился с пути, сэр, с тех пор как стал охотиться за птицами. Конечно, могут сказать,— в припадке раскаяния продолжал мистер Тудль-младший,— что певчие птицы — невинная компания, но никто не знает, какие это зловредные пичужки и до чего они могут довести человека.

По-видимому, его они довели до вельветовой куртки и весьма изношенных штанов, необычайно короткого красного жилета, похожего на нагрудник, из-под которого виднелась синяя клетчатая рубашка, и до вышеупомянутой шляпы.

— Дома я и двадцати раз не бывал после того, как эти птицы приворожили меня,— сказал Роб,— а с тех пор прошло уже десять месяцев. Как же мне идти домой, когда всем тошно на меня смотреть? Понять не могу,— тут Байлер разревелся всерьез, утирая глаза обшлагом куртки,— почему я давным-давно не пошел и не утопился.

Все это, не исключая его недоумения, почему он не совершил сего последнего славного подвига, мальчик высказал так, словно зубы мистера Каркера вытягивали из него слова, а он не мог скрыть что бы то ни было под сокрушительным огнем этой неотразимой батареи.

— Нечего сказать, славный молодой джентльмен! — промолвил мистер Каркер, покачивая головой.— Для тебя, милейший, конопля уже посеяна! *

— Право же, сэр,— отозвался злосчастный Байлер, снова разревевшись и снова прибегнув к обшлагу куртки,— иной раз мне все равно, даже если бы она выросла. Все мои несчастья начались с увиливанья, сэр; но что мне было делать, как не увиливать?

— Что, что? — переспросил мистер Каркер.

— Увиливать, сэр. Увиливать от школы.

— То есть ты делал вид, будто идешь туда, а на самом деле не шел? — сказал мистер Каркер.

— Да, сэр; это и значит увиливать, сэр,— с великим сокрушением отвечал бывший Точильщик.— Меня гоняли по улицам, сэр, когда я шел туда, и колотили, когда я туда приходил. Вот я и увиливал, прятался, с этого и началось.

— И ты говоришь,— сказал мистер Каркер, снова схватив его за горло, придерживая на расстоянии вытянутой руки и несколько секунд разглядывая его молча,— что ищешь работы?

— Я был бы благодарен, сэр, если бы меня взяли на пробу,— слабым голосом отвечал Тудль-младший.

Мистер Каркер-заведующий толкнул его в угол — мальчик покорно подчинился, едва осмеливаясь дышать и не сводя глаз с его лица,— и позвонил.

— Попросите мистера Джилса.

Мистер Перч был слишком почтителен, чтобы выразить удивление или обратить внимание на фигуру в углу, и дядя Соль явился немедленно.

— Мистер Джилс,— с улыбкой сказал Каркер,— садитесь. Как поживаете? Надеюсь, по-прежнему в добром здравии?

— Благодарю вас, сэр,— ответил дядя Соль, доставая бумажник и протягивая несколько банкнотов.— Никаких болезней у меня нет, кроме старости. Двадцать пять, сэр.

— Вы пунктуальны и точны, мистер Джилс,— отозвался улыбающийся заведующий, отыскивая в одном из многочисленных ящиков бумагу и расписываясь на обороте, в то время как дядя Соль смотрел поверх него,— как ваши хронометры. Совершенно верно.

— По списку я вижу, что о «Сыне и наследнике» сведений не поступало,— сказал дядя Соль, и голос у него, всегда нетвердый, задрожал сильнее.

— О «Сыне и наследнике» сведений не поступало,— ответил Каркер.— Кажется, погода была ненастная, мистер Джилс, и, должно быть, судно отклонилось от курса.

— Дай бог, чтобы оно было невредимо! — сказал дядя Соль.

— Дай бог, чтобы оно было невредимо,— согласился мистер Каркер, беззвучно шевеля губами, чем снова вы-

звал дрожь у наблюдательного юного Тудля.— Мистер Джилс,— добавил он вслух, откидываясь на спинку кресла,— должно быть, вы очень скучаете без племянника?

Дядя Соль, стоя подле него, кивнул головой и глубоко вздохнул.

— Мистер Джилс,— сказал Каркер, поглаживая своей мягкою рукою подбородок и поднимая глаза на мастера судовых инструментов,— вы были бы менее одиноки, держа у себя в лавке какого-нибудь молоденького парнишку, а мне оказали бы услугу, если бы временно приютили такого паренька. Да, разумеется,— быстро добавил он, предупреждая ответ старика,— торговля идет небойко, это мне известно, но пусть он занимается уборкой, чистит инструменты,— словом, исполняет черную работу, мистер Джилс. Вот он — этот мальчишка!

Соль Джилс сдвинул очки со лба на нос и посмотрел на Тудля-младшего, стоявшего навытяжку в углу; голова его сейчас (как и всегда) имела такой вид, словно ее только что извлекли из ведра с холодной водой; короткий жилет быстро поднимался и опускался, обнаруживая его смятение, а глаза впивались в мистера Каркера, не замечая будущего хозяина.

— Вы его возьмете к себе, мистер Джилс? — спросил заведующий.

Старый Соль, отнюдь не в восторге от такого предложения, ответил, что рад случаю оказать хотя бы маленькую услугу мистеру Каркеру, чье желание для него равносильно приказу, и что Деревянный Мичман почтет за счастье принять у себя в каюте любого гостя по выбору мистера Каркера.

Мистер Каркер обнажил верхние и нижние десны, вызвав сильнейшую дрожь у зоркого Тудля-младшего, и с величайшей учтивостью поблагодарил мастера судовых инструментов за любезность.

— Стало быть, так я им и распоряжусь, мистер Джилс,— сказал он, вставая и протягивая руку старику,— пока не решу, что мне с ним делать и чего он заслуживает. Так как я считаю себя ответственным за него, мистер Джилс,— тут он широко улыбнулся Робу, который затрепетал при виде этой улыбки,— вы мне доставите удовольствие, если будете внимательно за ним следить

и сообщать о его поведении мне. Сегодня по дороге домой я заеду к его родителям — это почтенные люди — и спрошу кое о чем, чтобы проверить то, что он сам рассказывает о себе, а затем, мистер Джилс, я пришлю его к вам завтра утром. До свидания!

Его напутственная улыбка обнажила такое количество зубов, что старый Соль смутился и почувствовал какую-то неловкость. Домой он шел, размышляя о бушующем море, гибнущих кораблях, тонущих людях, о старой бутылке мадеры, которая так и не увидит света, и о других печальных вещах.

— Ну, малый! — сказал мистер Каркер, опуская руку на плечо юного Тудля и вытаскивая его на середину комнаты.— Ты меня слышал?

— Да, сэр.

— Быть может, ты понимаешь,— продолжал его патрон,— что если ты когда-нибудь меня обманешь или подведешь, то лучше было тебе и в самом деле утопиться раз навсегда, прежде чем сюда являться?

Казалось, ни в одной отрасли знания не было ничего, что бы Роб мог понять лучше, чем эту истину.

— Если ты мне сказал хоть одно лживое слово,— продолжал мистер Каркер,— не попадайся мне на глаза. Если же нет, то можешь подождать меня где-нибудь поблизости от дома своей матери. Отсюда я уйду в пять часов и поеду туда верхом. Теперь дай мне адрес.

Роб продиктовал его медленно, и мистер Каркер записал. Роб даже повторил его еще раз, букву за буквой, словно считал, что пропуск какой-нибудь точки или черточки повлечет за собой его погибель. Затем мистер Каркер выпроводил его из комнаты, и Роб, вплоть до последнего момента не сводя своих круглых глаз с патрона, скрылся из виду.

Мистер Каркер-заведующий совершил в течение дня великое множество дел и одарил своими зубами великое множество людей. В конторе, во дворе, на улице и на бирже зубы блестели и торчали устрашающе. Подошел шестой час, а с ним и гнедая лошадь мистера Каркера, и зубы, сверкая, направились к Чипсайду.

Так как никто при всем желании не может в этот час быстро ехать верхом в Сити — в сутолоке и среди такой

толпы — и так как мистер Каркер подобного желания не имел, он подвигался не спеша, пробираясь между повозками и каретами, по мере сил избегая луж и грязи на чересчур обильно политой мостовой и с величайшим трудом стараясь не испачкать себя и своего коня. Пустив лошадь шагом и посматривая на прохожих, он вдруг встретил круглые глаза коротко остриженного Роба, впившиеся ему в лицо так, словно они ни на секунду от него не отрывались, а сам мальчик, подпоясавшись туго скрученным носовым платком, напоминавшим пятнистого угря, всем своим видом свидетельствовал о том, что готов следовать за мистером Каркером, какую бы скорость тот ни счел нужным развить.

Так как это внимание, хотя и лестное, было необычно и привлекало любопытство прохожих, мистер Каркер воспользовался менее запруженной и более чистой дорогой и пустил лошадь рысью. Роб немедленно перешел на рысь. Вскоре мистер Каркер испробовал легкий галоп; Роб по-прежнему не отставал. Затем полный галоп; мальчику это было нипочем. Когда бы мистер Каркер ни оборачивался, он неизменно видел, как младший Тудль поспевает за ним, по-видимому без особого труда, и работает локтями, следуя похвальному приему джентльменов-профессионалов, состязающихся в беге на пари.

Это нелепое преследование свидетельствовало, однако, о влиянии, которому подчинился мальчик, а посему мистер Каркер, делая вид, будто его не замечает, продолжал путь к дому мистера Тудля. Здесь он замедлил шаг коня, а Роб забежал вперед, показывая, куда нужно сворачивать; когда же мистер Каркер подозвал стоявшего у ворот человека, чтобы тот присмотрел за лошадью во время его посещения одного из зданий, выстроенных на месте Садов Стегса, Роб почтительно придерживал стремя, пока заведующий слезал с лошади.

— Ну, сэр,— сказал мистер Каркер, взяв за его плечо,— идем!

Блудный сын явно опасался посетить родительское жилище, но так как мистер Каркер подталкивал его, ему ничего не оставалось, как открыть надлежащую дверь и смириться, когда его ввели в круг братьев и сестер,

собравшихся в несметном количестве за семейным чаем. При виде блудного сына во власти незнакомца эти нежные родственники дружно подняли вой, который столь глубоко пронзил сердце блудного сына, увидевшего среди них свою мать, бледную и дрожащую, с младенцем на руках, что и его голос присоединился к хору.

Не сомневаясь, что незнакомец был если не мистером Кетчем * собственной персоной, то во всяком случае одним из его сподвижников, все юные члены семейства завыли еще громче, а самые молодые из них, не в силах совладать с наплывом чувств, свойственных этому возрасту, попадали на спину, словно птички, испуганные ястребом, и начали неистово брыкаться. Наконец бедная Полли, повысив голос, промолвила дрожащими губами:

— О Роб, бедный мой мальчик, что же это ты натворил?

— Ничего, мама,— жалобным голосом воскликнул Роб,— спроси этого джентльмена.

— Не пугайтесь,— сказал мистер Каркер,— я хочу оказать ему услугу.

Услыхав такую весть, Полли, которая еще не плакала, теперь расплакалась. Старшие Тудли, по-видимому собравшиеся идти на выручку, разжали кулаки. Младшие Тудли сбились в кучу у материнской юбки и, прикрываясь пухлыми ручонками, поглядывали на своего отчаянного брата и его неведомого друга. Все благословляли джентльмена с прекрасными зубами, который хотел оказать услугу одному из Тудлей.

— Этот мальчик,— сказал мистер Каркер, обращаясь к Полли и тихонько встряхивая Роба,— этот мальчик — ваш сын, да, сударыня?

— Да, сэр,— приседая, всхлипнула Полли,— да, сэр.

— Боюсь, что он дурной сын? — сказал мистер Каркер.

— Для меня он никогда не был дурным сыном, сэр,— возразила Полли.

— А для кого же? — спросил мистер Каркер.

— Он был сорванец, сэр,— ответила Полли, удерживая младенца, который судорожно размахивал руками и ногами, стараясь броситься на Байлера сквозь разделяв-

шее их пространство,— и попал в дурную компанию; но я надеюсь, что он понял, как это худо, сэр, и теперь будет вести себя хорошо.

Мистер Каркер окинул взглядом Полли, опрятную комнату, опрятных детей, простодушную тудлевскую физиономию, позаимствовавшую черты и у отца и у матери и повторенную многократно вокруг него; по-видимому, он достиг цели своего посещения.

— Кажется, вашего мужа нет дома? — сказал он.

— Да, сэр,— ответила Полли.— Сейчас он на линии.

Услыхав это, блудный Роб, казалось, почувствовал величайшее облегчение, хотя, сосредоточив все свое внимание на патроне, он по-прежнему почти не сводил глаз с лица мистера Каркера и лишь изредка бросал украдкой скорбный взгляд на мать.

— В таком случае,— сказал мистер Каркер,— я вам расскажу, как я встретился с вашим сыном, и кто я такой, и что я намерен для него сделать.

Все это мистер Каркер рассказал по-своему, сообщив, что сначала он хотел обрушить на дерзкую его голову всевозможные беды за вторжение в контору Домби и Сына, что он смягчился, приняв во внимание его молодость, выраженное им раскаяние и его родных; что он опасался сделать опрометчивый шаг, оказав помощь мальчику,— шаг, который мог вызвать осуждение людей благоразумных,— но что он сделал его на свой страх и риск, и только он один отвечает за последствия; и что прошлая связь матери Роба с семейством мистера Домби никакого отношения к этому не имеет; и что мистер Домби никакого отношения к этому не имеет, но от него, мистера Каркера, зависит все. Воздав должное самому себе за свою доброту и в такой же мере получив должное от всех присутствующих членов семьи, мистер Каркер намекнул — впрочем, довольно прозрачно,— что безграничная верность, привязанность и преданность Роба являются навеки его достоянием и на меньшее он не согласен. И этой великой истиной сам Роб проникся до такой степени, что, глядя на своего патрона и проливая слезы, струившиеся по щекам, он с чрезвычайной энергией кивал своею лоснящейся головой; казалось, что она вот-вот сорвется с плеч, как и утром в руках того же патрона.

Полли, которая провела бог весть сколько бессонных ночей по вине своего беспутного первенца и не видела его уже несколько недель, готова была упасть на колени перед мистером Каркером-заведующим, как перед добрым гением, невзирая на его зубы. Но так как мистер Каркер собрался уходить, она только поблагодарила его, вознося материнские молитвы и благословляя его — благодарность столь щедрая (ведь она исходила из глубины сердца и к тому же была ответом на услугу, оказанную не кем-нибудь еще, а именно мистером Каркером), что тот мог бы, не скупясь, дать сдачу и все-таки остаться в барышах.

Когда этот джентльмен прокладывал себе путь к двери сквозь толпу детей, Роб подошел к матери и заключил и ее и младенца в покаянные объятия.

— Теперь я буду очень стараться, милая мама. Честное слово, буду! — сказал Роб.

— Ох, постарайся, дорогой мой мальчик! Я уверена, что ты постараешься ради нас и ради самого себя! — целуя его, воскликнула Полли.— Но ведь ты вернешься поговорить со мной, когда проводишь этого джентльмена?

— Не знаю, мама.— Роб замялся и опустил глаза.— Отец... когда он придет домой?

— Не раньше двух часов ночи.

— Я вернусь, мама! — воскликнул Роб. И, прорвавшись сквозь пронзительные вопли братьев и сестер, приветствовавших это обещание, он вышел вслед за мистером Каркером.

— Вот как! — сказал мистер Каркер, слышавший этот разговор.— У тебя плохой отец?

— Нет, сэр! — ответил удивленный Роб.— Нет на свете отца лучше и добрее.

— В таком случае, почему же ты не хочешь его видеть?

— Большая разница между отцом и матерью, сэр,— запинаясь, сказал Роб.— Сейчас он вряд ли поверит, что я хочу исправиться, хотя он желал бы поверить, я это знаю... ну, а мать — она всегда верит хорошему, сэр; во всяком случае, я знаю, что *моя* мать верит, да благословит ее бог!

Рот мистера Каркера растянулся, но он не сказал ни слова, пока не сел на лошадь и не отпустил человека, присматривавшего за нею, после чего пристально поглядел с седла на внимательное и настороженное лицо мальчика и произнес:

— Ты придешь ко мне завтра утром, и тебе покажут, где живет тот старый джентльмен,— старый джентльмен, которого ты видел у меня сегодня,— и куда ты отправишься, о чем ты уже слышал.

— Хорошо, сэр,— отозвался Роб.

— Я чрезвычайно интересуюсь этим старым джентльменом, и ты, любезный, служа ему, служишь мне, понимаешь? Да,— добавил он торопливо, ибо заметил, как оживилась при этом круглая физиономия подростка,— вижу, что ты понимаешь. Я хочу знать все об этом старом джентльмене, как он живет изо дня в день; потому что я желаю быть ему полезным, а главное, я хочу знать, кто его навещает. Понимаешь?

По-прежнему настороженный, Роб снова кивнул:

— Да, сэр.

— Мне бы хотелось знать, что у него есть друзья, которые о нем заботятся и не покидают его,— ведь он, бедняга, очень одинок теперь,— и что они любят и его и его племянника, который уехал из Англии. Быть может, его навестит одна совсем юная леди. О *ней* мне особенно хочется знать все.

— Я постараюсь, сэр,— сказал мальчик.

— И помни,— отозвался его патрон, наклоняясь, чтобы приблизить свою осклабленную физиономию к лицу мальчика и похлопать его по плечу рукояткой хлыста,— помни, что о моих делах ты не должен говорить никому, кроме меня.

— Никому на свете, сэр,— ответил Роб, покачивая головой.

— Ни здесь,— сказал мистер Каркер, указывая на дом, откуда они только что вышли,— ни где бы то ни было. Я проверю, можешь ли ты быть преданным и благодарным. Я тебя испытаю!

Оскал зубов и движение головы помогли ему вложить в эти слова не только обещание, но и угрозу, после чего он отвернулся от Роба, чьи глаза были прикованы к нему,

словно он приворожил и душу и тело мальчика, и тронулся в путь. Но, отъехав на небольшое расстояние и снова убедившись, что его верный паж, подпоясанный так же, как и раньше, по-прежнему его сопровождает на потеху многочисленным прохожим, он остановил лошадь и приказал ему убираться восвояси. С целью убедиться в повиновении мальчика, он повернулся в седле и следил, как тот удаляется. Любопытно, что даже сейчас Роб не мог окончательно отвести глаз от патрона и, поминутно оглядываясь, чтобы посмотреть ему вслед, выносил бесконечные толчки и пинки от прохожих, но относился к ним, одержимый одной великой мыслью, совершенно равнодушно.

Мистер Каркер-заведующий ехал шагом с беззаботным видом человека, который удовлетворительно покончил со всеми делами этого дня и перестал о них думать. Благодушный и приветливый в высшей степени, мистер Каркер проезжал по улицам и тихонько напевал песенку. Он как будто мурлыкал: он был чрезвычайно доволен.

И вдобавок мистер Каркер, так сказать, нежился мысленно у камина. Уютно свернувшись клубочком у чьих-то ног, он готов был сделать прыжок, растерзать, рвануть или погладить бархатной лапкой — в зависимости от собственного желания и обстоятельств. Нет ли какой-нибудь птички в клетке, которая требует его внимания?

«Очень молодая леди! — думал мистер Каркер-заведующий, напевая песенку.— Да! Когда я в последний раз ее видел, она была маленькой девочкой. Припоминаю, что у нее темные глаза и темные волосы и милое лицо, очень милое лицо! Пожалуй, она хорошенькая».

Еще более приветливый и любезный, напевая песенку, так что все его многочисленные зубы вибрировали ей в тон, мистер Каркер прокладывал себе дорогу и, наконец, свернул в темную улицу, где находился дом мистера Домби. Он так был занят, оплетая сетями милые лица и обволакивая их паутиной, что вряд ли думал о том, куда приехал, пока не окинул взглядом холодный ряд высоких домов и не остановил поспешно лошадь в нескольких ярдах от двери. Но дабы объяснить, почему мистер Каркер поспешно остановил лошадь и на что он

взирал с немалым удивлением, необходимо слегка уклониться в сторону.

Мистер Тутс, освободившись от ига Блимберов и вступив во владение частью своего мирского богатства, «которую,— как имел он обыкновение в течение последнего своего полугодового искуса сообщать мистеру Фидеру каждый вечер, словно новое открытие,— которую душеприказчики не смогли у него отнять», принялся с великим усердием изучать науку жизни. Воодушевленный благородным стремлением сделать блестящую и славную карьеру, мистер Тутс меблировал прекрасную квартиру, устроил в ней спортивный уголок, украшенный изображениями призовых лошадей, которыми он вовсе не интересовался, и диваном, который производил на него удручающее впечатление. В этом очаровательном убежище мистер Тутс посвятил себя изящным искусствам, возвышающим и облагораживающим жизнь; главным его наставником был примечательный субъект, по прозванию Бойцовый Петух, о коем всегда можно было услышать в таверне «Черный барсук» и который в самую жаркую погоду ходил в мохнатом белом пальто и три раза в неделю колотил мистера Тутса кулаками по голове, получая скромное вознаграждение — десять шиллингов шесть пенсов за визит.

Бойцовый Петух — настоящий Аполлон в Пантеоне мистера Тутса — представил ему маркера, обучавшего игре на бильярде, лейб-гвардейца, обучавшего фехтованью, содержателя конюшен, обучавшего верховой езде, корнуэльского джентльмена, постигшего все тайны гимнастики, и еще двух-трех друзей, не менее сведущих в изящных искусствах. Под их покровительством мистер Тутс не мог не делать быстрых успехов, и под их руководством он принялся за работу.

Но как бы это ни случилось, однако случилось так, что эти джентльмены еще не утратили блеска новизны, а мистер Тутс, сам не ведая причины, уже почувствовал смущение и беспокойство. Зерно его было с шелухой, которую даже Бойцовые Петухи не могли выклевать; мрачных великанов, вторгавшихся в его досуг, даже Бойцовые Петухи не могли сбить с ног. Казалось, ничто не влияло так благотворно на мистера Тутса, как беспрестанное

посещение дома мистера Домби, где он оставлял свои визитные карточки. Ни один сборщик налогов в британских владениях — этой обширной территории, где никогда не заходит солнце и где сборщик налогов никогда не ложится спать * — не наносил визитов с большей регулярностью и настойчивостью, чем мистер Тутс.

Мистер Тутс никогда не поднимался наверх и всегда выполнял одну и ту же церемонию в дверях холла, разряженный специально для этой цели.

— О, с добрым утром! — такова была первая фраза мистера Тутса, обращенная к слуге.— Для мистера Домби,— была следующая фраза мистера Тутса, и он протягивал визитную карточку.— Для мисс Домби,— была следующая его фраза, и он протягивал вторую карточку.

Затем мистер Тутс поворачивался, как бы собираясь уйти, но слуга уже знал его и знал, что он не уйдет...

— Прошу прощения,— говорил мистер Тутс, как бы внезапно осененный одной мыслью.— Дома ли молодая особа?

Слуга полагал, что дома, но не был в этом уверен. Затем он дергал колокольчик, звонивший в верхнем этаже, смотрел на лестницу и говорил:

— Да, она дома и спускается сюда.

Затем появлялась мисс Нипер, а слуга удалялся.

— О! Как ваше здоровье? — говорил мистер Тутс, хихикая и краснея.

Сьюзен благодарила его и отвечала, что здорова.

— Как поживает Диоген? — гласил следующий вопрос мистера Тутса.

Право же, прекрасно. С каждым днем мисс Флоренс привязывается к нему все сильнее. Мистер Тутс неизбежно начинал хихикать, словно откупоривали бутылку, наполненную шипучим напитком.

— Мисс Флоренс здорова, сэр,— добавляла Сьюзен.

— О, это не имеет никакого значения, благодарю вас! — был неизменный ответ мистера Тутса; и, произнеся эти слова, он всегда спешил удалиться.

Несомненно, у мистера Тутса была на уме какая-то туманная мысль, побуждавшая его заключить, что, если удастся ему со временем получить руку Флоренс, он

познает блаженство и счастье. Несомненно, мистер Тутс какими-то окольными путями пришел к этому выводу и на нем остановился. Сердце его было ранено; он был потрясен, он был влюблен. Как-то вечером он сделал отчаянную попытку и просидел всю ночь, сочиняя акростих в честь Флоренс, каковой замысел растрогал его до слез. Но он так и не продвинулся дальше слов: «Фиал моей души»,— тут его покинуло вдохновение, в порыве коего он предварительно написал начальные буквы остальных шести строк.

Измыслив этот хитроумный и ловкий прием — ежедневно оставлять мистеру Домби визитную карточку,— мозг мистера Тутса больше ничего не изобрел касательно предмета, пленившего его чувства. Но глубокомысленные размышления, наконец, убедили мистера Тутса в том, что весьма существенно было бы снискать расположение мисс Сьюзен Нипер, а затем намекнуть ей о своем душевном состоянии.

Легкое и шутливое ухаживание за этой леди, казалось, было тем способом, к которому следовало прибегнуть в этой начальной стадии романа, чтобы привлечь ее на свою сторону. Будучи не в силах принять окончательное решение, он посоветовался с Бойцовым Петухом, не посвящая сего джентльмена в свою тайну, но лишь уведомив его, что некий друг из Йоркшира написал ему (мистеру Тутсу), спрашивая его мнения об этом вопросе. Бойцовый Петух ответил, что его мнение всегда было таково: «Ступай и побеждай», и далее: «Когда противник перед тобой, а времени у тебя в обрез, ступай и действуй», после чего мистер Тутс принял эти слова за иносказательное подтверждение своей собственной точки зрения и героически решил поцеловать на следующий день мисс Нипер.

Итак, на следующий день мистер Тутс, надев чудеснейшие произведения, созданные Берджесом и К^0, отправился с этой целью к дому мистера Домби. Но когда он приблизился к месту действия, мужество ему изменило, и хотя он подошел к двери в три часа пополудни, было уже шесть, когда он постучал в дверь.

Все шло, как всегда, вплоть до того момента, когда Сьюзен сказала, что ее молодая хозяйка здорова, а



мистер Тутс сказал, что это не имеет никакого значения. К ее изумлению, мистер Тутс вместо того чтобы вылететь после этих слов, как ракета, замялся и захихикал.

— Быть может, вам угодно подняться наверх, сэр? — спросила Сьюзен.

— Ну, что ж, пожалуй, я войду! — сказал мистер Тутс.

Но вместо того чтобы подняться наверх, дерзкий Тутс, когда дверь на улицу была закрыта, неуклюже рванулся к Сьюзен и, обняв это прелестное создание, поцеловал ее в щеку.

— Проваливайте! — крикнула Сьюзен.— Не то я вам глаза выцарапаю!

— Еще разок! — сказал мистер Тутс.

— Убирайтесь отсюда! — воскликнула Сьюзен, отталкивая его.— Да еще такой блаженный, как вы! Дальше уж некуда! Проваливайте, сэр!

Сьюзен не считала опасность серьезной, ибо смеялась так, что едва могла говорить, но Диоген, на лестнице, слыша шорох у стены и шарканье ног и видя сквозь перила, что происходит борьба и кто-то чужой вторгся в дом, пришел к иному выводу, бросился на помощь и в одно мгновение вцепился в ногу мистеру Тутсу.

Сьюзен взвизгнула, захохотала, распахнула парадную дверь и побежала вниз; дерзкий Тутс, спотыкаясь, выбрался на улицу вместе с Диогеном, вцепившимся в панталоны, словно Берджес и К° состояли у него в поварах и приготовили ему этот лакомый кусочек в виде праздничного угощения. Диоген, отброшенный в сторону, несколько раз перекувырнулся в пыли, снова вскочил, завертелся вокруг ошеломленного Тутса, намереваясь укусить его еще раз, а мистер Каркер, остановивший лошадь и державшийся поодаль, с великим изумлением наблюдал эту суматоху у двери величественного дома мистера Домби.

Мистер Каркер продолжал следить за потерпевшим поражение Тутсом, пока Диогена не позвали в дом и не захлопнули дверь, а мистер Тутс, приютившись в ближайшем подъезде, стал обвязывать разорванные панталоны дорогим шелковым носовым платком, который

являлся дополнением к его пышному наряду, надетому для этого визита.

— Простите, сэр,— подъехав к нему, сказал мистер Каркер с любезнейшей улыбкой.— Надеюсь, вы не пострадали?

— О нет, благодарю вас,— ответил мистер Тутс, подняв раскрасневшееся лицо,— это не имеет никакого значения.

Мистер Тутс не прочь был прибавить, если бы только мог, что ему это очень понравилось.

— Если собака вцепилась зубами вам в ногу, сэр...— начал Каркер, показывая свои собственные зубы.

— Нет, благодарю вас,— сказал мистер Тутс,— все прекрасно. Все в полном порядке, благодарю вас.

— Я имею удовольствие быть знакомым с мистером Домби,— заметил Каркер.

— В самом деле? — отозвался зарумянившийся Тутс.

— Быть может, вы мне разрешите в его отсутствие,— сказал мистер Каркер, снимая шляпу,— извиниться за этот неприятный случай и полюбопытствовать, каким образом это могло произойти.

Мистер Тутс столь обрадован такой учтивостью и приятной возможностью заключить дружбу с другом мистера Домби, что достает бумажник с визитными карточками, воспользоваться которыми он не упускает случая, и вручает свое имя и адрес мистеру Каркеру; последний отвечает на эту любезность, дав ему в свою очередь визитную карточку, после чего они расстаются.

Засим мистер Каркер медленно проезжает мимо дома, посматривая на окна и стараясь разглядеть задумчивое лицо за занавеской, наблюдающее за детьми в доме напротив; лохматая голова Диогена появляется рядом с этим лицом, и собака, сколько ее ни успокаивают, лает, и ворчит, и рвется к мистеру Каркеру, словно готова броситься вниз и разорвать его в клочья.

Молодец, Ди, неразлучный со своей хозяйкой! Тявкни еще и еще разок, задрав голову, сверкая глазами и гневно разевая пасть, чтобы его схватить! Еще разок, пока он, не спеша, проезжает мимо! У тебя прекрасный нюх, Ди,— там кот, дружок, кот!

ГЛАВА XXIII

Флоренс одинока, а Мичман загадочен

Флоренс жила одна в большом мрачном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна; и голые стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Ни один волшебный дом в волшебной сказке, затерянный в чаще дремучего леса, никогда не рисовался бы нашему воображению более уединенным и заброшенным, чем этот реально существовавший дом ее отца, мрачно глядевший на улицу; по вечерам, когда светились соседние окна, он был темным пятном на этой скудно освещенной улице; днем — морщиной на ее никогда не улыбающемся лице.

У врат этого жилища не было двух драконов на страже, которые в волшебной легенде обычно стерегут находящуюся в заключении оскорбленную невинность; но не говоря уже о злобной физиономии с гневно раздвинутыми тонкими губами, которая взирала с арки над дверью на всех приходящих, здесь была чудовищная, фантастическая ржавая железная решетка, извивающаяся и искривленная, словно окаменевшее дерево у входа, расцветающая копьями и винтообразными остриями и украшенная с обеих сторон двумя зловещими гасильниками, которые как будто говорили: «Забудьте о свете все входящие сюда» *. Никаких кабалистических знаков не было выгравировано на портале, и все же дом казался таким заброшенным, что мальчишки рисовали мелом на изгороди и тротуаре, в особенности за углом, где была боковая стена, и малевали чертей на воротах конюшни, а так как их иной раз прогонял мистер Таулинсон, они в отместку рисовали его портрет с горизонтально торчащими из-под шляпы ушами. Шум замирал под сенью этой крыши. Духовой оркестр, появлявшийся на улице раз в неделю по утрам, никогда не издавал ни звука под этими окнами; и все подобного рода бродячие музыканты, вплоть до шарманщика с бедной маленькой писклявой слабоумной шарманкой с глупейшими танцорами-автома-

тами, вальсирующими в раздвижных дверях, как будто сговорившись, обходили этот дом и избегали его, как место безнадежное.

Чары, лежавшие на нем, были более разрушительны, чем те, что на время погружали в сон заколдованные замки, но в момент пробуждения в них жизни покидали их, не причинив никакого вреда.

Унылое запустение безмолвно свидетельствовало об этом на каждом шагу. Портьеры в комнатах, грузно обвисая, утратили прежнюю свою форму и висели, как тяжелые гробовые покровы. Гекатомбы мебели, по-прежнему нагроможденной в кучи и сверху прикрытой, съежились, как заключенные в темницу и забытые в ней люди, и мало-помалу меняли своей облик. Зеркала потускнели, словно от дыхания лет. Рисунок ковров поблек и стал туманным, как память о незначительных событиях этих лет. Доски, вздрагивая от непривычных шагов, скрипели и дрожали. Ключи ржавели в замочных скважинах. Сырость показалась на стенах, и по мере того, как проступали пятна, картины как будто отступали вглубь и прятались. Гниль и плесень завелись в чуланах. Грибы росли в углах погребов. Пыль накапливалась, неведомо откуда и как появившись, о пауках, моли и мушиных личинках разговор шел ежедневно. Любознательного черного таракана частенько находили на лестнице или в верхнем этаже, неподвижного, словно недоумевающего, как он сюда попал. Крысы в ночную пору поднимали писк и возню в темных галереях, прорытых ими за панелью.

Мрачное великолепие парадных комнат, смутно видимых в неверном свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, только укрепляло представление о зачарованном жилище. Львиные лапы, покрытые нотускневшей позолотой, украдкой высовывались из-под чехлов; очертания мраморных бюстов зловеще обрисовывались сквозь покрывала; часы никогда не шли, а если случайно их заводили, шли неправильно и били неземной час, которого нет на циферблате; неожиданное позвякивание люстр пугало сильнее, чем набат; приглушенные звуки и ленивые струи воздуха обтекали эти предметы и призрачное сборище других вещей, покрытых саванами и чехлами и приняв-

ших фантастические формы. Но помимо всего прочего, была здесь большая лестница, где так редко ступала нога хозяина дома и по которой поднялся на небо его маленький сын. Были здесь и другие лестницы и коридоры, по которым никто не ходил неделями; были две запертые комнаты, связанные с умершими членами семьи и с воспоминаниями о них, шепотом передававшимися; и все в доме, кроме Флоренс, видели нежную фигуру, скользящую в уединении и мраке, которая своим присутствием вызывала интерес и любопытство к неодушевленным вещам.

Ибо Флоренс жила одна в заброшенном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна, и холодные стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Трава начала прорастать на крыше и в трещинах фундамента. Мох пятнами растекался по подоконникам. Куски известки отваливались от стенок бездействовавших дымоходов и летели вниз. Верхушки двух деревьев с закопченными стволами засохли, и голые сучья торчали над листвой. Во всем доме белое стало желтым, а желтое — почти черным; и после кончины бедной леди дом постепенно превращался в какое-то темное пятно на длинной скучной улице.

Но Флоренс цвела здесь, как прекрасная дочь короля в сказке. Книги, музыка и ежедневно приходившие учителя были единственным ее обществом, если не считать Сьюзен Нипер и Диогена, из коих первая, присутствуя на уроках своей молодой хозяйки, сама делалась не на шутку ученой, а второй, поддавшись, быть может, тому же смягчающему воздействию, клал голову на подоконник и в летние утра безмятежно смотрел на улицу, то открывая, то закрывая глаза; иногда навострял уши, бросая многозначительный взгляд вслед какой-нибудь беспокойной собаке, запряженной в тележку и лаявшей не переставая, а иногда, охваченный гневным и безотчетным воспоминанием о враге, который мерещился ему где-то по соседству, бросался к двери, откуда после шумной возни возвращался рысцой, со свойственным ему забавным благодушием, и снова клал морду на

подоконник, а вид у него был такой, будто он оказал услугу обществу.

Так жила Флоренс в своем пустынном доме, отдаваясь невинным занятиям и мыслям, и ничто не нарушало ее покоя. Теперь она могла спускаться в комнаты отца и думать о нем и смиренно льнуть к нему своим любящим сердцем, не боясь быть отвергнутой. Она могла смотреть на вещи, окружавшие его в скорби, и могла прикорнуть у его кресла и не страшиться того взгляда, который так хорошо запомнила. Она могла оказывать ему маленькие знаки внимания и заботы — собственноручно приводить для него все в порядок, ставить букетики на письменный стол, заменять их новыми, так как они засыхали один за другим, а он все не возвращался, ежедневно приготовлять что-нибудь для него и робко оставлять возле обычного его места какую-нибудь вещь, напоминающую о ее присутствии. Сегодня это была раскрашенная подставочка для его часов: назавтра она боялась оставить ее здесь и приносила какую-нибудь другую безделушку собственного изделия, которая меньше бросалась в глаза. Быть может, просыпаясь среди ночи, она вздрагивала при мысли о том, что он вернется и сердито отшвырнет безделушку; и в туфлях на босу ногу, с сильно бьющимся сердцем, бежала вниз и забирала ее. Иногда она только прижималась лицом к его письменному столу и оставляла на нем слезу и поцелуй.

По-прежнему никто об этом не знал. Если слуги не обнаружили этого во время ее отсутствия — а все они относились к комнатам мистера Домби с благоговейным ужасом,— тайна была так же сокрыта в ее груди, как и то, что тайне предшествовало. Флоренс прокрадывалась в комнаты отца в сумерках, рано утром и в те часы, когда прислуга обедала или ужинала внизу. И хотя каждый уголок в них делался красивее и веселее благодаря ее заботам, она входила и выходила бесшумно, как солнечный луч, с тою лишь разницей, что оставляла за собою свет.

Призраки сопровождали Флоренс в ее блужданиях по гулкому дому и сидели с нею в опустевших комнатах. Жизнь ее была как бы волшебным видением, ее одиночество рождало мысли, способствовавшие тому, что эта

жизнь становилась фантастическою и нереальною. Она так часто мечтала о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы отец мог ее полюбить, что иногда на секунду почти верила в это и, отдавшись полету фантазии, казалось, вспоминала, как они вместе оберегали могилу ее брата, как беззаветно разделили между собой его сердце, как их соединило дорогое воспоминание о нем; как часто они беседуют о нем и как добрый отец, глядя на нее ласково, говорит об их общей надежде и уповании на бога. Случалось — она воображала, будто ее мать жива. О, счастье — броситься ей на шею и прильнуть к ней всей любящей и доверчивой душой! И снова уныние заброшенного дома, когда надвигается вечер и нет никого!

Но была одна мысль, вряд ли ясная для нее самой, но упорная, которая поддерживала Флоренс в ее усилиях и укрепляла постоянством цели ее преданное юное сердце, подвергавшееся столь жестоким испытаниям. К ней в душу, как и в души тех, кого заставляют страдать тяжкие несчастья, связанные с нашей смертной природой, закрались торжественные надежды, возникшие в туманном мире за пределами этой жизни, и, словно тихая музыка, нашептывали они о встрече ее брата с матерью в той далекой стране, о том, что оба они помнят о ней, нашептывали о том, что они любят ее и ей сочувствуют, и о том, что им известно, как она проходит свой земной путь. Для Флоренс сладким утешением было отдаваться этим мыслям вплоть до того дня, когда ей пришло в голову — это случилось вскоре после того, как она в последний раз видела отца у него в комнате, поздней ночью,— когда ей пришло в голову, что, тоскуя по его сердцу, для нее закрытому, она может восстановить против него души умерших. Может быть, безумно, нелепо, ребячливо было так думать и дрожать от полуосознанной мысли, но в этом сказалась ее любящая натура; и с того часа Флоренс старалась залечить жестокую рану в груди и думать только с надеждой о человеке, чья рука нанесла эту рану.

Отец не знал — с той поры она убедила себя в этом,— как сильно она его любит. Она была очень молода, у нее не было матери, и ей было неведомо — либо по своей вине, либо по вине случая,— как открыть ему, что она

его любит. Она будет терпеливой, постарается овладеть со временем этим искусством и достигнуть того, чтобы он лучше узнал свое единственное дитя.

Это стало целью ее жизни. Утреннее солнце освещало поблекший дом и встречало в душе его одинокой хозяйки это решение по-прежнему ярким и свежим. Это решение воодушевляло ее во всех повседневных занятиях; ибо Флоренс надеялась, что чем больше знаний она приобретает, тем приятнее будет отцу, когда он узнает ее и полюбит. По временам с тоскою и со слезами она сомневалась, преуспела ли она хоть в чем-нибудь настолько, чтобы радостно удивить его, когда они станут друзьями. Иногда она старалась угадать, нет ли такой отрасли знания, которая может заинтересовать его больше, чем другие. И всегда, за книгами, нотами, рукоделием, во время утренних прогулок и вечерних молитв, она видела перед собой свою всепоглощающую цель. Странное занятие для ребенка — изучать путь к сердцу жестокого отца.

Когда летние сумерки сгущались в ночь, по улице проходило много беззаботных пешеходов, которые смотрели с противоположной стороны улицы на мрачный дом и видели в окне юную фигуру, столь не вязавшуюся с этим домом; ее глаза были устремлены на загорающиеся звезды, и беспокоен был бы сон прохожих, если бы они знали, о чем она так упорно размышляет. Репутация дома, якобы посещаемого привидениями, не улучшилась бы у тех робких обывателей, которых поражал его мрачный вид, если бы они могли прочесть его историю на хмуром фасаде, когда они проходили мимо, занятые повседневными своими делами и опасливо оглядываясь. Но Флоренс преследовала свою священную цель, о которой никто не подозревал и в достижении которой никто ей не помогал; она думала только о том, как заставить отца понять, что она его любит, и ни на мгновение даже в мыслях его не упрекала.

Так жила Флоренс одна в заброшенном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна, и скучные стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Как-то утром Сьюзен Нипер стояла перед своей молодой хозяйкой, которая складывала и запечатывала написанное ею письмо, и всем своим видом показывала, что она знает и одобряет его содержание.

— Лучше поздно, чем никогда, дорогая мисс Флоренс,— сказала Сьюзен,— и, по моему мнению, даже визит к этим старым Скетлсам будет даром небесным.

— Очень мило со стороны сэра Барнета и леди Скетлс, Сьюзен,— отозвалась Флоренс, мягко поправляя фамильярное замечание этой молодой леди по адресу упомянутого семейства,— с такою любезностью возобновить приглашение.

Мисс Нипер, которая была, вероятно, самой фанатической особой в мире и вносила свои пристрастья во все дела, большие и малые, постоянно объявляя войну обществу, поджала губы и покачала головой, как бы выражая протест против любого намека на бескорыстие Скетлсов и готовность доказать на суде, что за свою любезность они будут щедро вознаграждены присутствием Флоренс.

— Уж они-то знают, что делают! — пробормотала мисс Нипер, втягивая носом воздух.— Можете не сомневаться в Скетлсах!

— По правде говоря, Сьюзен, мне не особенно хочется ехать в Фулем,— задумчиво промолвила Флоренс,— но следовало бы съездить. Пожалуй, так будет лучше.

— Гораздо лучше,— вставила Сьюзен, снова выразительно качнув головой.

— И хотя,— продолжала Флоренс,— я бы предпочла поехать, когда там никого нет, а не теперь, во время вакаций, когда в доме гостит молодежь, все-таки я с благодарностью приняла приглашение.

— А я скажу на это, мисс Флой: веселитесь! — отвечала Сьюзен.— Ах, цербер!

Это последнее восклицание, которым мисс Нипер в ту пору частенько заканчивала фразы, относилось, по предположениям лиц, обитавших ниже уровня холла, к мистеру Домби и выражало страстное желание мисс Нипер высказать сему джентльмену благосклонное свое мнение о нем. Она никогда не объясняла этого восклицания, и,

стало быть, в нем была прелесть тайны, не говоря уже о чрезвычайной выразительности.

— Как долго нет никаких известий об Уолтере, Сьюзен! — помолчав, заметила Флоренс.

— Долго, мисс Флой! — отозвалась ее служанка.— А Перч,— он только что приходил сюда за письмами... но какое значение имеет, что *он* говорит! — воскликнула Сьюзен, покраснев и замявшись.— Много *он* знает!

Флоренс быстро подняла глаза, и румянец залил ее лицо.

— Если у меня,— сказала Сьюзен Нипер, явно преодолевая какое-то тайное беспокойство и тревогу, глядя в упор на свою молодую хозяйку и в то же время стараясь раздуть в себе гнев при воспоминании о безобидном мистере Перче,— если у меня не больше мужества, чем у этого глупейшего из мужчин, я готова впредь никогда не гордиться своими волосами, заложить их за уши и носить простой чепец без всяких оборок, пока смерть не избавит меня от моего ничтожества. Я, быть может, не амазонка, мисс Флой, и не хотела бы так себя уродовать, но во всяком случае, надеюсь, я не из тех, кто отчаивается.

— Отчаивается! В чем? — в ужасе воскликнула Флоренс.

— Да ни в чем, мисс,— сказала Сьюзен.— Ах, боже мой, ни в чем! Все дело только в этой козявке, Перче, которого всякий может раздавить одним пальцем, и, право же, это было бы счастьем для всех, если бы кто-нибудь над ним сжалился и оказал ему эту услугу.

— В чем он отчаивается? Корабль погиб, Сьюзен? — сильно побледнев, спросила Флоренс.

— Нет, мисс,— ответила Сьюзен.— Посмел бы он только сказать мне это в лицо! Нет, мисс, но он бормочет что-то о дурацком имбире, который мистер Уолтер должен был прислать миссис Перч, и печально покачивает головой и выражает надежду, что, может быть, имбирь еще будет получен, но, во всяком случае, говорит, теперь уж он никак не поспеет к сроку, но может пригодиться к следующему разу, и, право же,— продолжала мисс Нипер с гневным презрением,— этот человек выво-

дит меня из терпения, потому что хотя я и много могу вынести, но я не верблюд и, насколько мне известно,— минутку подумав, добавила Сьюзен,— не дромадер.

— Что он еще говорит, Сьюзен? — с беспокойством спросила Флоренс.— Вы мне расскажете?

— Да как бы я могла не рассказать вам все до последнего слова, мисс Флой! — сказала Сьюзен.— Так вот, мисс, он говорит, что уже болтают об этом корабле, и что не бывало еще случая, чтобы о корабле, пустившемся в такое плавание, так долго не было никаких известий, и что жена капитана заходила вчера в контору и казалась немного встревоженной, но ведь это всякий мог бы сказать, мы это и раньше знали.

— Перед отъездом я должна навестить дядю Уолтера, Сьюзен,— быстро сказала Флоренс.— Надо повидаться с ним сегодня утром. Пойдемте сейчас же, Сьюзен!

Так как мисс Нипер не нашла никаких возражений против этого предложения и вполне его одобрила, они быстро собрались в путь, вышли на улицу и направились к Маленькому Мичману.

То состояние духа, в каком бедный Уолтер шел к капитану Катлю в день, когда вексель попал к маклеру Броли и когда приказ о наложении ареста мерещился ему даже на церковных шпилях, очень напоминало состояние Флоренс, которая шла сейчас к дяде Солю; разница была лишь в том, что Флоренс страдала еще сильнее при мысли, не была ли она сама виновницей опасностей, обрушившихся на Уолтера, и мучительной тревоги у всех, кому он был дорог, в том числе и у нее самой. Мерещилось ей, что все возвещает неуверенность и беспокойство. Флюгеры на шпилях и крышах таинственно намекали на шторм и, словно призрачные пальцы, указывали на гибельные волны, где, быть может, плавали обломки потерпевших крушение судов, и на них убаюкивались беспомощные люди, погружаясь в сон, такой же глубокий, как бездонные воды. Когда Флоренс добралась до Сити и проходила мимо беседующих между собою джентльменов, она боялась услышать, что они говорят о корабле и сообщают о его гибели. Суда на картинах и гравюрах, борющиеся с набегающими волнами, приводили ее в ужас. Дым и облака, хотя и плывшие мед-

ленно, плыли слишком быстро, по мнению встревоженной Флоренс, и вызывали опасение, что в этот момент буря бушует в океане.

Неизвестно, была ли Сьюзен Нипер так же взволнована, но поскольку внимание ее было сосредоточено на стычках с мальчишками всякий раз, как им приходилось пробиваться в толпе,— ибо между нею и этой разновидностью человечества существовала врожденная антипатия, которая неизменно давала о себе знать, когда бы им ни случилось столкнуться,— вряд ли у нее оставалось время для каких-либо умствований.

Поравнявшись с Деревянным Мичманом, стоявшим на противоположной стороне, и стараясь улучить момент, чтобы перейти улицу, они в первую минуту удивились: у двери старого мастера они увидели круглоголового мальчишку с толстой физиономией, обращенной к небу, который, пока они смотрели на него, неожиданно засунул в свой огромный рот по два пальца каждой руки и с помощью такого приспособления, приманивая высоко летавших голубей, издал на редкость пронзительный свист.

— Старший сын миссис Ричардс, мисс,— сказала Сьюзен,— и крест ее жизни!

Полли заходила поведать Флоренс о воскресших надеждах на своего сына и наследника, и потому Флоренс была подготовлена к этой встрече; итак, воспользовавшись удобной минутой, они обе перебежали улицу, не обращая больше внимания на мучителя миссис Ричардс. Этот любитель спорта, не ведая об их приходе, снова издал свист еще громче, а потом заорал вне себя от возбуждения: «Бродяги! Го-о-оп! Бродяги!», каковое обращение столь подействовало на совестливых голубей, что, раздумав лететь прямехонько в какой-нибудь город на севере Англии,— а таково было, по-видимому, первоначальное их намерение,— они стали кружиться и замедлять лет, после чего первенец миссис Ричардс снова пронзил их свистом и заорал, заглушая уличный шум: «Бродяги! Го-о-оп! Бродяги!»

Из этого восторженного состояния он был неожиданно выведен и возвращен на землю тычком мисс Нипер, впихнувшей его в лавку.

— Так вот как ты раскаиваешься! А миссис Ричардс терзалась из-за тебя столько месяцев! — сказала Сьюзен, входя вслед за ним.— Где мистер Джилс?

Роб, бросив возмущенный взгляд на мисс Нипер, смягчился при виде вошедшей Флоренс, поднес пальцы к волосам, приветствуя последнюю, и сказал первой, что мистера Джилса нет дома.

— Приведи его домой,— повелительно сказала мисс Нипер,— и передай ему, что здесь моя молодая леди.

— Я не знаю, куда он пошел,— сказал Роб.

— Так *вот как* ты раскаиваешься! — воскликнула Сьюзен с язвительным упреком.

— Ну, как же я могу пойти и привести его, если не знаю, куда идти? — захныкал затравленный Роб.— Можно ли быть такой неразумной!

— Мистер Джилс сказал, когда он вернется? — спросила Флоренс.

— Да, мисс,— отвечал Роб, снова прикладывая пальцы к волосам.— Он сказал, что будет дома сейчас же после полудня; часа через два, мисс.

— Он очень беспокоится о своем племяннике? — осведомилась Сьюзен.

— Да, мисс,— отозвался Роб, предпочитая обращаться к Флоренс и пренебрегая Нипер.— Я бы сказал, что он беспокоится, очень беспокоится. Он и четверти часа не проводит дома, мисс. Пяти минут не может посидеть на месте. Он слоняется, как... ну, совсем как бродяга,— сказал Роб, наклонившись, чтобы посмотреть в окно на голубей, и уже поднес было пальцы ко рту, собираясь свистнуть, но вовремя удержался.

— Вы знаете друга мистера Джилса, которого зовут капитан Катль? — осведомилась Флоренс после недолгого раздумья.

— Того, что с крючком, мисс? — откликнулся Роб, выразительно согнув левую руку.— Да, мисс. Он здесь был третьего дня.

— А с тех пор не бывал? — спросила Сьюзен.

— Нет, мисс,— ответил Роб, по-прежнему обращаясь к Флоренс.

— Быть может, Сьюзен, дядя Уолтера пошел туда,— сказала Флоренс, обращаясь к ней.

— К капитану Катлю, мисс? — вмешался Роб.— Нет, мисс, он не туда пошел. Он приказал передать капитану Катлю, если тот зайдет, как он удивлен, что капитана не было вчера, и просил, чтобы капитан Катль подождал здесь, пока он вернется.

— Вы знаете, где живет капитан Катль? — спросила Флоренс.

Роб ответил утвердительно и, обратившись к засаленной пергаментной книге, лежавшей на конторке, вслух прочел адрес.

Флоренс снова повернулась к своей служанке и начала совещаться с ней вполголоса, а круглоглазый Роб, памятуя о тайном приказе своего патрона, смотрел и слушал. Флоренс предложила отправиться к капитану Катлю, узнать от него самого, как он относится к отсутствию известий о «Сыне и наследнике», и если удастся, то привести его сюда, чтобы утешить дядю Соля. Сначала Сьюзен слегка возражала, ссылаясь на большое расстояние; но когда ее хозяйка упомянула о наемной карете, она взяла назад свое возражение и дала согласие. Разговор продолжался несколько минут, прежде чем они пришли к такому заключению, а в это время таращивший глаза Роб внимательно следил за обеими собеседницами и прислушивался то к одной, то к другой, словно его назначили быть судьей в споре.

Наконец Роб был послан за каретою, а посетительницы остались в лавке; когда он вернулся, они сели в экипаж, наказав передать дяде Солю, что непременно заглянут к нему на обратном пути. Роб, провожавший взглядом карету, пока она не скрылась из виду, как скрылись и голуби, с сосредоточенным видом уселся за конторку и, дабы сохранить в памяти все, что произошло, записал это на маленьких клочках бумаги, не скупясь на чернила. Можно было не опасаться, что эти документы выдадут что бы то ни было, если случайно будут потеряны, ибо задолго до того, как просыхали чернила, слова превращались для Роба в непроницаемую тайну, словно он ни малейшего участия не принимал в их написании.

Пока он был поглощен этой работой, наемная карета, преодолев неслыханные препятствия в виде разводных мостов, немощеных улиц, непроезжих каналов, карава-

нов бочек, огородов, засаженных бобами, маленьких прачечных и других подобных препон, коими изобилует эта местность, остановилась на углу Бриг-Плейс. Выйдя здесь из кареты, Флоренс и Сьюзен Нипер пошли по улице, отыскивая обитель капитана Катля.

К несчастью, случилось так, что в этот день у миссис Мак-Стинджер происходила генеральная уборка. В такие дни миссис Мак-Стинджер пробуждал ото сна полисмен, стучавший в дверь без четверти три утра, а она редко ложилась спать раньше двенадцати часов ночи. Главная цель этой процедуры заключалась, по-видимому, в том, что на рассвете миссис Мак-Стинджер выносила всю мебель в садик, весь день слонялась по дому в патенах *, а в сумерки снова вносила мебель в дом. Эта церемония приводила в великий трепет голубят — юных Мак-Стинджеров, которым в таких случаях не только некуда было ступить, но и обычно доставалось немало ударов клювом от родительницы, пока продолжался торжественный обряд.

В тот момент, когда Флоренс и Сьюзен Нипер появились у двери миссис Мак-Стинджер, сия достойная, но грозная особа тащила по коридору Александра Мак-Стинджера — двух лет и трех месяцев от рождения — дабы насильно поместить его в сидячем положении на тротуаре; лицо у Александра почернело, ибо он задыхался после заслуженного наказания, а в таких случаях холодная тротуарная плита обычно оказывалась прекрасным средством для восстановления сил.

Чувства миссис Мак-Стинджер, как женщины и матери, были оскорблены, когда она подметила сострадательный взгляд Флоренс, обращенный на Александра. Посему миссис Мак-Стинджер, отдавая предпочтение этим благороднейшим побуждениям нашей натуры перед нездоровым желанием удовлетворить любопытство, встряхнула Александра и надавала ему пощечин еще до применения тротуарной плиты, а также и во время оного и никакого внимания не обратила на посторонних.

— Простите, сударыня,— сказала Флоренс, когда ребенок снова обрел дыхание и начал им пользоваться.— Это дом капитана Катля?

— Нет,— сказала миссис Мак-Стинджер.

— Это не девятый номер? — нерешительно спросила Флоренс.

— Кто говорит, что это не девятый номер? — возразила миссис Мак-Стинджер.

Сьюзен Нипер тотчас вмешалась и попросила объяснить, что хочет сказать миссис Мак-Стинджер, и известно ли ей, с кем она разговаривает.

Миссис Мак-Стинджер в отместку смерила ее взглядом.

— Хотела бы я знать, что *вам* нужно от капитана Катля? — сказала миссис Мак-Стинджер.

— Хотели бы? В таком случае сожалею о том, что ваше любопытство не будет удовлетворено,— отрезала мисс Нипер.

— Тише, Сьюзен, прошу вас! — сказала Флоренс.— Быть может, сударыня, вы будете так любезны и сообщите нам, где живет капитан Катль, раз он живет не здесь.

— Кто говорит, что он живет не здесь? — возразила неумолимая Мак-Стинджер.— Я сказала, что это не дом капитана Катля, и это не его дом; и сохрани бог, чтобы он когда-нибудь стал его домом, потому что капитан Катль не умеет управляться с домом и не заслуживает иметь дом,— это *мой* дом; а если я сдаю верхний этаж капитану Катлю, то никакой благодарности я от него не вижу и мечу бисер перед свиньей.

Делая эти замечания, миссис Мак-Стинджер повысила голос, имея в виду окна верхнего этажа, и резко выпаливала каждое обвинение, словно из ружья с великим множеством стволов. Когда прозвучал последний выстрел, послышался голос капитана, слабо протестующего из своей комнаты:

— Тише там, внизу!

— Если вам нужен капитан Катль, вон он! — сказала миссис Мак-Стинджер, сердито махнув рукой.

Когда Флоренс без дальнейших разговоров отважилась войти, а Сьюзен последовала за нею, миссис Мак-Стинджер вновь начала прогуливаться в своих патенах, а Александр Мак-Стинджер (по-прежнему на тротуарной плите), который замолк было, прислушиваясь к беседе, заревел снова, развлекаясь во время этой мрачной про-

цедуры, проделываемой совершенно машинально, созерцанием улицы с наемною каретой в конце ее.

Капитан сидел в своей комнате, засунув руки в карманы и подобрав ноги под стул, на очень маленьком пустынном островке среди океана мыльной воды. Окна у капитана были вымыты, стены вымыты, печка вычищена, и все, кроме печки, было мокрым и блестящим от песка и жидкого мыла, а воздух насыщен запахом этого москательного товара. Среди такого унылого пейзажа капитан, выброшенный на свой остров, скорбно созерцал водное пространство и как будто ждал, что подплывет какой-нибудь спасительный барк и заберет его.

Нет слов, чтобы описать изумление капитана, когда он, обратив растерянную физиономию к двери, увидел Флоренс, появившуюся со своей служанкой. Так как красноречивая миссис Мак-Стинджер заглушила все прочие звуки, он поджидал гостя не более редкого, чем слуга из трактира или молочник; и теперь, когда появилась Флоренс и, подойдя к границам острова, подала ему руку, капитан вскочил, пораженный ужасом, словно предположил на секунду, что перед ним находится какой-нибудь юный член семьи Летучего Голландца *.

Однако самообладание тотчас же к нему вернулось, и первой заботой капитана было переправить ее на сушу, что он благополучно и совершил одним движением руки. Выйдя затем в открытое море, капитан Катль обхватил за талию мисс Нипер и перенес также и ее на остров. Затем капитан Катль с великим уважением и восторгом поднес руку Флоренс к своим губам и, отступив немного (ибо остров был недостаточно велик для троих), обратил к ней сияющую физиономию, поднимаясь над мыльной водой словно новая разновидность Тритона.

— Конечно, вы удивлены, видя нас здесь,— с улыбкой сказала Флоренс.

Бесконечно осчастливленный капитан в ответ поцеловал свой крючок и пробормотал, словно эти слова были изысканным и утонченным комплиментом:

— Держись крепче!

— Но я не была бы спокойна,— продолжала Флоренс,— если бы не узнала от вас, что вы думаете о милом Уолтере — теперь он мне брат,— и есть ли основания

бояться за него, и будете ли вы ежедневно навещать и утешать его бедного дядю, пока мы не получим известий об Уолтере?

При этих словах капитан Катль как бы машинально схватился рукой за голову, на которой не было жесткой глянцевитой шляпы, и пришел в смущение.

— Вы боитесь за Уолтера? — спросила Флоренс капитана, который не мог глаз отвести от ее лица (так был он им восхищен), тогда как она в свою очередь смотрела на него пристально, желая увериться в искренности его ответа.

— Нет, Отрада Сердца,— сказал капитан Катль,— я не боюсь! Такой мальчик, как Уольр, выдержит немало бурь. Такой мальчик, как Уольр, принесет счастье этому самому бригу. Уольр,— продолжал капитан, и глаза его заблестели, когда он хвалил своего молодого друга, а крючок поднялся, предвещая прекрасное изречение,— Уолтер — это, как говорится, внешнее и видимое знамение внутренней и духовной силы, а когда найдете это место — отметьте.

Флоренс, которая не совсем поняла изречение, хотя капитан, по-видимому, считал его полным глубокого смысла и весьма многозначительным, кротко смотрела на него, ожидая продолжения.

— Я не боюсь, Отрада моего Сердца,— повторил капитан.— Штормы в тех широтах на редкость сильные, этого нельзя отрицать, и, быть может, их относило, относило и загнало на другой конец света. Но судно надежное, и мальчик надежный, и, слава богу,— капитан отвесил поклон,— не так-то легко разбить сердца из дуба, находятся ли они на бриге или в груди. У нас имеются и те и другие, а это обещает благополучный исход, и потому пока я ничуть не боюсь.

— Пока? — повторила Флоренс.

— Ничуть,— отвечал капитан, целуя свою железную руку,— а прежде чем я начну бояться, Отрада моего Сердца, Уольр нам напишет с острова или из какого-нибудь порта, и все придет в полный порядок и исправность. Что же касается старого Соля Джилса,— тут капитан заговорил торжественно,— которого я буду крепко поддерживать и не покину, пока смерть нас не разлучит, и когда буйный ветер дует, дует, дует * — перелистайте

катехизис (вставил в скобках капитан), и там вы найдете эти слова,— если для Соля Джилса будет утешением выслушать мнение моряка, у которого хватит ума справиться с любым делом, какое он вздумает взять на абордаж, и которому чуть голову не проломили в годы ученья, и чье имя Бансби, так этот самый человек выскажет ему у него же в гостиной такое мнение, что совсем его оглушит. Да! — хвастливо заметил капитан Катль.— Оглушит так, как если бы его ударили головой об дверь!

— Приведем к нему этого джентльмена и послушаем, что он нам скажет! — воскликнула Флоренс.— Не поедете ли вы сейчас с нами? Нас ждет карета.

Снова капитан схватился рукой за голову, на которой не было жесткой глянцевитой шляпы, и пришел в смущение. Но в этот самый момент случилось в высшей степени замечательное событие. Дверь открылась без всяких предупреждений и, по-видимому, сама собой; упомянутая жесткая глянцевитая шляпа влетела в комнату, как птица, и тяжело опустилась у ног капитана. Затем дверь захлопнулась так же быстро, как распахнулась, и никаких объяснений этого чуда не воспоследовало.

Капитан Катль поднял свою шляпу и, осмотрев ее с любопытством и удовольствием, начал вытирать рукавом. Занимаясь этим делом, капитан зорко взглянул на своих посетительниц и сказал вполголоса:

— Видите ли, я хотел нестись к Солю Джилсу на всех парусах вчера и сегодня утром, но она... она унесла ее и спрятала. Вот в чем дело.

— Господи помилуй, кто же это сделал? — спросила Сьюзен Нипер.

— Хозяйка дома, дорогая моя,— хриплым шепотом ответил капитан, знаком предлагая соблюдать осторожность.— Мы с ней поспорили из-за мытья шваброй вот этой палубы, а она...— сказал капитан, посматривая на дверь и испуская протяжный вздох,— короче говоря, она лишила меня свободы.

— О! Хотела б я, чтобы она имела дело со мной! — воскликнула Сьюзен, раскрасневшись от возбуждения.— Я бы ей показала!

— Думаете, что показали бы, дорогая моя? — отозвался капитан, недоверчиво покачивая головой, но явно

восхищаясь отчаянной храбростью непреклонной красавицы.— Не знаю. Плавание трудное. С нею очень нелегко справиться, дорогая моя. Никогда, знаете ли, не угадаешь, какой курс она возьмет. Сейчас она идет круто к ветру, а через минуту делает поворот на вас. А уж если ею овладеет...— продолжал капитан, и на лбу у него выступил пот. Только свистом можно было энергически закончить фразу, и потому капитан нерешительно свистнул. После этого он опять покачал головой и, снова восхищенный безумной смелостью мисс Нипер, робко повторил: — Думаете, что показали бы, дорогая моя?

Сьюзен ответила только сдержанной улыбкой, но такой вызывающей, что трудно сказать, как долго упивался бы ее созерцанием капитан Катль, если бы Флоренс, охваченная тревогой, не повторила своего предложения отправиться немедленно к оракулу Бансби. После такого напоминания о долге капитан Катль плотно нахлобучил глянцевитую шляпу, взял другую сучковатую палку, которой заменил подаренную Уолтеру, и, предложив руку Флоренс, приготовился прорваться сквозь вражеский строй.

Однако случилось так, что миссис Мак-Стинджер уже изменила курс и повернула совсем в другую сторону; по замечанию капитана, она проделывала это нередко. Ибо, спустившись вниз, они убедились, что эта примерная женщина выколачивает у входной двери циновки, в то время как Александр, сидя по-прежнему на тротуарной плите, смутно вырисовывается в облаке пыли. И столь была поглощена миссис Мак-Стинджер своими домашними делами, что начала колотить еще сильнее, когда мимо проходил капитан Катль со своими спутницами, и ни словом, ни жестом не отозвалась на их присутствие. Капитан был так доволен этим удачным побегом — хотя вытряхивание циновок подействовало на него, как солидная доза нюхательного табаку, и заставило расчихаться до слез,— что едва мог поверить своему счастью и по дороге от двери до кареты не раз посматривал через плечо, явно опасаясь преследования со стороны миссис Мак-Стинджер.

Однако они благополучно добрались до угла Бриг-Плейс, не потерпев ни малейшего ущерба от этого грозного брандера; и капитан, взобравшись на козлы,— ибо

галантность воспрепятствовала ему ехать в карете с леди, хотя его о том и просили,— взял на себя обязанность лоцмана, указывая извозчику путь к судну капитана Бансби, которое называлось «Осторожная Клара» и стояло на якоре у Рэтклифа.

После прибытия в гавань, где корабль этого прославленного командира находился среди пяти сотен своих товарищей, чьи перепутанные снасти напоминали чудовищную паутину, по которой прошлись щеткой, капитан Катль появился у окна кареты и предложил Флоренс и мисс Нипер сопутствовать ему на борт, заметив, что Бансби в высшей степени мягкосердечен по отношению к леди и их появление на борту «Осторожной Клары» будет способствовать скорее, чем что бы то ни было, приведению в гармонию необъятного его ума.

Флоренс охотно согласилась; и капитан, взяв ее маленькую ручку своей огромной лапой, повел ее по очень грязным палубам с таким покровительственным, отеческим, горделивым и церемонным видом, что приятно было на него смотреть; наконец, подойдя к «Кларе», они убедились, что это осторожное судно (стоявшее последним в ряду) убрало сходни, и футов шесть воды отделяют его от ближайшего соседа. Из объяснений капитана Катля выяснилось, что с великим Бансби, так же как и с ним самим, жестоко обращается его квартирная хозяйка, и когда ее обхождение превосходит меру его терпения, он, прибегая к последнему средству, разверзает между ними эту пропасть.

— «Клара», э-хой!— крикнул капитан, поднеся руку ко рту.

— Э-хой!— как эхо, откликнулся юнга, взбегая наверх.

— Бансби на борту? — осведомился капитан громовым голосом, словно находился на расстоянии полумили, а не двух ярдов.

— Да, да! — в тон ему крикнул юнга.

Затем юнга перебросил доску капитану Катлю, который заботливо ее приладил, перевел Флоренс, а потом вернулся за мисс Нипер. Итак, они стояли на палубе «Осторожной Клары», где на вантах, развеваясь, сушились принадлежности туалета вместе с несколькими языками и макрелью.

Поднимаясь медленно над стенкой каюты, показалась человеческая голова — и к тому же очень большая — с одним неподвижным глазом на лице цвета красного дерева и одним вращающимся, как бывает на некоторых маяках. Эта голова была украшена косматыми волосами, напоминавшими паклю, которые не имели определенного тяготения к северу, востоку, югу или западу, но тяготели ко всем четвертям компаса и к каждому его делению. Вслед за головой появился лишенный всякой растительности подбородок, воротничок рубашки с шейным платком, суконная лоцманская куртка и пара суконных лоцманских штанов с таким широким поясом, что он мог заменить жилет; пояс был украшен массивными деревянными пуговицами, похожими на шашки. Когда обнаружилась нижняя часть этих панталон, Бансби появился как на ладони: руки в карманах необъятной величины, взгляд устремлен не на капитана Катля или леди, а на топ мачты.

Глубокомысленный вид этого философа, дюжего и плотного, с чрезвычайно красным лицом, на котором, казалось, как на троне водрузилась молчаливость, не противоречил его характеру, коему это качество было весьма свойственно, и почти устрашил капитана Катля, хотя они и состояли в дружеских отношениях. Шепнув Флоренс, что Бансби ни разу в жизни не выражал удивления и, по-видимому, даже не знает, что это значит, капитан наблюдал, как тот созерцает топ и окидывает взглядом горизонт; когда же вращающийся глаз, казалось, обратился в его сторону, капитан сказал:

— Бансби, дружище, как дела?

Послышался грубый, хриплый голос, который как будто не имел отношения к Бансби (во всяком случае лицо его ничуть не изменилось):

— А, приятель, как поживаете?

В то же время правая рука Бансби, вынырнув из кармана, пожала руку капитану и снова отправилась в карман.

— Бансби,— сказал капитан, сразу приступив к делу,— вот вы, человек большого ума, человек, который может высказать свое мнение. Вот, молодая леди, желающая выслушать это мнение касательно моего друга

Уольра, равно как и другой мой друг, Соль Джилс,— к нему вам стоит приблизиться на расстояние оклика,— который, будучи человеком науки, каковая есть мать изобретательности, не знает никаких законов. Бансби, хотите сделать мне одолжение, повернуть через фордевинд и отправиться с нами?

Прославленный командир, который, судя по выражению его лица, всегда высматривал что-то в бесконечной дали и не имел ни малейшего зрительного представления о предметах, находившихся в пределах десяти миль, не дал никакого ответа.

— Вот человек,— сказал капитан, обращаясь к своим прекрасным слушательницам и указывая крючком на командира,— человек, который падал с мачт чаще, чем кто бы то ни было на свете; человек, с которым произошло несчастных случаев больше, чем со всеми моряками в Морском госпитале; человек, чья голова перенесла в прошлом удары стольких брусьев, досок и болтов, сколько потребуется вам в Четем-Ярде на постройку увеселительной яхты; и, однако — я уверен,— этим путем он приобрел свои суждения, ибо равных им нет ни на суше, ни на море!

При этой похвале флегматический командир выразил некоторое удовлетворение легким движением локтей; но, находись его лицо в той же дали, куда устремлялся его взгляд, зрители узнали бы о его мыслях не меньше, чем сейчас.

— Приятель! — неожиданно сказал Бансби, наклоняясь и засматривая под перекладину, заслонявшую ему горизонт,— что будут пить эти леди?

Капитан Катль, чья деликатность была задета таким вопросом, поскольку он касался Флоренс, отвел мудреца в сторону и, объяснив ему что-то на ухо, отправился с ним вниз; чтобы его не обидеть, капитан выпил рюмочку, а Флоренс и Сьюзен, заглядывая в открытый люк, видели, как мудрец, с трудом протискиваясь между койкой и очень маленькой медной печкой, налил также и себе. Вскоре они вернулись на палубу, и капитан Катль, радуясь успеху своей затеи, повел Флоренс к карете, а Бансби следовал за ним, сопровождая мисс Нипер, которую он, словно некий унылый медведь, обнимал рукой,

покрытой лоцманским сукном (к великому негодованию этой молодой леди).

Капитан усадил своего оракула в экипаж и в восторге от того, что залучил его и водворил сей великий ум в наемную карету, не мог удержаться, чтобы не поглядывать на Флоренс в окошечко за спиной кучера и не выражать своего восхищения улыбками, а также постукиваньем себя по лбу, намекая ей, что мозг Бансби работает усиленно. Тем временем Бансби, все еще обнимая мисс Нипер (ибо его друг, капитан, не преувеличил его мягкосердечия), неизменно сохранял торжественную осанку и никакого внимания не обращал ни на нее, ни на кого бы то ни было.

Дядя Соль, вернувшись тем временем домой, встретил их у двери и немедленно ввел в маленькую заднюю гостиную, странно изменившуюся с отъездом Уолтера. На столе и по всей комнате были разложены морские и географические карты, по которым удрученный мастер судовых инструментов снова и снова прослеживал путь пропавшего без вести судна и за минуту до их прихода измерял с помощью циркуля, все еще бывшего у него в руке, как далеко должно было отнести корабль, если его занесло в то или иное место, и старался убедить себя, что много времени должно пройти, прежде чем надежда угаснет.

— Если его отнесло сюда...— говорил дядя Соль, пытливо глядя на карту,— но нет, это почти невозможно. Или если шторм загнал его сюда... но это невероятно. Или есть какая-то надежда, что оно изменило курс настолько, что... но даже я не могу этому верить!

Бросая эти отрывистые фразы, бедный старый дядя Соль странствовал по разостланному перед ним огромному листу и не находил на нем точки, позволяющей ему питать надежду и достаточно большой, чтобы на ней уместилось острие циркуля.

Флоренс сразу заметила — трудно было бы не заметить,— что со стариком произошла какая-то странная перемена, и хотя он стал еще беспокойнее и рассеяннее, чем прежде, однако наряду с этим чувствовалась удивительная решимость, приводившая ее в недоумение. Чудилось ей — он говорит бессвязно и наобум, ибо, когда она

выразила сожаление по поводу его отсутствия утром, он сначала отвечал, что заходил к ней, но, по-видимому, тотчас же готов был взять эти слова назад.

— Вы заходили ко мне? — сказала Флоренс.— Сегодня?

— Да, дорогая моя юная леди,— отвечал дядя Соль, смущенно посмотрев на нее и затем отведя взгляд.— Я хотел еще разок увидеть и услышать вас, прежде чем...

— Прежде чем?.. Прежде чем что? — спросила Флоренс, положив руку ему на плечо.

— Разве я сказал «прежде чем»? — отозвался старый Соль.— Ну, в таком случае, должно быть, я хотел сказать, прежде чем мы получим вести о моем дорогом мальчике.

— Вы нездоровы,— нежно сказала Флоренс.— Вы так встревожены. Я уверена, что вы нездоровы.

— Я здоров,— возразил старик, сжимая правую руку и вытягивая ее, чтобы показать Флоренс,— здоров и крепок, как только может пожелать человек в мои годы. Видите? Не дрожит! Разве тот, кому она принадлежит, не способен на такую же решимость и стойкость, как многие другие моложе его? Думаю, что способен. Увидим.

Не столько слова его, хотя они ей и запомнились, сколько тон произвел на Флоренс такое впечатление, что она готова была в ту же минуту поведать о своем беспокойстве капитану Катлю, если бы капитан не воспользовался этой минутой для того, чтобы разъяснить обстоятельства дела, касательно коего требовалось мнение проницательного Бансби, и обратиться к сему авторитетному лицу с просьбой изречь таковое.

Бансби, чей глаз по-прежнему был обращен к какой-то точке на полпути между Лондоном и Грейвзендом, раза три протягивал правую руку, облеченную в грубое сукно, дабы в поисках вдохновения обвить ею прелестную талию мисс Нипер; но так как эта молодая особа в раздражении своем поместилась за другим концом стола, мягкое сердце командира «Осторожной Клары» не встретило отклика на свой порыв. После нескольких неудачных попыток командир, ни к чему не обращаясь, заговорил, или, вернее, голос в нем произнес самопроизвольно и совершенно независимо от него самого, словно Бансби был одержим охрипшим духом:



— Меня зовут Джек Бансби!

— Ему нарекли имя Джон! — вскричал восхищенный капитан Катль.— Слушайте!

— И если я что скажу,— после некоторого раздумья продолжал голос,— я от этого не отступлю.

Капитан, стоявший об руку с Флоренс, кивнул слушателям, как будто хотел пояснить: «Сейчас он себя покажет. Вот что я имел в виду, когда привел его».

— Отчего же? — продолжал голос.— Почему не сказать? Не все ли равно? Кто может сказать иначе? Никто! Итак — стоп!

Доведя свои рассуждения до этого пункта, голос сделал остановку и отдохнул. Затем снова заговорил, очень медленно:

— Считаю ли я, ребята, что этот «Сын и наследник» мог затонуть? Возможно. Утверждаю ли я это? А что именно? Если шкипер выходит из пролива святого Георга, держа курс на Даунс, что лежит перед ним? Пески Гудуина *. Ему незачем непременно налетать на пески, но он может налететь. Держитесь по курсу этого наблюдения. Это уже не мое дело. Итак, стоп, держите бодро вахту и желаю вам удачи!

Тут голос удалился из задней гостиной и вышел на улицу, увлекая с собой командира «Осторожной Клары» и сопутствуя ему с подобающей поспешностью на борт судна, где тот мгновенно лег соснуть и дремотой освежил свой ум.

Ученики мудреца, вынужденные самостоятельно применять его указания согласно принципу, являвшемуся основным стержнем треножника Бансби, а быть может, и кое-кого из других оракулов, переглянулись слегка растерянно. А Роб Точильщик, который, позволив себе невинную вольность, подглядывал и подслушивал через окно в потолке, потихоньку спустился с крыши в полном недоумении. Однако капитан Катль, чье восхищение командиром Бансби еще усилилось — если это только возможно,— когда тот столь блестяще оправдал свою репутацию и торжественно разрешил все сомнения, принялся разъяснять, что Бансби вполне уверен, что у Бансби нет никаких опасений, и мнение, высказанное таким человеком, рожденное таким умом, является якорем самой

Надежды, и якорная стоянка вполне надежна. Флоренс старалась поверить, что капитан прав, но Нипер, крепко стиснув руки, решительно качала головой и питала к Бансби доверия не больше, чем к самому мистеру Перчу.

По-видимому, философ оставил дядю Соля в таком же состоянии, в каком застал его, ибо тот по-прежнему скитался по морям, держа в руке циркуль и не находя для него пристанища. В то время как старик был поглощен этим занятием, Флоренс шепнула что-то на ухо капитану Катлю, и тот положил ему на плечо свою тяжелую руку.

— Как дела, Соль Джилс? — бодро крикнул капитан.

— Неважно, Нэд,— отозвался старый мастер.— Сегодня я все вспоминал, что в тот самый день, когда мой мальчик поступил в контору Домби, он поздно вернулся к обеду и сидел как раз там, где вы сейчас стоите; мы разговаривали о штормах и кораблекрушениях, и мне едва удалось отвлечь его от этой темы.

Встретив взгляд Флоренс, которая серьезно и испытующе всматривалась в его лицо, старик замолчал и улыбнулся.

— Держитесь крепче, старый приятель! — воскликнул капитан.— Бодритесь! Вот что я вам скажу, Соль Джилс: сначала я провожу домой Отраду Сердца,— и капитан, приветствуя Флоренс, поцеловал свой крючок,— а потом вернусь и возьму вас на буксир до самого вечера. Вы пойдете со мной, Соль, и мы где-нибудь пообедаем вместе.

— Не сегодня, Нэд! — быстро сказал старик, который был почему-то испуган этим предложением.— Не сегодня! Я не могу!

— Почему? — осведомился капитан, глядя на него с изумлением.

— У меня... у меня столько дел. То есть мне многое нужно обдумать и привести в порядок. Право же, не могу, Нэд. Сегодня мне нужно еще раз выйти из дому, побыть одному и о многом подумать.

Капитан посмотрел на старого мастера, посмотрел на Флоренс и опять на старого мастера.

— В таком случае, завтра,— предложил он наконец.

— Да, да! Завтра! — сказал старик.— Вспомните обо мне завтра. Значит — завтра.

— Я буду здесь рано, заметьте это, Соль Джилс,— поставил условие капитан.

— Да, да. Завтра рано утром,— сказал старый Соль.— А теперь прощайте, Нэд Катль, и да благословит вас бог!

Стиснув с необычайным жаром обе руки капитана, старик повернулся к Флоренс, взял ее руки в свои и поднес их к губам, затем с очень странной поспешностью повел ее к карете. Вообще, он произвел такое сильное впечатление на капитана Катля, что тот задержался и предписал Робу быть особенно послушным и внимательным к своему хозяину вплоть до завтрашнего утра, каковое распоряжение капитан скрепил выдачей шиллинга и посулил еще шесть пенсов до полудня следующего дня. Совершив это доброе дело, капитан Катль, почитавший себя естественным и законным телохранителем Флоренс, влез на козлы, глубоко сознавая возложенную на него ответственность, и проводил ее до дому. Прощаясь, он заверил ее, что будет держаться крепко, не отходя от Соля Джилса, и еще раз осведомился у Сьюзен Нипер, ибо не мог забыть смелые ее слова касательно миссис Мак-Стинджер:

— Так вы думаете, что показали бы ей, милая?

Когда заброшенный дом поглотил обеих женщин, мысли капитана обратились к старому мастеру, и он почувствовал беспокойство. Поэтому вместо того, чтобы идти домой, он шагал взад и вперед по улице и, скоротав время до вечера, пообедал поздно в некоей угловой маленькой таверне в Сити, с залом, имеющим клинообразную форму и весьма охотно посещаемым глянцевитыми шляпами. Важнейшим намерением капитана было пройти в сумерках мимо лавки Соля Джилса и заглянуть в окно, что он и сделал. Дверь в гостиную была открыта, и он увидел, как его старый друг деловито и усердно пишет, сидя за столом, а Маленький Мичман, уже укрывшийся под крышей от ночной росы, следит за ним с прилавка, под которым Роб Точильщик стелет постель, прежде чем запереть лавку. Успокоенный миром, царившим во владениях деревянного моряка, капитан взял курс на Бриг-Плейс, решив сняться с якоря рано утром.

ГЛАВА XXIV

Забота любящего сердца

Сэр Барнет и леди Скетлс, прекраснейшие люди, жили в Фулеме на берегу Темзы в прелестной вилле, которая являлась одной из самых завидных резиденций в мире, когда происходило соревнование в гребле, но в другое время отличалась и некоторыми неудобствами, к коим можно отнести периодическое вторжение реки в гостиную и одновременное исчезновение лужайки и кустов.

Сэр Барнет Скетлс подчеркивал значение собственной персоны главным образом с помощью старинной золотой табакерки и увесистого шелкового носового платка, который он внушительно извлекал из кармана, как знамя, и развертывал обеими руками. Цель жизни сэра Барнета заключалась в том, чтобы постоянно расширять круг знакомства. Было в природе вещей, чтобы сэр Барнет, подобно тяжелому телу, брошенному в воду,— мы отнюдь не желаем унизить столь достойного джентльмена таким сравнением,— образовывал около себя все более расширяющийся круг, сколько хватало места. И подобно звуку в воздухе, вибрации коего, согласно домыслам хитроумного современного философа, могут нескончаемо скитаться в беспредельном пространстве,— исследовательские путешествия сэра Барнета Скетлса в границах социальной системы были бесконечны, и только конец его земного бытия мог их оборвать.

Сэр Барнет гордился тем, что знакомил людей с людьми. Он любил это занятие ради него самого, и к тому же оно содействовало основной его цели. Так, например, если сэру Барнету удавалось захватить какого-нибудь новичка или провинциального джентльмена и залучить в свою гостеприимную виллу, сэр Барнет говорил ему утром по приезде: «Ну-с, дорогой мой сэр, не хотите ли вы с кем-нибудь познакомиться? Кого бы вы желали здесь встретить? Не интересуетесь ли вы писателями, живописцами, скульпторами, актерами или кем-нибудь в этом роде?» Случалось, что пациент отвечал

утвердительно и называл лицо, которое сэр Барнет знал лично не больше, чем Птолемея Великого. Сэр Барнет заявлял, что ничего не может быть легче, ибо он прекрасно с ним знаком, затем немедля отправлялся к вышеупомянутому лицу, оставлял визитную карточку, писал записку: «Уважаемый сэр... бремя вашего высокого положения... приятель, гостящий у меня, естественно жаждет... леди Скетлс и я сам присоединяемся... верим, что — так как гений стоит выше условностей — вы нам окажете исключительную честь, доставив удовольствие...» и т. д. и т. д., и таким образом одним камнем убивал двух птиц.

Пустив в ход табакерку и знамя, сэр Барнет Скетлс задал свой обычный вопрос Флоренс в первое утро ее пребывания в доме. Когда Флоренс поблагодарила его и сказала, что нет никого, чье присутствие было бы ей особенно желательно, она, естественно, подумала с тоской о бедном пропавшем Уолтере. Когда же сэр Барнет Скетлс, повторив свое любезное предложение, спросил: «Дорогая мисс Домби, вы уверены, что не можете припомнить никого, с кем пожелал бы вас познакомить ваш добрый папа, которому я попрошу вас передать в письме поклон от меня и леди Скетлс?» — было, пожалуй, естественно, что ее бедная головка слегка поникла, а голос дрогнул, и она тихо дала отрицательный ответ.

Скетлс-младший (что касается до его галстука — весьма накрахмаленный, а что касается до его расположения духа — пришибленный) был, по-видимому, огорчен желанием своей превосходной матери, настаивавшей, чтобы он оказывал внимание Флоренс. Другой и более глубокой обидой, терзавшей душу юного Барнета, было присутствие доктора и миссис Блимбер, которые получили приглашение погостить в Фулеме и о которых юный джентльмен не раз говорил, что лучше бы они отправлялись на вакации ко всем чертям.

— Не можете ли вы предложить кого-нибудь, доктор Блимбер? — сказал сэр Барнет Скетлс, обращаясь к этому джентльмену.

— Вы очень любезны, сэр Барнет,— ответил доктор Блимбер.— Право же, я затрудняюсь назвать какое-нибудь определенное лицо. Мне вообще приятно знако-

миться с моими ближними, сэр Барнет. Что говорит Теренций? Всякий, кто является отцом сына, интересен *мне*.

— Не имеет ли миссис Блимбер желания увидеть какую-нибудь знаменитую особу? — учтиво осведомился сэр Барнет.

Миссис Блимбер, сладко улыбнувшись и покачав небесно-голубым чепцом, отвечала, что если бы сэр Барнет мог представить ее Цицерону, она затруднила бы его просьбой; но раз такое знакомство невозможно, а она уже пользуется дружеским расположением его самого и его супруги и разделяет с доктором, своим супругом, надежды, возлагаемые на дорогого сына сэра Барнета,— тут юный Барнет, как было замечено, сморщил нос,— ей больше не о чем просить.

При таких обстоятельствах сэру Барнету ничего не оставалось, как временно довольствоваться собравшимся обществом. Флоренс этому радовалась, ибо у нее была здесь забота, которая слишком близко ее касалась и была для нее слишком насущной и важной, чтобы уступить место другим интересам.

В доме гостили дети. Дети, которые были откровенны и счастливы со своими отцами и матерями, как те румяные девочки в доме напротив. Дети, которые не скрывали своей любви и выражали ее свободно. Флоренс пыталась разгадать их тайну; пыталась узнать, чего недостает ей; какое простое искусство ведомо им и неведомо ей; как позаимствовать у них уменье показать отцу, что она его любит, и завоевать его любовь.

Много дней задумчиво наблюдала Флоренс за этими детьми. Много раз в ясные утра вставала она с постели с восходом ослепительного солнца и, бродя по берегу реки, смотрела на окна их комнат и думала о них, спящих, окруженных такой нежной заботой и ласковым вниманием. В такие минуты Флоренс чувствовала себя более одинокой, чем тогда, когда была одна в большом доме, и по временам думала, что там ей было лучше, чем здесь, и что гораздо спокойнее ей скрываться, чем общаться со своими сверстниками и убеждаться, как не похожа она на них. Но хотя каждая страница, перевернутая в жестокой книге, причиняла ей острую боль,

Флоренс, неразлучная со своей заботой, оставалась среди них и с терпеливой надеждой старалась обрести знание, по которому томилась.

Ах, как обрести его? Как постигнуть тайну очарования, которое только-только зарождается? Здесь были дочери, которые, вставая поутру и ложась спать вечером, уже владели сердцами своих отцов. Им не приходилось преодолевать сопротивление, страшиться холодности, смягчать хмурые взгляды. Когда наступало утро и окна открывались одно за другим, когда роса просыхала на цветах и траве, а детские ножки начинали бегать по лужайке, Флоренс, глядя на веселые лица, думала: чему может она научиться у этих девочек? Слишком поздно ей учиться у них; каждая могла безбоязненно подойти к своему отцу, подставить губы и получить поцелуй, обвить руками шею отца, наклонившегося, чтобы ее приласкать. Она не могла бы сразу решиться на такую вольность. О, возможно ли, что все меньше и меньше оставалось надежд по мере того, как она присматривалась все пристальнее и пристальнее?

Она прекрасно помнила, что даже та старуха, которая ограбила ее, когда она была маленькой, чей облик и чье жилище и все, что она говорила и делала, запечатлелось в памяти Флоренс с неизгладимой яркостью, как всякое ужасное событие, пережитое в раннем детстве,— даже та старуха говорила с любовью о своей дочери, и как страшно вскрикнула она, терзаемая безысходною болью разлуки со своим ребенком! Но ведь и ее родная мать — так думала Флоренс — любила ее горячо. И иногда, если мысли ее стремительно обращались к пропасти между нею и отцом, Флоренс начинала дрожать, и слезы выступали у нее на глазах, когда она представляла себе, что мать жива и тоже перестала ее любить, ибо нет в ней той неведомой прелести, которая, естественно, должна была бы вызвать любовь отца, и не было ее с самой колыбели. Она знала, что такое измышление оскорбляет память матери, что оно неверно и нет оснований для него, и, однако, она так хотела оправдать отца и возложить всю вину на себя, что не могла противиться этой мысли, когда она, подобно грозной туче, проносилась у нее в голове.

Вскоре после Флоренс приехала в числе других гостей хорошенькая девочка года на три-четыре моложе ее, сирота, в сопровождении тетки, седой леди, которая часто разговаривала с Флоренс, очень любила (впрочем, и все это любили) слушать по вечерам ее пение и в таких случаях всегда садилась с материнским участием поближе к ней. Через два дня после их приезда Флоренс сидела жарким утром в беседке в саду, задумчиво глядя сквозь листву на группу детей на лужайке, плела венок одной из этих малюток, общей любимице и баловнице, и услышала, как эта леди и ее племянница разговаривают о ней, прогуливаясь по тенистой аллее около беседки.

— Тетя, Флоренс сирота, как и я? — спросила девочка.

— Нет, милочка. У нее нет матери, но отец жив.

— Сейчас она носит траур по своей бедной маме? — с живостью спросила девочка.

— Нет, по единственном брате.

— Больше у нее нет братьев?

— Нет.

— И сестер нет?

— Нет.

— Мне ее очень, очень жаль! — сказала девочка.

Так как вскоре после этого они замолчали и остановились посмотреть на лодки, Флоренс, которая, услышав свое имя, встала, собрала цветы и хотела идти им навстречу, чтобы они знали о ее присутствии, снова села и принялась за работу, думая, что больше ничего не услышит; но через секунду разговор возобновился.

— Здесь все любят Флоренс, и, конечно, она этого заслуживает,— с жаром сказала девочка.— Где ее папа?

Тетка после короткого молчания ответила, что не знает. Тон ее остановил Флоренс, которая снова встала, и помешал ей тронуться с места; свой венок она поспешно прижала к груди и обеими руками держала цветы, чтобы они не рассыпались по земле.

— Он в Англии, тетя? — осведомилась девочка.

— Кажется. Да, да, он в Англии.

— Он бывал когда-нибудь здесь?

— Вряд ли. Нет.

— Он приедет сюда повидаться с ней?

— Вряд ли.

— Тетя, он хромой, слепой или больной? — спросила девочка.

Цветы, которые Флоренс прижимала к груди, начали падать на землю, когда она услышала эти слова, сказанные с таким недоумением. Она крепче прижала их, и ее лицо склонилось к ним.

— Кэт,— сказала леди, снова после короткого молчания,— я тебе все расскажу о Флоренс так, как сама слышала; думаю, что это правда. Но никому не говори, дорогая моя, потому что здесь, быть может, этого не знают, а твои разговоры причинили бы ей боль.

— Я никому не скажу! — воскликнула девочка.

— Уверена, что не скажешь,— отозвалась леди.— Тебе я могу доверять, как самой себе. Так вот, Кэт, я боюсь, что отец Флоренс мало ее любит, очень редко видит ее, никогда не бывал ласков с ней, а теперь даже сторонится ее и избегает. Она нежно любила бы его, если бы он ей позволил, но он этого не хочет, хотя она ничего дурного не сделала, и все добрые люди должны крепко любить ее и жалеть.

Еще несколько цветов, которые держала Флоренс, упали на землю; те, что остались у нее, были влажны, но не от росы; и голова ее опустилась на руки, державшие эти цветы.

— Бедная Флоренс! Милая, хорошая Флоренс! — воскликнула девочка.

— Ты понимаешь, для чего я тебе рассказала об этом, Кэт? — спросила леди.

— Для того, чтобы я была очень ласкова с ней и постаралась ей понравиться. Не правда ли, для этого, тетя?

— Отчасти,— сказала леди,— но это не все. Хотя мы видим, что она весела, приветливо улыбается каждому, готова услужить всем нам и принимает участие во всех развлечениях, вряд ли она по-настоящему счастлива. Как ты думаешь, Кэт?

— Мне кажется, нет,— ответила девочка.

— И ты понимаешь,— продолжала леди,— почему при виде детей, у которых есть родители, любящие их и гордящиеся ими, а таких здесь сейчас много, она втайне грустит?

— Да, милая тетя,— сказала девочка,— я это очень хорошо понимаю. Бедная Флоренс!

Снова посыпались на землю цветы, а те, что она прижимала к груди, трепетали, словно от зимнего ветра.

— Моя Кэт,— сказала леди тоном серьезным, но очень спокойным и ласковым, который с первой же секунды произвел такое сильное впечатление на Флоренс,— из всех живущих здесь детей ты для нее самая подходящая подруга, которая не причинит ей зла; ты не будешь, помимо своей воли, как это делают более счастливые дети...

— Нет никого счастливее меня, тетя! — воскликнула девочка и, по-видимому, прильнула к ней.

— ...Ты не будешь, милая Кэт, напоминать ей об ее несчастье. Поэтому я бы хотела, чтобы ты, стараясь с ней подружиться, приложила к этому все усилия и помнила, что твоя утрата — в ту пору, когда, слава богу, ты еще не могла понять всей ее тяжести,— дает тебе права на бедную Флоренс.

— Но с вами, тетя, я никогда не была лишена родительской любви,— возразила девочка.

— Во всяком случае, дорогая,— сказала леди,— твое горе легче, чем горе Флоренс, потому что не может быть на свете сироты более одинокой, чем та, у которой отец жив, но отказал ей в любви.

Цветы рассыпались по земле, как прах; руки, более не занятые ими, закрыли лицо; и осиротевшая Флоренс опустилась на землю и плакала долго и горько...

Но сильная духом и твердая в своем благом намерении, Флоренс держалась за это намерение, как умирающая мать держалась за Флоренс в тот день, когда дала жизнь Полю. Отец не знает, как горячо она его любит. Как бы долго ни пришлось ждать и как бы медленно ни тянулось время, она должна рано или поздно открыть ему эту любовь. До тех пор она должна заботиться о том, чтобы ни одним необдуманным словом, взглядом, взрывом чувств, вызванным случайными обстоятельствами, не пожаловаться на него, не дать повода к этим слухам, порочащим его.

Даже отвечая на привязанность сиротки, которая ей очень нравилась и помнить о которой были у нее столь

веские основания, Флоренс не забывала об отце. Если бы она отнеслась к сиротке с особой нежностью (думала Флоренс), она укрепила бы — в одном человеке несомненно, а возможно, и в нескольких — уверенность в том, что отец ее жесток и бесчеловечен. Свою радость она не принимала в расчет. Подслушанный ею разговор был основанием для того, чтобы щадить отца, а не утешать себя; и Флоренс его щадила, отдавшись заботе своего сердца.

Так поступала она всегда. Если читали вслух какую-нибудь книгу и в ней упоминалось о недобром отце, она боялась, как бы не отнесли этого к нему; страдала, но не за себя. Так бывало и тогда, когда они разыгрывали какую-нибудь пьеску, ставили живые картины, затевали игры. Столько было поводов для беспокойства о нем, что не раз она колебалась, не лучше ли ей вернуться в старый дом и снова жить мирно под сенью его скучных стен. Мало кто из видевших кроткую Флоренс на заре ее жизни, скромную маленькую королеву этих детских празднеств,— мало кто подозревал, какое тяжкое бремя священной заботы носит она в груди! Мало кто из тех, кого угнетала ледяная атмосфера, окружавшая ее отца. догадывался о том, что на его голову сыпались раскаленные угли! *

Флоренс терпеливо отдавалась своей заботе, и, не проникнув в тайну неведомого обаяния, которую пыталась выведать у гостивших в доме детей, она часто ранним утром гуляла одна среди детей бедняков. Но и здесь она убедилась, что они слишком ее опередили, чтобы можно было чему-нибудь от них научиться. Давным-давно они завоевали себе место в родном доме, а не стояли снаружи, как она, перед запертой дверью.

Несколько раз она обращала внимание на одного человека, который с раннего утра принимался за работу, и подле него часто сидела девушка приблизительно одних лет с Флоренс. Он был очень беден и не имел, казалось, определенных занятий; во время отлива он бродил по берегу реки, отыскивая в иле какие-то обломки; иногда возделывал жалкий клочок земли перед своим коттеджем; иногда старался починить свою утлую старую лодку или, случалось, исполнял какую-нибудь работу для соседа. Но

над чем бы ни трудился этот человек, девушка никогда не работала и сидела около него, безучастная, унылая и праздная.

Флоренс часто хотелось заговорить с этим человеком, однако она не решалась, так как он никогда не обращался к ней. Но как-то утром она случайно встретилась с ним, пройдя среди подстриженных ив по боковой тропинке, выходившей на каменистую площадку между его домом и рекой, где он стоял у костра, который развел, чтобы просмолить старую лодку, лежавшую тут же и перевернутую вверх дном; услышав ее шаги, он поднял голову и пожелал ей доброго утра.

— Здравствуйте,— подойдя ближе, сказала Флоренс.— Рано вы принялись за работу.

— Я бы рад был приниматься за работу еще раньше, мисс, будь только у меня работа.

— Разве так трудно ее получить? — спросила Флоренс.

— Для меня трудно,— ответил тот.

Флоренс посмотрела на девушку, которая сидела, опершись локтями о колени и подбородком на руки, и спросила:

— Эта ваша дочь?

Он быстро поднял голову, с просиявшим лицом повернулся к девушке, кивнул ей и ответил утвердительно. Флоренс тоже повернулась к ней и ласково поздоровалась; девушка в ответ пробормотала что-то, неприветливо и хмуро.

— Она тоже нуждается в работе? — спросила Флоренс.

Человек покачал головой.

— Нет, мисс,— сказал он,— я работаю на обоих.

— Значит, вас только двое? — осведомилась Флоренс.

— Нас только двое,— отозвался он.— Вот уже десять лет, как умерла ее мать. Марта! (Он снова поднял голову и свистнул ей.) Не хочешь ли поговорить с этой красивой молодой леди?

Девушка нетерпеливо пожала узкими плечами и отвернулась. Некрасивая, уродливо сложенная, дурного нрава, оборванная, грязная — но любимая! Да! Флоренс

это угадала по взгляду отца, обращенному на нее, и она знала, чей взгляд ничего общего не имеет с этим.

— Бедная моя девочка! Боюсь, что сегодня ей хуже,— сказал отец, отрываясь от работы и глядя на свою некрасивую дочь с состраданием, грубоватым и потому особенно трогательным.

— Значит, она больна? — спросила Флоренс.

Он глубоко вздохнул.

— Вряд ли за пять лет моя Марта была совсем здорова хотя бы пять дней,— ответил он, все еще не спуская с нее глаз.

— Эх, больше чем за пять лет, Джон,— сказал сосед, который подошел помочь ему чинить лодку.

— Ты думаешь — больше? — отозвался тот, сдвигая на затылок поношенную шляпу и проводя рукой по лбу.— Все может быть. Кажется, будто прошло много-много лет.

— И с каждым годом,— продолжал сосед,— ты все больше и больше ее балуешь и потакаешь ей, Джон, покуда она не станет в тягость и себе и другим.

— Не мне,— возразил ее отец, снова принимаясь за работу.— Только не мне.

Флоренс поняла — кто мог понять лучше, чем она? — как правдивы были его слова. Она подошла к нему ближе и рада была бы пожать его мозолистую руку и поблагодарить за доброту к жалкому созданию, на которое он смотрел иными глазами, чем все остальные.

— Кто же, если не я, побаловал бы мою бедную девочку, уж коли называть это баловством?

— Это так! — воскликнул сосед.— Но все же не надо хватать через край, Джон! А ты что делаешь? Ты отнимаешь у себя, чтобы отдать ей. Из-за нее ты связываешь себя по рукам и по ногам. Ты влачишь жалкое существование из-за нее. А ей какое до этого дело? Уж не думаешь ли ты, что она это хоть сколько-нибудь ценит?

Отец снова поднял голову и свистнул. Марта ответила тем же нетерпеливым подергиванием узких плеч; а он был счастлив и доволен.

— Только ради этого, мисс,— сказал сосед с улыбкой, в которой было больше затаенной симпатии, чем в его словах,— только ради того, чтобы видеть это, он никогда не отпускает ее от себя.

— Потому что настанет день, и он давно уже приближается,— заметил тот, низко склоняясь над своей работой,— когда даже для того, чтобы увидеть, как у моего несчастного ребенка дрожит палец или развеваются волосы, пришлось бы воскрешать мертвую.

Флоренс потихоньку положила возле него немного денег на старую лодку и ушла.

И теперь Флоренс начала думать о том, что, если бы она заболела, зачахла, как ее милый брат, узнал ли бы тогда отец, как она его любила; стала ли бы она ему дороже; подошел бы он к постели, где лежит она, слабая, с потускневшими глазами, заключил бы ее в свои объятия и зачеркнул прошлое? Мог бы он при изменившихся обстоятельствах простить ей то, что она не умела открыть ему свое детское сердце, простить так, чтобы она без труда могла поведать, с каким чувством вышла в ту ночь из его комнаты, что хотела ему сказать, если бы на это у нее хватило храбрости, и как старалась она впоследствии открыть тот путь, которого так и не нашла в детстве?

Да,— думала она,— если бы она умирала, он бы смягчился. Она думала о том, что, если бы лежала она, спокойно и не борясь со смертью, на постели, овеянной воспоминаниями об их любимом мальчике, он был бы растроган и сказал бы ей: «Милая Флоренс, живи для меня, и мы будем любить друг друга, как могли бы любить, и будем счастливы, как могли быть счастливы все эти годы!» Если бы услышала она эти слова и заключила его в свои объятия, она, казалось ей, ответила бы с улыбкой: «Слишком, поздно, но знаю одно: это было бы для меня самым большим счастьем, милый папа!» — и ушла бы от него с благословением на устах.

В результате таких размышлений золотая вода на стене, памятная Флоренс, представлялась потоком, стремящимся к покою, в страну, где близкие, ушедшие ранее, ждут ее, взявшись за руки; и часто, глядя на темную реку, журчавшую у ее ног, она думала с боязливым недоумением — но не с ужасом — о той реке, о которой так часто говорил ей брат, реке, которая его уносила.

Отец и его больная дочь были еще свежи в памяти Флоренс, когда, примерно через неделю после этой

встречи, сэр Барнет и его супруга задумали как-то днем прогуляться по проселочным дорогам и предложили Флоренс пойти с ними. Флоренс охотно согласилась, и леди Скетлс, разумеется, выгнала на прогулку юного Барнета. Ибо ничто так не восхищало леди Скетлс, как созерцание старшего ее сына рука об руку с Флоренс.

Барнет, пожалуй, придерживался противоположной точки зрения и в таких случаях частенько выражал свое мнение вслух — впрочем, неопределенно, намекая на «каких-то девчонок». Но так как нелегко было смутить кроткий нрав Флоренс, обычно она через несколько минут примиряла юного джентльмена с его судьбой; они дружески продолжали прогулку, а леди Скетлс и сэр Барнет следовали за ними, весьма довольные и ублаготворенные.

В таком порядке шествовали они в упомянутый день, и Флоренс почти удалось заглушить сетования Скетлса-младшего на его участь, когда мимо проехал джентльмен верхом, посмотрел на них пристально, затем остановил лошадь, повернул ее и поехал им навстречу, держа в руке шляпу.

Джентльмен с особым вниманием посмотрел на Флоренс; когда же он вернулся и маленькое общество остановилось, он поклонился ей, а затем уже приветствовал сэра Барнета и его супругу. Флоренс не могла припомнить, видела ли она его когда-нибудь, но вот он приблизился, и она невольно вздрогнула и отшатнулась.

— Уверяю вас, лошадь у меня смирная,— сказал джентльмен.

Но не лошадь, а что-то в самом джентльмене — Флоренс не могла бы определить, что именно,— заставило ее отшатнуться, словно ее укололи.

— Кажется, я имею честь говорить с мисс Домби? — сказал джентльмен с самой вкрадчивой улыбкой.

Когда Флоренс наклонила голову, он добавил:

— Моя фамилия Каркер. Вряд ли я могу надеяться, что мисс Домби помнит меня не только по фамилии.

Флоренс, чувствуя странный озноб, хотя день был жаркий, представила его своему хозяину и хозяйке, которые приняли его очень любезно.



— Тысячу раз прошу прощения! — сказал мистер Каркер.— Но дело в том, что завтра утром я еду к мистеру Домби, в Лемингтон, и если мисс Домби пожелает доверить мне какое-нибудь поручение, нужно ли говорить, как буду я счастлив?

Сэр Барнет, тотчас сообразив, что Флоренс захочет написать письмо отцу, предложил вернуться домой и просил мистера Каркера зайти к ним и пообедать — прямо в костюме для верховой езды. К несчастью, мистер Каркер был уже приглашен на обед, но если мисс Домби пожелает послать письмо, ничто не доставит ему большего удовольствия, чем проводить их домой и, в качестве верного ее раба, ждать, сколько ей будет угодно. Когда он говорил это с самой широкой своей улыбкой и наклонялся к ней очень близко, поглаживая шею своей лошади, Флоренс, встретив его взгляд, скорее угадала, чем услышала, как он сказал: «О корабле нет никаких известий!»

Смущенная, испуганная, пятясь от него и, в сущности, не зная, сказал ли он эти слова, ибо как будто он их не произносил, но каким-то удивительным образом показал в своей улыбке, Флоренс слабым голосом ответила, что очень ему признательна, но писать не будет; ей не о чем писать.

— Может быть, что-нибудь передать, мисс Домби? — спросил, сверкнув зубами, человек.

— Ничего,— сказала Флоренс,— ничего, только нежный привет от меня...

Как ни была взволнована Флоренс, она бросила на него умоляющий и красноречивый взгляд, который заклинал его пощадить ее, если ему известно,— а ему это было известно,— что всякое поручение от нее к отцу — дело необычное, и тем более — такое поручение. Мистер Каркер улыбнулся, отвесил низкий поклон и, выслушав просьбу сэра Барнета передать привет от него самого и леди Скетлс, распрощался и уехал, произведя благоприятное впечатление на эту достойную чету. Тогда у Флоренс начался такой озноб, что сэр Барнет, вспомнив распространенное поверье, предположил, что кто-то прошел по ее могиле. Мистер Каркер, сворачивая в тот момент за угол, оглянулся, поклонился и скрылся из виду, словно ехал с этой целью прямо на кладбище.

ГЛАВА XXV

Странные вести о дяде Соле

Капитан Катль, хотя и не был лентяем, проснулся не очень рано на следующее утро после того, как видел в окно лавки Соля Джилса, что-то пишущего в гостиной, Мичмана на прилавке и Роба Точильщика, стелющего себе постель под прилавком: пробило шесть часов, когда он приподнялся на локте и окинул взором свою маленькую спальню. Должно быть, глаза капитана несли тяжелую службу, если он, проснувшись, всегда раскрывал их так широко, как раскрыл в то утро, и плохую получали они награду за свою бдительность, если он всегда протирал их с таким же ожесточением. Но случай был из ряда вон выходящий, ибо Роб Точильщик никогда еще не появлялся в дверях спальни капитана Катля, а сейчас он стоял здесь, тяжело дыша и глядя на капитана, разгоряченный и взлохмаченный, как будто только-только покинул постель, что сильно повлияло как на выражение, так и на цвет его лица.

— Эй! — заревел капитан.— Что случилось?

Не успел Роб вымолвить слово в ответ, как капитан Катль в смятении сорвался с постели и зажал ему рот рукой.

— Спокойно, приятель! — сказал капитан.— Не говори мне покуда ни слова!

Наложив этот запрет и глядя на своего посетителя с великим изумлением, капитан вытолкал его потихоньку в соседнюю комнату, затем исчез и через несколько секунд вернулся в синем костюме. Подняв руку в знак того, что запрет еще не снят, капитан Катль подошел к буфету и налил себе рюмочку; такую же рюмочку он протянул вестнику. После этого капитан поместился в углу, спиной к стене, как бы предотвращая возможность быть поверженным на спину сообщением, какое ему предстояло выслушать, осушил рюмку и, не спуская глаз с вестника и побледнев так, как только мог побледнеть, предложил ему «отчаливать».

— То есть рассказывать, капитан? — осведомился Роб, на которого эти меры предосторожности произвели сильное впечатление.

— Да! — сказал капитан.

— Так вот, сэр,— сказал Роб,— я мало что могу рассказать. Но посмотрите-ка сюда!

Роб показал связку ключей. Капитан внимательно поглядел на них, оставаясь в своем углу, и внимательно поглядел на вестника.

— А посмотрите-ка сюда! — продолжал Роб.

Мальчик показал запечатанный пакет, на который капитан Катль вытаращил глаза так же, как таращил их на ключи.

— Когда я проснулся сегодня, капитан,— продолжал Роб,— примерно в четверть шестого, я нашел это у себя на подушке. Дверь лавки не была заперта ни на задвижку, ни на ключ, а мистер Джилс ушел.

— Ушел? — заревел капитан.

— Улетучился, сэр,— отвечал Роб.

Голос капитана был столь страшен и он с такой энергией двинулся из своего угла на Роба, что тот попятился в другой угол, протягивая ключи и пакет, с целью защитить себя от нападения.

— «Для капитана Катля», сэр! — крикнул Роб.— Написано и на ключах и на пакете. Честное, благородное слово, капитан Катль, больше я ничего об этом не знаю. Умереть мне на этом месте, если знаю! Ну, и ситивация для парня, который только что заполучил должность! — возопил злополучный Точильщик, растирая себе лицо обшлагом.— Хозяин удрал вместе с его местом, и он же в этом виноват!

Эти сетования вызваны были пристальным, или, вернее, сверкающим взглядом капитана Катля, преисполненным туманных подозрений, угроз и обвинений. Взяв протянутый ему пакет, капитан вскрыл его и прочел следующее:

— «Мой дорогой Нэд Катль, сюда вложена последняя моя воля...— капитан с недоверчивым видом перевернул лист бумаги,— и завещание»... Где завещание? — спросил капитан, тотчас предъявляя обвинение злосчастному Точильщику.— Что ты с ним сделал, приятель?

— Я его в глаза не видел,— захныкал Роб.— Неужели вы подозреваете ни в чем не повинного парня, капитан? Я не притрагивался к завещанию.

Капитан покачал головой, давая понять, что кто-то должен нести ответственность, и торжественно продолжал:

— «Коего не вскрывайте в течение года или до тех пор, пока не получите достоверных известий о моем дорогом Уолтере, который дорог и вам, Нэд, в этом я уверен».— Капитан сделал паузу и с волнением покачал головой; затем, дабы поддержать свое достоинство в этот напряженный момент, посмотрел чрезвычайно сурово на Точильщика.— «Если вы никогда обо мне не услышите и не увидите меня, Нэд, вспоминайте о старом друге так же, как он будет вспоминать о вас до последней минуты — с любовью; и по крайней мере до тех пор, пока не истечет указанный мною срок, сохраните для Уолтера домашний очаг в старой лавке. Долгов нет, ссуда, полученная от фирмы Домби, покрыта, а все ключи я посылаю вместе с этим пакетом. Шуму не поднимайте и никаких справок обо мне не наводите: это бесполезно. Больше, дорогой Нэд, нет поручений от вашего верного друга Соломона Джилса».— Капитан глубоко вздохнул, а затем прочел следующие слова, приписанные внизу: — «Мальчик Роб, как я вам говорил, рекомендован фирмой Домби с лучшей стороны. Если бы все остальное пошло с молотка, позаботьтесь, Нэд, о Маленьком Мичмане».

Для того, чтобы вызвать у потомства представление о том, как капитан вертел письмо в руках и, прочитав его раз двадцать, опустился на стул и мысленно стал держать военный суд,— для этого потребовались бы объединенные усилия всех великих гениев, которые, пренебрегая своим несчастливым веком, решили обратиться к потомству, но и у него не добились успеха. Сначала капитан был слишком потрясен и расстроен, чтобы думать о чем бы то ни было, кроме самого письма; и даже когда мысли его обратились к различным сопутствующим фактам, то оказалось, что, пожалуй, лучше было бы им не покидать первоначальной темы — так мало проясняли они эти факты. В таком расположении духа капитан Катль, имея пред судом Точильщика,

и только его одного, почувствовал великое облегчение, решив, что подозрения падают на него; эта мысль столь ясно отразилась на физиономии капитана, что Роб запротестовал.

— Ох, не надо, капитан! — вскричал Точильщик.— Не понимаю, как это вы можете! Что я сделал, чтобы так на меня смотреть?

— Приятель,— сказал капитан Катль,— не кричи, пока тебя не обидели. И что бы ты ни сделал, не наговаривай на себя.

— Я ничего не делал и не наговаривал, капитан,— ответил Роб.

— В таком случае, не уклоняйся,— внушительно сказал капитан,— и стань на якорь.

Глубоко чувствуя возложенную на него ответственность и необходимость тщательно расследовать это таинственное происшествие, как подобает человеку, связанному с обеими сторонами, капитан Катль решил осмотреть место действия и не отпускать от себя Точильщика. Считая, что в настоящее время этот юнец находится как бы под арестом, капитан колебался, не целесообразно ли будет надеть ему наручники, связать ноги или привесить к ним груз; но сомневаясь, законны ли подобные действия, капитан решил только придерживать его всю дорогу за плечо и сбить с ног, если он окажет сопротивление.

Однако Роб не оказал никакого сопротивления и, стало быть, подошел к дому мастера судовых инструментов, не испытав более суровых мер воздействия. Так как ставни были еще закрыты, капитан прежде всего позаботился открыть лавку; когда же дневной свет проник в комнату, капитан с его помощью приступил к дальнейшему расследованию.

Первым делом он поместился на стуле в лавке в качестве председателя торжественного трибунала, все члены коего соединились в его лице, и потребовал, чтобы Роб лег в постель под прилавком, указал точно место, где он, проснувшись, обнаружил ключи и пакет, и показал, каким образом нашел дверь незапертой, как отправился на Бриг-Плейс,— причем капитан предусмотрительно приказал восстановить эту последнюю сцену не выходя

за порог,— и так далее и так далее. Когда все это было показано несколько раз, капитан покачал головой и, по-видимому, пришел к заключению, что дело принимает дурной оборот.

Затем капитан, смутно допуская возможность найти тело, предпринял тщательные поиски по всему дому: с зажженной свечой шарил в погребах, засовывал свой крючок за двери, больно ударялся головой о балки и запутывался в паутине. Поднявшись в спальню старика, они убедились, что в ту ночь он не ложился в постель, а только прилег поверх одеяла, о чем свидетельствовал еще сохранившийся на одеяле отпечаток.

— И я думаю, капитан,— сказал Роб, осматривая комнату,— что эти последние дни, когда мистер Джилс так часто приходил и уходил, он понемногу уносил мелкие вещи, чтобы не привлекать внимания.

— А! — таинственно произнес капитан.— Почему ты так думаешь, приятель?

— Вот, например,— отвечал Роб, озираясь,— я не вижу его прибора для бритья. И щеток его не вижу, капитан. И рубашек. И башмаков.

По мере того, как перечислялись эти предметы, капитан Катль специально сосредоточивал внимание на деталях туалета Точильщика,— не обнаружится ли, что тот недавно ими пользовался или в настоящее время ими владеет. Но Робу незачем было бриться, он, разумеется, был не причесан, и не могло быть никаких сомнений в том, что свой костюм он носит давно.

— А что бы ты сказал, не наговаривая на себя,— спросил капитан,— в котором часу он уклонился от курса? Ну?

— Я думаю, капитан,— отвечал Роб,— что, должно быть, он ушел вскоре после того, как я захрапел.

— В котором часу это было? — осведомился капитан, приготовившись добиться точных сведений.

— Как же я могу на это ответить, капитан? — возразил Роб.— Знаю только, что поначалу сон у меня крепкий, а под утро — чуткий; и если бы мистер Джилс прошел через лавку на рассвете, хотя бы даже на цыпочках, я бы уже непременно услышал, как он закрывает дверь.

Трезво обсудив это показание, капитан Катль стал склоняться к мысли, что мастер судовых инструментов скрылся по собственному желанию; такому логическому выводу способствовало письмо, адресованное капитану, которое, будучи несомненно написано рукой старика, как будто без особых натяжек подтверждало догадку, что тот решил уйти и ушел по своей воле. Теперь капитану предстояло подумать, куда он ушел и зачем? А так как он не видел никаких путей к решению первого вопроса, то и ограничил свои размышления вторым.

Когда капитан припомнил странное поведение старика и прощание с ним — в тот вечер он не мог объяснить, почему оно было таким теплым, но теперь это стало понятно,— у него возникло страшное подозрение, что старик, подавленный тревогой и тоской по Уолтеру, пришел к мысли о самоубийстве. Так как он был не приспособлен к тяготам повседневной жизни, о чем частенько говаривал сам, и несомненно выведен из равновесия неопределенным положением и надеждами, исполнение которых все откладывалось и откладывалось, подобное предположение казалось не только не бессмысленным, но даже слишком правдоподобным.

У него не было долгов, он не боялся лишения свободы или наложения ареста на имущество — что же, если не припадок безумия, побудило его бежать из дому одного и тайком? Касательно же кое-каких вещей, взятых им с собой, если он действительно их взял — а даже в этом они не были уверены,— он мог это сделать, рассуждал капитан, чтобы предотвратить расследование, отвлечь внимание от своей гибели или успокоить того самого человека, который в данный момент взвешивал все эти возможности. Таковы были, если изложить простым языком и в сжатой форме, окончательные выводы и сущность рассуждений капитана Катля, которые не скоро приняли это направление и подобно иным публичным рассуждениям были сначала весьма сбивчивы и беспорядочны.

Крайне удрученный и павший духом, капитан Катль почел справедливым освободить Роба из-под ареста, к коему его приговорил, и предоставить ему свободу при условии почетного надзора за ним, от которого не на-

мерен был отказываться. Наняв у маклера Броли человека, который должен был во время их отлучек сидеть в лавке, капитан взял с собою Роба и занялся печальными поисками смертных останков Соломона Джилса.

Ни один полицейский участок, ни один морг, ни один работный дом в столице не избежал посещения твердой глянцевитой шляпы. На пристанях, среди судов на берегу реки, вверх по течению, вниз по течению — всюду и везде, где толпа была гуще, поблескивала она, словно шлем героя в битве. В течение целой недели капитан читал во всех газетах объявления обо всех найденных и пропавших людях и во все часы дня отправлялся опознавать Соломона Джилса в бедных маленьких юнгах, упавших за борт, и в высоких темнобородых иностранцах, принявших яд, «удостовериться,— говорил капитан Катль,— что это не он». И в самом деле, это был не он, и у доброго капитана другого утешения не оставалось.

Наконец капитан Катль отказался от этих попыток, признав их безнадежными, и стал размышлять, что надлежит ему теперь делать. Неоднократно перечитав письмо своего бедного друга, он заключил, что первейшей его обязанностью является сохранить «для Уолтера домашний очаг в старой лавке». Поэтому капитан принял решение переселиться в дом Соломона Джилса, заняться продажей инструментов и посмотреть, что из этого выйдет.

Но так как подобный шаг требовал отказа от квартиры у миссис Мак-Стинджер, а он знал, что эта энергическая женщина и слушать не станет о его переезде, капитан пришел к отчаянному решению сбежать.

— Послушай-ка, приятель,— сказал капитан Робу, когда в голове его созрел этот замечательный план,— завтра меня не будет на этом рейде до ночи; быть может, приду после полуночи. Но ты будь настороже, пока не услышишь моего стука, а как только услышишь, беги и отопри дверь.

— Слушаю, капитан,— сказал Роб.

— Ты по-прежнему будешь числиться в этом журнале,— снисходительно продолжал капитан,— и можешь даже получить повышение, если мы с тобой поладим. Но завтра ночью, как только услышишь мой стук, в котором бы часу это ни случилось, беги и проворней отворяй.

— Будьте покойны, капитан,— отвечал Роб.

— Дело в том, понимаешь ли,— пояснил капитан, возвращаясь, чтобы растолковать ему это поручение,— что — кто знает! — возможна и погоня; и меня могут захватить, пока я буду ждать, если ты отопрешь не так проворно.

Роб снова заверил капитана, что будет бдителен и расторопен, и капитан, отдав это благоразумное распоряжение, в последний раз отправился домой к миссис Мак-Стинджер.

Сознание, что он явился туда в последний раз и скрывает жестокий умысел под синим своим жилетом, внушило ему такой смертельный страх перед миссис Мак-Стинджер, что шаги этой леди внизу в течение целого дня приводили его в трепет. Вдобавок случилось так, что миссис Мак-Стинджер была в прекрасном расположении духа — мила и кротка, как овечка; и капитан Катль испытал жестокие угрызения совести, когда она поднялась наверх и спросила, не приготовить ли ему чего-нибудь к обеду.

— Вкусный пудинг из почек, капитан Катль,— сказала квартирная хозяйка,— или баранье сердце. Не беда, если мне придется похлопотать.

— Нет, благодарю вас, сударыня,— отвечал капитан.

— Или жареную курицу,— сказала миссис Мак-Стинджер,— с телячьим фаршем и яичным соусом. Право же, капитан Катль, устройте себе маленький праздник!

— Нет, благодарю вас, сударыня,— очень смиренно отвечал капитан.

— Сдается мне, вы не в своей тарелке, и вам следует подкрепиться,— сказала миссис Мак-Стинджер.— Почему бы не выпить в кои веки раз бутылку хереса?

— Ну что ж, сударыня,— отозвался капитан,— если вы будете так добры и выпьете со мною стаканчик-другой, я, пожалуй, не откажусь. Сделайте милость, сударыня,— продолжал капитан, раздираемый на части своею совестью,— возьмите с меня квартирную плату за квартал вперед!

— А зачем это, капитан Катль? — возразила миссис Мак-Стинджер, возразила резко, как показалось капитану.

Капитан был испуган насмерть.

— Вы бы мне оказали услугу, сударыня, если бы взяли,— робко сказал он.— Я не умею беречь деньги. Они у меня уплывают. Я был бы очень признателен, если бы вы согласились.

— Ну что ж, капитан Катль,— потирая руки, сказала ничего не подозревающая Мак-Стинджер,— делайте как хотите. Мне с моим семейством не пристало отказываться, как не пристало и просить.

— И не будете ли вы так добры, сударыня,— сказал капитан, доставая с верхней полки буфета металлическую чайницу, в которой хранил наличные деньги,— подарить от меня ребятишкам по восемнадцати пенсов каждому? Если вы ничего не имеете против, сударыня, скажите детям, чтобы они пришли сюда. Я был бы рад их видеть.

Эти невинные Мак-Стинджеры уподобились кинжалам, вонзившимся в грудь капитана, когда явились гурьбой и стали тормошить его с безграничным доверием, которое он так мало заслуживал. Вид Александра Мак-Стинджера, его любимца, был ему невыносим; голос Джулианы Мак-Стинджер, как две капли воды похожей на мать, привел его в трепет.

Тем не менее капитан Катль соблюдал приличия более или менее сносно и в течение часа или двух выдерживал весьма жестокое и грубое обхождение юных Мак-Стинджеров, которые, предаваясь детским забавам, причинили некоторый ущерб глянцевитой шляпе, усевшись в нее вдвоем, как в гнездо, и колотя башмаками по внутренней стороне тульи. Наконец капитан с грустью отпустил их и, расставаясь с этими херувимами, испытывал мучительные угрызения совести и скорбь человека, идущего на казнь.

В ночной тишине капитан уложил более тяжелое свое имущество в сундук, который запер на замок, намереваясь оставить его здесь, по всей вероятности, навеки, ибо почти не было шансов на то, что найдется когда-нибудь человек, достаточно отважный и дерзкий, чтобы прийти и потребовать его. Более легкие вещи капитан связал в узел, а столовое серебро разложил по карманам, готовясь к побегу. В полуночный час, когда Бриг-Плейс

покоилась во сне, а миссис Мак-Стинджер, окруженная своими младенцами, погрузилась в сладостное забытье, преступный капитан, на цыпочках спустившись в темноте по лестнице, открыл дверь, тихонько притворил ее за собой и пустился бежать.

Преследуемый образом миссис Мак-Стинджер, вскакивающей с постели, бегущей за ним и приводящей его обратно, невзирая на свой костюм, преследуемый также сознанием своего чудовищного преступления, капитан Катль бежал во всю прыть, отнюдь не позволяя траве вырасти у него под ногами между Бриг-Плейс и дверью старого мастера. Она распахнулась, едва он постучал, так как Роб был настороже; а когда она была заперта на задвижку и на ключ, капитан Катль почувствовал себя сравнительно в безопасности.

— Ух! — озираясь, воскликнул капитан.— Вот так скачка!

— Что-нибудь случилось, капитан? — крикнул пораженный Роб.

— Нет, нет! — сказал капитан Катль, бледнея и прислушиваясь к шагам на улице.— Но помни, приятель, если какая-нибудь леди, кроме тех двух, которых ты тогда видел, зайдет и спросит капитана Катля, непременно скажи, что такого человека здесь не знают и никогда о нем не слыхали; запомни это, слышишь?

— Постараюсь, капитан,— ответил Роб.

— Ты можешь сказать, если хочешь,— нерешительно предложил капитан,— что читал в газете об одном капитане, носящем эту фамилию, который отплыл в Австралию, эмигрировал с партией переселенцев, и все они поклялись никогда сюда не возвращаться.

Роб кивнул, давая понять, что уразумел эти инструкции, и капитан Катль, пообещав сделать из него человека, если он будет исполнять приказания, отослал зевающего мальчика спать под прилавок, а сам поднялся наверх, в спальню Соломона Джилса.

Какие муки испытывал капитан на следующий день всякий раз, как под окнами мелькала какая-нибудь шляпка, и сколько раз он выбегал из лавки, ускользая от воображаемых Мак-Стинджер, и искал спасения на чердаке,— не поддается описанию. Но во избежание уста-

лости, связанной с таким способом самосохранения, капитан завесил изнутри стеклянную дверь, ведущую из лавки в гостиную, подобрал к ней ключ из присланной ему связки и пробуравил глазок в стене. Выгоды этой системы фортификации очевидны. При появлении шляпки капитан мгновенно убегал в крепость, запирался на ключ и тайком наблюдал за врагом. Убедившись, что тревога ложная, капитан мгновенно выбегал оттуда. А так как шляпки на улице были весьма многочисленны, а тревога — неизменно связана с их появлением, то капитан весь день только и делал, что убегал и прибегал.

Впрочем, в разгар этих упражнений капитан Катль нашел время осмотреть товар, о котором у него составилось общее представление (весьма тягостное для Роба), что, чем больше его протирать и чем ярче он будет блестеть, тем лучше. Затем он наклеил ярлычки на некоторые предметы, привлекательные на вид, наугад назначив цены от десяти шиллингов до пятидесяти фунтов, и выставил их в окне к великому изумлению публики.

Произведя эти улучшения, капитан Катль, окруженный инструментами, стал почитать себя причастным к науке; и по вечерам, в маленькой задней гостиной, покуривая перед сном свою трубку, смотрел сквозь окно в потолке на звезды, как будто они являлись его собственностью. В качестве торговца Сити он начал интересоваться лорд-мэром, шерифами и корпорациями; кроме того, он считал своим долгом ежедневно читать фондовые бюллетени, хотя основы навигации нисколько не помогали ему понять, что означают эти цифры, и он мог бы прекрасно обойтись без дробей. К Флоренс капитан отправился с неожиданными вестями о дяде Соле тотчас после того, как вступил во владение Мичманом; но она была в отъезде. Итак, капитан утвердился на своем новом жизненном посту; не встречаясь ни с кем, кроме Роба Точильщика, и теряя счет дням, как это бывает с людьми, в чьей жизни произошли великие перемены, он размышлял об Уолтере, о Соломоне Джилсе и даже о самой миссис Мак-Стинджер, как о далеком прошлом.

ГЛАВА XXVI

Тени прошлого и будущего

— Ваш покорнейший слуга, сэр,— сказал майор.— Черт возьми, сэр, друг моего друга Домби — мой друг, и я рад вас видеть.

— Каркер, я бесконечно признателен майору Бегстоку за общество и беседы,— пояснил мистер Домби.— Майор Бегсток оказал мне большую услугу, Каркер.

Мистер Каркер-заведующий, со шляпой в руке, только что прибывший в Лемингтон и только что представленный майору, показал майору двойной ряд зубов и заявил, что берет на себя смелость поблагодарить его от всего сердца за столь разительную перемену к лучшему в наружности и расположении духа мистера Домби.

— Ей-богу, сэр,— отвечал майор,— благодарить меня не за что, так как это взаимная услуга. Такой великий человек, сэр, как наш друг Домби,— продолжал майор, понизив голос, но понизив его не настолько, чтобы сей джентльмен не мог расслышать,— помимо своей воли облагораживает и возвышает своих друзей. Он — Домби — укрепляет и оживляет нравственную природу человека, сэр.

Мистер Каркер ухватился за это выражение. Нравственную природу. Вот именно! Эти самые слова вертелись у него на языке.

— Но когда мой друг Домби, сэр,— добавил майор,— говорит вам о майоре Бегстоке, я убедительно прошу разрешить мне вывести из заблуждения и его и вас. Он имеет в виду просто Джо, сэр, Джоя Б., Джоша Бегстока, Джозефа — грубого и непреклонного старого Джи, сэр. К вашим услугам!

Чрезвычайно дружелюбное отношение мистера Каркера к майору и восхищение мистера Каркера его грубостью, непреклонностью и простотой сверкали в каждом зубе мистера Каркера.

— А теперь, сэр,— сказал майор,— вам и Домби надо обсудить чертовски много дел.

— О нет, майор! — заметил мистер Домби.

— Домби,— решительно возразил майор,— мне лучше знать. Такому выдающемуся человеку, как вы, колоссу коммерции, мешать не следует. Ваши минуты дороги. Мы встретимся за обедом. В промежутке старый Джозеф постарается не попадаться на глаза. Мистер Каркер, обед ровно в семь.

С этими словами майор — физиономия его чрезвычайно раздулась — удалился, но тотчас же просунул снова голову в дверь и сказал:

— Прошу прощенья, Домби, вы ничего не хотите им передать?

Мистер Домби, слегка смущенный, мельком взглянув на учтивого хранителя его коммерческих тайн, поручил майору передать привет.

— Клянусь богом, сэр,— сказал майор,— вы должны передать что-нибудь более сердечное, иначе старый Джо встретит отнюдь не радушный прием.

— В таком случае, мое почтение, майор, если вам угодно,— отвечал мистер Домби.

— Черт побери, сэр,— сказал майор, шутливо встряхивая плечами и жирными щеками,— передайте что-нибудь более сердечное.

— В таком случае все, что вы пожелаете, майор,— заметил мистер Домби.

— Наш друг хитер, сэр, хитер, сэр, дья-явольски хитер,— сказал майор, посматривая из-за двери на Каркера.— Таков и Бегсток.— Затем, оборвав хихиканье и выпрямившись во весь рост, майор торжественно изрек, ударяя себя в грудь: — Домби! Я завидую вашим чувствам. Да благословит вас бог! — И вышел.

— Должно быть, этот джентльмен весьма способствовал приятному вашему времяпрепровождению,— сказал Каркер, оскалив на прощанье все зубы.

— Совершенно верно,— сказал мистер Домби.

— Здесь у него несомненно есть друзья,— продолжал Каркер.— На основании его слов я заключил, что вы бываете в обществе. Знаете ли,— он гнусно улыбнулся,— я так рад, что вы бываете в обществе!

В ответ на это проявление участия со стороны ближайшего своего помощника мистер Домби повертел цепочку от часов и слегка качнул головой.

— Вы созданы для общества,— сказал Каркер.— Больше, чем кто бы то ни было, вы по природе своей и положению предназначены вращаться в обществе. Знаете ли, я часто недоумевал, почему вы так долго держали его в стороне.

— У меня были причины, Каркер. Я был одинок и равнодушен к нему. Но вы сами обладаете талантами, весьма ценными для общества, и тем более должен вызывать удивление ваш образ жизни.

— О, я! — отозвался тот с полной готовностью к самоуничижению.— Что касается такого человека, как я, то это совсем другое дело. С *вами* я не выдерживаю сравнения.

Мистер Домби поднес руку к галстуку, погрузил в него подбородок, кашлянул и несколько секунд стоял, молча глядя на своего верного друга и слугу.

— Я буду иметь удовольствие, Каркер,— сказал, наконец, мистер Домби с таким видом, словно проглотил слишком большой кусок,— представить вас моим... вернее, друзьям майора. В высшей степени приятные люди.

— Полагаю, среди них есть леди,— вкрадчиво осведомился слащавый заведующий.

— Да... то есть две леди,— ответил мистер Домби.

— Только две? — улыбнулся Каркер.

— Да, только две... Я ограничился визитом к ним и больше никаких знакомств здесь не заводил.

— Быть может, сестры? — предположил Каркер.

— Мать и дочь,— ответил мистер Домби.

Когда мистер Домби опустил глаза и снова поправил галстук, улыбающееся лицо мистера Каркера в одну секунду и совершенно неожиданно превратилось в лицо напряженное и нахмуренное, с пристально устремленным на мистера Домби взглядом и безобразной усмешкой. Когда мистер Домби поднял глаза, оно изменилось столь же быстро, обретя прежнее свое выражение, и показало ему обе десны.

— Вы очень любезны,— сказал Каркер.— Я буду счастлив познакомиться с ними. Кстати о дочерях... Я видел мисс Домби.

Кровь прилила к щекам мистера Домби.

— Я позволил себе навестить ее,— продолжал Каркер,— чтобы узнать, не даст ли она мне какого-нибудь

поручения, но мне не посчастливилось, и я могу передать только... только ее нежный привет.

Какая волчья морда! Даже воспаленный язык виднелся из растянутой пасти, когда глаза встретились с глазами мистера Домби!

— Что у вас за дела? — осведомился этот джентльмен после паузы, в течение которой мистер Каркер доставал памятные записки и другие бумаги.

— Их очень мало,— отвечал Каркер.— В общем, за последнее время нам вопреки обыкновению не везло, но для вас это почти никакого значения не имеет. У Ллойда считают, что «Сын и наследник» затонул. Ну что ж, судно было застраховано от киля до топа.

— Каркер,— начал мистер Домби, придвигая к себе стул,— не могу сказать, чтобы этот молодой человек, Гэй, когда-либо производил на меня благоприятное впечатление...

— И на меня также,— вставил заведующий.

— Но я сожалею,— продолжал мистер Домби, пропустив мимо ушей это замечание,— что он отплыл с этим судном. Лучше бы его не отсылали.

— Жаль, что вы не сказали об этом своевременно,— холодно отозвался Каркер.— Впрочем, я думаю, что все к лучшему. Упомянул ли я о том, что выслушал как бы некоторое признание от мисс Домби?

— Нет,— сурово сказал мистер Домби.

— Не сомневаюсь,— продолжал мистер Каркер после многозначительной паузы,— что, где бы ни был сейчас Гэй, лучше ему быть там, где он находится, чем здесь, дома. На вашем месте я был бы доволен. И лично я вполне удовлетворен. Мисс Домби доверчива и молода... быть может — если только есть у нее какой-нибудь недостаток,— для вашей дочери она недостаточна горда. Но это, конечно, пустяки. Не угодно ли проверить со мной эти балансы?

Вместо того чтобы наклониться над лежавшими перед ним бумагами, мистер Домби откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на заведующего. Заведующий, с полуопущенными веками, притворился, будто глядит на цифры, и не торопил своего принципала. Он не скрывал, что прибег к такому притворству как бы из деликатности

и с намерением пощадить чувства мистера Домби; а этот последний, глядя на него, почувствовал его нарочитую заботливость и понял, что, не будь ее, этот заслуживающий доверия Каркер мог бы сообщить ему многое, о чем он, мистер Домби, не спросил из гордости. Таким бывал он часто и в делах. Мало-помалу взгляд мистера Домби стал менее напряженным, и внимание его привлекли бумаги, но, и погрузившись в рассмотрение их, он часто отрывался и снова взглядывал на мистера Каркера. И каждый раз мистер Каркер подчеркивал, как и раньше, свою деликатность и внушал мысль о ней своему великому шефу.

Пока они занимались делами и, искусно направленные заведующим, гневные мысли о бедной Флоренс зарождались и зрели в сердце мистера Домби, вытесняя холодную неприязнь, которая обычно им владела, майор Бегсток, предмет восхищения старых леди Лемингтона, сопутствуемый туземцем, тащившим, как всегда, легкий багаж, шествовал по теневой стороне улицы, намереваясь нанести утренний визит миссис Скьютон. Был полдень, когда майор вошел в будуар Клеопатры, и ему посчастливилось застать свою повелительницу, по обыкновению, на софе, где она изнемогала над чашкой кофе в комнате, которая для более сладостного ее отдохновения была погружена во мрак столь густой, что Уитерс, ей прислуживавший, вырисовывался неясно, как призрачный паж.

— Что за несносное создание появилось здесь? — сказала миссис Скьютон.— Я не могу его вынести. Уходите, кто бы вы ни были!

— Сударыня, у вас не хватит духу прогнать Дж. Б.! — запротестовал майор, останавливаясь на полпути и держа трость на плече.

— Ах, так это вы? Пожалуй, можете войти,— заявила Клеопатра.

Итак, майор вошел и, приблизившись к софе, приложил к губам ее прелестную руку.

— Садитесь как можно дальше,— сказала Клеопатра, лениво обмахиваясь веером.— Не подходите ко мне, потому что сегодня я ужасно слаба и чувствительна, а от вас пахнет солнцем. Вы какой-то тропический!

— Черт возьми, сударыня! — сказал майор.— Было время, когда Джозеф Бегсток поджаривался и обжигался

на солнце; было время, когда благодаря тепличной атмосфере Вест-Индии он поневоле достиг столь пышного расцвета, что прославился под кличкой Цветок. В те дни, сударыня, никто не слыхал о Бегстоке,— все слышали о Цветке — Нашем Цветке. Быть может, сударыня, Цветок немного увял,— заметил майор, опускаясь в кресло, стоявшее значительно ближе, чем то, которое было ему указано его жестоким божеством,— но все же это стойкое растение и такое же непреклонное, как вечнозеленое дерево.

Майор под покровом темноты закрыл один глаз, замотал головой как арлекин, и, чрезвычайно довольный собой, подошел к границам апоплексии ближе, чем когда бы то ни было.

— Где миссис Грейнджер? — осведомилась Клеопатра у своего пажа.

Уитерс высказал предположение, что она у себя в комнате.

— Прекрасно,— сказала миссис Скьютон.— Ступайте и закройте дверь. Я занята.

Когда Уитерс скрылся, миссис Скьютон, оставаясь в той же позе, томно повернула голову к майору и спросила, как поживает его друг.

— Домби, сударыня,— ответствовал майор с веселым горловым смешком,— чувствует себя хорошо, насколько это *возможно* в его положении. Положение его отчаянное, сударыня. Он увлечен, этот Домби. Увлечен! — воскликнул майор.— Он пронзен насквозь!

Клеопатра бросила на майора зоркий взгляд, поразительно противоречивший тому деланному небрежному тону, каким она сказала:

— Майор Бегсток, хотя я мало знаю свет, но не сокрушаюсь о своей неопытности, потому что он весь пропитан фальшью, связан угнетающими условностями; природа остается в пренебрежении, и редко можно услышать музыку сердца, излияния души и все прочее, поистине поэтическое; однако я не могу не понять смысла ваших слов. Вы намекаете на Эдит, на мое бесконечно дорогое дитя,— продолжала миссис Скьютон, проводя указательным пальцем по бровям,— и в ответ на ваши слова вибрируют нежнейшие струны!

— Прямота, сударыня,— ответил майор,— всегда была

отличительной чертой рода Бегстоков. Вы правы. Джо это признает.

— И этот намек,— продолжала Клеопатра,— вызывает одни из самых, если не *самые* нежные, волнующие и священные эмоции, на какие способна наша огрубевшая, к сожалению, натура.

Майор приложил руку к губам и послал воздушный поцелуй Клеопатре, как бы для того, чтобы изобразить эмоцию, о которой шла речь.

— Я чувствую, что слаба. Чувствую, что мне недостает той энергии, которая в такую минуту должна поддерживать маму, чтобы не сказать — родительницу,— заметила миссис Скьютон, вытирая губы кружевной оторочкой носового платка.— Но, право же, я не могу не чувствовать слабости, касаясь вопроса, столь знаменательного для моей дорогой Эдит. Тем не менее, злодей, так как вы дерзнули его затронуть, а он причинил мне острую боль,— миссис Скьютон прикоснулась веером к левому своему боку,— я не премину исполнить свой долг.

Майор под покровом сумерек все раздувался и раздувался, мотал из стороны в сторону багровой физиономией и подмигивал рачьими глазами, пока у него не начался приступ удушья, который побудил его встать и раза два пройтись по комнате, прежде чем его прекрасный друг мог продолжать свою речь.

— Мистер Домби,— сказала миссис Скьютон, обретя, наконец, возможность говорить,— был так любезен, что вот уже несколько недель назад удостоил нас здесь своим визитом, сопровождаемый вами, дорогой майор. Признаюсь — разрешите мне быть откровенной,— что я существо импульсивное, и в сердце моем, так сказать, читают все. Я прекрасно знаю свою слабость. Враги мои не могут знать ее лучше, чем я. Но я не жалею об этом. Я предпочитаю, чтобы безжалостный свет не погасил жар моего сердца, и готова примириться с этим справедливым обвинением.

Миссис Скьютон оправила косынку, ущипнула себя за увядшую шею, чтобы разгладить складки на ней, и продолжала, весьма довольная собой:

— Мне, а также дорогой моей Эдит, в чем я не сомневаюсь, доставляло бесконечное удовольствие принимать

мистера Домби. Мы, естественно, были расположены к нему как к вашему другу, дорогой мой майор; и мне казалось, что в мистере Домби чувствуется та бодрость, которая действует в высшей степени освежающе.

— Чертовски мало бодрости осталось теперь у мистера Домби, сударыня,— сказал майор.

— Прошу вас, молчите, несчастный! — воскликнула миссис Скьютон, бросив на него томный взгляд.

— Дж. Б. безмолвствует, сударыня,— ответил майор.

— Мистер Домби,— продолжала Клеопатра, растирая розовую краску на щеках,— не ограничился одним визитом; быть может, он нашел нечто приятное в наших простых и непритязательных вкусах — ибо есть обаяние в природе, она так сладостна,— и сделался постоянным членом нашего вечернего кружка. А я и не помышляла о той страшной ответственности, какую брала на себя, когда поощряла мистера Домби...

— Располагаться здесь, сударыня,— подсказал майор Бегсток.

— Грубиян! — сказала миссис Скьютон.— Вы угадываете мою мысль, но выражаете ее отвратительным языком.

Тут миссис Скьютон облокотилась на стоявший около нее столик; свесив кисть руки, по ее мнению, грациозно и изящно, она начала помахивать веером и, разговаривая, лениво любовалась своей рукой.

— Пытка, какую я перенесла,— сказала она жеманно,— когда истина постепенно мне открылась, была слишком ужасна, чтобы о ней распространяться. Вся моя жизнь — в моей ненаглядной Эдит; видеть, как она меняется изо дня в день, моя очаровательная девочка, которая буквально похоронила свое сердце после смерти этого прекраснейшего человека, Грейнджера, видеть это — мучительнейшая вещь в мире.

Мир миссис Скьютон был не очень жесток, если судить о нем по тому впечатлению, какое производило на нее мучительнейшее испытание; но это между прочим.

— Говорят, что Эдит,— просюсюкала миссис Скьютон,— жемчужина моей жизни, похожа на меня. Мне кажется, мы действительно похожи.

— Есть на свете один человек, сударыня, который никогда не согласится с тем, что кто-то на вас похож,—

сказал майор,— а зовут этого человека старым Джо Бегстоком.

Клеопатра имела поползновение размозжить голову льстецу веером, но, смягчившись, улыбнулась ему и продолжала:

— Если моя прелестная девочка унаследовала от меня какие-нибудь хорошие качества, злодей (злодеем был майор), то она унаследовала также и мою безрассудную натуру. У нее очень сильный характер — говорят, у меня необычайно сильный характер, хотя я этому не верю,— но если ее что-нибудь взволнует, она становится восприимчива и чувствительна в высшей степени. Что же должна испытывать я, видя, как она томится! Меня это губит.

Майор, выдвинув двойной подбородок и поджав синие губы, выразил всей физиономией глубочайшее сочувствие.

— С волнением думаешь о том доверии,— сказала миссис Скьютон,— какое существовало между нами: свободное развитие души и излияние чувств. Мы были скорее двумя сестрами, чем матерью и дочерью.

— Таково мнение Дж. Б.,— заметил майор,— высказывавшееся Дж. Б. пятьдесят тысяч раз!

— Не перебивайте меня, грубиян! — сказала Клеопатра.— Что же в таком случае должна я испытывать, когда замечаю: есть один предмет, которого мы избегаем касаться! Что между нами разверзлась... как это говорится... пропасть! Что моя прямодушная Эдит изменилась! Конечно, это мучительнейшее чувство.

Майор встал с кресла и пересел ближе к столику.

— Изо дня в день я это наблюдаю, дорогой майор,— продолжала миссис Скьютон.— Изо дня в день я это чувствую. Ежечасно я упрекаю себя в том избытке прямоты и доверчивости, какой привел к столь печальным последствиям; и я все время жду, что мистер Домби с минуты на минуту объяснится и облегчит эти муки, которые жестоко меня изнурили. Но ничего подобного не случается, дорогой майор. Я раба угрызений совести — не разбейте кофейную чашку, вы такой неловкий,— моя ненаглядная Эдит стала другим человеком. И, право же, я не знаю, что делать и с каким добрым человеком мне посоветоваться.

Майор Бегсток, поощренный, быть может, тем ласковым и доверчивым тоном, к которому миссис Скьютон

несколько раз прибегала, а теперь избрала окончательно, протянул через столик руку и сказал, подмигивая:

— Посоветуйтесь с Джо, сударыня.

— В таком случае, несносное вы чудовище,— сказала Клеопатра, подавая руку майору и ударяя его по пальцам веером, который держала в другой руке,— почему вы не поговорите со мной? Вы знаете, о чем я думаю. Почему же вы мне ничего об этом не скажете?

Майор захохотал, поцеловал протянутую ему руку и снова неудержимо захохотал.

— Такой ли мистер Домби сердечный человек, каким я его почитаю? — нежно проворковала Клеопатра.— Как вы думаете, дорогой майор, серьезные ли у него намерения? Считаете вы нужным поговорить с ним или пусть все идет само собой? Скажите мне, дорогой, что бы вы посоветовали?

— Женить нам его на Эдит Грейнджер, сударыня? — хрипло захохотал майор.

— Загадочное существо! — отозвалась Клеопатра, поднимая веер, чтобы ударить майора по носу.— Как можем *мы* его женить?

— Женить нам его на Эдит Грейнджер, спрашиваю я, сударыня? — снова хихикнул майор.

Миссис Скьютон ничего не ответила, но улыбнулась майору с такой игривостью и лукавством, что сей галантный офицер, приняв это за вызов, запечатлел бы поцелуй на ее чрезвычайно красных устах, если бы она не заслонилась веером с очаровательной и девической ловкостью. Быть может, это была скромность; а может быть — опасение, как бы не пострадала окраска губ.

— Домби, сударыня,— сказал майор,— завидная добыча.

— О корыстный негодяй! — тихонько взвизгнула Клеопатра.— Как вам не стыдно!

— И у Домби, сударыня,— продолжал майор, вытягивая шею и таращa глаза,— серьезные намерения. Джозеф это говорит; Бегсток это знает; Дж. Б. к этому ведет. Пусть все идет само собой, сударыня. Домби надежен, сударыня. Поступайте так, как поступали раньше, больше ничего; и верьте, что Дж. Б. доведет дело до конца.

— Вы действительно так думаете, дорогой майор? — спросила Клеопатра, которая, несмотря на свою ленивую позу, всматривалась в него очень пытливо и очень зорко.

— Уверен, сударыня,— ответил майор.— Несравненная Клеопатра и ее Антоний Бегсток будут частенько беседовать об этом с торжеством, наслаждаясь изысканной роскошью и богатством дома Эдит Домби. Сударыня,— сказал майор, вдруг оборвав хихиканье и став серьезным,— приехала правая рука Домби.

— Сегодня утром? — спросила Клеопатра.

— Сегодня утром, сударыня,— ответил майор.— А нетерпение, с каким Домби ждал его приезда, объясняется — поверьте Дж. Б. на слово, ибо Джо дья-явольски хитер,— майор постукал себя по носу и прищурил один глаз, что не усугубило его природную красоту,— объясняется желанием, чтобы слухи не дошли до него раньше, чем он, Домби, сообщит ему о своих намерениях или посоветуется с ним. Потому что Домби, сударыня,— сказал майор,— горд как Люцифер.

— Прекрасное качество,— просюсюкала миссис Скьютон,— свойственное также и Эдит.

— Так вот, сударыня,— продолжал майор,— я уже сделал несколько намеков, и правая рука их поняла, и подбавлю еще до конца дня. Сегодня утром Домби наметил на завтра поездку в Уорикский замок и в Кенилуорт, а предварительно хотел позавтракать с нами. Я взялся передать приглашение. Удостоите ли вы нас этой чести, сударыня? — сказал майор, раздуваясь от одышки и лукавства и вручая записку, адресованную почтенной миссис Скьютон через любезное посредство майора Бегстока, в которой неизменно ей преданный Поль Домби просил ее и любезную и очаровательную ее дочь принять участие в предполагаемой экскурсии; а в постскриптуме тот же неизменно преданный Поль Домби передавал привет миссис Грейнджер.

— Тише! — промолвила вдруг Клеопатра.— Эдит!

Вряд ли можно сказать, что после этого восклицания любящая мать вновь напустила на себя ленивый и жеманный вид, ибо с ним она никогда не расставалась; пожалуй, она не хотела и не могла с ним расстаться нигде, разве только в могиле. Но торопливо отогнав тень серьезности или сосредоточенности на замысле, похвальном или дурном,

какая в тот момент могла отражаться на ее лице, в голосе или манере, она вытянулась на кушетке, снова бесконечно вялая и томная; в этот момент в комнату вошла Эдит.

Эдит, такая красивая и величественная, но такая холодная и такая неприступная! Едва кивнув майору Бегстоку и бросив проницательный взгляд на мать, она откинула занавеску у окна и села, глядя на улицу.

— Дорогая моя Эдит,— сказала миссис Скьютон,— где же это ты была? Я так хотела тебя видеть, моя милая.

— Вы сказали, что заняты, и я не входила,— ответила она, не оборачиваясь.

— Это было жестоко по отношению к старому Джо, сударыня,— подхватил майор со свойственной ему галантностью.

— Это было очень жестоко, я знаю,— сказала она, по-прежнему глядя в окно, сказала с таким невозмутимым презрением, что майор был сбит с толку и не мог придумать никакого ответа.

— Майор Бегсток, милая моя Эдит,— промолвила ее мать, растягивая слова,— который, как тебе известно, самый бесполезный и неприятный человек на свете...

— Право же, мама, это ни к чему,— повернувшись, сказала Эдит,— оставьте эту манеру разговаривать. Мы совсем одни. Мы друг друга знаем.

Спокойное презрение, отразившееся на ее прекрасном лице, презрение, явно обращенное на нее самое не меньше, чем на них, было так глубоко, что притворная улыбка матери, хотя и была такой привычной, на секунду сбежала с губ.

— Милая моя девочка...— начала она снова.

— Еще не женщина? — улыбнувшись, сказала Эдит.

— Какая ты сегодня странная, дорогая моя. Позволь тебе сказать, милочка, что майор Бегсток принес любезнейшую записку от мистера Домби, который предлагает позавтракать с ним завтра и отправиться в Уорик и в Кенилуорт. Ты поедешь, Эдит?

— Поеду ли я? — повторила она, сильно покраснев, и, прерывисто дыша, повернулась к матери.

— Я знала, дорогая, что ты поедешь,— беззаботно отозвалась та.— Я спросила, как ты говоришь, для приличия. Вот письмо мистера Домби, Эдит.

— Благодарю вас. У меня нет ни малейшего желания читать его,— последовал ответ.

— В таком случае, пожалуй, я отвечу на него сама,— сказала миссис Скьютон,— хотя у меня была мысль просить тебя взять на себя роль моего секретаря, дорогая моя.

Так как Эдит не шевельнулась и не дала никакого ответа, миссис Скьютон попросила майора придвинуть к ней столик, и откинуть крышку, и достать ей перо и бумагу, каковые галантные услуги майор оказал с великой покорностью и преданностью.

— Передать привет от тебя, Эдит, дорогая моя? — осведомилась миссис Скьютон, не выпуская пера из рук, прежде чем приписать постскриптум.

— Все, что вам угодно, мама,— не оборачиваясь, отозвалась та с величайшим равнодушием.

Миссис Скьютон написала то, что ей было угодно, не добиваясь более точных указаний, и вручила письмо майору, который, приняв это драгоценное поручение, сделал вид, будто прячет письмо у сердца, но вследствие ненадежности своего жилета поневоле опустил его в карман панталон. Затем майор весьма элегантно и рыцарски распрощался с обеими леди, на что старшая ответила, не изменяя обычной своей манере, тогда как младшая, не переставая глядеть в окно, наклонила голову чуть заметно, так что любезнее было бы по отношению к майору обойтись без всякого поклона и предоставить ему сделать заключение, что она ничего не слышала или не заметила.

«Что касается перемены в ней, сэр,— размышлял на обратном пути майор (день был солнечный и жаркий, и майор приказал туземцу с легким багажом идти впереди, а сам шествовал в тени заброшенного на чужбину принца),— что касается перемены, сэр, томления и тому подобного, то на эту удочку Джозеф Бегсток не попадется. Нет, сэр! Это не пройдет! Ну, а что касается разногласия между ними или пропасти, как выражается мамаша,— будь я проклят, сэр, если это не похоже на правду! И это очень странно! Ну, что ж, сэр! — пыхтел майор.— Эдит Грейнджер и Домби — прекрасная пара; пусть решают спор поединком. Бегсток ставит на победителя!»

Майор, увлеченный своими мыслями, произнес эти последние слова вслух, вследствие чего злосчастный тузе-

мец остановился и оглянулся, полагая, что они обращены к нему. Раздраженный до последней степени нарушением субординации, майор (хотя в тот момент он раздувался от прекраснейшего расположения духа) ткнул туземца между ребер своею тростью и с небольшими промежутками не переставал подталкивать его вплоть до самой гостиницы.

Не менее раздражен был майор, когда одевался к обеду, во время каковой процедуры на темнокожего слугу сыпался град всевозможных предметов, начиная с сапога, кончая головной щеткой и включая все, что попадалось под руку его хозяину. Ибо майор кичился тем, что великолепно вымуштровал туземца, и за малейшее нарушение дисциплины карал его, применяя такого рода наказания. Добавим к этому, что он держал туземца при себе как средство, отвлекающее от подагры и всех прочих недугов, духовных и телесных; и туземец, по-видимому, недаром получал жалованье, которое, впрочем, было невелико.

Наконец майор, расточив все снаряды, бывшие в его распоряжении, и наградив туземца таким количеством новых кличек, что у того были все основания подивиться богатству английского языка, подчинился необходимости повязать галстук; нарядившись и почувствовав прилив жизнерадостности после своих упражнений, он спустился вниз развлекать Домби и его правую руку.

Домби еще не приходил, но правая рука была на месте, и зубные сокровища были, по обыкновению, к услугам майора.

— Ну, сэр,— сказал майор,— что вы поделывали с тех пор, как я имел счастье вас видеть? Прогулялись?

— Гуляли не больше получаса,— ответил Каркер.— Мы были так заняты.

— Дела? — сказал майор.

— Нужно было покончить с разными мелочами,— отозвался Каркер.— Но, знаете ли... Это совсем несвойственно мне, воспитанному в школе недоверия и обычно не расположенному к общительности,— начал он, перебивая себя и говоря обаятельно чистосердечным тоном,— но к вам я чувствую полное доверие, майор Бегсток.

— Вы делаете мне честь, сэр. Мне вы можете доверять.

— В таком случае, понимаете ли,— продолжал Каркер,— мне кажется, что мой друг... пожалуй, следовало бы сказать *наш* друг...

— Вы имеете в виду Домби, сэр? — воскликнул майор.— Мистер Каркер, вы видите меня — вот я стою здесь, перед вами? Видите вы Дж. Б.?

Он был в достаточной мере толстым и в достаточной мере синим, чтобы его увидеть; и мистер Каркер сообщил, что имеет удовольствие видеть его.

— В таком случае, сэр, вы видите человека, который пойдет в огонь и воду, чтобы услужить Домби,— заявил майор Бегсток.

Мистер Каркер улыбнулся и сказал, что в этом не сомневается.

— Знаете ли, майор,— продолжал он,— возвращаясь к тому, с чего я начал, я нашел, что сегодня наш друг был менее внимателен к делам, чем обычно.

— Да? — отозвался обрадованный майор.

— Я нашел его слегка рассеянным и не расположенным к сосредоточенности.

— Ей-богу, сэр,— вскричал майор,— тут замешана леди!

— Действительно, я начинаю верить, что это так,— ответил Каркер.— Мне казалось, вы шутили, когда как будто намекнули на это; я ведь знаю вас, военных...

Майор разразился лошадиным кашлем и потряс головой и плечами, как бы говоря: «Да, мы веселые ребята, этого нельзя отрицать». Затем он схватил мистера Каркера за петлю фрака и, выпучив глаза, зашептал ему на ухо, что она — необычайно обаятельная женщина, сэр. Что она — молодая вдова, сэр. Что она из хорошей семьи, сэр. Что Домби влюблен в нее по уши, сэр, и что это прекрасная партия для обеих сторон; ибо у нее красота, хорошее происхождение и таланты, а у Домби богатство; чего же еще может желать супружеская пара? Заслышав шаги мистера Домби за дверью, майор оборвал свою речь, заключив, что завтра утром мистер Каркер увидит ее и будет судить сам; от умственного напряжения и разговора хриплым шепотом у майора слезились глаза, и он сидел пыхтя, пока не подали обед.

Подобно некоторым другим благородным животным, майор показал себя во всем блеске во время кормежки. В тот день он сверкал ослепительно за одним концом стола, а мистер Домби испускал более слабое сияние за другим, тогда как Каркер ссужал свои лучи то одному, то другому светилу или направлял их на оба вместе, в зависимости от обстоятельств.

За первым и вторым блюдом майор обычно бывал серьезен, так как туземец, исполняя тайный приказ, окружал его прибор всевозможными соусниками и бутылочками, и майор был не на шутку занят, вытаскивая пробки и смешивая содержимое на своей тарелке. Вдобавок у туземца, на столике у стены, находились различные приправы и пряности, коими майор ежедневно обжигал себе желудок, не говоря уже о странных сосудах, из которых он наливал неведомые жидкости в стакан майора. Но в тот день майор Бегсток, даже несмотря на эти многочисленные занятия, находил время быть общительным, и общительность его выражалась в чрезвычайном лукавстве, направленном на то, чтобы просветить мистера Каркера и обнаружить состояние духа мистера Домби.

— Домби,— сказал майор,— вы ничего не кушаете. В чем дело?

— Благодарю вас,— ответил этот джентльмен,— я ем; у меня сегодня нет аппетита.

— Что же с ним случилось, Домби? — спросил майор.— Куда он делся? У наших друзей вы его не оставили, в этом я могу поклясться, так как я ручаюсь за то, что сегодня за завтраком никакого аппетита у них не было. Во всяком случае, я готов поручиться за одну из них; но за которую — не скажу!

Тут майор подмигнул Каркеру и преисполнился таким лукавством, что его темнокожий слуга принужден был, не дожидаясь приказаний, похлопать его по спине, иначе тот, вероятно, исчез бы под столом.

В конце обеда, иными словами, когда туземец приблизился к майору, собираясь разливать первую бутылку шампанского, майор стал еще лукавее.

— Наливай до краев, негодяй,— сказал майор, поднимая свой бокал.— И мистеру Каркеру наливай до краев. И мистеру Домби. Клянусь богом, джентльмены,— сказал



майор, подмигивая своему новому другу, тогда как мистер Домби с проницательным видом смотрел в тарелку, этот бокал вина мы посвятим божеству; Джо гордится знакомством с ним и издали им восхищается смиренно и почтительно. Имя его — Эдит,— сказал майор,— божественная Эдит!

— За здоровье божественной Эдит! — воскликнул улыбающийся Каркер.

— Да, разумеется, за здоровье Эдит,— сказал мистер Домби. Появление лакеев с новыми блюдами побудило майора стать еще лукавее, но вместе с тем серьезнее.

— Хотя в своей компании Джо Бегсток может и пошутить и серьезно поговорить об этом предмете, сэр,— сказал майор, приложив палец к губам и обращаясь конфиденциально к Каркеру,— но это имя для него слишком священно, чтобы делать его достоянием этих молодцов, да и других тоже! Ни слова, сэр, пока они здесь!

Это было почтительно и пристойно со стороны майора — мистер Домби явно это чувствовал. Хотя и смущенный, при всей своей ледяной холодности, намеками майора, мистер Домби отнюдь не возражал против такого подшучивания — это было очевидно — и даже поощрял его. Пожалуй, майор был недалек от истины, когда предположил в то утро, что великий человек, слишком высокомерный, чтобы открыто посоветоваться со своим премьер-министром или довериться ему по такому вопросу, тем не менее хотел бы ввести его в курс дела. Как бы там ни было, пока майор пользовался своей легкой артиллерией, мистер Домби частенько поглядывал на мистера Каркера и, казалось, следил, какое впечатление на него производит этот обстрел.

Но майор, залучив слушателя внимательного и столь часто улыбавшегося, что равного ему не было во всем мире, «короче говоря, дьявольски умного и приятного», как не раз говаривал он впоследствии, не намерен был отпускать его, ограничившись лукавыми намеками по адресу мистера Домби. Поэтому, когда убрали со стола, майор показал себя молодцом и в более широкой и значительной области, рассказывая полковые анекдоты и отпуская полковые шуточки с такой удивительной расточительностью, что Каркер устал (или притворился усталым)

от смеха и восхищения; а мистер Домби взирал поверх своего накрахмаленного галстука с таким видом, словно был собственником майора или величественным вожаком, который радуется, что его медведь хорошо пляшет.

Когда майор настолько охрип от еды, питья и демонстрации своих талантов собеседника, что не мог уже говорить внятно, приступили к кофе. После этого майор осведомился у мистера Каркера-заведующего, явно не ожидая утвердительного ответа, играет ли он в пикет.

— Да, я немного играю в пикет,— сказал мистер Каркер.

— Быть может, и в трик-трак? — нерешительно спросил майор.

— Да, я немного играю также и в трик-трак,— отвечал обремененный зубами человек.

— Мне кажется, Каркер играет во все игры,— сказал мистер Домби, располагаясь на диване в позе человека, выточенного из дерева и лишенного связок и суставов,— и играет хорошо.

И в самом деле, он играл в эти две игры с таким совершенством, что майор был поражен и спросил его наобум, играет ли он в шахматы.

— Да, немного играю и в шахматы,— ответил Каркер.— Мне случалось играть и выигрывать партию, не глядя на доску; это просто трюк.

— Ей-богу, сэр,— сказал майор, тараща глаза,— вы полная противоположность Домби, который ни в какие игры не играет.

— О! *Он*! — отозвался заведующий.— У него никогда не было нужды приобретать столь ничтожные познания. Таким, как я, они бывают иной раз полезны. Например, сейчас, майор Бегсток, когда они дают мне возможность сразиться с вами.

Быть может, виной тому были лживые уста, такие мягкие и растянутые, но эта краткая речь, смиренная и раболепная, смахивала на рычание; и на секунду могло показаться, что белые зубы вот-вот вонзятся в руку того, перед кем этот человек пресмыкается. Но майор вовсе об этом не думал; а мистер Домби лежал, погруженный в размышления, с полузакрытыми глазами, пока длилась игра, затянувшаяся до ночи.

К тому времени мистер Каркер, одержавший победу, весьма повысился во мнении майора — настолько, что, когда, отправляясь ко сну, он распрощался с майором у порога его комнаты, майор в виде особой любезности приказал туземцу, который обычно спал на тюфяке, разложенном на полу у двери его господина, торжественно проводить мистера Каркера со свечой по коридору до его комнаты.

На поверхности зеркала в номере мистера Каркера было тусклое пятно, и, быть может, зеркало давало искаженное отражение. Но в тот вечер в нем отразилось лицо человека, который мысленно видел толпу людей, спящих на земле у его ног, подобно бедному туземцу у двери своего господина,— человека, который пробирался между ними, злобно посматривая вниз, но пока еще не попирал ногой обращенные к нему лица.

ГЛАВА XXVII

Тени сгущаются

Мистер Каркер-заведующий встал вместе с жаворонками и вышел прогуляться, наслаждаясь летним утром. Мысли его — а он на ходу размышлял, сдвинув брови,— вряд ли парили в высоте, как жаворонки, или устремлялись в этом направлении; вернее, они держались около своего гнезда на земле и шныряли в пыли и среди червей. Но ни одна птица, поющая высоко в небе, не была менее доступна человеческому взору, чем мысли мистера Каркера. Он столь безупречно владел своим лицом, что очень немногие могли бы определить его выражение словом, более точным, чем веселое или задумчивое. Сейчас оно было крайне задумчивым. Когда жаворонок поднялся выше, мистер Каркер глубже погрузился в размышления. Когда песня жаворонка зазвенела чище и громче, он провалился в более торжественное и сосредоточенное молчание. Наконец, когда жаворонок стремительно спустился, вместе с льющейся песней, неподалеку от него в зеленеющую пшеницу, которая под утренним ветерком покрылась

рябью, как река, он очнулся от задумчивости и осмотрелся кругом с неожиданной улыбкой, столь учтивой и приятной, точно ему предстояло умилостивить многочисленных зрителей; и после такого пробуждения он уже не впадал в задумчивость; согнав с лица морщины, словно опасаясь, что в противном случае оно нахмурится и выдаст тайну, он шел и улыбался — по-видимому, для практики.

Быть может, заботясь о первом впечатлении, мистер Каркер был одет в то утро очень тщательно и изящно. Хотя его костюм всегда отличался некоторой строгостью в подражание великому человеку, которому он служил, однако мистер Каркер не доходил до чопорности мистера Домби — быть может потому, что считал ее нелепой, и потому также, что, поступая таким образом, находил еще один способ подчеркнуть, сколь ощутительны для него разница и расстояние между ними. Действительно, кое-кто утверждал, что в этом отношении он точный — и отнюдь не лестный — комментарий к своему ледяному патрону, но человек склонен искажать факты, а мистер Каркер не был ответствен за дурные наклонности людей.

Опрятный и свежий, с бледным лицом, как бы выгорающим на солнце, грациозной своей поступью подчеркивая мягкость травы, мистер Каркер-заведующий бродил по лужайкам и зеленым просекам и скользил по аллеям, пока не настал час возвращаться к завтраку Избрав короткий путь, мистер Каркер шел, проветривая свои зубы, и произнес при этом вслух: «Теперь посмотрим вторую миссис Домби!»

Он забрел за пределы города и возвращался приятной дорогой, вдоль которой густые деревья отбрасывали глубокую тень и изредка попадались скамейки для тех, кто пожелал бы отдохнуть. Это место обычно не посещалось публикой и в такой тихий утренний час казалось совсем безлюдным и уединенным, и потому мистер Каркер находился, или думал, что находится, здесь в полном одиночестве. Следуя причуде незанятого человека, у которого остается еще двадцать минут, чтобы добраться туда, куда он без труда может дойти и за десять, мистер Каркер блуждал между толстыми стволами, углублялся в чащу, обходя то одно дерево, то другое и плетя паутину следов на росистой траве.

Однако он обнаружил, что ошибся, предположив, будто никого нет в роще; потихоньку обогнув большое дерево, старая кора которого была покрыта наростами и чешуйками, как шкура носорога или какого-нибудь родственного ему допотопного чудовища, он неожиданно увидел женщину на ближайшей скамейке, которую уже собирался обвить паутиной следов.

Это была леди, изящно одетая и очень красивая, с темными гордыми потупленными глазами,— леди, казалось, обуреваемая какою-то страстью. Ибо, когда она сидела, глядя в землю, нижняя ее губа была закушена, грудь вздымалась, ноздри раздувались, голова вздрагивала, слезы негодования струились по щекам, а ногой она попирала мох так, словно хотела стереть его с лица земли. И, однако, чуть ли не в тот же самый момент, когда он это заметил, он увидел, как эта самая леди встала с презрительной миной, выражающей усталость и скуку, и отошла от скамьи, причем и лицо ее и фигура дышали равнодушным сознанием своей красоты и величавым пренебрежением.

Сморщенная и безобразная старуха, похожая по платью не столько на цыганку, сколько на представительницу разношерстного племени бродяг, которые скитаются по стране, занимаясь попрошайничеством, воровством, лужением посуды и плетением корзин из камыша, поочередно или одновременно,— эта старуха также следила за леди; ибо, когда та встала, она выросла перед ней, словно появилась из-под земли, вперила в нее странный взгляд и преградила ей путь.

— Дай я тебе погадаю, красавица,— проговорила старуха, жуя губами, как будто череп стремился вырваться наружу из-под желтой ее кожи.

— Я могу сама себе погадать,— последовал ответ.

— Эх, красавица, ты неверно нагадаешь. Ты плохо гадала, когда сидела здесь. Я тебя насквозь вижу. Дай мне серебряную монетку, красавица, и я тебе скажу всю правду. По лицу видно, красавица, что тебя ждет богатство.

— Знаю,— отозвалась леди, горделиво проходя мимо и мрачно улыбаясь.— Я это раньше знала.

— Как! Ты мне ничего не дашь?— завопила ста-

руха.— Ты ничего мне не дашь за то, чтобы я тебе погадала, красавица? Ну, а что ты мне дашь, чтобы я тебе *не* гадала? Дай что-нибудь, а не то я буду кричать тебе вслед! — завопила старуха, приходя в бешенство.

Мистер Каркер, мимо которого должна была пройти леди, вышел из-за дерева, пока она шла наискось к тропинке, двинулся ей навстречу и, сняв шляпу, когда она поравнялась с ним, приказал старухе замолчать. Леди поблагодарила его поклоном за вмешательство и продолжала путь.

— Ну, так *ты* дашь мне что-нибудь, или я буду кричать ей вслед! — взвизгнула старуха, всплескивая руками и надвигаясь на его простертую руку.— Или, послушай,— добавила она, внезапно понизив голос, посмотрев на него пристально и на секунду словно позабыв о причине своего гнева,— дай мне что-нибудь, а не то я закричу *тебе* вслед!

— Мне, старушка? — отозвался заведующий, засовывая руку в карман.

— Да,— сказала женщина, упорно не сводя с него глаз и протягивая высохшую руку.— Я знаю!

— Что ты знаешь?— спросил Каркер, бросая ей шиллинг.— Известно ли тебе, кто эта леди?

Чавкая, как та жена матроса из далекого прошлого, с каштанами в подоле, и хмурясь, как ведьма, которая тщетно просила этих каштанов *, старуха подхватила шиллинг и, пятясь, как краб или несколько крабов — ибо пальцы обеих рук, выпрямляясь и снова скрючиваясь, могли сойти за двух представителей этой породы, а дергающееся лицо еще за полдюжины,— присела на жилистый корень старого дерева, достала из-под чепца короткую черную трубку, зажгла спичку и молча стала курить, пристально глядя на собеседника.

Мистер Каркер засмеялся и повернулся на каблуках.

— Ладно! — сказала старуха.— Один ребенок умер, и один ребенок жив. Одна жена умерла, и другая идет на смену. Ступай ей навстречу!

Помимо своей воли, заведующий снова оглянулся и остановился. Старуха, которая не вынула изо рта трубки и, продолжая курить, жевала губами и бормотала, словно

беседуя с невидимым духом, указала пальцем в ту сторону, куда он шел, и захохотала.

— Что это ты сказала, старая карга? — спросил он.

Женщина бормотала, чавкала, пускала дым и все еще указывала вперед, но не промолвила ни слова. Распрощавшись с нею не слишком любезно, мистер Каркер продолжал путь, но, дойдя до поворота и оглянувшись через плечо на корень старого дерева, снова увидел палец, указующий по-прежнему вперед, и ему послышался пронзительный голос старухи: «Ступай ей навстречу!»

В гостинице он убедился, что приготовления к изысканному угощению закончены и мистер Домби, майор и завтрак поджидают леди. Несомненно, при такого рода обстоятельствах, индивидуальные свойства играют большую роль; но в данном случае аппетит одержал верх над нежной страстью; мистер Домби был очень холоден и сдержан, а майор кипятился, пребывая в величайшем волнении и раздражении. Наконец туземец распахнул двери, и после некоторой паузы в комнату вошла очень цветущая, но не очень молодая леди.

— Дорогой мой мистер Домби,— сказала леди,— боюсь, что мы опоздали, но Эдит рано вышла в поисках интересного пейзажа для эскиза и заставила меня ее дожидаться. Коварнейший из майоров,— протянула она ему мизинец,— как поживаете?

— Миссис Скьютон,— сказал мистер Домби,— разрешите мне оказать моему другу Каркеру,— мистер Домби невольно сделал ударение на слове «друг», как бы говоря: «Я позволяю ему пользоваться этим отличием»,— честь быть вам представленным. Вы слышали от меня о мистере Каркере.

— Уверяю вас, я в восторге,— милостиво сказала миссис Скьютон.

Мистер Каркер, конечно, был в восторге. Не пришел ли бы он в еще больший восторг, радуясь за мистера Домби, если бы миссис Скьютон оказалась (как предположил он в первый момент) той самой Эдит, за здоровье которой они пили накануне?

— Ах, боже мой, где же Эдит? — озираясь, воскликнула миссис Скьютон.— Все еще в холле, объясняет

Уитерсу, в какую рамку вставить эти рисунки! Дорогой мой мистер Домби, не будете ли вы так любезны...

Мистер Домби уже пошел искать ее. Через секунду он вернулся, ведя под руку ту самую элегантно одетую и очень красивую леди, которую мистер Каркер встретил под сенью деревьев.

— Каркер...— начал мистер Домби. Но они столь явно узнали друг друга, что мистер Домби умолк в изумлении.

— Я признательна этому джентльмену,— сказала Эдит, величественно наклоняя голову,— за то, что он только что избавил меня от приставаний назойливой нищенки.

— Я признателен судьбе,— низко кланяясь, сказал мистер Каркер,— которая даровала мне возможность оказать такую ничтожную услугу той, чьим слугой я счастлив быть.

Когда ее глаза на секунду остановились на нем, а затем опустились, он прочел в этом сверкающем и проницательном взгляде подозрение, что появился он не в тот момент, когда вмешался, но тайком следил за ней раньше. А когда он прочел эту мысль, она прочла в его глазах, что ее недоверие не лишено оснований.

— Право же, это одно из чудеснейших совпадений, о каком мне когда-либо приходилось слышать,— воскликнула миссис Скьютон, которая воспользовалась случаем рассмотреть мистера Каркера в лорнет и убедиться (о чем она громко просюсюкала майору), что он весь — сердце! — Подумать только! Дорогая Эдит, в этом перст судьбы! Право же, хочется скрестить руки на груди и сказать, как говорят эти грешные турки, что нет кого-то там, кроме... как это его зовут... и кто-то такой — пророк его!

Эдит не удостоила уточнить эту удивительную цитату из корана, но мистер Домби счел нужным сделать несколько вежливых замечаний.

— Мне доставляет огромное удовольствие,— сказал мистер Домби с тяжеловесной галантностью,— что джентльмен, так тесно связанный со мною, как Каркер, имел честь и счастье оказать хотя бы незначительную услугу миссис Грейнджер.— Мистер Домби поклонился

ей.— Но это доставляет мне и некоторое огорчение, и, право же, я начинаю завидовать Каркеру,— сам того не сознавая, он сделал ударение на этих словах, как бы понимая, что они должны показаться весьма удивительными,— завидовать Каркеру, так как мне не выпало этой чести и этого счастья.

Мистер Домби снова поклонился. Эдит оставалась невозмутимой, только губы ее презрительно скривились.

— Ей-богу, сэр,— вскричал майор, разражаясь речью при виде лакея, который пришел доложить, что завтрак подан,— меня изумляет, что никто не может иметь честь и счастье прострелить головы всем этим нищим и не быть привлеченным к ответу. Но вот рука к услугам миссис Грейнджер, если она удостоит Дж. Б. чести принять ее; а в данный момент величайшая услуга, какую Джо может вам оказать, сударыня, это — вести вас к столу!

С такими словами майор предложил руку Эдит; мистер Домби шествовал впереди с миссис Скьютон; мистер Каркер шел сзади, с улыбкой взирая на это общество.

— Я в восторге, мистер Каркер,— сказала за завтраком леди-мать, еще раз посмотрев на него одобрительно в лорнет,— что ваше посещение так удачно совпало с нашей сегодняшней поездкой. Это чудесная прогулка!

— Любая прогулка чудесна в таком обществе,— отвечал Каркер.— Но думаю, что эта и сама по себе чрезвычайно интересна.

— О! — воскликнула миссис Скьютон, томно взвизгнув от восторга.— Замок очарователен! Воспоминания о средневековье... и тому подобном... это поистине восхитительно. Ведь вы обожаете средневековье, не правда ли, мистер Каркер?

— О да, конечно,— сказал мистер Каркер.

— Какое очаровательное время! — воскликнула Клеопатра.— Какая вера! Время такое энергическое и бурное! Такое живописное! Столь чуждое пошлости! Ах, боже мой! Если бы только оставили нам в наш ужасный век чуточку больше поэзии!

Говоря это, миссис Скьютон зорко следила за мистером Домби, смотревшим на Эдит, которая слушала, но не поднимала глаз.

— Мы возмутительно реальны, мистер Каркер,— сказала миссис Скьютон,— не правда ли?

Мало у кого было меньше оснований жаловаться на свою реальность, чем у Клеопатры, у которой фальшивого было столько, сколько могло войти в состав человека, реально существующего. Тем не менее мистер Каркер посетовал на нашу реальность и согласился, что в этом отношении с нами действительно обошлись очень сурово.

— Картины в замке просто божественны! —сказала Клеопатра.— Надеюсь, вы обожаете живопись?

— Смею вас уверить, миссис Скьютон,— сказал мистер Домби, величественно ободряя своего заведующего,— что Каркер знает толк в картинах; у него врожденная способность их оценивать. Он и сам очень неплохой художник. Не сомневаюсь, что он будет восхищен вкусом и мастерством миссис Грейнджер.

— Черт возьми, сэр! — вскричал майор Бегсток.— Я того мнения, что вы — Каркер Великолепный и умеете делать все!

— О! — скромно улыбнулся Каркер.— Вы слишком многого от меня ждете, майор Бегсток. Я мало что умею делать. Но мистер Домби дает столь великодушную оценку тем заурядным способностям, какие человек в моем положении едва ли не обязан иметь, тогда как сам он, вращаясь совсем в иной сфере, стоит бесконечно выше их, что...

Мистер Каркер пожал плечами, уклоняясь от дальнейших похвал, и больше не прибавил ни слова.

Все это время Эдит не поднимала глаз и только изредка посматривала на мать, когда пылкий дух этой леди изливался в словах. Но когда умолк Каркер, она на секунду взглянула на мистера Домби. Только на секунду; и в этот миг по лицу ее скользнула тень презрительного недоумения, подмеченная во всяком случае одним человеком, улыбавшимся за столом.

Мистер Домби поймал этот взгляд, когда темные ресницы уже опускались, и воспользовался случаем, чтобы его удержать.

— Вы часто бывали в Уорике, не так ли? — сказал мистер Домби.

— Несколько раз.

— Боюсь, что поездка покажется вам скучной.

— О нет, нисколько.

— Ах, ты похожа на твоего кузена Финикса, дорогая моя Эдит,— сказала миссис Скьютон.— Побывав один раз в Уорикском замке, он ездил туда еще пятьдесят раз; а если бы он завтра приехал в Лемингтон — как бы я хотела, чтобы этот ангел приехал! — он отправился бы туда на следующий день в пятьдесят второй раз.

— Мы все энтузиасты, не так ли, мама? — с холодной улыбкой сказала Эдит.

— Быть может, даже чересчур, моя милая, во вред нашему спокойствию,— ответила мать.— Но не будем жаловаться. Наши эмоции служат нам наградой. Если, как говорит твой кузен Финикс, меч протирает... как это называется...

— Быть может, ножны,— сказала Эдит.

— Вот именно... протирает их слишком быстро, то происходит это, дорогая моя, потому, что он блестит и сверкает.

Миссис Скьютон испустила легкий вздох, как бы с целью затуманить лезвие того шутовского кинжала, которому служило ножнами ее чувствительное сердце; и, склонив голову к плечу на манер Клеопатры, посмотрела с задумчивой нежностью на свое возлюбленное дитя.

Когда мистер Домби обратился в первый раз к Эдит, она повернулась к нему и оставалась в этой позе, слушая мать и отвечая ей, словно хотела показать, что ее внимание — к его услугам, если он намерен еще что-нибудь добавить. Было в этой простой вежливости что-то почти вызывающее и носившее такой характер, точно здесь играло роль принуждение или заключалась торговая сделка, в которой она с неохотой принимала участие, и снова это было подмечено тем же человеком, улыбавшимся за столом. Он вспоминал о первой своей встрече с нею, когда она думала, что находится одна в роще.

Мистер Домби, не имея больше ничего прибавить, предложил отправиться в путь,— завтрак пришел к концу, и майор насытился, как удав. Коляска ждала, по приказанию мистера Домби, и в ней разместились обе леди, майор и он сам; туземец и изнуренный паж влезли на

козлы, мистер Таулинсон остался дома, а мистер Каркер верхом следовал сзади.

Мистер Каркер ехал рысью за коляской, держась от нее примерно на расстоянии ста ярдов, и все время следил за нею так, словно он и в самом деле был котом, а четверо седоков — мышами. Куда бы он ни смотрел — на развертывающийся вдали пейзаж с волнистыми холмами, мельницами, пшеницей, травой, полями бобов, полевыми цветами, фермами, стогами сена и шпилем, поднимающимся над лесом, или вверх, на залитое солнцем небо, где порхали над его головой бабочки и распевали птицы, или вниз, где пересекались тени ветвей, расстилая трепещущий ковер на дороге, или прямо перед собой, где развесистые деревья образовали нефы и арки, тускло освещенные лучами, пронизывающими листву,— куда бы он ни смотрел, но уголком глаза он все время следил за горделивой головой мистера Домби, повернутой к нему, и за пером на шляпе, колыхавшимся между ними так небрежно и презрительно — не менее презрительно, чем опустились недавно ресницы при взгляде на того, кто теперь сидел напротив. Раз, один только раз его настороженный взгляд оторвался от этого зрелища; это случилось, когда он перескочил через невысокую изгородь и галопом пересек поле, что дало ему возможность опередить экипаж, ехавший по большой дороге, и, достигнув цели путешествия, стать наготове, чтобы высадить леди из коляски. Тогда, только тогда он на секунду встретил ее взгляд, впервые выразивший удивление; но когда, помогая ей сойти, он коснулся ее своей мягкой белой рукой, этот взгляд по-прежнему скользнул поверх его головы.

Миссис Скьютон намерена была взять на себя заботу о мистере Каркере и показать ему красоты замка. Она решила идти под руку с ним, а также с майором. Этому неисправимому созданию — самому дикому варвару в области поэзии — полезно побыть в таком обществе. Подобный порядок движения дал возможность мистеру Домби сопровождать Эдит, что он и сделал, шествуя перед ними по залам замка с важностью, приличествующей джентльмену.

— Какое это было чудесное время, мистер Каркер,— сказала Клеопатра.— Эти очаровательные укрепления, и

милые старые темницы, и эти прелестные застенки, романтическая месть, живописные атаки и осады, и все, что делает жизнь поистине пленительной. Как ужасно мы выродились!

— Да, мы, к сожалению, измельчали,— сказал мистер Каркер.

Своеобразие их беседы заключалось в том, что миссис Скьютон, несмотря на свой экстаз, и мистер Каркер, несмотря на свою учтивость, оба напряженно следили за мистером Домби и Эдит. При всем своем умении вести беседу они были несколько рассеяны и в результате говорили наобум.

— Мы утратили положительно всякую веру,— сказала миссис Скьютон, выставляя сморщенное ухо, так как мистер Домби что-то говорил Эдит.— Мы утратили всякую веру в милых старых баронов, которые были чудеснейшими созданиями, и в милых старых священников, которые были воинственнейшими людьми, и даже в век этой несравненной королевы Бесс * — вон она там, на стене,— который был поистине золотым веком! Милое создание! Она была вся — сердце! А этот очаровательный ее отец! Надеюсь, вы обожаете Генриха Восьмого?

— Я им восхищаюсь,— сказал Каркер.

— Такой прямой, не правда ли?— воскликнула миссис Скьютон.— Такой дородный! Настоящий англичанин! Как хорош его портрет, эти милые прищуренные глазки и добродушный подбородок!

— Ах, сударыня,— сказал Каркер, вдруг останавливаясь,— уж если вы заговорили о картинах, то вот она перед вами! В какой из галерей мира можно увидеть что-либо равное ей?

С этими словами улыбающийся джентльмен указал в сторону растворенной двери, туда, где посреди комнаты стояли мистер Домби и Эдит.

Они не обменивались ни словом, ни взглядом. Стоя рядом, рука об руку, они, казалось, были разъединены больше, чем если бы их разделяли моря. Даже гордыня каждого отличалась своеобразием, которое делало их более чуждыми друг другу, чем если бы один был самым гордым, а другой — самым смиренным человеком в мире. Он — тщеславный, непреклонный, чопорный, суровый.

Она — бесконечно обаятельная и грациозная, но никакого внимания не обращающая ни на себя, ни на него, ни на все окружающее, с высокомерием, запечатленным на лбу и устах, отвергающая свои собственные чары, словно это было ненавистное ей клеймо или ливрея. Так были они чужды и несходны, так насильственно связаны цепью, которую выковал несчастный случай и злая судьба, что можно было вообразить, будто картины на стенах вокруг них потрясены таким неестественным союзом и взирают на него каждый по-своему. Суровые рыцари и воины смотрели на них хмуро. Служитель церкви с воздетой рукой обличал кощунственность этой пары, готовой предстать перед алтарем бога. Тихие воды на пейзажах, отражая в глубинах своих солнце, вопрошали: «Разве нельзя утопиться, если нет других путей к спасению?» Руины подали голос: «Посмотрите сюда, и вы увидите, чем стали мы, обрученные чуждому нам Веку!» Животные, несходные по природе своей, терзали друг друга, как бы являя назидательный для них пример. Амуры и купидоны в испуге обращались в бегство, а мученики, чья история страданий увековечена живописью, не ведали подобной пытки.

Тем не менее миссис Скьютон была столь очарована картиной, к которой привлек ее внимание мистер Каркер, что не удержалась и сказала вполголоса о том, как это мило, сколько в этом души! Эдит, услыхав, оглянулась и от негодования покраснела до корней волос.

— Моя дорогая Эдит знает, что я восхищалась ею! — сказала Клеопатра, не без робости дотрагиваясь зонтиком до ее спины. — Милая девочка!

Снова мистер Каркер стал свидетелем той борьбы, которую случайно наблюдал в роще. Снова он увидел, как одержали верх высокомерная скука и равнодушие и заслонили все словно туча.

Она не подняла на него глаз, но, бросив быстрый, повелительный взгляд, казалось, предложила матери подойти ближе. Миссис Скьютон признала целесообразным понять намек и, торопливо приблизившись со своими двумя кавалерами, больше уже не отходила от дочери.

Теперь мистер Каркер — ибо ничто не отвлекло его внимания — начал говорить о картинах, выбирать лучшие

и указывать на них мистеру Домби, не забывая фамильярно отмечать, по своему обыкновению, величие мистера Домби и оказывать ему внимание, приспосабливая для него бинокль, отыскивая номера в каталоге, держа его трость, и так далее. Что касается этих услуг, то, по правде сказать, инициатива исходила не столько от мистера Каркера, сколько от самого мистера Домби, который не прочь был проявить свою власть, говоря тоном слегка повелительным и — для него — непринужденным: «Послушайте, Каркер, будьте добры, помогите мне!» — а улыбающийся джентльмен помогал всегда с удовольствием.

Они осмотрели картины, стены, сторожевую башню и прочее; и так как к их маленькой компании никто не присоединился, а майор, переваривая пищу, был сонлив и отошел на задний план, мистер Каркер стал общительным и любезным. Сначала он обращался преимущественно к миссис Скьютон; но так как эта чувствительная леди пришла в такой экстаз от произведений искусств, что по прошествии четверти часа могла только зевать (они действуют столь вдохновляюще,— заметила она, приводя основания для подобных проявлений восторга), он перенес свое внимание на мистера Домби. Мистер Домби говорил мало, замечая лишь изредка: «Совершенно верно, Каркер», или: «Неужели, Каркер?» — но молчаливо поощрял Каркера продолжать беседу и весьма одобрял в душе его поведение, считая, что кто-нибудь должен поддерживать разговор, и полагая, что замечания Каркера, являвшиеся, так сказать, ответвлением от родительского ствола, могут позабавить миссис Грейнджер. Мистер Каркер, отличавшийся удивительным тактом, ни разу не позволил себе обратиться непосредственно к леди; но она как будто прислушивалась, хотя и не смотрела на него, а раза два, когда он особенно настойчиво заявлял о своем смирении, по лицу ее скользнула слабая улыбка, напоминающая не луч света, а густую черную тень.

Когда Уорикский замок был, наконец, исчерпан, равно как и силы майора, не говоря уже о миссис Скьютон, чьи своеобразные проявления восторга весьма участились, коляска снова была подана, и они поехали осматривать окрестности. Об одном из пейзажей мистер Домби церемонно заявил, что эскиз, сделанный — хотя бы и небреж-

но — прекрасной рукой миссис Грейнджер, будет служить ему напоминанием об этом приятном дне, хотя, конечно, он не нуждается ни в каких искусственных напоминаниях о том, что всегда будет высоко ценить (тут мистер Домби отвесил один из своих поклонов). Тощий Уитерс, державший под мышкой альбом Эдит, немедленно получил приказ от миссис Скьютон подать этот альбом, и коляска остановилась, чтобы Эдит могла сделать рисунок, который мистер Домби намеревался хранить среди своих сокровищ.

— Боюсь, что я слишком вас утруждаю,— сказал мистер Домби.

— Нисколько. Откуда вы хотели бы видеть его зарисованным? — спросила она, поворачиваясь к нему с таким же принужденным вниманием, как и раньше.

Мистер Домби с новым поклоном, от которого затрещал его накрахмаленный галстук, просил, чтобы этот вопрос решила художница.

— Мне бы хотелось, чтобы вы сами выбрали,— сказала Эдит.

— В таком случае,— сказал мистер Домби,— предположим — отсюда. Место как будто подходящее для этой цели, или же... Каркер, как *по-вашему?*

Невдалеке, на переднем плане, была роща, очень похожая на ту, где мистер Каркер плел поутру паутину следов, и скамейка под деревом, которая очень напоминала то место, где паутина его оборвалась.

— Осмелюсь обратить внимание миссис Грейнджер,— сказал Каркер,— на этот интересный, пожалуй даже любопытный вид, который открывается вот оттуда.

Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал хлыстом, и быстро подняла на него глаза. Вторично они обменялись взглядом с тех пор, как были представлены друг другу, и этот взгляд был бы тожествен первому, если бы не был более выразителен.

— Вы одобряете? — спросила Эдит мистера Домби.

— Я буду в восторге,— ответил мистер Домби Эдит.

Итак, коляска приблизилась к тому месту, которое привело в восторг мистера Домби; Эдит, не выходя из экипажа и раскрыв альбом со свойственным ей горделивым равнодушием, начала рисовать.

— Все мои карандаши притупились,— сказала она, отрываясь от работы и перебирая их один за другим.

— Разрешите мне,— сказал мистер Домби.— А впрочем, Каркер это лучше сделает, он понимает в таких вещах. Каркер, не будете ли вы так добры заняться карандашами миссис Грейнджер.

Мистер Каркер подъехал к дверце коляски с той стороны, где сидела миссис Грейнджер, бросил поводья на шею лошади, с улыбкой и поклоном взял у нее из рук карандаши и, сидя в седле, начал очинивать их не спеша. Покончив с этим, он попросил разрешения держать карандаши и подавать их ей по мере надобности: таким образом, мистер Каркер, превознося удивительное мастерство миссис Грейнджер, особенно в зарисовке деревьев, оставался около нее и смотрел, как она рисует. В это время мистер Домби стоял, выпрямившись во весь рост, в коляске, наподобие весьма респектабельного привидения, и тоже смотрел, тогда как Клеопатра и майор ворковали, словно престарелые голубки.

— Вам нравится или, может быть, сделать рисунок более законченным? — спросила Эдит, показывая эскиз мистеру Домби.

Мистер Домби попросил не притрагиваться больше к рисунку: это было само совершенство.

— Изумительно! — сказал Каркер, обнажая красные десны в подтверждение своей похвалы.— Я не думал, что увижу нечто столь прекрасное и столь необычайное.

Эти слова могли относится к художнице не меньше, чем к эскизу; но вид у мистера Каркера был такой открытый — не только рот, но и весь он с головы до пят. Таким он оставался, пока не отложили в сторону рисунок, сделанный для мистера Домби, и не убрали принадлежности для рисования; затем он вручил карандаши (они были приняты с холодной благодарностью за помощь, но его не удостоили взглядом) и, натянув поводья, отъехал и снова двинулся вслед за коляской.

Он скакал, думая, быть может, что даже этот банальный набросок был сделан и вручен своему владельцу так, словно он выторгован и куплен. Думая, быть может, что она с величайшей готовностью согласилась на его просьбу, но все же ее надменное лицо, склоненное над рисунком

или обращенное к изображаемому на нем пейзажу, было лицом гордой женщины, участвующей в гнусной и недостойной сделке. Думая, быть может, обо всем этом, но, разумеется, улыбаясь и непринужденно осматриваясь кругом, наслаждаясь свежим воздухом и верховой ездой и по-прежнему зорко следя уголком глаза за коляской.

Прогулкой среди руин Кенилуорта, весьма посещаемых публикой, и обозрением еще нескольких пейзажей — бо́льшую часть коих (напомнила мистеру Домби миссис Скьютон) Эдит уже зарисовала, в чем он может убедиться, рассматривая ее рисунки,— закончилась эта экскурсия. Миссис Скьютон и Эдит были доставлены домой; мистер Каркер получил любезное приглашение от Клеопатры зайти вечерком с мистером Домби и майором послушать игру Эдит; и трое джентльменов отправились обедать к себе в гостиницу.

Этот обед ничем не отличался от вчерашнего, только майор стал за эти двадцать четыре часа более торжествующим и менее таинственным. Снова пили за здоровье Эдит. Снова мистер Домби был приятно смущен. А мистер Каркер выражал полное сочувствие и одобрение.

Других гостей у миссис Скьютон не было. Рисунки Эдит были разбросаны по комнате, пожалуй в бо́льшем количестве, чем обычно, а Уитерс, изнуренный паж, подавал более крепкий чай. Была здесь арфа, стояло фортепьяно; и Эдит играла и пела. Но даже музыкой Эдит, так сказать, платила по чеку мистера Домби все с тем же непреклонным видом. К примеру.

— Эдит, дорогая моя,— сказала миссис Скьютон спустя полчаса после чая,— мистер Домби умирает от желания послушать тебя, я знаю.

— Право же, мама, мистер Домби еще жив и может сказать это сам.

— Я буду бесконечно признателен,— сказал мистер Домби.

— Что вы хотите?

— Фортепьяно? — нерешительно предложил мистер Домби.

— Как угодно; вам остается только выбирать.

И она начала играть на фортепьяно. Так же было и с арфой, и с пением, и с выбором вещей, которые она

пела и играла. Это ледяное и вынужденное, но в то же время подчеркнуто быстрое исполнение желаний, какие высказывал он ей, и только ей одной, было столь примечательно, что вопреки священнодействию игры в пикет оно не могло не привлечь зоркого внимания мистера Каркера. Не ускользнул от него и тот факт, что мистер Домби явно гордится своею властью и не прочь ее показать.

Впрочем, мистер Каркер играл так хорошо,— то с майором, то с Клеопатрой, с чьим бдительным взором, следящим за мистером Домби и Эдит, не могла соперничать ни одна рысь, что даже возвысился в глазах леди-матери; когда же, прощаясь, он посетовал на необходимость вернуться завтра утром в Лондон, Клеопатра выразила уверенность (ибо родство душ — явление весьма редкое), что встречаются они отнюдь не в последний раз.

— Надеюсь,— сказал мистер Каркер, направившись к двери в сопровождении майора и бросив выразительный взгляд на стоявшую поодаль пару.— Я тоже так думаю.

Мистер Домби, величественно простившись с Эдит, наклонился или сделал попытку наклониться над ложем Клеопатры и сказал вполголоса:

— Я просил у миссис Грейнджер разрешения нанести ей визит завтра утром — с определенной целью,— и она разрешила мне зайти в двенадцать часов. Могу я надеяться, что после этого буду иметь удовольствие, сударыня, застать вас дома?

Клеопатра была столь взволнована и растрогана, услышав эту загадочную речь, что могла только закрыть глаза, кивнуть головой и протянуть мистеру Домби руку, которую мистер Домби, хорошенько не зная, что с ней делать, подержал и выпустил.

— Домби, идемте! — крикнул майор, заглянув в комнату.— Черт побери, сэр, старый Джо весьма не прочь предложить, чтобы отель «Ройал» переименовали и назвали его «Три веселых холостяка» в честь нас и Каркера.

С этими словами майор похлопал Домби по спине, подмигнул, оглянувшись через плечо, обеим леди — это сопровождалось устрашающим приливом крови к голове,— и увел его.

Миссис Скьютон покоилась на софе, а Эдит молча си-

дела поодаль, возле арфы. Мать, играя веером, украдкой посматривала на дочь, но дочь мрачно задумалась, опустив глаза, и мешать ей не следовало.

Так сидели они целый час, не говоря ни слова, пока не пришла, по обыкновению, горничная миссис Скьютон, чтобы приготовить ее постепенно ко сну. Этой служанке надлежало быть по вечерам не женщиной, а скелетом с косой и песочными часами, ибо ее прикосновение было прикосновением Смерти. Раскрашенная старуха сморщилась под ее рукой; фигура съежилась, волосы упали, темные дугообразные брови превратились в жиденькие пучки седых волос, бледные губы ввалились, кожа стала мертвенной и дряблой; место Клеопатры заняла изможденная, желтая старуха с трясущейся головой и красными глазами, завернутая, как грязный узел, в засаленный фланелевый капот.

Даже голос изменился, когда они снова остались одни и она обратилась к Эдит.

— Почему ты не говоришь,— резко сказала она,— что завтра он придет сюда, как вы условились?

— Потому что вы это знаете, мама,— ответила Эдит.

С какой насмешкой произнесла она это последнее слово!

— Вы знаете, что он меня купил,— продолжала она.— Или купит завтра. Он обдумал свою покупку; он показал ее своему другу; пожалуй, он даже гордится ею; он думает, что она ему подходит и будет стоить сравнительно дешево; и завтра он купит. Боже, вот ради чего я жила и вот что я теперь чувствую!

Запечатлейте на одном прекрасном лице умышленное самоуничижение и жгучее негодование сотни женщин, сильных в страсти и гордости; белые дрожащие руки закрыли это лицо.

— Что ты хочешь сказать? — спросила рассерженная мать.— Разве ты с детства не...

— С детства! — взглянув на нее, воскликнула Эдит.— Когда я была ребенком? Какое детство было у меня по вашей милости? Я была женщиной, хитрой, лукавой, корыстной, заманивающей в сети мужчин, раньше чем узнала себя, вас или хотя бы поняла цель каждой новой заученной мною уловки. Вы родили женщину. Посмотрите на нее. Сегодня она в полном блеске.

И с этими словами она ударила себя рукой по прекрасной груди, словно хотела себя уничтожить.

— Посмотрите на меня,— сказала она,— на меня, которая никогда не знала, что такое честное сердце и любовь. Посмотрите на меня, обученную заговорам и интригам в ту пору, когда дети забавляются играми, и выданную замуж в юности — по хитроумию я была уже старухой — за человека, к которому была совершенно равнодушна. Посмотрите на меня, которую он оставил вдовой, покинув этот мир раньше, чем ему досталось наследство,— кара, заслуженная вами! — и скажите мне, какова была с тех пор моя жизнь в течение десяти лет!

— Мы прилагали все усилия, чтобы обеспечить тебе завидное положение,— отвечала мать.— Вот какова была твоя жизнь. И теперь ты этого достигла.

— Нет невольницы на рынке, нет лошади на ярмарке, которую бы так выводили, предлагали, осматривали и выставляли напоказ, как меня за эти позорные десять лет, мама! — с пылающим лицом воскликнула Эдит, снова с горечью подчеркивая это последнее слово.— Разве это не правда? Разве я не стала притчей во языцех для мужчин? Разве за мной не бегали дураки, распутники, юнцы и выжившие из ума старики и разве не бросали меня, не уходили один за другим, потому что вы были слишком откровенны, несмотря на всю вашу хитрость,— да, и слишком правдивы, несмотря на всю эту фальшь и притворство, так что о нас едва не пошла худая слава? Разве я не мирилась с разрешением осматривать меня и ощупывать чуть не на всех курортах, отмеченных на карте Англии? Разве меня не выставляли всюду на продажу, не торговали мной, пока я не утратила последнего уважения к себе и не стала сама себе противна? Не *это* ли было мое позднее детство? Раньше я его не знала. Уж сегодня-то, во всяком случае, не говорите мне, что у меня было детство.

— Ты могла бы по крайней мере раз двадцать сделать хорошую партию, Эдит,— сказала мать,— если бы хоть немного поощряла...

— Нет! Тот, кто берет меня, отверженную по заслугам,— ответила та, подняв голову и содрогаясь от мучительного стыда и необузданной гордости,— пусть возьмет меня так, как берет этот человек, без всяких условий с

моей стороны. Он видит меня на аукционе и решает, что не худо бы меня купить. Пусть покупает! Когда он пришел посмотреть меня — может быть предложить цену,— он пожелал, чтобы ему показали список моих совершенств. Я его представила. Когда он хочет, чтобы я демонстрировала одно из них, дабы оправдать покупку в глазах его друзей, я его спрашиваю, что именно требуется, и выполняю приказание. Довольно! Он покупает по своей воле, знает цену покупки и власть своих денег; а я желаю ему никогда в ней не разочароваться. *Я* не расхваливала себя и не настаивала на сделке; не делали этого и вы, поскольку я в состоянии была вас удержать.

— Странно ты разговариваешь сегодня, Эдит, со своей матерью.

— Мне тоже так кажется. Мне это кажется более странным, чем вам,— сказала Эдит.— Но мое воспитание давным-давно закончено. Теперь я слишком стара и в конце концов пала слишком низко, чтобы избрать новый путь, остановить вас и спасти себя. Семя тех чувств, что очищают сердце женщины и делают его правдивым и добрым, не запало в мое сердце, а больше ничто меня не поддержит, раз я сама себя презираю.— Трогательная печаль послышалась в ее голосе, но она исчезла, когда Эдит снова заговорила, презрительно скривив губы.— Итак, раз мы благородны и бедны, я довольна, что мы таким путем разбогатеем. Одно я могу сказать: я не изменила той единственной цели, которую у меня хватило сил себе поставить,— я чуть было не сказала: имела возможность, поскольку вы, мама, находитесь около меня,— я не соблазняла этого человека.

— Этого человека! — воскликнула мать.— Ты говоришь так, как будто ненавидишь его!

— А вы думали, что я его люблю? — отозвалась та, останавливаясь посреди комнаты и оглядываясь.— А не назвать ли вам того,— продолжала она, не сводя глаз с матери,— кто уже прекрасно нас знает и видит нас насквозь и перед кем я чувствую еще меньше уважения и доверия к себе, чем даже перед самой собою,— до такой степени унизительна для меня его проницательность?

— Полагаю,— холодно отвечала мать,— что ты нападаешь на бедного злополучного... как его зовут?.. мистера

Каркера. Отсутствие у тебя уважения и доверия к себе, дорогая моя, в той мере, в какой оно связано с этим человеком (который на меня произвел приятное впечатление), вряд ли может повлиять на твою семейную жизнь. Почему ты смотришь на меня таким тяжелым взглядом? Ты больна?

Вдруг Эдит опустила голову, словно почувствовала острую боль, и закрыла лицо руками; неудержимая дрожь пробежала по всему ее телу. Это скоро прошло, и обычной своей походкой она вышла из комнаты.

Тогда снова появилась горничная, которой бы надлежало быть скелетом, и, подав руку своей хозяйке, повидимому, утратившей не только свои прелести, но и осанку, и получившей паралич вместе с фланелевым капотом, собрала прах Клеопатры и унесла его, дабы наутро он снова воскрес к жизни.

ГЛАВА XXVIII

Перемены

— Наконец-то, Сьюзен,— сказала Флоренс, обращаясь к неподражаемой Нипер,— настал день, когда мы можем вернуться в наш тихий дом!

Сьюзен испустила выразительный вздох, почти неописуемый, и, облегчив затем свои чувства резким покашливанием, ответила:

— И в самом деле очень тихий, мисс Флой, что и говорить! Чрезвычайно тихий.

— Случалось ли вам,— задумчиво сказала Флоренс после недолгих размышлений,— случалось ли вам, когда я была маленькой, видеть этого джентльмена, который вот уже три раза потрудился заехать сюда, чтобы поговорить со мной... кажется, три раза, Сьюзен?

— Три раза, мисс,— отвечала Нипер.— В первый раз, когда вы гуляли с этими Скет...

Флоренс кротко посмотрела на нее, и мисс Нипер сдержалась.

— С сэром Барнетом и его супругой, вот что я хотела сказать, мисс, и с молодым джентльменом. А потом еще два раза вечером.

— Когда я была маленькой и когда у папы бывали гости, Сьюзен, не видели ли вы когда-нибудь у нас этого джентльмена? — спросила Флоренс.

— Знаете ли, мисс,— ответила, подумав, ее служанка,— право, я не могу сказать, видала когда-нибудь я его или нет. Когда умерла ваша маменька, мисс Флой, я только что к вам поступила, и *мое* место было,— Нипер обиженно задрала нос, убежденная, что мистер Домби всегда умышленно недооценивал ее заслуг,— наверху, под самым чердаком!

— Да, верно,— по-прежнему задумчиво сказала Флоренс,— вряд ли вы могли знать, кто бывал в доме. Я совсем забыла.

— Конечно, мы толковали о хозяевах и гостях, мисс,— продолжала Сьюзен,— и, конечно, много разговоров я слышала, хотя кормилица, служившая до миссис Ричардс, и отпускала неприятные замечания, когда я бывала в их компании; она все намекала на маленькие кувшины с длинными ушками, но это можно приписать тому, что бедняжка пристрастилась к вину,— заметила Сьюзен со снисходительно-спокойным видом,— потому-то ей и предложили уйти, и она ушла.

Флоренс, сидевшая у окна своей спальни, опустив голову на руку, смотрела на улицу и вряд ли слышала, что говорит Сьюзен: так глубоко она задумалась.

— Во всяком случае, мисс,— продолжала Сьюзен,— я прекрасно помню, что этот самый джентльмен, мистер Каркер, был и тогда уже чуть ли не таким же важным джентльменом при вашем папе. Бывало, тогда говорили в доме, что он стоит во главе всех дел вашего папаши в Сити и всем заправляет и что ваш папаша считается с ним больше, чем с кем бы то ни было, но это не бог весть что, прошу прощения, мисс Флой, потому что он никогда и ни с кем не считался. Я это знала, хотя и была «кувшином».

Сьюзен Нипер с обидой вспомнила о кормилице, служившей до мисс Ричардс, и сделала ударение на «кувшине».

— О том же, что мистер Каркер не лишился расположения, мисс,— продолжала она,— а удержался на своем месте и сохранил доверие вашего папаши, я знаю со слов этого Перча, который всегда толкует об этом в нашей ком-

пании, когда бы он к нам ни пришел, и хотя Перч — самое ничтожное создание в мире, мисс Флой, и нельзя не потерять терпения с таким человеком, однако он хорошо знает все, что делается в Сити, и говорит, что ваш папенька ничего не предпринимает без мистера Каркера, во всем полагается на мистера Каркера и поступает по совету мистера Каркера, и мистер Каркер всегда у него под рукою, и, по моему мнению, он (этот бессовестнейший Перч) считает, что индийский император невинный младенец по сравнению с мистером Каркером, не говоря уже о вашем папеньке!

Ни одного слова не пропустила Флоренс, которая, заинтересовавшись рассказом, уже не глядела рассеянно в окно, а смотрела на Сьюзен и слушала внимательно.

— Да, Сьюзен,— сказала она, когда эта молодая леди замолчала.— Он пользуется доверием папы, и я уверена, что он его друг.

Мысли Флоренс сосредоточились на этом предмете, и в течение нескольких дней она не могла уйти от них. Мистер Каркер во время двух своих визитов, последовавших за первым, вел себя так, как будто притязал на доверие — на право быть таинственным и скрытным, сообщая ей, что о корабле до сих пор ничего не слышно,— на какую-то скрытую власть над нею и влияние, что приводило ее в недоумение и вызывало тревогу. У нее не было возможности оттолкнуть его или разорвать паутину, которою он постепенно ее оплетал, ибо требовалось известное искусство и знание света, чтобы противиться его лукавству; а у Флоренс не было ни того, ни другого. Правда, он сказал ей только, что о корабле нет никаких известий и он опасается самого худшего; но Флоренс была очень встревожена тем, как мог он узнать, что она интересуется участью корабля, и почему присвоил себе право так коварно и таинственно намекать ей, что ему это известно.

Такое поведение мистера Каркера и развившаяся у нее привычка думать о нем с недоумением и беспокойством привели к тому, что для Флоренс он приобрел какую-то неприятную, но притягательную силу. Иногда с целью свести его до уровня человека, имеющего на нее не больше влияния, чем всякий другой, она старалась отчетливее восстановить в памяти его лицо, голос и манеры, но смутная

тревога не рассеивалась. А ведь он никогда не хмурился, не смотрел на нее неприязненно или враждебно, а всегда улыбался и был приветлив.

С другой стороны, Флоренс, неуклонно преследуя цель, связанную с отцом, и твердо решив верить, что она сама, помимо своей воли, виновата в его холодности, припоминала, что этот джентльмен был близким его другом, и с тревогой думала, не вызвана ли ее зарождающаяся неприязнь к нему и страх перед ним тем злополучным ее недостатком, который отвратил от нее любовь отца и сделал ее такой одинокой? Она боялась этого; иногда бывала в этом уверена; потом решила побороть дурное чувство; убеждала себя, будто внимание со стороны друга ее отца для нее честь и награда; и она надеялась, что, терпеливо наблюдая за ним и доверяя ему, она пройдет своими израненными ногами тот тернистый путь, который ведет к сердцу отца.

Так, не имея возможности ни с кем посоветоваться,— ибо к кому бы ни обратилась она за советом, это показалось бы жалобой на отца,— кроткая Флоренс носилась по бурному морю сомнений и надежд; а мистер Каркер, наподобие какого-то чешуйчатого чудовища в морской пучине, плыл в глубине и не спускал с нее сверкающих глаз.

Теперь у Флоренс была еще одна причина мечтать о возвращении домой. Уединенная жизнь больше соответствовала ее робким надеждам и сомнениям; а иногда она опасалась, что за время отсутствия упустит благоприятный случай доказать свою любовь отцу. Богу известно, что об этом бедняжка могла бы не беспокоиться! Об этом меньше всего! Но отвергнутая любовь трепетала в ее сердце и даже во сне уносилась вдаль, чтобы прильнуть к груди отца, словно перелетная птица, вернувшаяся домой.

Об Уолтере она думала часто. Ах, как часто думала она о нем в темные ночи, когда ветер завывал за стеной! Но надежда не умирала в ее сердце. Так трудно молодым и пылким — даже с тем опытом, какой был у нее,— представить себе, что молодость и пыл угасли, как тлеющее пламя, а яркий день жизни в самом расцвете погрузился в ночную тьму, вот почему надежда в ней не умирала. Она часто оплакивала страдания Уолтера; но редко его предполагаемую смерть — редко и всегда недолго.

Она написала старому мастеру, но не получила ответа на свою записку, которая, впрочем, и не требовала ответа. Так обстояли дела у Флоренс в то утро, когда она с радостью уезжала домой, чтобы вернуться к прежней уединенной жизни.

Доктор и миссис Блимбер, в сопровождении (отнюдь не по его желанию) своего драгоценного питомца, юного Барнета, уже отбыли в Брайтон, где этот молодой джентльмен и его товарищи по паломничеству на Парнас несомненно уже возобновили свои каждодневные занятия. Каникулы окончились; бо́льшая часть молодежи, гостившей на вилле, разъехалась, и затянувшийся визит Флоренс пришел к концу.

Был, впрочем, один гость, хотя и не гостивший у сэра Барнета, который неизменно оказывал внимание этому семейству и по-прежнему оставался ему преданным. Это был мистер Тутс, несколько недель назад возобновивший знакомство, которое имел счастье завязать со Скетлсом-младшим в тот вечер, когда разорвал блимберовские узы и, надев кольцо, вырвался на свободу,— мистер Тутс, являвшийся аккуратно через день и оставлявший в холле целую колоду визитных карточек; столько их было, что эта церемония напоминала партию в вист, причем мистер Тутс сдавал, а слуга был партнером.

Затем мистер Тутс, осененный дерзкой и счастливой идеей напоминать о себе этому семейству (впрочем, есть основания предполагать, что этот хитрый план зародился в плодовитом мозгу Петуха), приобрел шестивесельный катер; экипаж состоял из спортивных друзей Петуха, а рулем управлял сей блестящий герой собственной персоной, надевавший по этому случаю ярко-красную куртку пожарного и скрывавший под зеленым козырьком свой бессменный синяк под глазом. Прежде чем снарядить судно, мистер Тутс выпытал мнение Петуха о таком гипотетическом случае: допустим, Петух влюблен в некую молодую леди по имени Мэри и возымел намерение завести свою собственную лодку,— как бы он назвал эту лодку? Петух отвечал, подкрепляя свои слова энергическими клятвами, что он окрестил бы ее либо «Полли» *, либо «Отрада Петуха». Усовершенствуя эту идею, мистер Тутс после глубокого раздумья и величайшего напряжения умственных сил

решил назвать свою лодку «Радость Тутса» — деликатный комплимент Флоренс, каковой комплимент не мог не удостоиться одобрения всех, кто знал заинтересованных лиц.

Развалившись на малиновой подушке на борту своей элегантной шлюпки и задрав ноги, мистер Тутс во исполнение своей затеи поднимался вверх по реке день за днем, неделю за неделей, сновал взад и вперед невдалеке от сада сэра Барнета, приказывал своей команде снова и снова пересекать реку под острым углом с целью покрасоваться, буде кто-нибудь на него смотрит из окон дома сэра Барнета, и заставлял «Радость Тутса» совершать такие эволюции, что вызвал изумление у всех прибрежных жителей. Но когда бы ни случилось ему увидеть кого-нибудь в саду сэра Барнета на берегу реки, мистер Тутс неизменно притворялся, будто попал сюда вследствие стечения обстоятельств, чрезвычайно странных и невероятных.

— Как поживаете, Тутс? — спрашивал сэр Барнет, махая ему рукой с лужайки, в то время как ловкий Петух правил прямо к берегу.

— Как поживаете, сэр Барнет? — отвечал мистер Тутс.— Ну, не удивительно ли, что я встретил тут *вас!*

Мистер Тутс со свойственной ему сообразительностью всякий раз произносил именно эти слова, словно здесь были не владения сэра Барнета, а какое-то заброшенное сооружение на берегах Нила или Ганга.

— Никогда еще мне не случалось так удивляться! — восклицал мистер Тутс.— А мисс Домби здесь?

После чего появлялась иногда Флоренс.

— Диоген совсем здоров, мисс Домби! — кричал мистер Тутс.— Я справлялся сегодня утром.

— Очень вам благодарна! — раздавался в ответ ласковый голос Флоренс.

— Не сойдете ли на берег, Тутс? — говорил затем сэр Барнет.— Спешить вам некуда. Загляните к нам.

— О, это не имеет никакого значения, благодарю вас,— краснея, отвечал мистер Тутс.— Я думал, что мисс Домби приятно будет об этом узнать, вот и все. Прощайте!

И бедный мистер Тутс, который умирал от желания принять приглашение, но не осмеливался это сделать, с болью в сердце давал знак Петуху, и прочь уплывала «Радость», рассекая воду как стрела.

Утром в день отъезда Флоренс «Радость», разукрашенная с необычайной пышностью, стояла у лестницы, ведущей в сад. Когда Флоренс, после разговора с Сьюзен, спустилась вниз попрощаться, она застала в гостиной ожидавшего ее мистера Тутса.

— О, как поживаете, мисс Домби? — сказал потрясенный Тутс, всегда ужасно смущавшийся, если исполнялось сердечное его желание и он беседовал с Флоренс.— Благодарю вас, я совсем здоров, надеюсь,— и вы тоже, и Диоген был здоров вчера.

— Вы очень добры,— сказала Флоренс.

— Благодарю вас, это не имеет никакого значения! — возразил мистер Тутс.— Я подумал, что по случаю такой прекрасной погоды вы не прочь были бы вернуться домой по реке, мисс Домби. В лодке есть место и для вашей горничной.

— Я вам очень признательна,— нерешительно сказала Флоренс.— Право же, очень признательна, но... мне бы не хотелось.

— О, это не имеет никакого значения,— возразил мистер Тутс.— До свидания.

— Не хотите ли повидать леди Скетлс? — ласково спросила Флоренс.

— О нет, благодарю вас,— ответил мистер Тутс,— это не имеет ровно никакого значения.

Как робок бывал в таких случаях мистер Тутс и как взволнован! Но в эту минуту вошла леди Скетлс, и мистера Тутса вдруг охватило неудержимое желание спросить, как она поживает, и выразить надежду, что она здорова; пожимая ей руку, мистер Тутс решительно не в силах был ее отпустить, покуда не появился сэр Барнет, за которого он немедленно ухватился с упорством отчаяния.

— Сегодня, Тутс,— сказал сэр Барнет, поворачиваясь к Флоренс,— мы теряем ту, которая светит всем нам в доме.

— О, это не имеет никакого значения... то есть я хочу сказать — да, конечно,— пробормотал смущенный Тутс.— *До свидания!*

Несмотря на это энергическое прощанье, мистер Тутс, вместо того чтобы уйти, стоял и растерянно озирался. Флоренс, придя ему на выручку, стала прощаться и благодарить леди Скетлс и взяла под руку сэра Барнета.

— Смею ли просить вас, милая моя мисс Домби,— сказал хозяин дома, провожая ее до экипажа,— передать наилучшие мои пожелания вашему дорогому папе?

Горько было Флоренс принимать это поручение, ибо ей казалось, будто она обманывает сэра Барнета, позволяя ему думать, что любезность, ей оказанная, была оказана также и отцу. Но, не имея возможности дать объяснения, она наклонила голову и поблагодарила его; и снова у нее мелькнула мысль, что скучный дом, где не угрожали ей подобные затруднения и напоминания о ее несчастье, является для нее естественным и наилучшим убежищем.

Новые ее друзья и товарищи, еще не покинувшие виллы, прибежали из дома и из сада, чтобы проститься с нею. Все они были к ней привязаны и очень трогательно прощались. Даже слуги сожалели об ее отъезде и, столпившись у дверцы экипажа, кланялись и приседали. Когда Флоренс окинула взглядом эти добрые лица и увидела среди них сэра Барнета, его супругу и мистера Тутса, который хихикал и издали смотрел на нее во все глаза, ей припомнился тот вечер, когда она с Полем уезжала от доктора Блимбера. И когда экипаж отъехал, лицо ее было мокро от слез.

Слезы горестные, но приносившие утешение. Ибо все лучшие воспоминания, связанные со скучным старым домом, куда она возвращалась, нахлынули и сделали его дорогим для нее. Казалось, столько времени прошло с тех пор, как она бродила по безмолвным комнатам; как прокралась в последний раз, тихо и пугливо, в комнаты отца; и на каждом шагу, в повседневной своей жизни, ощущала торжественное, но умиротворяющее присутствие покойного брата! Это новое прощание напомнило ей также разлуку с бедным Уолтером, его слова и взгляды в тот вечер и подмеченную ею нежность его к тем, кого он покидал, подкрепленную мужеством и бодростью. Да и его маленькая история была связана со старым домом, который приобретал новые права и власть над ее сердцем.

Смягчилась даже Сьюзен Нипер, приближаясь к дому, где провела столько лет. Как ни был он мрачен и с какой суровой справедливостью ни осуждала она его за эту мрачность, однако она многое ему простила.

— Я рада, что снова его увижу, этого я не отрицаю,

мисс,— сказала Нипер.— Конечно, хвалиться ему нечем, но я бы не хотела, чтобы он сгорел или его снесли!

— Вы рады будете пройтись по старым комнатам, не правда ли, Сьюзен? — с улыбкой спросила Флоренс.

— Ну, что ж, мисс,— ответила Нипер, смягчаясь все больше и больше по мере приближения к дому,— не стану отрицать, что рада, хотя, по всей вероятности, завтра я их снова возненавижу.

Флоренс чувствовала, что ей в этом доме спокойнее, чем где бы то ни было. Удобнее и легче скрывать тайну здесь, за высокими темными стенами, чем выносить на яркий свет и пытаться спрятать от глаз счастливой толпы. Удобнее отдаться заботе любящего сердца в одиночестве и не разочаровываться в присутствии других любящих сердец. Легче надеяться, молиться и любить, оставаясь по-прежнему заброшенной, но с тем же упорством и терпением, в тихом святилище этих воспоминаний, хотя бы стены рассыпа́лись, гнили и рушились вокруг нее, чем в новом окружении, как бы ни было оно радостно. Она приветствовала старую волшебную грезу своей жизни и мечтала о том, чтобы снова захлопнулась за нею старая темная дверь.

Погруженные в такие размышления, они свернули в длинную и мрачную улицу. Флоренс сидела в экипаже у того окна, из которого ее дома не было видно, и, когда они подъезжали к нему, выглянула, чтобы посмотреть на детей, живших напротив.

В этот момент восклицание Сьюзен заставило ее быстро оглянуться.

— Господи боже мой! — задыхаясь, крикнула Сьюзен.— Где же наш дом?

— Наш дом? — повторила Флоренс.

Сьюзен, отпрянув от окна, высунулась снова, а когда экипаж остановился, снова отпрянула и в недоумении посмотрела на свою хозяйку.

Вокруг всего дома, от фундамента до крыши, поднимался лабиринт лесов. Груды кирпича и камней, кучи известки и штабели досок загромождали широкую улицу до середины вдоль всего дома. К стенам приставлены были лестницы; по ним поднимались и спускались рабочие; на площадках лесов работали другие; в доме возились

маляры и обойщики; подводы выгружали огромные рулоны обоев; повозка драпировщика преграждала путь; сквозь зияющие окна с разбитыми стеклами не видно было никакой мебели в комнатах,— только рабочие и их инструменты заполняли весь дом от кухни до чердака. Так было и внутри и снаружи: каменщики, маляры, плотники, каменотесы, молоток, ведро с известкой, кисть, кирка, пила и мастерок — все дружно делали свое дело.

Флоренс вышла из кареты, недоумевая, тот ли это дом, пока не узнала Таулинсона, встретившего ее в дверях.

— Ничего не случилось? — осведомилась Флоренс.

— О нет, мисс!

— Тут большие перемены.

— Да, мисс, большие перемены,— сказал Таулинсон.

Флоренс словно во сне прошла мимо него и взбежала по лестнице. Бьющий в глаза свет проник в гостиную, давно пребывавшую во мраке, и всюду были стремянки, и козлы, и люди в бумажных колпаках на высоких помостах. Портрет ее матери исчез так же, как и вся мебель, а на том месте, где он висел, было нацарапано мелом: «Обшить панелью. Зеленое с золотом». Лестница, подобно фасаду дома, превратилась в лабиринт из столбов и досок, и целый Олимп паяльщиков и стекольщиков трудился в различных позах, склоняясь над застекленной крышей. Комната Флоренс оставалась пока нетронутой, но за окном вздымались балки и доски, преграждавшие доступ дневному свету. Она быстро поднялась в ту, другую, спальню, где стояла маленькая кроватка, и увидела в окне темную фигуру великана с трубкой во рту и головой, повязанной носовым платком, таращившего на нее глаза.

Тут-то и нашла ее Сьюзен Нипер, которая разыскивала Флоренс и попросила ее спуститься вниз, к отцу, который хочет с нею поговорить.

— Он дома! И хочет говорить со мной! — вскричала трепещущая Флоренс.

Сьюзен, которая была возбуждена несравненно больше, чем сама Флоренс, повторила данное ей поручение; и Флоренс, бледная и взволнованная, ни секунды не колеблясь, поспешила вниз. По дороге она думала о том, осмелится ли она поцеловать его. Неудержимое желание придало ей решимости, и она подумала, что поцелует его.

Отец мог расслышать биение ее сердца, когда она появилась в комнате. Еще секунда — и оно билось бы у его груди...

Но он был не один. Здесь были две леди, и Флоренс приостановилась. Она боролась так мучительно со своим волнением, что если бы ее неразумный друг Ди не ворвался в комнату и не осыпал ее ласками, приветствуя ее возвращение,— причем одна из леди тихонько взвизгнула, и это отвлекло Флоренс,— она лишилась бы чувств.

— Как поживаешь, Флоренс?— сказал отец, протягивая руку так холодно, что это удержало ее на месте.

Флоренс взяла его руку в свои и, робко поднеся к губам, не противилась, когда он ее отнял. Притворяя дверь, рука коснулась этой двери с таким же равнодушием, с каким прикасалась к Флоренс.

— Что это за собака? — с неудовольствием спросил мистер Домби.

— Эта собака, папа... из Брайтона.

— Так! — сказал мистер Домби, и лицо его потемнело, потому что он понял.

— Она очень добрая,— сказала Флоренс, обращаясь со свойственной ей грацией и любезностью к двум незнакомым леди.— Это она обрадовалась мне. Пожалуйста, не сердитесь на нее.

Бросив взгляд на них, она заметила, что леди, которая взвизгнула, сидела в кресле и была стара; а другая, стоявшая рядом с отцом, была очень красива и элегантна.

— Миссис Скьютон,— сказал отец, обращаясь к первой и показывая на Флоренс,— это моя дочь Флоренс.

— Право же, она очаровательна,— заметила леди, посмотрев на нее в лорнет.— Так непосредственна! Милая Флоренс, вы должны поцеловать меня, прошу вас!

Флоренс, исполнив ее желание, повернулась к другой леди, возле которой стоял в ожидании отец.

— Эдит,— сказал мистер Домби,— это моя дочь Флоренс. Флоренс, эта леди скоро будет твоей мамой.

Флоренс вздрогнула и подняла глаза на прекрасное лицо, охваченная противоречивыми чувствами; слезы, вызванные этим словом, боролись с изумлением, любопытством, восхищением и каким-то непонятным страхом. Потом она воскликнула:



— О папа, будьте счастливы! Будьте очень-очень счастливы всю жизнь!

И, рыдая, упала на грудь леди.

Последовало короткое молчание. Красивая леди, сначала колебавшаяся, подойти ли ей к Флоренс, обняла ее и крепко прижала к себе руку, обвившуюся вокруг ее талии, словно хотела успокоить Флоренс и утешить ее. Ни слова не сорвалось с уст леди. Она наклонилась к Флоренс и поцеловала ее в щеку, но не сказала ни слова.

— Не пройти ли нам по дому,— сказал мистер Домби,— посмотреть, как подвигается работа. Разрешите мне, сударыня.

С этими словами он предложил руку миссис Скьютон, которая разглядывала Флоренс в лорнет, как будто пыталась представить, какой бы та стала, если бы ей прибавить — несомненно из собственных неистощимых запасов миссис Скьютон — чуточку больше сердца и непосредственности. Флоренс все еще рыдала на груди леди и прижималась к ней, когда из оранжереи донесся голос мистера Домби:

— Спросим Эдит. Ах, боже мой, где же она?

— Эдит, дорогая моя! — крикнула миссис Скьютон.— Где ты? Конечно, она ищет мистера Домби. Мы здесь, милочка!

Красивая леди выпустила Флоренс из своих объятий и, еще раз коснувшись губами ее щеки, поспешно вышла и присоединилась к ним. Флоренс не двинулась с места; счастливая, печальная, радостная, плачущая — все это одновременно,— она не знала, сколько времени простояла она так, пока вернулась ее новая мама и снова ее обняла.

— Флоренс,— быстро сказала леди, пристально глядя ей в лицо,— вы меня не возненавидите с самого начала?

— Возненавижу вас, мама? — воскликнула Флоренс, обнимая ее за шею и глядя ей в глаза.

— Тише! Начните с того, что думайте обо мне хорошо,— сказала красивая леди.— Верьте, что я постараюсь сделать вас счастливой и готова любить вас, Флоренс. Прощайте. Мы скоро встретимся снова. Прощайте! Уйдите теперь отсюда.

Снова она прижала ее к груди — эти слова она произ-

несла торопливо, но твердым голосом,— и Флоренс видела, как она вышла к ним в другую комнату.

И теперь Флоренс начала надеяться, что она научится от этой новой красивой мамы, как завоевать любовь отца; и в ту ночь в ее заброшенном старом доме ей снилось, что ее настоящая мама с сияющей улыбкой благословляет эту надежду. Грезы Флоренс!

ГЛАВА XXIX

Прозрение миссис Чик

Как-то утром в эту знаменательную пору мисс Токс, не ведая о чудесах, связанных с домом мистера Домби,— о лесах, лестницах и рабочих, чьи головы были повязаны носовыми платками, заглядывающих в окна подобно пролетающим духам или неведомым птицам,— мисс Токс, окончив свой обычный утренний завтрак, состоявший из одной хрустящей французской булочки, одного свежего (или с ручательством за свежесть) яйца и чая (одного чайничка, в котором заваривалась одна серебряная ложечка чаю для мисс Токс и одна серебряная ложечка для чайника — выдумка, коей услаждают себя добрые хозяйки),— поднялась наверх, чтобы разложить на клавикордах «птичий вальс», полить и привести в порядок цветы, смахнуть пыль с безделушек и, согласно неизменной своей привычке, превратить маленькую гостиную в украшение площади Принцессы.

Мисс Токс надела пару старых перчаток цвета сухой листвы, в которых имела обыкновение исполнять эти обязанности,— в другое время перчатки были скрыты от посторонних взоров в ящике,— и методически принялась за работу: начала с «птичьего вальса», перешла по натуральной ассоциации идей к своей птичке — весьма узкогрудой канарейке, престарелой и чрезвычайно нахохленной, но обладавшей пронзительным голосом, о чем хорошо знала площадь Принцессы; затем приступила по порядку к фарфоровым безделушкам и бумажным мухоловкам, чтобы в надлежащее время обратиться к цветам, которые следо-

вало подстригать ножницами по каким-то ботаническим законам, непреложным для мисс Токс.

В это утро мисс Токс не спешила перейти к цветам. День был теплый, ветер южный, и на площади Принцессы повеяло летом. Мысли мисс Токс обратились к деревне. Слуга из «Герба Принцессы» вышел с лейкой и полил всю площадь, покрыв ее расплывчатыми узорами, и от поросшей сорной травою земли повеяло свежим запахом: запахло зеленью,— сказала мисс Токс. Крохотный солнечный блик прокрался с большой улицы за углом, и закопченные воробьи перепрыгивали через него, поблескивая в лучах, или купались в нем, как в ручье, и превращались в великолепных воробьев, никогда не приходивших в соприкосновение с дымовыми трубами. Хвалебные гимны в честь имбирного пива с живописным изображением жаждущих клиентов, утопающих в пене или оглушенных хлопаньем пробок, красовались в окне «Герба Принцессы». Где-то за городом шел осенний сенокос; и хотя длинный путь предстояло пройти аромату, состязаясь со многими другими ароматами, столь на него непохожими, среди хижин бедняков (бог да наградит тех достойных джентльменов, которые отстаивают чуму, как неотъемлемый признак мудрости наших предков, и делают все, что позволяют им слабенькие их силы, дабы сохранить в неприкосновенности эти жалкие хижины!), тем не менее этот легкий аромат доносился до площади Принцессы, нашептывая,— как это будет и впредь,— о природе и целебном воздухе даже арестантам, пленным и всем страждущим и угнетенным.

Мисс Токс присела на подоконник и задумалась о своем добром покойном отце, мистере Токсе, служившем в таможне, и о своем детстве, которое протекало в морском порту, где было много дегтя и немножко деревенской простоты. Она погрузилась в далекие, сладкие воспоминания о лугах, сияющих лютиками, словно опрокинутый небосвод с золотыми звездами, и о том, как она плела цепочки из одуванчиков для юных влюбленных, клявшихся в верности до гроба и одетых преимущественно в нанку, и как быстро увяли и разорвались эти цепи.

Сидя на подоконнике и глядя на воробьев и блик солнца, мисс Токс думала также о своей доброй покойной

матушке, которая приходилась сестрой владельцу напудренной головы и косицы, о ее добродетелях и ее ревматизме. А когда человек с толстыми ногами, грубым голосом и тяжелой корзиной на голове, которая сплющивала его шляпу, превращая ее в черную лепешку, появился на площади Принцессы, предлагая цветы и при каждом своем вопле заставляя трепетать робкие маргаритки, словно он был людоедом, торгующим вразнос маленькими детьми, летние воспоминания с такою силою нахлынули на мисс Токс, что она покачала головой и шепотом выразила опасение, как бы ей не состариться, прежде чем она успеет опомниться, что было весьма вероятно.

Пребывая в таком мечтательном расположении духа, она стала размышлять о мистере Домби — должно быть, потому, что майор вернулся домой, в свою квартиру напротив, и только что поклонился ей из окна. Ибо по какой иной причине могла бы мисс Токс связать мистера Домби со своими воспоминаниями о летних днях и цепях из одуванчиков? «Повеселел ли он? — думала мисс Токс.— Примирился ли с велениями судьбы? Женится ли когда-нибудь снова, и если женится, то на ком? Что это будет за особа?»

Румянец — погода была жаркая — разлился по лицу мисс Токс, когда она, предаваясь таким размышлениям, оглянулась и с изумлением увидела свою задумчивую физиономию, отраженную в зеркале над камином. И снова румянец залил ее лицо, когда она увидела маленькую карету, въезжающую на площадь Принцессы и направляющуюся прямо к ее подъезду. Мисс Токс встала, быстро схватила ножницы и, обратившись, наконец, к цветам, усердно занялась ими, когда в комнату вошла миссис Чик.

— Как поживает мой милый друг? — воскликнула мисс Токс, раскрывая объятия.

Нечто величественное было в осанке милого друга мисс Токс, однако она поцеловала мисс Токс и сказала:

— Лукреция, благодарю вас, я здорова. Надеюсь, и вы также. Кхе!..

У миссис Чик обнаружилась склонность отрывисто покашливать, это было нечто вроде введения или легкой интродукции к кашлю.

— Вы рано заглянули. Как это мило с вашей сто-

роны, дорогая моя! — продолжала мисс Токс.— Вы уже завтракали?

— Благодарю вас, Лукреция,— сказала миссис Чик,— я завтракала. Я позавтракала,— добрая леди как будто заинтересовалась площадью Принцессы и, ведя беседу, озиралась по сторонам,— у брата, который вернулся домой.

— Надеюсь, ему лучше, дорогая моя? — запинаясь, выговорила мисс Токс.

— Ему гораздо лучше, благодарю вас. Кхе!

— Моей дорогой Луизе следовало бы обратить внимание на этот кашель,— заметила мисс Токс.

— Пустяки,— отозвалась миссис Чик.— Это только от перемены погоды. Мы должны быть готовы к переменам.

— Погоды? — осведомилась по наивности своей мисс Токс.

— Всего,— возразила миссис Чик.— Конечно, мы должны быть готовы. Это мир перемен. Всякий, кто вздумал бы противоречить, Лукреция, или увиливать от столь очевидной истины, привел бы меня в крайнее изумление и вынудил бы составить совершенно иное мнение об его уме. Перемены! — воскликнула миссис Чик, вооруженная суровой философией.— Ах, боже мой, да есть ли хоть что-нибудь, что не меняется? Даже шелковичный червь, которого, право же, не заподозришь в том, что он утруждает себя подобными размышлениями, постоянно меняется, принимая самые неожиданные формы.

— Моя Луиза всегда приводит удачные примеры,— сказала кроткая мисс Токс.

— Очень мило с вашей стороны, Лукреция,— отозвалась миссис Чик, слегка смягчившись,— говорить так и,— я полагаю,— так думать. Надеюсь, Лукреция, ни у вас, ни у меня никогда не будет повода изменить мнения друг о друге.

— Я в этом уверена,— ответила мисс Токс.

Миссис Чик кашлянула, как и раньше, и начала чертить по ковру зонтом с наконечником из слоновой кости. Мисс Токс, изучившая свою превосходную подругу и знавшая, что под влиянием легкого утомления или досады та имеет обыкновение рассуждать несколько раздраженно, воспользовалась паузой, чтобы переменить тему разговора.

— Простите, дорогая моя Луиза,— сказала мисс Токс,— но, кажется, я заметила в карете мужественную фигуру мистера Чика?

— Он там,— сказала миссис Чик,— но, пожалуйста, пусть он там и останется. У него есть газета, и он прекрасно проведет два часа. Продолжайте заниматься вашими цветами, Лукреция, а мне разрешите посидеть здесь и отдохнуть.

— Моя Луиза знает,— заметила мисс Токс,— что между такими друзьями, как мы с вами, не может быть и речи о каких-то церемониях. Поэтому...

Поэтому мисс Токс закончила фразу не словами, а делом и, надев перчатки, которые сняла, и снова вооружившись ножницами, принялась с кропотливым усердием обрезать и подстригать листья.

— Флоренс также вернулась домой,— сказала миссис Чик, посидев некоторое время молча, склонив голову к плечу и рисуя зонтиком узоры на полу.— И, право же, теперь Флоренс слишком взрослая для того, чтобы попрежнему вести эту уединенную жизнь, к которой она привыкла... Разумеется, слишком взрослая. В этом нет никаких сомнений. Я перестала бы питать уважение к тем, кто вздумал бы защищать противоположную точку зрения. Даже вопреки своему желанию я *не могла бы* их уважать. Мы не можем до такой степени подчинить себе свои чувства.

Мисс Токс с этим согласилась, не совсем, впрочем, уразумев сказанное.

— Если она странная девочка,— продолжала миссис Чик,— и если моему брату Полю не по себе в ее обществе после всех печальных происшествий, какие имели место, и всех ужасных разочарований, какие выпали на его долю, то что же можно на это сказать? Что он должен сделать усилие. Что он обязан сделать усилие! Наше семейство всегда отличалось способностью делать усилия. Поль — глава семьи; чуть ли не единственный представитель ее, оставшийся в живых... ибо что такое я? *Я* никакого значения не имею...

— Дорогая моя! — запротестовала мисс Токс.

Миссис Чик вытерла глаза, на секунду наполнившиеся слезами, и продолжала:

— ...И, следовательно, он больше, чем когда-либо, обязан сделать усилие. И хотя сделанное им усилие является для меня в некотором роде потрясением, ибо натура у меня очень слабая и простая,— а это не особенно приятно, и я часто желаю, чтобы сердце мое было мраморной плитой или булыжником...

— Милая моя Луиза! — снова запротестовала мисс Токс.

— ...Тем не менее для меня счастьем было узнать, что он столь верен себе и своему имени Домби. Конечно, я всегда знала, что так и будет! Надеюсь только,— помолчав, сказала миссис Чик,— что и она окажется достойной этого имени.

Мисс Токс налила в маленькую зеленую лейку воды из кувшина и, случайно подняв затем глаза, была столь изумлена тем многозначительным видом, с коим миссис Чик обратила к ней лицо, что временно поставила лейку на стол и сама села на стул рядом с нею.

— Дорогая Луиза,— сказала мисс Токс,— не будет ли вам неприятно, если я осмелюсь указать в ответ на это замечание, что такая скромная особа, как я, считает вашу милую племянницу подающей большие надежды?

— Что вы имеете в виду, Лукреция? — осведомилась миссис Чик с сугубой важностью.— На какое мое замечание вы ссылаетесь, дорогая моя?

— На то, что она окажется достойной этого имени, моя милая,— ответила мисс Токс.

— Если,— торжественно-снисходительным тоном произнесла миссис Чик,— я выразилась недостаточно ясно, Лукреция, то вина, конечно, моя. Быть может, у меня вообще не было бы никаких оснований высказываться, если бы нас не связывала дружба, которой — как я надеюсь, Лукреция, надеюсь от всей души — ничто не нарушит! Ибо могу ли я думать иначе? Для этого нет никаких оснований; это было бы нелепо. Но я хочу ясно выразить свою мысль, Лукреция, и посему, возвращаясь к этому замечанию, я должна сказать, что оно отнюдь не относилось к Флоренс.

— Неужели? — отозвалась мисс Токс.

— Да,— сказала миссис Чик отрывисто и решительно.

— Простите меня, дорогая,— заметила ее кроткая

подруга.— Но я его не поняла. Боюсь, что я несообразительна.

Миссис Чик окинула взором комнату и посмотрела в окно на другую сторону площади; посмотрела на цветы, птичку, лейку, чуть ли не на все, что находилось в поле ее зрения, за исключением мисс Токс; и, наконец, опуская глаза, скользнула взглядом по мисс Токс и произнесла, подняв брови и созерцая ковер:

— Когда я говорю, Лукреция, что она окажется достойной этого имени, я говорю о второй жене моего брата Поля. Полагаю, я уже высказалась в том смысле,— хотя и прибегала к другим выражениям,— что он намерен жениться вторично.

Мисс Токс быстро вскочила и, вернувшись к своим цветам, принялась подстригать стебли и листья с такою же безжалостностью, с какою цирюльник стрижет волосы беднякам.

— Почувствует ли она в полной мере честь, ей оказанную,— высокомерным тоном продолжала миссис Чик,— это уже другой вопрос. Надеюсь, почувствует. В этом мире мы обязаны думать хорошо друг о друге, и я надеюсь, что она почувствует. Что касается меня, то со мной не советовались. Если бы со мной посоветовались, то несомненно к моему совету отнеслись бы свысока, и, стало быть, несравненно лучше так, как оно есть. Я предпочитаю, чтобы так оно и было.

Мисс Токс, потупившись, по-прежнему подстригала цветы. Миссис Чик, энергически покачивая время от времени головою, продолжала изрекать, словно бросая кому-то вызов:

— Если бы мой брат Поль со мной посоветовался — а иногда он советуется, или, вернее, прежде имел обыкновение советоваться, ибо, разумеется, теперь он не будет этого делать, и я нахожу, что это обстоятельство освобождает меня от ответственности,— истерически сказала миссис Чик,— так как, слава богу, я не ревнива...— тут миссис Чик снова пролила слезу,— если бы мой брат Поль пришел ко мне и сказал: «Луиза, какие качества, по вашему мнению, следовало бы мне искать в жене?» — я бы, конечно, ответила: «Поль, вам нужна семья, вам нужна красота, вам нужно достоинство, вам нужны связи». Вот

к каким выражениям я бы прибегла. И хотя бы немедленно после этого меня повели на плаху,— заявила миссис Чик, словно такое следствие было весьма вероятно,— я бы все равно к ним прибегла. Я бы сказала: «Поль! Вам жениться вторично и не иметь семьи! Вам жениться и не получить красоты! Вам жениться на женщине, лишенной достоинства! Вам жениться на женщине, не имеющей связей! Нет на свете человека, не утратившего рассудка, который осмелился бы допустить столь нелепую идею!»

Мисс Токс перестала щелкать ножницами и, склонив голову к цветам, внимательно прислушивалась. Быть может, в этом вступлении и в горячности миссис Чик почудилась мисс Токс какая-то надежда.

— К этим доводам я бы обратилась,— продолжала благоразумная леди,— ибо, надеюсь, я не так уж глупа. Я не притязаю на то, чтобы меня почитали особой выдающегося ума (хотя я уверена, кое-кто, как это ни удивительно, считает меня таковой; однако человек, на которого обращают столь же мало внимания, как на меня, недолго будет предаваться этой иллюзии), но, надеюсь, я все-таки не дура. И сказать мне,— с невыразимым презрением произнесла миссис Чик,— что мой брат, Поль Домби, мог когда-нибудь подумать о возможности объединиться с кем-нибудь, безразлично с кем (эту маленькую оговорку она подчеркнула более резко и выразительно, чем все прочие свои замечания), не обладающим этими необходимыми качествами, значило бы оскорбить тот разум, каким я наделена, все равно как если бы мне заявили, что я по рождению и воспитанию своему — слон. *Быть может,* мне это еще заявят,— промолвила миссис Чик с покорным видом.— Меня бы это ничуть не удивило. Я этого жду.

Во время последовавшего краткого молчания ножницы мисс Токс слабо звякнули раза два; но лицо мисс Токс оставалось невидимым, и утреннее ее платье трепетало. Миссис Чик посмотрела на нее искоса, сквозь цветы, находившиеся между ними, и снова заговорила тоном глубокого убеждения, как человек, который останавливается на обстоятельстве, едва ли заслуживающем разъяснения:

— Итак, мой брат Поль, разумеется, сделал то, что надлежало от него ждать и что все мы могли бы предви-

деть в случае, если бы он вздумал вторично вступить в брак. Признаюсь, для меня это было неожиданностью, хотя и приятной; ибо, когда Поль уезжал из Лондона, я понятия не имела о том, что он завяжет какие-то сердечные связи вне столицы, и, разумеется, их не было, когда он отсюда уезжал. Впрочем, по-видимому, это в высшей степени желательно с любой точки зрения. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что мать — весьма аристократическая и элегантная особа, и не имею никакого права оспаривать уместность ее проживания вместе с ними, так как это дело Поля, а не мое. Что же касается самой избранницы Поля, то пока я видела только ее портрет, но он действительно прекрасен. И имя у нее красивое,— продолжала миссис Чик, энергически покачивая головой и удобнее усаживаясь в кресле.— Имя Эдит кажется мне необычным и аристократическим. Итак, не сомневаюсь, Лукреция, вы обрадуетесь, узнав, что брак будет заключен в самом непродолжительном времени; конечно, обрадуетесь,— снова выразительное ударение,— и будете в восторге от этой перемены в жизни моего брата, который много раз оказывал вам весьма лестное внимание.

Мисс Токс не дала никакого словесного ответа, но, взяв дрожащей рукой маленькую лейку, осмотрелась рассеянно кругом, как бы соображая, какой предмет обстановки нуждается в ее содержимом. В этот момент, критический для чувств мисс Токс, дверь открылась, мисс Токс вздрогнула, громко захохотала и упала в объятия вошедшего; к счастью, она не могла видеть ни гневной физиономии миссис Чик, ни майора у окна по ту сторону площади, чей бинокль был пущен в ход и чье лицо и фигура раздулись от мефистофельского злорадства.

Иные чувства владели изумленным изгнанником-туземцем, который заботливо поддерживал упавшую в обморок мисс Токс; поднявшись наверх с целью любезно осведомиться о здоровье мисс Токс (во исполнение коварного приказа майора), туземец случайно прибыл как раз вовремя, чтобы принять в свои объятия хрупкое бремя и вместить в свой башмак содержимое маленькой лейки: оба эти обстоятельства, а также сознание, что за ним зорко наблюдает гневный майор,— который, в случае какого-либо промаха, посулил ему обычную кару, грозив-



шую всем его костям,— привели к тому, что туземец являл собою воплощение всех мук, душевных и телесных.

В течение нескольких секунд этот удрученный чужестранец прижимал мисс Токс к своему сердцу с энергией, удивительно не соответствовавшей расстроенному его лицу, тогда как бедная леди медленно выливала на него последние капли из маленькой лейки, словно он был нежным экзотическим растением (каковым он, в сущности, и был) и следовало ждать, что он расцветет под этим живительным дождем. Наконец миссис Чик, обретя присутствие духа, вмешалась и приказала ему положить мисс Токс на диван и удалиться; когда же изгнанник поспешно повиновался, она принялась хлопотать о приведении в чувство мисс Токс.

Но той нежной заботы, какая свойственна дочерям Евы, ухаживающим друг за другом, того франкмасонства, какое в случае обморока обычно связывает их таинственными узами сестринства, не наблюдалось в поведении миссис Чик. Скорее как палач, который приводит в чувство жертву, чтобы продлить пытку (или приводил в доброе старое время, по коем все честные люди до сего дня носят траур), прибегла миссис Чик к флакону с нюхательной солью, к похлопыванию по рукам, к смачиванью лица холодной водой и к прочим испытанным средствам. И когда, наконец, мисс Токс открыла глаза и постепенно вернулась к жизни и действительности, миссис Чик отшатнулась от нее, как от преступницы, и, воспроизводя в обратном виде прецедент с умерщвленным королем датским, посмотрела на нее скорее с гневом, чем со скорбью *.

— Лукреция! — промолвила миссис Чик.— Я не буду пытаться скрыть свои чувства. Я внезапно прозрела. Я бы этому не поверила, даже если бы мне рассказал об этом святой.

— Как глупо с моей стороны, что я поддалась слабости! — пролепетала мисс Токс.— Сейчас мне будет лучше.

— Сейчас вам будет лучше, Лукреция! — с величайшим презрением повторила миссис Чик.— Вы полагаете, что я слепа? Воображаете, что я впала в детство? Нет, Лукреция! Я вам очень признательна!

Мисс Токс устремила на свою подругу умоляющий, беспомощный взгляд и закрыла лицо носовым платком.

— Если бы кто-нибудь сказал мне это вчера,— величественно продолжала миссис Чик,— или даже полчаса назад, я испытала бы соблазн стереть этого человека с лица земли. Лукреция Токс, я внезапно прозрела и увидела! Пелена спала с моих глаз! — Тут миссис Чик сбросила с глаз воображаемую простыню, вроде той, какою обычно прикрывают товар в бакалейной лавке.— Слепому моему доверию пришел конец, Лукреция. Им злоупотребляли, на нем играли, и уверяю вас — теперь об увиливании не может быть и речи.

— О, на что вы намекаете так жестоко, дорогая моя? — сквозь слезы осведомилась мисс Токс.

— Лукреция, спросите свое сердце,— сказала миссис Чик.— Я должна просить вас, чтобы вы не прибегали к такому фамильярному обращению, какое только что употребили. У меня еще осталось уважение к себе, хотя вы, может быть, думаете иначе.

— О Луиза! — вскричала мисс Токс.— Как можете вы так говорить со мной?

— Как могу я так говорить с вами? — произнесла миссис Чик, которая, не находя веского аргумента для подкрепления своих слов, обращалась преимущественно к таким повторениям, чтобы произвести наиболее ошеломляющий эффект.— Так говорить! Да, вы действительно вправе об этом спрашивать!

Мисс Токс жалобно всхлипывала.

— Подумать только,— продолжала миссис Чик,— что вы, отогревшись, как змея, у очага моего брата и через меня втершись чуть ли не в доверие к нему, что вы, Лукреция, могли втайне иметь виды на него и дерзали допускать возможность его союза с вами! Да ведь нелепость этой идеи,— с саркастическим достоинством произнесла миссис Чик,— почти что сводит на нет ее вероломство!

— Прошу вас, Луиза,— взмолилась мисс Токс,— не говорите таких ужасных вещей.

— Ужасных вещей! — повторила миссис Чик.— Ужасных вещей! Разве не правда, Лукреция, что вы только что не в состоянии были справиться со своими чувствами даже передо мной, которой вы совершенно затуманили зрение?

— Я не жаловалась,— всхлипнула мисс Токс.— Я ничего не сказала. Если я была слегка потрясена вашим сообщением, Луиза, и если когда-нибудь мелькала у меня мысль, что мистер Домби склонен обратить на меня особое внимание, то уж вы-то, конечно, меня не осудите.

— Сейчас она скажет,— произнесла миссис Чик, обращаясь к мебели и созерцая ее с видом покорным и умоляющим,— сейчас она скажет — я это знаю,— что я ее поощряла!

— Я не хочу обмениваться упреками, дорогая Луиза,— всхлипывала мисс Токс.— И жаловаться я не хочу. Но в свою защиту...

— Да! — воскликнула миссис Чик, с пророческой улыбкой окидывая взглядом комнату,— вот что она сейчас скажет. Я это знала. Что же вы не говорите? Скажите прямо! Каковы бы вы ни были, Лукреция Токс, будьте откровенны,— произнесла миссис Чик с неумолимой суровостью.

— ...В свою защиту,— пролепетала мисс Токс,— в защиту от ваших недобрых слов, дорогая Луиза, я бы хотела только спросить вас, разве вы частенько не потворствовали этой мечте и не говорили, что — кто знает? — все может случиться?..

— Есть предел,—сказала миссис Чик, вставая с таким видом, словно не намерена была ступать по полу, но собиралась воспарить к своей небесной отчизне,— предел, за которым терпение становится смешным, если не преступным. Я могу вынести многое, но не всё. Что осенило меня, когда я вошла сегодня в этот дом, я не знаю, но у меня было предчувствие, мрачное предчувствие,— содрогнувшись, сказала миссис Чик,— будто что-то должно случиться. Не чудо ли, что у меня было это предчувствие, Лукреция, если рухнуло в одну секунду мое многолетнее доверие, если я внезапно прозрела и увидела вас в истинном свете? Лукреция, я ошибалась в вас. Лучше для нас обеих покончить на этом. Я вам желаю добра и всегда буду желать вам добра. Но как человек, который хочет быть верен себе, несмотря на свое скромное положение, каково бы оно ни было, и как сестра моего брата, и как золовка жены моего брата, и как свойственница матери

жены моего брата, и — да будет мне позволено добавить — как Домби! — я не могу пожелать вам ничего, кроме доброго утра.

После этих слов, произнесенных с язвительной учтивостью, смягченной и просветленной горделивым сознанием моральной правоты, миссис Чик двинулась к двери. У порога она наклонила голову, подобно статуе и на манер привидения, и направилась к карете искать успокоения и утешения в объятиях мистера Чика, своего супруга и повелителя.

Мы выражаемся фигурально: ибо руки мистера Чика были заняты газетой. К тому же сей джентльмен не обратил взора на жену, а только взглянул на нее мельком. И не предложил ей ровно никакого утешения. Короче говоря, он сидел, читая и напевая обрывки мелодий, изредка бросал на нее беглый взгляд и не изрекал ни единого слова, доброго, злого или равнодушного.

Между тем миссис Чик сидела, негодующая и возмущенная, и трясла головой, как будто все еще повторяла Лукреции Токс торжественную формулу прощания. Наконец она заявила вслух, что-де, о, до какой же степени она сегодня прозрела!

— До какой же степени ты прозрела, дорогая моя? — повторил мистер Чик.

— О, не разговаривай со мной! — воскликнула миссис Чик.— Если ты мог, видя меня в таком состоянии, не спросить, что случилось, уж лучше бы ты навсегда замолчал!

— А что случилось, дорогая моя? — спросил мистер Чик.

— Подумать только! — сказала миссис Чик, беседуя сама с собой.— У нее зародилась гнусная мысль породниться с нашей семьей, вступив в брак с Полем! Подумать только, что, играя в лошадки с дорогим мальчиком, который покоится сейчас в могиле,— мне и тогда не нравились эти игры,— она вынашивала коварный умысел! Удивительно, как она не боялась, что это доведет ее до беды. Ей просто повезет, если беда пройдет стороной.

— Право же, я думал, дорогая моя,— медленно произнес мистер Чик, предварительно потерев газетой переносицу,— что и у тебя была та же мысль вплоть до

сегодняшнего утра. Кажется, и ты считала, что неплохо было бы, если бы это осуществилось.

Миссис Чик немедленно разрыдалась и заявила мистеру Чику, что, если уж ему хочется топтать ее сапогами, лучше бы он так и сделал.

— Но с Лукрецией Токс я покончила,— сказала миссис Чик после того, как в течение нескольких минут отдавалась своим чувствам, к великому ужасу мистера Чика.— Я могу примириться с тем, что Поль оказал доверие той, кто — надеюсь и верю — может его заслужить и кем он имеет полное право заменить, если пожелает, бедную Фанни. Я могу примириться с тем, что Поль со свойственной ему холодностью уведомил меня о такой перемене в его планах, ни разу не посоветовавшись со мной, пока все не было решено окончательно. Но с обманом я не могу примириться, и с Лукрецией Токс я покончила! Лучше так, как оно есть,— набожно заметила миссис Чик,— гораздо лучше! Понадобилось бы много времени, чтобы я могла примириться с нею после этого. Теперь, когда Поль заживет на широкую ногу, а люди эти аристократического происхождения,— право, я не знаю, можно ли было бы ввести ее в общество, и не скомпрометировала ли бы она меня? Провидение заботится обо всем. Все к лучшему; сегодня я перенесла испытание, но не жалею об этом.

Исполненная этого христианского духа, миссис Чик осушила слезы, разгладила платье на коленях и приняла позу человека, который стойко терпит жестокую обиду. Мистер Чик, несомненно сознавая свое ничтожество, воспользовался первым удобным случаем, чтобы покинуть карету на углу, и удалился, насвистывая, высоко подняв плечи и засунув руки в карманы.

А в это время бедная отлученная мисс Токс — льстивая и раболепная, но тем не менее честная и постоянная, неизменно питавшая истинно дружеские чувства к своей обвинительнице и всецело поглощенная и охваченная преклонением перед великолепием мистера Домби,— в это время бедная отлученная мисс Токс поливала цветы свои слезами и чувствовала, что на площади Принцессы наступила зима.

ГЛАВА XXX

Перед свадьбой

Хотя зачарованного дома больше не существовало и рабочий люд вторгся в него и стучал весь день, грохотал и топал по лестницам, вызывая с утра до вечера непрестанные приступы лая у Диогена, явно убежденного, что в конце концов враг его одержал над ним верх и, с торжеством бросая вызов, грабит его владения,— но первое время в образе жизни Флоренс не замечалось больших перемен. По вечерам, когда рабочие уходили, дом снова становился мрачным и заброшенным; и Флоренс, слушая удаляющиеся, гулко разносящиеся по холлу и лестницам голоса, рисовала себе счастливый домашний очаг, к которому они возвращаются, и детей, их ожидающих, и ей радостно было думать, что они веселы и уходят довольные.

Она приветствовала вечернюю тишину, как старого друга, но вечер являлся теперь в ином облике и смотрел на нее более ласково. Красивая леди, которая успокоила ее и приласкала в той самой комнате, где сердцу ее нанесли такую рану, была для нее вестником счастья. Мягкие тени загорающейся светлой жизни, которую ей сулило расположение отца и обретение всего или многого из того, что она потеряла в тот печальный день, когда материнская любовь угасла вместе с последним материнским вздохом, коснувшимся ее щеки, скользили вокруг нее в сумерках и были желанными гостями. Посматривая украдкой на румяных девочек, своих соседок, она испытывала новое и чудесное ощущение при мысли, что скоро они познакомятся и узнают друг друга, и тогда она покажется им, не опасаясь, как это было раньше, что они загрустят, увидев ее в черном платье, сидящую здесь в одиночестве!

Отдаваясь мыслям о новой матери, с любовью и доверием к ней в чистом своем сердце, Флоренс еще сильнее любила свою родную умершую мать. Она не боялась, что у той будет соперница в любви. Она знала: новый цветок расцвел на стебле, заботливо взлелеянном и глубоко пустившем корни. Каждое ласковое слово в устах

красивой леди звучало для Флоренс, как эхо того голоса, который давно прервался и умолк. Теперь, когда зародилась новая нежность, могла ли она меньше любить воспоминание о нем, раз это было единственным воспоминанием о родительской нежности и любви?

Однажды Флоренс сидела у себя в комнате, читала и думала об этой леди, обещавшей вскоре навестить ее — содержание книги наводило на эти мысли,— как вдруг, подняв глаза, она увидела ее в дверях.

— Мама! — воскликнула Флоренс, радостно бросаясь ей навстречу.— Вы пришли!

— Еще не мама,— с задумчивой улыбкой отозвалась леди, обвив рукой шею Флоренс.

— Но очень скоро будете ею,— сказала Флоренс.

— Теперь очень скоро, Флоренс; очень скоро.

Эдит слегка наклонила голову, чтобы прижаться щекой к свежей щечке Флоренс, и в течение нескольких секунд молчала. Столько нежности было в ее обращении, что Флоренс ощутила эту нежность еще сильнее, чем в день первой их встречи.

Она подвела Флоренс к креслу и села рядом с нею; Флоренс смотрела ей в лицо, восхищалась ее красотой и охотно оставила свою руку в ее руке.

— Вы жили одна, Флоренс, с тех пор как я здесь была?

— О да! — с улыбкой, не задумываясь, ответила Флоренс.

Она замялась и потупилась, потому что ее новая мама была очень серьезна и всматривалась пристально и задумчиво в ее лицо.

— Я... я привыкла быть одна,— сказала Флоренс.— Мне это совсем нетрудно. Иногда мы с Ди проводим целые дни вдвоем.

Флоренс могла бы сказать — целые недели и месяцы.

— Ди — это ваша горничная, дорогая?

— Это моя собака, мама,— со смехом отозвалась Флоренс.— Мою горничную зовут Сьюзен.

— А это ваши комнаты? — спросила Эдит, осматриваясь кругом.— Тогда мне их не показали. Мы должны их украсить, Флоренс. Они будут лучшими во всем доме.

— Если бы мне позволили переменить их, мама,—

отозвалась Флоренс,— есть одна комната наверху, которая нравится мне гораздо больше.

— Разве здесь недостаточно высоко, милая моя девочка? — с улыбкой спросила Эдит.

— То была комната моего брата,— сказала Флоренс,— и я ее очень люблю. Я хотела поговорить о ней с папой, когда вернулась домой и застала здесь рабочих и все эти перемены, но...

Флоренс опустила глаза, опасаясь, как бы тот же взгляд не заставил ее снова замяться.

— ...Но я побоялась, что это его огорчит; а так как вы сказали, мама, что скоро вернетесь и будете здесь полной хозяйкой, я решила собраться с духом и попросить об этом вас.

Эдит сидела, не спуская блестящих глаз с ее лица, но когда Флоренс посмотрела на нее, она в свою очередь опустила глаза. Вот тогда-то и подумала Флоренс, что красота этой леди совсем не такая, какою показалась ей в первый раз. Она считала эту красоту горделивой и величественной; но леди держала себя так ласково и кротко, что — будь она ровесницей Флоренс и одного с нею нрава — вряд ли она внушала бы больше доверия.

За исключением тех минут, когда ее обволакивала какая-то напряженная и странная сдержанность,— а тогда казалось (но Флоренс вряд ли это понимала, хотя не могла не заметить и думала об этом), казалось, будто она чувствует себя униженной перед Флоренс и ей не по себе. Когда она сказала, что еще не стала ее матерью, а Флоренс назвала ее полной хозяйкой, эта перемена в ней была внезапной и поразительной; и теперь, когда глаза Флоренс были устремлены на ее лицо, она сидела с таким видом, будто хотела съежиться и спрятаться от нее, и менее всего была похожа на женщину, которая готова любить ее и лелеять на правах близкого родства.

Она охотно согласилась на просьбу Флоренс о новой комнате и сказала, что сама об этом позаботится. Затем она задала несколько вопросов о бедном Поле и после недолгой беседы сообщила Флоренс, что заехала за нею, чтобы увезти к себе.

— Теперь мы переехали в Лондон, моя мать и я,— сказала Эдит,— и вы будете жить с нами до моего заму-

жества. Я хочу, чтобы мы ближе познакомились и доверяли друг другу, Флоренс.

— Вы очень добры ко мне, милая мама,— сказала Флоренс.— Как я вам благодарна!

— Вот что я вам скажу сейчас, потому что более удобного случая, быть может, не представится,— продолжала Эдит, оглянувшись, чтобы узнать, одни ли они, и понизив голос,— когда я выйду замуж и на несколько недель уеду, у меня будет спокойнее на душе, если вы вернетесь сюда, домой. Кто бы вас ни приглашал к себе, вернитесь домой. Лучше быть одной, чем... Я хочу сказать,— добавила она, замявшись,— что, как мне известно, вы лучше всего чувствуете себя дома, милая Флоренс.

— В тот же день я вернусь домой, мама.

— Так и сделайте. Я полагаюсь на ваше обещание. А теперь, дорогая, собирайтесь, и поедем. Вы найдете меня внизу, когда будете готовы.

Медленно и задумчиво бродила Эдит по дому, где так скоро предстояло ей стать хозяйкой; и мало внимания обращала она на изящество и роскошь, которые уже сейчас можно было заметить. С тем же неукротимым высокомерием, с тем же горделивым презрением, отражавшимся в глазах и на устах, сверкая тою же красотой, умерявшейся только сознанием малой ее ценности и малой ценности всего окружающего, проходила она по великолепным гостиным и залам, так же, как проходила прежде под тенистыми деревьями, и негодовала и терзала себя. Розы на стенах и на полу были окружены острыми шипами, раздиравшими ей грудь; в каждой крупице позолоты, ослеплявшей глаз, она видела частичку денег, за нее уплаченных; широкие и высокие зеркала отражали во весь рост женщину, в чьей душе еще не угасли благие порывы, но которая слишком часто лгала самой себе и слишком была унижена и придавлена, чтобы себя спасти. Полагая, что все это очевидно в большей или меньшей степени для каждого из окружающих, она считала гордость единственным средством утвердить себя; и во всеоружии этой гордости, которая день и ночь терзала ей сердце, она боролась со своей судьбой, не страшась ее и бросая ей вызов.

Неужели это была та женщина, на которую Флоренс —

невинная девочка, сильная только своею искренностью и прямодушием,— производила столь глубокое впечатление, что подле нее она становилась другим человеком, ибо утихала в ней буря страстей, и даже гордость смирялась? Неужели это была та женщина, которая сидела сейчас рядом с нею в карете, обнимала ее и которая, лаская ее и добиваясь любви и доверия, прижимала ее красивую головку к своей груди и готова была пожертвовать жизнью, чтобы защитить ее от зла и обиды?

О Эдит, как хорошо было бы умереть в эту минуту! Быть может, лучше умереть сейчас, Эдит, чем жить дальше.

Почтенная миссис Скьютон, которая думала о чем угодно, только не о смерти — ибо, подобно многим благородным особам, жившим в различные эпохи, она решительно повернулась спиною к смерти и возражала против упоминания о столь пошлой и всех уравнивающей выскочке — заняла дом на Брук-стрит, Гровенор-сквер, принадлежавший величественному родственнику (одному из родичей Финикса), который уехал из Лондона и великодушно уступил свой дом по случаю свадьбы, почитая это подарком, сулящим окончательное избавление и освобождение от всяких ссуд и даров миссис Скьютон и ее дочери. Для поддержания фамильной чести надлежало строго соблюдать приличия, и миссис Скьютон отыскала сговорчивого торговца, проживавшего в приходе Мэри-ле-Бон, который ссужал знать и джентри всевозможными предметами обстановки, начиная со столового серебра и кончая армией лакеев; этот же торговец доставил в дом седовласого дворецкого (получавшего добавочную плату за то, что у него был вид старого слуги семейства), двух очень высоких молодых людей в ливреях и отборный штат кухонной прислуги; вот тогда-то в подвальном этаже и возникла легенда, что паж Уитерс, внезапно освобожденный от многочисленных своих домашних обязанностей и подталкивания кресла на колесах (неуместного в столице), не раз, как было замечено, протирал глаза и щипал себя, словно у него мелькало подозрение, не заспался ли он у лемингтонского молочника и не предается ли райским грезам. В тот же дом и из того же удобного источника было доставлено все необходимое столовое серебро

и фарфор, а также разнообразные предметы домашнего обзаведения, включая изящный экипаж и пару гнедых лошадей, и миссис Скьютон расположилась среди подушек на парадном диване в позе Клеопатры и торжественно открыла прием.

— Ну, как поживает моя прелестная Флоренс? — спросила миссис Скьютон, когда вошла ее дочь со своей протеже.— Право же, вы должны крепко поцеловать меня, Флоренс, моя милая.

Флоренс, робко наклонившись, отыскивала подходящее местечко на набеленном лице миссис Скьютон, но эта леди подставила ей ухо и вывела из затруднения.

— Эдит, дорогая моя,— сказала миссис Скьютон,— положительно... Повернитесь немного к свету на одну минутку, милая Флоренс.

Флоренс, краснея, повиновалась.

— Ты не помнишь, дорогая Эдит,— продолжала мать,— какой ты была примерно в возрасте нашей очаровательной Флоренс или чуть моложе?

— Я давно забыла, мама.

— Право же, дорогая моя,— сказала миссис Скьютон,— я нахожу определенное сходство между тобою в те годы и нашей прелестной юной приятельницей. И это доказывает, что́ может сделать воспитание,— добавила миссис Скьютон, понизив голос и давая понять, что, по ее мнению, воспитание Флоренс далеко не закончено.

— Да, несомненно,— был холодный ответ Эдит.

Мать зорко на нее посмотрела и, чувствуя, что вступила на опасный путь, сказала с целью отвлечь внимание:

— Прелестная Флоренс, право же, вы должны поцеловать меня еще раз, дорогая моя.

Флоренс, конечно, повиновалась и снова коснулась губами уха миссис Скьютон.

— Милочка, вы, конечно, слышали,— продолжала миссис Скьютон, удерживая ее за руку,— что ваш папа, которого мы все буквально обожаем и любим до безумия, женится ровно через неделю на моей дорогой Эдит?

— Я знала, что это должно быть очень скоро,— ответила Флоренс,— но не знала, когда именно.

— Дорогая моя Эдит,— весело сказала мать,— может ли быть, что ты не сообщила об этом Флоренс?

— Зачем мне было говорить Флоренс? — отозвалась та так быстро и резко, что Флоренс готова была усомниться, ее ли это голос.

Тогда миссис Скьютон сообщила Флоренс,— снова с целью отвлечь внимание,— о том, что отец придет к обеду и несомненно будет приятно изумлен, увидев ее, так как накануне вечером он говорил лишь о делах в Сити и понятия не имел о затее Эдит, осуществление которой должно было, по мнению миссис Скьютон, привести его в восторг. Услышав это, Флоренс пришла в смятение, и по мере того, как приближался час обеда, беспокойство ее стало таким мучительным, что, знай она, как попросить разрешения вернуться домой, не ссылаясь при этом на отца, она убежала бы пешком с непокрытой головой, стремглав и одна, только бы ускользнуть от риска вызвать его неудовольствие.

С приближением назначенного часа она едва могла дышать. Она не смела подойти к окну, боясь, как бы он не увидел ее с улицы. Она не смела подняться наверх, чтобы скрыть волнение, опасаясь, как бы не встретиться с ним неожиданно в дверях, и в то же время чувствуя, что уже не в силах была бы вернуться, если бы ее призвали к отцу. Терзаемая этими страхами, она сидела у ложа Клеопатры, стараясь слушать и отвечать на вздорные речи этой леди, как вдруг на лестнице раздались его шаги.

— Я слышу его шаги! — вздрогнув, воскликнула Флоренс.— Он идет!

Клеопатра, которая по молодости своей всегда была расположена к игривости и, поглощенная собой, не потрудилась задуматься о природе этого волнения, толкнула Флоренс за диван и набросила на нее шаль, готовясь сделать мистеру Домби очаровательный сюрприз. Было это проделано так быстро, что через секунду Флоренс услышала в комнате грозные его шаги.

Он приветствовал будущую тещу и будущую жену. Голос его звучал так странно, что трепет пробежал по всему телу дочери.

— Дорогой мой Домби,— сказала Клеопатра,— пожа-

луйте сюда и скажите мне, как поживает ваша милая Флоренс.

— Флоренс здорова,— ответил мистер Домби, подходя к ложу.

— Она дома?

— Дома,— сказал мистер Домби.

— Дорогой мой Домби,— продолжала Клеопатра с чарующей живостью,— уверены ли вы в том, что меня не обманываете? Не знаю, что скажет мне моя милая Эдит, услышав такое мое заявление, но, честное слово, я боюсь, дорогой мой Домби, что вы — фальшивейший из мужчин.

Будь он действительно таковым и будь он уличен на месте в самой чудовищной лжи, когда-либо обнаруженной в словах или поступках человека, он вряд ли мог прийти в большее смущение, чем сейчас, когда миссис Скьютон сдернула шаль и Флоренс, бледная и трепещущая, предстала перед ним, как привидение. Он еще не собрался с мыслями, когда Флоренс бросилась к нему, обняла его за шею, поцеловала и выбежала из комнаты. Он оглянулся, словно желая обсудить с кем-нибудь этот вопрос, но Эдит вышла сейчас же вслед за Флоренс.

— Признайтесь же, дорогой мой Домби,— сказала миссис Скьютон, протягивая ему руку,— что вы никогда еще не бывали так удивлены и обрадованы.

— Я никогда не был так удивлен,— ответил мистер Домби.

— И так обрадованы, дорогой мой Домби? — настаивала миссис Скьютон, подняв веер.

— Я... да, я чрезвычайно рад, что встретил здесь Флоренс,— сказал мистер Домби. Казалось, он серьезно обдумывал свои слова и затем повторил более решительно: — Да, действительно я очень рад, что встретил здесь Флоренс.

— Вы недоумеваете, как она очутилась здесь, не правда ли? — спросила миссис Скьютон.

— Быть может, Эдит...— предположил мистер Домби.

— О, злой угадчик! — отозвалась Клеопатра, покачивая головой.— О, хитрый, хитрый человек! Мне не следовало бы говорить такие вещи, дорогой мой Домби, вы — мужчины — так тщеславны и так склонны злоупотреблять

нашими слабостями, но вам известно, что душа у меня открытая... Хорошо, сейчас.

Эти последние слова относились к одному из очень высоких молодых людей, доложившему, что обед подан.

— Но Эдит, дорогой мой Домби,— продолжала она шепотом,— если она не видит вас подле себя,— а я ей сказала, что не может же она всегда на это рассчитывать,— Эдит хочет, чтобы около нее было хоть что-нибудь или кто-нибудь из тех, кто вам близок. Да, это в высшей степени естественно! И никто не мог бы удержать ее, когда, находясь в таком расположении духа, она поехала сегодня за нашей милой Флоренс. Это так очаровательно!

Так как она ждала ответа, мистер Домби ответил:

— В высшей степени!

— Да благословит вас бог, дорогой мой Домби, за то, что у вас есть сердце! — воскликнула Клеопатра, пожимая ему руку.— Но я становлюсь слишком серьезной. Будьте ангелом, проводите меня вниз, и посмотрим, какой обед намерены предложить нам эти люди. Да благословит вас бог, дорогой Домби!

После этого вторичного благословения Клеопатра довольно резво спрыгнула со своего ложа, а мистер Домби предложил ей руку и церемонно повел вниз; когда эта пара входила в столовую, один из взятых напрокат высоких молодых людей, чей орган почтительности был недостаточно развит, засунул язык за щеку для увеселения другого высокого молодого человека, взятого напрокат.

Флоренс и Эдит были уже там и сидели рядом. Когда вошел отец, Флоренс хотела встать, чтобы уступить ему свое место, но Эдит решительно положила руку ей на плечо, и мистер Домби занял место напротив.

Разговор поддерживала чуть ли не одна миссис Скьютон. Флоренс едва осмеливалась поднять глаза, опасаясь, как бы не было замечено, что они заплаканы; тем более не осмеливалась она говорить; а Эдит не проронила ни слова и только отвечала на вопросы. Поистине, Клеопатра трудилась не на шутку, чтобы довести дело до конца; и поистине оно должно было оказаться отменно выгодным, чтобы вознаградить ее!

— Итак, все ваши приготовления почти закончены, не правда ли, дорогой мой Домби? — спросила Клеопатра,

когда был подан десерт и седовласый дворецкий удалился.— Даже юридическая сторона!

— Да, сударыня,— ответил мистер Домби,— брачный контракт, как уведомляют юристы, уже готов, и, как я сообщал вам, Эдит, остается только назначить день для подписания.

Эдит сидела подобно прекрасной статуе: такая же холодная, немая и неподвижная.

— Милая моя,— сказала Клеопатра,— ты слышишь, что говорит мистер Домби? Ах, дорогой мой Домби! — понизив голос, обратилась она к этому джентльмену.— Как напоминает мне ее рассеянность, все возрастающая по мере приближения срока, те дни, когда редчайший из людей, ее милый папа, находился в таком же положении, как и вы!

— Я не стану назначать. Пусть будет тогда, когда вы пожелаете,— сказала Эдит, едва взглянув через стол на мистера Домби.

— Завтра? — предложил мистер Домби.

— Как вам угодно.

— Или послезавтра, если это более соответствует вашим планам? — продолжал мистер Домби.

— У меня нет никаких планов. Я всегда в вашем распоряжении. Назначьте какой угодно день.

— Никаких планов, дорогая моя Эдит? — вмешалась мать.— Да ведь ты с утра до ночи занята, и у тебя тысяча и одно дело со всевозможными поставщиками!

— Об этом позаботились вы,— возразила Эдит, повернувшись к ней и слегка сдвинув брови.— Вы с мистером Домби можете договориться между собой.

— Совершенно верно, милочка, и очень благоразумно с твоей стороны! — воскликнула Клеопатра.— Дорогая моя Флоренс, право же, вы должны подойти и еще раз поцеловать меня, моя милая!

Странное совпадение: этот интерес к Флоренс овладевал Клеопатрой чуть не после каждого диалога, в котором Эдит принимала хоть какое-нибудь участие! Бесспорно, Флоренс никогда не приходилось выносить столько объятий, и, быть может, никогда за всю свою жизнь не бывала она столь полезна.

В глубине души мистер Домби был далек от того,

чтобы возмущаться поведением своей прекрасной невесты. У него были веские основания симпатизировать ее высокомерию и холодности, ибо он разделял эти чувства. Ему лестно было думать, что Эдит поступалась своею гордостью ради него и, казалось, признавала только его волю. Ему лестно было представлять себе, как эта гордая и величественная женщина принимает гостей у него в доме и замораживает их, подражая его же манере. Да, в таких руках достоинство Домби и Сына будет возвеличено и упрочено.

Так думал мистер Домби, когда остался один за обеденным столом и размышлял о прошлом своем и будущем, не чувствуя, сколь противоречат его мыслям убожество и мрачность комнаты, и темно-коричневая ее окраска, и картины, пятнавшие стены подобно мемориальным доскам, и двадцать четыре черных стула, украшенные гвоздями в таком же количестве, напоминающие столько же гробов и ожидающие на краю турецкого ковра подобно наемным участникам похоронной процессии, и два истощенных негра, поддерживающие два ветхих канделябра на буфете, и пропитывающий комнату затхлый запах, словно прах десяти тысяч обедов был погребен в саркофаге под полом. Владелец дома жил большей частью за границей; воздух Англии редко приходился по вкусу члену семейства Финиксов; и комната, в память о нем, облекалась все в более и более глубокий траур и в конце концов приняла столь похоронный вид, что для полной иллюзии не хватало только покойника.

Недурным подобием покойника, если не по своей позе, то по негнущейся спине, был в данный момент мистер Домби, глядевший в холодные глубины Мертвого моря из красного дерева, где стояли на якоре блюда с фруктами и графины; казалось, предметы его размышлений всплывали один за другим на поверхность и снова погружались на дно. Здесь была Эдит с величественным своим челом и величественной осанкой; и рядом с ней — Флоренс, робко обратившая к нему лицо, как было оно обращено в тот момент, когда она выходила из комнаты; глаза Эдит устремлены на нее, а рука Эдит покровительственно простерта. Маленькая фигурка в низеньком креслице возникла затем в лучах света и взирала на него с недоуме-

нием, а блестящие ее глаза и старчески-детское лицо светилось словно в мерцающем вечернем пламени камина. Снова появилась Флоренс подле этой фигуры и поглотила все его внимание. Что увидел он в ней — роковую препону и обманутую надежду, или соперницу, которая однажды преградила ему дорогу и могла преградить еще раз, или свое дитя, о котором теперь, в пору успешного сватовства, быть может, удостоит он подумать, ибо в такое время она отказывается мириться со своим положением отвергнутой, или, наконец, напоминание о том, что теперь, когда у него возникли новые связи, он должен соблюдать, хотя бы внешне, интерес к человеку, родному по крови,— об этом ему было лучше знать. В сущности, ему это было неясно; ибо брачная церемония, алтарь и честолюбивые замыслы, кое-где омраченные все тою же Флоренс,— неизменно Флоренс! — мелькали так быстро и так беспорядочно, что он встал и, спасаясь от них, поднялся наверх.

До позднего часа не вносили свечей, потому что миссис Скьютон жаловалась, что они вызывают у нее головную боль; все это время Флоренс и миссис Скьютон беседовали (Клеопатра весьма заботилась о том, чтобы не отпускать ее от себя), и Флоренс тихонько играла на фортепьяно для услаждения миссис Скьютон, причем эта любезная леди по временам чувствовала потребность в новых поцелуях, что бывало всякий раз после того, как Эдит случалось проронить слово. Впрочем, их было немного, так как Эдит все время сидела в стороне, у открытого окна (несмотря на опасения матери, как бы она не простудилась), и не уходила, пока мистер Домби не откланялся. При этом он был невозмутимо снисходителен к Флоренс; и Флоренс ушла спать в комнату, смежную со спальней Эдит, ушла такой счастливой и полной надежд, что о себе в прошлом она думала словно о какой-то посторонней, бедной, покинутой девочке, которой должно посочувствовать в ее несчастье, и, сочувствуя ей, она заснула в слезах.

Неделя летела быстро. Ездили к модисткам, портнихам, ювелирам, юристам, кондитерам, в цветочные магазины; и во всех этих поездках Флоренс принимала участие. Флоренс должна была присутствовать на свадьбе.

По этому случаю Флоренс должна была снять траур и надеть великолепный наряд. Планы модистки касательно этого наряда — модистка была француженкой и весьма походила на миссис Скьютон — были столь целомудрены и изящны, что миссис Скьютон заказала такой же наряд для себя. Модистка заявила, что на ней он будет восхитителен и решительно все примут ее за сестру молодой леди.

Неделя летела все быстрее. Эдит ни на что не смотрела и ничем не интересовалась. Ей доставляли домой роскошные платья, их примеряли, ими громко восхищались миссис Скьютон и модистки, и их прятали, не дождавшись от нее ни слова. Миссис Скьютон строила планы на каждый день и приводила их в исполнение. Случалось, что Эдит оставалась в экипаже, когда они отправлялись за покупками; иногда, если была крайняя необходимость, она заходила в магазины. Но как бы то ни было, миссис Скьютон распоряжалась всем; а Эдит взирала на это с таким безучастием и с таким нескрываемым равнодушием, словно ни к чему не имела ни малейшего отношения. Пожалуй, Флоренс могла бы заподозрить ее в высокомерии и сухости, но такой она никогда не была по отношению к ней. Свое недоумение Флоренс заглушала благодарностью и вскоре поборола его.

Неделя летела все быстрее. Она летела едва ли не на крыльях. Настал последний вечер недели, вечер перед свадьбой. В темной комнате — ибо миссис Скьютон все еще страдала от головной боли, хотя и надеялась навсегда избавиться от нее завтра,— находились эта леди, Эдит и мистер Домби. Эдит снова сидела у открытого окна, глядя на улицу; мистер Домби и Клеопатра, на диване, беседовали вполголоса. Было уже поздно. Флоренс, утомленная, ушла спать.

— Дорогой мой Домби,— сказала Клеопатра,— завтра, когда вы отнимите у меня милую мою Эдит, не оставите ли вы мне Флоренс?

Мистер Домби сказал, что сделает это с удовольствием.

— Видеть ее здесь, рядом со мной, когда вы оба уедете в Париж, и знать, что я способствую, дорогой мой Домби, образованию ее ума в этом возрасте,— продолжала Клеопатра,— будет для меня поистине бальзамом в том расстроенном состоянии, в каком я буду находиться.

Эдит внезапно обернулась. Ее равнодушие в одну секунду уступило место жгучему интересу, и, невидимая в темноте, она внимательно прислушивалась к разговору.

Мистер Домби с величайшим удовольствием оставит Флоренс в таких прекрасных руках.

— Дорогой мой Домби,— отвечала Клеопатра,— тысяча благодарностей за ваше доброе мнение. Я боялась, что вы уезжаете с коварным, заранее обдуманным намерением, как говорят противные юристы — эти ужасные люди! — обречь меня на полное одиночество.

— Почему вы так несправедливы ко мне, сударыня? — спросил мистер Домби.

— Потому что моя прелестная Флоренс так твердо заявила мне, что завтра должна вернуться домой,— ответила Клеопатра,— вот я и начала опасаться, дорогой мой Домби, что вы настоящий турецкий паша.

— Уверяю вас, сударыня,— возразил мистер Домби,— что я не отдавал никаких приказаний Флоренс, а если бы и отдал, то ваше желание выше всех приказаний.

— Дорогой мой Домби,— отозвалась Клеопатра,— какой вы галантный кавалер! Впрочем, этого я не могу сказать, ибо у кавалеров нет сердца, а о вашем сердце свидетельствуют ваша прекрасная жизнь и натура... Как, неужели вы так рано уходите, дорогой мой Домби?

О, право же, час был поздний, и мистер Домби полагал, что ему пора уходить.

— Наяву ли это все или во сне? — сюсюкала Клеопатра.— Могу ли поверить, дорогой мой Домби, что завтра утром вы вернетесь, чтобы лишить меня моей милой подруги, моей родной Эдит?

Мистер Домби, который привык понимать слова буквально, напомнил миссис Скьютон, что они должны встретиться сначала в церкви.

— Боль, которую испытываешь,— сказала миссис Скьютон,— отдавая свое дитя хотя бы даже вам, дорогой мой Домби,— самая мучительная, какую только можно вообразить; а если она сочетается с хрупким здоровьем и если к этому прибавить чрезвычайную тупость кондитера, ведающего устройством завтрака,— это уже не по

моим слабым силам. Но завтра утром я воспряну духом, дорогой мой Домби; не бойтесь за меня и не тревожьтесь. Да благословит вас бог! Эдит, дорогая моя! — лукаво воскликнула она.— Кто-то уходит, милочка!

Эдит, которая снова отвернулась было к окну и больше не интересовалась их разговором, встала, но не сделала ни шагу навстречу мистеру Домби и не сказала ни слова. Мистер Домби с высокомерной галантностью, приличествующей его достоинству и данному моменту, направился к ней, поднес ее руку к губам, сказал:

— Завтра утром я буду иметь счастье предъявить права на эту руку, как на руку миссис Домби,— и с торжественным поклоном вышел.

Как только захлопнулась за ним парадная дверь, миссис Скьютон позвонила, чтобы принесли свечи. Вместе со свечами появилась ее горничная с девичьим нарядом, который завтра должен был ввести всех в заблуждение. Но этот наряд нес с собою жестокое возмездие, как всегда бывает с такими нарядами, и делал ее бесконечно более старой и отвратительной, чем казалась она в своем засаленном фланелевом капоте. Тем не менее миссис Скьютон примерила его с кокетливым удовлетворением; усмехнулась своему мертвенному отражению в зеркале при мысли о том, какое ошеломляющее впечатление произведет он на майора, и, разрешив горничной унести его и приготовить ее ко сну, рассыпалась, словно карточный домик.

Эдит все время сидела у темного окна и смотрела на улицу. Оставшись, наконец, наедине с матерью, она в первый раз за весь вечер отошла от окна и остановилась перед ней. Зевающая, трясущаяся, брюзжащая мать подняла глаза на горделивую стройную фигуру дочери, устремившей на нее горящий взгляд, и видно было, что она все понимает: этого не могла скрыть личина легкомыслия или раздражения.

— Я смертельно устала,— сказала она.— На тебя ни на секунду нельзя положиться. Ты хуже ребенка. Ребенка! Ни один ребенок не бывает таким упрямым и непослушным.

— Выслушайте меня, мама,— отозвалась Эдит, не отвечая на эти слова, презрительно отказываясь снизойти к

таким пустякам.— Вы должны остаться здесь одна до моего возвращения.

— Должна остаться здесь одна, Эдит, до твоего возвращения? — переспросила мать.

— Или клянусь именем того, кого я завтра призову свидетелем моего лживого и позорного поступка, что я отвергну в церкви руку этого человека. Если я этого не сделаю, пусть паду я мертвой на каменные плиты!

Мать бросила на нее взгляд, выражавший сильную тревогу, которая отнюдь не уменьшилась под влиянием ответного взгляда.

— Достаточно того, что мы — таковы, каковы мы есть,— твердо произнесла Эдит.— Я не допущу, чтобы юное и правдивое существо было низведено до моего уровня. Я не допущу, чтобы невинную душу подтачивали, развращали и ломали для забавы скучающих матерей. Вы понимаете, о чем я говорю: Флоренс должна вернуться домой.

— Ты идиотка, Эдит! — рассердившись, вскричала мать.— Неужели ты думаешь, что в этом доме тебе будет спокойно, пока она не выйдет замуж и не уедет?

— Спросите меня или спросите себя, рассчитываю ли я на покой в этом доме, и вы узнаете ответ,— сказала дочь.

— Неужели сегодня, после всех моих трудов и забот, когда благодаря мне ты станешь независимой, я должна выслушивать, что во мне — разврат и зараза, что я — неподобающее общество для молодой девушки? — завизжала взбешенная мать, и трясущаяся ее голова задрожала как лист.— Да что же ты такое, скажи, сделай милость? Что ты такое?

— Я не раз задавала себе этот вопрос, когда сидела вон там,— сказала Эдит, мертвенно бледная, указывая на окно,— а по улице бродило какое-то увядшее подобие женщины. И богу известно, что я получила ответ! Ах, мама, если бы вы только предоставили меня моим природным наклонностям, когда и я была девушкой — моложе Флоренс,— я, быть может, была бы совсем другой!

Понимая, что гнев сейчас бесполезен, мать сдержалась и начала хныкать и сетовать на то, что она зажилась на свете и единственное ее дитя от нее отвернулось,

что долг по отношению к родителям забыт в наше греховное время и что она выслушала чудовищные обвинения и больше не дорожит жизнью.

— Если приходится постоянно выносить такие сцены,— жаловалась она,— право же, мне следует поискать способ, как положить конец своему существованию. О, подумать только, что ты — моя дочь, Эдит, и разговариваешь со мной в таком тоне!

— Для нас с вами, мама,— грустно отозвалась Эдит,— время взаимных упреков миновало.

— В таком случае, зачем же ты к ним снова возвращаешься? — захныкала мать.— Тебе известно, что ты жестоко меня терзаешь, известно, как я чувствительна к обидам. Да еще в такую минуту, когда я о многом должна подумать и, естественно, хочу показаться в наивыгоднейшем свете! Удивляюсь тебе, Эдит: ты добиваешься, чтобы твоя мать была страшилищем в день твоей свадьбы!

Эдит устремила на нее все тот же пристальный взгляд, а мать всхлипывала и терла себе глаза. Затем Эдит произнесла тем же тихим, твердым голосом, которого не повышала и не понижала ни разу с тех пор, как начала разговор:

— Я сказала, что Флоренс должна вернуться домой.

— Пусть вернется! — быстро отозвалась огорченная и испуганная родительница.— Я не возражаю против того, чтобы она вернулась. Что мне эта девушка?

— Для меня она так много значит, что я не зароню сама и не допущу, чтобы другие заронили в ее душу хотя бы крупицу зла! Скорее я отрекусь от вас, как отреклась бы от него завтра в церкви (если бы вы дали мне повод),— ответила Эдит.— Оставьте ее в покое. Пока я в силах этому препятствовать, ее не будут грязнить и развращать теми уроками, какие усвоила я. Это совсем не тяжелое условие в такой печальный вечер.

— Быть может, и не тяжелое. Весьма возможно, если бы только ты обращалась со мной, как подобает дочери,— захныкала мать.— Но такие язвительные слова...

— Они остались в прошлом, и больше их не будет,— сказала Эдит.— Идите своей дорогой, мама. Пользуйтесь, как вам вздумается, тем, чего вы добились; швы-

ряйте деньги, радуйтесь, веселитесь и будьте счастливы по-своему. Цель нашей жизни достигнута. Отныне будем доживать ее молча. С этого часа я не пророню ни слова о прошлом. Я вам прощаю ваше участие в завтрашней позорной сделке. Да простит мне бог мое участие!

Голос ее не дрогнул, стан не дрогнул, и, двинувшись твердой поступью, словно попирая ногами все возвышенные чувства, она пожелала матери спокойной ночи и удалилась в свою комнату.

Но не на покой. Ибо не было покоя для нее, когда она осталась одна, в смятении. Взад и вперед ходила она, и снова взад и вперед, сотни раз, среди великолепных принадлежностей туалета, приготовленного на завтра; темные волосы распустились, в темных глазах сверкало бешенство, полная белая грудь покраснела от жестокого прикосновения безжалостной руки, словно раздирающей эту грудь. Так она шагала из угла в угол, повернув голову в сторону, словно стараясь не видеть своей собственной красоты и отторгнуть себя от нее. Так в глухой час ночи перед свадьбой Эдит Грейнджер боролась со своим беспокойным духом, без слез, без жалоб, без друзей, молчаливая, гордая.

Наконец она случайно коснулась рукой открытой двери, которая вела в комнату, где спала Флоренс.

Она вздрогнула, остановилась и заглянула туда.

Там горел свет, и она увидела Флоренс, крепко спящую, в расцвете невинности и красоты. Эдит затаила дыхание и почувствовала, что ее влечет к ней.

Влечет ближе, ближе, еще ближе. Наконец она подошла так близко, что, наклонившись, прижалась губами к нежной ручке, свесившейся с кровати, и осторожно обвила ею свою шею. Это прикосновение было подобно прикосновению жезла пророка к скале в былые времена. Слезы брызнули у нее из глаз, она упала на колени и опустила измученную голову и рассыпавшиеся волосы на подушку рядом с головою Флоренс.

Так провела Эдит Грейнджер ночь перед свадьбой. Так застало ее солнце утром в день свадьбы.

КОММЕНТАРИИ

Стр. 16. *Похвала сэра Хьюберта Стэнли!* — то есть похвала искренняя; сэр Хьюберт Стэнли — персонаж комедии английского драматурга Томаса Мортона (1764—1838), автора популярных, но легковесных комедий и водевилей.

Стр. 19. *Подушечка для булавок* — обычный в английских семьях подарок матери при рождении ребенка.

Стр. 24. *«Сапожник он был»* — песенка из знаменитой «Оперы нищих» Джона Гэя (1685—1732).

Стр. 35. *...Байлера — в честь паровоза...* — прозвище юного Тудля «Байлер» — искаженное Boiler (паровой котел).

Стр. 36. *...«двориками»...* — Перед домами в Англии, нередко еще в эпоху Диккенса, разбивались площадки ниже уровня мостовой; назначение таких «двориков» — отделить «парадный» вход от «черного»; вход в «парадный» подъезд был непосредственно с тротуара, а вход в полуподвал, где обычно располагались службы и помещения для прислуги,— с упомянутых «двориков» (areas).

Стр. 37. *Панч* — герой английского кукольного театра; близок к нашему Петрушке.

Стр. 49. *...в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу.* — Деловой и торговый центр Лондона, где находилась контора фирмы «Домби и Сын», так называемый Сити (точный перевод: старинный, большой город) — издавна выделен был в самостоятельный административно-судебный округ, не входящий в графство Мидлсекс, куда входят остальные районы Лондона. Сити имел свой административный статут, что и давало основание считать, будто жителям этого района присвоены какие-то «вольности». Что касается «Звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу», то с этой церковью, выстроенной

замечательным английским зодчим, строителем собора св. Павла, Кристофером Ренном (1632—1723), на одной из центральных деловых магистралей Лондона — Чипсайде,— связано лондонское поверье, будто «коренными лондонцами» (так называемыми «кокни») являются те, кто родился в границах, до которых достигает звон колоколов упомянутой церкви. Странное название ее объясняется тем, что она построена Ренном на месте старинной церкви «св. Марии с арками» (bom — арка).

Стр. 49. *Гог и Магог* — две гигантские деревянные фигуры, поставленные в начале XVIII века в главном зале лондонского муниципалитета (более подробно см. комментарии к 5-му тому наст изд., стр. 502).

...«там внизу, среди мертвецов»... — слова из старинного английского тоста: «И тот, кто не будет пить за здоровье, останется лежать среди мертвецов» (под мертвецами надо разуметь пустые бутылки).

Ост-Индская компания — английская торговая компания, получившая от правительства в начале XVII века монопольные права на торговлю с Индией. В начале XVIII века она лишилась этой монополии, но к тому времени капиталы компании столь возросли, что она оставалась и во времена Диккенса самой мощной экспортно-импортной организацией и сохранила свою роль в экспансии британского империализма на восток.

Стр. 50. *Валлийский парик* — шерстяной колпак.

Стр. 52. *...английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу...* — первая строка английской баллады XVII века, пользовавшейся известностью у моряков; Диккенс слегка перефразировал песенку, в которой речь идет о джентльменах, спокойно проживающих «дома», но не «внизу».

«Весь в Даунсе»... — начало известной баллады Джона Гэя «Черноокая Сьюзен», положенной на музыку Р. Левериджем. Диккенс не раз вспоминает первый стих этой баллады («Весь в Даунсе флот»), которая была напечатана в виде листовки в конце 20-х годов XVIII века и получила широкое распространение (такая форма публикации песенок была обычной в XVIII веке). Здесь, вероятно, намек на то, что барометр падает (флот укрылся на рейде Даунс).

Стр. 53. *Меченосец* — чиновник, который по старинной английской традиции носит — во время торжественных церемоний — меч перед королем или перед знатнейшими сановниками, включая также лорд-мэра Лондона.

Стр. 59. *«Правь, Британия»* — стихотворение Джеймса Томсона, положенное на музыку Т. Арном; написано было для театра масок (пьеса «Альфред», поставленная на сцене в 1740 году) и стало народным гимном Англии, тогда как официальный английский гимн — «Боже, храни короля».

Стр. 61. *Любите! Чтите! И повинуйтесь!* — Капитан Катль постоянно путает изречения; здесь он произносит не цитату из катехизиса, а слова из назидания пастора вступающим в брак.

Отец юного Норвалла — отец юного героя трагедии Джона Хома (1722—1808) «Дуглас», сюжет которой взят из шотландской баллады.

Стр. 62. *...обрел рассудительность, взгрустнул...* — намек на строку из стихотворения С. Кольриджа (1772—1834) «Старый моряк»: «А наутро он проснулся более мудрый и грустный».

«Вернись, Виттингтон... и, когда ты состаришься, то не покинешь его»... — Капитан Катль объединяет в одной фразе упоминание о легенде, связанной с именем Ричарда (Дика) Виттингтона, и цитату из библии. Диккенс часто вспоминает в своих произведениях о Виттингтоне, трижды избиравшемся лондонским лорд-мэром (в XIV веке); это имя появляется несколько раз и в романе «Домби и Сын». Об историческом Ричарде Виттингтоне сложилась легенда, имеющая несколько вариантов; по одному из них Дик Виттингтон не вытерпел жестокого обращения с ним хозяина суконной лавки, где он служил учеником, и задумал бежать, но вернулся к хозяину, услышав звон колоколов упоминавшейся выше церкви Сент-Мэри-ле-Боу — звон, в котором якобы слышались голоса, предрекающие ему успех в жизни и высокий пост лорд-мэра (см. также комментарии к 1-му тому наст. изд., стр. 745, и к 4-му тому, стр. 496).

Стр. 73. *Питт* — популярнейший государственный деятель Англии Уильям Питт (Младший) (1759—1806).

Стр. 77. *Бидл* — низшее должностное лицо городского прихода (административного района), избираемое на один год жителями и утверждаемое в своей должности мировым судьей (более подробно см. комментарии к 4-му тому наст. изд., стр. 492).

Стр. 78. *В мою могилу?* — слова шекспировского Гамлета («Гамлет», акт II, сц. 2-я).

Стр. 79. *Церковный клерк* — служащий церкви, ведавший финансово-счетной частью.

...раскрывала свой молитвенник на Пороховом заговоре... —

В молитвенник англиканской церкви включена благодарственная молитва об избавлении короля и членов парламента от гибели 5 ноября 1607 года. Упоминание о Пороховом заговоре не раз встречается в произведениях Диккенса (см. комментарии к 1-му тому наст. изд., стр. 746, к 3-му тому, стр. 497, и к 5-му тому, стр. 505).

Стр. 82. *«Милосердные Точильщики»* — название лондонского благотворительного общества, основанного цехом точильщиков и шлифовщиков в середине XVIII века.

Стр. 83. *...траурный марш из «Саула».* — «Саул» — оратория Г. Генделя (1685—1759).

Стр. 85. *...(подобно Тони Ламкину)...* — подобно герою комедии английского драматурга Оливера Голдсмита (1728—1774) «Она унижается, чтобы победить», имевшей в свое время большой успех. Тони Ламкин — шутник, про которого его отчим говорит: «Если сжигать башмаки слуги, пугать служанок, мучить котят значит быть шутником, то он — шутник».

Стр. 89. *...повезла ее на Бендери-Кросс.* — Переводчик сохранил английскую идиому, обязанную своим происхождением широкоизвестной детской песенке, напевая которую, забавляли ребенка, подбрасывая его на коленях.

Стр. 99. *...великой страны, управляемой грозным лорд-мэром.* — Диккенс, называя так лондонское Сити, подчеркивает исторически сложившиеся особенности управления этим районом Лондона, в силу коих глава городского самоуправления — лорд-мэр — выполняет в Сити ряд функций (судебных и административных), которые в остальных районах Лондона принадлежат правительственным чиновникам.

Стр. 101. *Святой Георг Английский* — св. Георгий, согласно легенде, живший в конце III века н. э. и служивший в войсках римского императора Диоклетиана. Он был казнен за исповедание христианского учения; по неизвестным исторической науке причинам считается главным покровителем Англии и победителем страшного дракона.

Стр. 115. *...замораживала его юную кровь...* — намек на слова Призрака в «Гамлете» (акт I, сц. 5-я).

. . . . Иначе б
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла.

Стр. 124. *Живой скелет.*— В лондонских балаганах и в конце 40-х годов показывали необыкновенно худого человека — француза по происхождению, — называемого в рекламах «живой скелет».

Наемные немые плакальщики.— В эпоху Диккенса в Англии еще сохранился обычай приглашать на похороны лиц обоего пола, чьей профессией являлось участие в похоронной процессии; в отличие от «плакальщиков», известных в древности. эти люди не плакали, но безмолвно, с печальными лицами сопровождали гроб с телом умершего.

Стр. 125. *Мом* — греческий бог смеха.

Стр. 129. *...млеко человеческой нежности...* — цитата из «Макбета» (акт I, сц. 5-я).

Стр. 131. *Кок-лейнское привидение.*—В середине XVIII века лондонцы узнали о появлении в доме № 33 по улице Кок-лейн «привидения». Роль последнего играл некий Уильям Персон. Вместе с женой и дочерью он долго мистифицировал легковерных горожан, пока не открылось участие в этой «забаве» чревовещательницы. Персоны были приговорены к позорному столбу.

Стр. 132. *Книга Бытия*—так называется первая книга Ветхого завета.

Ступальное колесо — механизм, работа на котором была одним из тяжелых наказаний для заключенных в английских тюрьмах (более подробно см. комментарии к 4-му тому наст. изд., стр. 494).

Стр. 133. *...как враги Фальстафа, из одного... превращался в дюжину.*— Фальстаф, хвастаясь своей храбростью, вначале рассказывал о том, что на него напали двое противников, затем эти двое превратились в четверых и, наконец, в семерых (Шекспир, «Генрих IV», ч. I, акт II, сц. 4-я).

Стр. 148. *...эта порода Гаев Мариев, сидящих...* — Диккенс иронически сравнивает маклера Броли с римским полководцем Гаем Марием (156—86 годы до н. э.), побежденным в гражданской войне Суллой и бежавшим в Африку; согласно легенде, он сказал одному из воинов: «Передай претору, что ты видел беглеца Гая Мария сидящим на развалинах Карфагена»; в отличие от римского полководца маклер Броли сохранял прекрасное расположение духа.

Стр. 151. *...является ли дом англичанки ее крепостью...*— Формула: «Дом англичанина — его крепость» — отголосок пра-

вовых воззрений эпохи феодализма — нашла отражение в сочинениях знаменитого юриста XVII века Эдуарда Кока, защищавшего право англичан, находящихся в границах своего домовладения, не подчиняться законным распоряжениям властей; разумеется, с течением времени эта формула потеряла реальное значение, и анахронизмом уже в начале XVIII века являлось, например, запрещение бейлифу (см. ниже) требовать у должника или у его домочадцев впуска в дом для вручения исполнительного листа; бейлиф должен был подстерегать неисправного должника на улице, чтобы вручить ему документ; в эпоху Диккенса такого ограничения уже не было.

Стр. 160. *...цветом лица напоминавший стилтонский сыр...* — то есть восковой, с прожилками цвета плесени; стилтонский сыр производился в городке Стилтон, в графстве Хантингдоншир, и высоко ценился любителями.

Стр. 162. *Сендхерст* — королевский военный колледж, основанный в 1790 году.

Стр. 171. *Бейлиф* — чиновник шерифа, чьи функции напоминают функции нашего судебного исполнителя.

Стр. 181. *...исчезновению Курция в недрах земли...* — Древнеримская легенда рассказывает, что в 262 году до н. э. земля посреди форума разверзлась, и образовалась глубокая пропасть; оракул заявил, что государство в опасности и для предотвращения ее Рим должен пожертвовать лучшим своим сокровищем. Юноша Марк Курций воскликнул, что оружие и храбрость — основа величия государства, и бросился в полном вооружении в пропасть, после чего пропасть закрылась.

Стр. 185. ... *в его уединении близ Тускула...* — то есть в италийском поместье Цицерона, расположенном близ городка Тускул.

Лампа Дэви — шахтерская лампочка, устраняющая опасность взрыва газа; изобретена знаменитым английским химиком сэром Гэмфри Дэви в 1815 году.

Стр. 186. *Добавление к нашему скромному Портику...* — Аристотель вел беседы с учениками во время прогулок, нередко — в галереях, поддерживаемых колоннадой (портиках).

...владения бога сна и дремоты — то есть Морфея, на напыщенном, искусственном языке мисс Блимбер это означает спальни для учеников, дортуары.

Стр. 194. *...Миллером, или «Полным собранием шуток».* — Популярный актер XVIII века Джо Миллер был автором анекдо-

тов, острот, шуток; в середине века, после смерти Миллера, был издан сборник приписывавшихся ему анекдотов, по большей части — весьма дурного вкуса.

Стр. 196. *...пир, на котором было подано две тысячи рыбных блюд...*— Рассказ доктора Блимбера о пиршествах римлян безусловно навеян главой XLIV известного романа Тобайаса Смоллета «Приключения Перигрина Пикля» (Смоллет был один из самых любимых писателей Диккенса). Упомянутая глава «Пикля» посвящена рассказу о «пире в подлинном древнеримском вкусе», устроенном одним знатоком древности.

Стр. 203. *...некоего ученого Гая Фокса или хитроумное пугало, набитое схоластической соломой.*— Сравнение с Гаем Фоксом подсказано Диккенсу народным обычаем — 5 ноября, в годовщину Порохового заговора (см. выше, стр. 528), носить по улицам соломенное чучело, изображающее одного из главных участников заговора — Гая Фокса, — и сжигать чучело на костре.

Стр. 226. *Победа над иценами* — победа римских легионов над одним из племен бриттов — иценами, которые были покорены Римом в I веке н. э.

Стр. 228. *...от verbum personale до simillima cygno* — от «личного глагола» до «того, кто более всего походит на лебедя» *(лат.)*. *Simillima cygno* — конец известного афоризма Ювенала (Сатиры VI, 165): «*Rara avis in terris, nigroque simillima cygno*» — «Словом, редчайшая птица земли, как черная лебедь».

Стр. 229. *Уокер.*—Мисс Блимбер ссылается на авторитет известного филолога и лексикографа, автора «Критического словаря произношения» Джона Уокера (1732—1807).

Стр. 233. *...принадлежала принцу-регенту.* — Легковерный Тутс полагал, будто приобретенная им банка нюхательного табаку в самом деле раньше принадлежала Георгу, принцу-регенту (с 1811 года, вследствие сумасшествия его отца, короля Георга III), известному кутиле и фату, ставшему королем Георгом IV в 1820 году.

Стр. 239. *...о затее короля Альфреда...*— Измерение времени по отметкам на горящей свече было предложено королем англосаксов Альфредом Великим (IX в. н. э.).

Стр. 245. *...поймает взгляд спикера...*—то есть получит слово в палате общин, ибо председатель палаты (спикер) кивком головы предоставляет слово очередному оратору.

Стр. 248. *Негус* — крепкий напиток, названный в честь изо-

бретателя, полковника Ф. Негуса (XVIII в.): подслащенный портвейн с лимонным соком, разбавленный горячей водой.

Стр. 251. *Юные Честерфилды* — то есть юноши, помышляющие только о соблюдении «хорошего тона». Книга графа Ф. Честерфилда «Письма к сыну» (1774), в которой сей английский дипломат преподает сыну правила «светской жизни», являлась настольной книгой для юношества в среде английской знати и крупной буржуазии.

Стр. 256. *Секта Горланов* — ироническое название какой-то религиозной секты (которыми была так богата протестантская церковь); судя по названию, члены секты во время собраний распевали молитвы и псалмы.

Стр. 274. *...как в тот первый вечер в доме доктора Блимбера...* — описка Диккенса; речь идет не о первом вечере в школе, а о вечеринке в конце пребывания Поля у доктора Блимбера, когда мальчик был уже очень болен и предметы, которые он видел, теряли ясные очертания.

Стр. 291. *...некогда поэт, носивший такую фамилию...* — намек на Эдмунда Уоллера (1606—1687), издавшего в 1645 году книгу стихов.

Стр. 301. *...осенил головы собравшихся двенадцати...* — Имеется в виду евангельская легенда о явлении воскресшего Христа двенадцати апостолам.

Стр. 327. *Выращивай смоковницу...* — Капитан Катль соединяет в одну две цитаты из библии и к тому же сильно их искажает.

Стр. 332. *Бидл Королевской биржи* — низший служащий Лондонской биржи, исполняющий обязанности курьера.

Стр. 337. *Леминггон* — фешенебельный курорт в графстве Уорикшир.

Стр. 356. *...шекспировскую Клеопатру, которая с годами не увядала...* — намек на слова Энобарба о Клеопатре:

Ее разнообразью нет конца,
Пред ней бессильны возраст и привычка.

(Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт II, сц. 2-я.)

Стр. 370. *Для тебя... конопля уже посеяна!* — то есть посеяна конопля, из которой будет изготовлена веревка для повешения Роба.

Стр. 375. *Мистер Кетч.* — Джек Кетч после реставрации Стюартов был назначен палачом и исполнял эту должность с

1663 по 1686 год. Его имя стало в Англии нарицательным для палача (подобно тому как во Франции имя Сансона).

Стр. 381. *...где сборщик налогов никогда не ложится спать...*— Диккенс имеет в виду, что на территории Великобритании с ее колониями всегда где-нибудь светит солнце и происходит обычная дневная работа.

Стр. 386. *«Забудьте о свете все входящие сюда»* — парафраза надписи над вратами ада в «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Стр. 398. *Патены* — деревянные подошвы с железным ободком, прикрепляемые ремешками к башмакам; во времена Диккенса заменяли калоши.

Стр. 400. *Летучий Голландец* — голландский капитан ван Стратен, герой легенды, обреченный за свои грехи вечно плавать по морям; встреча с Летучим Голландцем предвещала, по преданию, гибель кораблям, если последние продолжали идти своим курсом.

Стр. 401. *...буйный ветер дует, дует, дует...*—строка, принадлежащая известному шотландскому поэту Томасу Кемпбеллу (1777—1844).

Стр. 410. *Пролив св. Георга* — пролив, отделяющий Ирландию от Англии; *пески Гудуина* — гряда песчаных отмелей у юго-восточного побережья Англии, весьма опасная для кораблей; между этой грядой и берегом — огромный рейд *Даунс,* упоминавшийся выше в связи с популярной песенкой «Черноокая Сьюзен».

Стр. 420. *...на его голову сыпались раскаленные угли* — библейское выражение, означающее: «Платить добром за зло».

Стр. 460. *Чавкая, как та жена матроса... этих каштанов...*— намек на рассказ ведьмы из «Макбета» (акт. I, сц. 3-я).

Стр. 467. *Несравненная королева Бесс* — ироническое прозвище королевы Елизаветы.

Стр. 481. *...он окрестил бы ее либо «Полли»...*— Полли — уменьшительное имя от Мэри, чем и объясняется ответ Петуха.

Стр. 500. *...посмотрела на нее скорее с гневом, чем со скорбью* — парафраза слов Горацио: «...смотрел скорей с тоской, чем с гневом» («Гамлет», акт I, сц. 2-я).

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 13

Редактор С. Маркиш

Художник Е. Семпер

Художеств. редактор Л. Калитовская

Технический редактор Г. Каунина

Корректор В. Седова

Сдано в набор 29/X 1958 г. Подписано к печати 8/I 1959 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 16,75 печ. л. 27,47 усл. печ. л. 26,88 уч.-изд. л.
Тираж 540 000 (1—150 000) экз.
Заказ № 4165. Цена 9 руб.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата Министерства культуры
СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.